

СВЕТЛАНА СЫРНЕВА



ЧАС ТОРЖЕСТВА

МАРСЕЛЬЕЗА

Былые вехи сердце вспомнит,
заглянет в прошлые века.
И “Марсельезу” хор исполнит
на сцене сельского ДК.

Десяток хрупких изваяний
поют, сомкнувшись в полукруг.
Самозабвенно на баяне
ведёт мелодию худрук.

Он рад приветливой погоде
и скажет, робкая душа:
“Я знаю, что слова не в моде,
но больно песня хороша!

Что ни пошлют — всё принимает
неприхотливый наш народ.
Лишь одного не понимает:
назад идём — или вперёд?

СЫРНЕВА Светлана Анатольевна родилась в деревне Русско-Тимкино Кировской области. Окончила педагогический институт. Работала учительницей в сельской школе, корреспондентом и редактором в районной газете. Автор четырёх поэтических книг. Член Союза писателей России. Живёт в Кирове.

Что ж раньше! Раньше, безусловно,
порядка больше было тут.
А этот хор у нас церковный,
они и в храме все поют”.

И вот церковная ограда,
сплетенье чистых голосов.
Душа не помнит — и не надо! —
противоречья разных слов.

И в купол улетает пенье,
и те, что пели о борьбе,
поют всё так же о терпенье
и о покорности судьбе.

И звук, рождённый в этом хоре,
лучом вернётся по стене
к иконе, где святой Егорий
всё скачет, скачет на коне...

ЛЕБЕДЬ

Вымахнут травы короной густой,
высушит ветер апрельскую сырость.
И лебедёнок, что рос сиротой,
за зиму в сильного лебедя вырос.

Вот он плывет к середине пруда,
скудного детства забывший невзгоды,
словно сама его движет вода,
как наивысшее чудо природы.

В заросли солнца вплетён краснотал,
чистые росы осыпали поле.
Час торжества! Он нежданно настал,
как проявленье космической воли.

Есть у тебя только час, только миг —
самозабвенная, вольная младость!
Но, торжествуя, никто не постиг,
не уберёт эту краткую радость.

Та же река, да не те берега —
всё раскачало волной парохода.
Скошен в лугах и уложен в стога
жаркий кумач твоего хоровода.

* * *

Нарождается праздник цветущей весны,
и такое в природе творится!..
Стоит солнцу взойти — и с любой стороны
вылет пчёл на цветы состоится.

Потому что и яблони все зацвели,
а куда от сирени деваться!
И буравят листву золотые шмели,
пригибая соцветья акаций.

Это школьный, старинный, раскидистый сад,
это детства весенняя зона,
где сияющий воздух до неба объят
ровным гулом пчелиного звона.

Над бескрайней равниной побед и потерь
голубые раскинуты сети.
Вот и школьный звонок — и в открытую дверь
на каникулы вырвутся дети.

На окне — позабытая кем-то тетрадь,
жизни пройденной малая вежа.
Улетели! Умчались! Ничем не сдержать
беззаботного детского смеха!

И не веришь, что миг торжества преходящ,
и забудешь, что праздник не вечен:
сбóит солнцу зайти — из берёзовых чаш
вылет майских жуков обеспечен.

В темноте они мягко и густо скользят,
зачарованный путь выбирая,
чтобы рушиться вниз и стучаться, как град,
о дощатую крышу сарая.

* * *

Долгих осенних ночей чернота
спрячет тебя, словно в стоге иголку.
Тьма во Вселенной густа: неспроста
маленький джип заплутал по просёлку.

И по ухабам сползая в кювет,
в битве бессмысленной силы транжиря,
мечется фар лихорадочный свет,
словно последний оставшийся в мире.

Ночь ли застигла, иль ты их застиг —
знаю я, ведаю: не для забавы
из темноты выступали на миг
остолбеневшие серые травы,

куст придорожный да в поле ветла,
вросшие в землю с нехитрой поклажей, —
будто судьба на секунду дала
видеть твоих сострадательных стражей.

И вразноряд они шли, и гурьбой,
словно видения дальнего детства.
Для неожиданной встречи с тобой
не успевали они приодеться.

Чем же ты раньше свой путь размечал,
чем несущественным был озабочен,
если не помнил, не различал
скопом стоящих у грязных обочин?!

Выйди, прислушайся! Там, впереди,
тёмного мира скопилась громада.

Чёрная роща под ветром гудит,
как несмолкающий шум водопада.

Мог бы и ты сквозь погибельный сон
рушиться в пропасть, сознание теряя.
Если прислушался — значит, спасён
и остановлен у самого края.

* * *

Позабить бы всё прошлое сразу,
потому что погубит оно:
словно гиря, невидная глазу,
изматает, утянет на дно.

С каждым годом они тяжелее —
жернова, омота, камыши...
Не о юности я сожалею,
а о лёгкости юной души.

Нет, я жить не хотела бы снова,
я хотела бы лишь одного:
чтоб отпала от сердца большого
неизбывная мука его.

Ведь за муку бывает награда
на последней, предельной черте.
Если так — мне и счастья не надо:
я хотела бы жить в пустоте.

По бескрайней морозной равнине
под немеркнущим инеем звёзд
всё молчит, цепенеет и стынет,
и ямщик у кибитки прирос.

В ледяной он, в хрустальной оправе,
он в студёное марево вжит.
Он не свищет, не хлещет, не правит —
но сама его тройка бежит.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

УБИЙСТВО ГОРОДОВ

РОМАН

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Кольчугин лежал в кабинете, в пустоте ночного дома. Смотрел на горящий под потолком светильник из разноцветных стёкол в свинцовой оплётке, купленный когда-то дедом Михаилом во французской лавке. Светильник был выполнен в стиле “модерн”, созвучен мозаикам Врубеля, болотным фиалкам и лилиям, что расцвели в журналах “Аполлон” и “Золотое руно”, в оконных переплётках изысканных особняков, в изнеженных стихах декадентов. Этот светильник Кольчугин помнил с младенчества, возрастал в его таинственном излучении. В разные годы разноцветные стёкла рождали всё новые узоры, которые волновали его детскую душу своими тихими радугами, сливались с его детскими мечтаниями.

Теперь, глядя на этот волшебный фонарь, он думал о тех, кто собирался под ним в застольях, на семейных праздниках или тризнах. Весь огромный род, уцелевшую часть которого он застал в своём детстве. Они, эти любимые старики, не погибшие среди войн и революций или на тюремных нарах, окружали его своими страданиями, любовью и нежностью, соединяли с огромной русской жизнью, уходящей в безбрежное прошлое. Его мысль о каждом из них была таинственным световодом, соединяющим его с небесами, — его, живого, с ними, умершими. Его мысли о них были подобны молитвам, которые помещали их в волшебный мир, где нет смерти и откуда они смотрят на него любящими глазами. Зовут к себе, берегут для него место среди цветущих садов.

Таким же световодом он соединялся с женой. Их разлука казалась временной, обещала чудесную встречу.

Он доживал свои земные дни. Сбережённый остаток духовных сил следовало употребить на то, чтобы приготовиться к встрече с близкими и любимыми. Пройти сквозь крохотный чёрный фокус, именуемый смертью, куда сходятся лучи земной жизни, где на мгновение меркнут, а потом расходятся восхитительным светом, чтобы никогда уже не погаснуть.

Он лежал под любимым фонарём, чувствуя громадность прожитой жизни. Вспоминал множество лиц, которые проплыли мимо и ушли за горизонт минувшего века.

Адмирал Горшков, тяжёлый, тучный, принимавший его в кабинете штаба и крутивший огромный глобус с синим Мировым океаном, в котором плавал великий, созданный им флот. Маршал Толубко, весельчак и шутник, полюбивший его, молодого писателя, пригласивший на космодром, где тяжёлая ракета взлетала в грохочущем пламени, превращаясь в лучистую звезду. Маршал Язов, проигравший битву за Родину, уводивший войска из Москвы, и его взгляд, тоскующий и несчастный, за два часа до ареста. Шолохов, пригласивший его в Вёшенскую. Хрупкое запястье и слабые пальцы, в которых дрожала хрустальная рюмочка, и слёзы текли из синих глаз... Ким Ир Сен, с улыбкой младенца протянувший ему мягкую руку. А потом, много лет спустя, вождь лежал в стеклянном саркофаге, в немеркнущем лунном свете, и было странно видеть его восковую мёртвую руку. Наджибулла, любезно наливавший ему чай в фарфоровую пиалку... А потом его истерзанное тело качалось на дереве. Милошевич в золочёной гостиной, говоривший ему, что американцы проиграют сербам, когда начнётся наземная операция, а вскоре его бледное больное лицо появилось в Гаагском суде. Саддам Хусейн, уверявший его, что американцы, войдя в Ирак, захлебнутся собственной кровью, а вскоре и он, в чёрном костюме, с грубой петлёй на шее выкрикивал проклятья врагам...

Все они являлись в багровом зареве минувшего века, и отблеск этого зари лежал на романах Кольчугина.

И ещё одно лицо — удалённое, как мираж. Ребёнком с колонной демонстрантов он шёл по Красной площади и на Мавзолее видел Сталина, одетого в парадный мундир и фуражку, словно в разноцветной дымке... И теперь, на исходе дней, всё стоит перед ним тот туманный цветной мираж.

Машина мчала его по Рублёвскому шоссе, среди солнечных сосняков, вспыхивающих, как стеклянные кристаллы, элитных посёлков. Знать укрылась за высокими оградами в своих неприступных гнёздах, напоминавших римские храмы, рыцарские замки, мавританские дворцы. Ослепительная под солнцем, как нетающая гора льда, возникла церковь. Машина свернула на узкий асфальт и застыла перед огромными воротами, напоминающими триумфальную арку. Охрана пропустила машину, и тут же появились вторые ворота — подобие первых. Кольчугин подумал, что величие ворот должно было внушать посетителям благоговение перед государственной властью.

Он вышел у резиденции, простой и строгой, ещё из советских времён. Его проводили в гостевую комнату, где он пробыл недолго. Чиновник, вежливый, с ледяными глазами, повёл его в кабинет президента.

Кабинет был длинный, удалявшийся к столу, рядом с которым стояли два полотнища: государственный триколор и президентский, шитый золотом штандарт. Окружённый белым, алым и голубым с проблесками золота, поднялся президент. Гибкий, изысканный, шагнул вперёд, не позволяя гостю пройти всё расстояние от дверей до стола.

— Здравствуйте, Дмитрий Фёдорович, — президент протянул Кольчугину узкую, лёгкую ладонь, и его рукопожатие было тёплым, сердечным.

Президент усадил его за длинный стол, сам сел напротив, и Кольчугин мог рассмотреть его лицо. Оно показалось ему утомлённым, с проступившими на лбу морщинами, с тенями у глаз и тревожными пронзительными зрачками.

— Я пригласил вас, Дмитрий Фёдорович, чтобы поблагодарить за поддержку. К вам прислушиваются многие наши граждане. И в этот сложный период должен звучать голос, который консолидирует общество.

— Очень много разноголков, много разногласий, — произнёс Кольчугин. — Ещё недавно Крым объединил народ и власть. Между властью и народом был построен *Крымский мост*. Но теперь события на Донбассе расшатывают этот мост.

— Он не должен рухнуть. Вместе с ним может рухнуть государство. Много сил, внешних и внутренних, расшатывают этот мост. На нас напали. Ещё не ракетами и танками, но оружием, которое уничтожает наши идеалы и ценности. Российское государство подвергается мощным разрушительным воздействиям. Мы должны им противостоять.

— Я вижу, каким воздействиям подвергаетесь вы лично. Ведь вы и есть этот Крымский мост. Вас и хотят разрушить.

— Вы правы, давление огромное. Чего стоит недавнее заявление принца Чарльза, который сравнил меня с Гитлером.

— Это значит, вам бросили вызов европейские династии и старая европейская аристократия. После того, как вы на Валдае обвинили Европу в содомском грехе, фактически назвали её “вторым Содомом”, на вас ополчились все оккультные силы мира. Это, быть может, страшнее, чем все санкции и военные базы, вместе взятые.

— Мы говорили об этом с Патриархом. Он разослал по монастырям закрытое послание, в котором просил молиться за меня отдельной молитвой. Я благодарен ему за это.

Кольчугин чувствовал, какая ноша лежит на плечах президента. Государство Российское своей непомерной тяжестью ploщит его. Пучина власти затягивает и давит на него, как на подводную лодку, опустившуюся на предельную глубину.

— Присоединение Крыма народ воспринял, как чудо. Русское Чудо, о котором я столько раз говорил. И вы в сознании народа обрели образ чудотворца. В Георгиевском зале, где вы произнесли свою победную “крымскую речь”, все были едины, все ликовали. Но теперь солнце Крыма начинает меркнуть. Народ охвачен сомнениями, боится предстоящих трудностей, страшится ссоры с Америкой. И невыносимо для русского сердца зрелище окровавленного Донбасса. Когда же мы поможем городам Новороссии?

Президент внимательно слушал. Его брови сдвигались. Нос и подбородок становились острее. Губы стискивались. Словно его мысль стремилась к невидимой точке, в которой сходились все замыслы, все опасения, таилось решение, одно-единственное, предельно опасное, которое ему предстояло принять. Решение, пробивающее тромб русской истории, открывающее путь русскому времени.

— Вы правы, Крым — это чудо. Я буду откровенен, это чудо и моей жизни. Но за чудо надо платить. Наступил посткрымский период русской истории. Опасности, которые подстерегают Россию, велики. Здесь нельзя ошибиться.

— Я понимаю. Простые люди, которые видят кошмар Донбасса, действуют от сердца. Вы же действуете в обстоятельствах, многие из которых нам не известны. Но всё же мы должны помочь Новороссии. Если мы устранимся, их кровь будет на нас. Она превратит солнце Крыма в чёрное светило.

— России предстоят труднейшие испытания. Повторяю, на нас напали. У нас у всех должна быть сильная воля, терпение и стоицизм на годы. Мы опять почувствуем себя русскими, особым народом, которому история во все века готовила тяжчайшие испытания. Либо мы примем эти испытания, либо уклонимся от них — и перестанем быть русскими.

Кольчугин вдруг испытал к президенту слёзную нежность, отцовское бережение, страх за него. Этот невысокий, хрупкий на вид человек казался беззащитным. Он был окружён близкой тьмой, злыми веяниями. Ему желали гибели, целили в него пулей, готовили ему тонкие яды. Кольчугину хотелось его заслонить, поместить в светлый кокон, облечь в волшебный покров, неподвластный злу. Хотелось встать между ним и тьмой, принять на себя удары зла.

— Сегодня мне на стол положили сводку боёв на Донбассе. Там упомянута одна высота, одна гора, где шёл тяжёлый бой, ополченцы и украинские силовики схватывались врукопашную. И когда силы ополченцев были на исходе, они *вызывали огонь на себя!* Так поступали герои Отечественной войны.

— Помогите Донбассу! Он *вызывает огонь на себя!* Дайте понять, что Россия не бросит Донбасс! Пошлите знак!

— О многих вещах я не могу говорить открыто.

— Вам не нужно ни о чём говорить. Ступайте в церковь и поставьте перед Спасителем три свечи: две тонкие и одну большую. И когда корреспонденты спросят вас, кому вы поставили свечи, скажите им, что тонкую свечу поставили за упокой — в память о погибших ополченцах; вторую тонкую —

за здоровье, во славу воюющих героев. А третья, большая — та, о которой Иван Калита, собиратель русских земель, сказал: “Чтобы свеча не погасла”, — она во славу и незабываемость Государства Российского.

Президент помолчал и произнёс:

— Я вас услышал, Дмитрий Фёдорович.

Свидание было окончено. Кольчугин уносился из Ново-Огарёва среди вечерних сосняков, чувствуя воодушевление, веря, что встреча с президентом была не напрасна.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дома, в комнатах, озарённых низким вечерним солнцем, он стал собираться в дорогу. О своём отъезде он сообщит дочери из аэропорта, чтобы избежать её протестов и слёз. В потёртый, выдавший виды баул он неумело складывал вещи, раздражаясь и вспоминая, как ладно ложились в баул под руками жены рубахи, свитера, запасная обувь. Бережно поместил пластмассовый пенал с лекарствами, обилие которых вызывало в нём язвительную самоиронию. Спрятал маленькую икону с Николаем Угодником, которую, по настоянию жены, он взял когда-то на Вторую Чеченскую. И вид этой скромной иконы, которая сберегала его в походах, вдруг вызвал в нём острую тоску, страстное желание увидеть жену, её бледное, печальное лицо, всегда одинаковое перед разлукой. Его дурные предчувствия, тайные страхи стихали, когда она обнимала его на прощанье, быстро крестила, торопливо целовала в губы. Теперь эти предчувствия и страхи некому было отвести. И он с горькой безысходностью сидел перед раскрытым баулом. С любовью к той, кого нет, и даже с любовью к той пустоте, которая возникла после её смерти и которую он старался заполнить своим поздним обожанием.

Они прожили с женой долгие годы. Между ними случались ссоры, периоды отчуждения. Его увлечение другой женщиной, когда он в ослеплении хотел оставить семью и когда она, возмущённая, была готова схватить детей и уйти из дома. Изнурительные будни, нескончаемые хлопоты, уход за детьми, уход за больными стариками. Её жалобы на монотонное течение дней, без праздников, без творческих всплесков, когда её поэтическая душа увядала, и она старилась среди домашних забот.

Всё это забылось после её смерти. Её вырвали из его жизни, и она утонула в жуткую даль, и он рыдал ей вслед, укоряя себя и кляня. Но через год она стала к нему возвращаться, преображённая, лишённая многих собственных ей черт, очищенная и просветлённая. Её реальный образ превратился в лучистую икону, на которой открылся её подлинный лик, идеальный и божественно прекрасный. Смерть была иконописцем, и его воспоминания о жене были молитвой.

Теперь, перед отъездом, ему вдруг захотелось ощутить её земное тепло. Поймать губами дыхание. Провести рукой по её стеклянным волосам. Увидеть, как в глубоком вырезе платья белеет её грудь. Почувствовать ладонью, как бьётся её сердце.

Томимый этим невинным желанием, он направился в комнату жены. Не понимая до конца своих побуждений, открыл дверь. Комната была полна синеватых сумерек, и в этой едва уловимой дымке, среди икон и детских портретов, стояла кровать. На этой кровати жена спала, страдала от болезни и умерла в ту мучительную ночь, когда дочь, не касаясь земли, вплыла в его кабинет.

В этой синей дымке витал образ жены, Казалось, она ещё оставалась в комнате, как прозрачная тень, как *лёгкое дыхание*. И можно было страстной молитвой, жарким упованием вернуть её, вызвать из тени.

Кольчугин приблизился к кровати и лёг на то место, какое занимала жена, когда он увидел её мёртвой и держал её остывающую руку. Лёг так, чтобы голова придавила подушку там, где белело в ту ночь большое, с закрытыми глазами лицо жены. Ноги поместил так, чтобы стопы сливались со стопами жены. Он занял место жены на её смертном одре и стал

звать её, воскрешать, молить, чтобы она вернулась, тратя в это молитве всю оставшуюся у него жизненную силу, всю свою слёзную любовь.

Его душа трепетала, сердце жарко билось, слёзы надежды и обожания текли из глаз. И она появилась. Молодая, сильная, в выцветшем цветном сарафане, в который была одета, когда они шли от Каргополя к Киж-горе среди зноя, дурманных трав, проблеска бесщётных слюдяных насекомых. Впереди, как фиолетовый мираж, возникла гора с деревянной разрушенной церковью. И она спросила: “Почему гора фиолетовая?” Он ответил: “Фиолет-гора”. Когда приблизились, то увидели, что склон был в синих цветах и в красной, крупной, созревшей на солнце землянике. Она собирала ягоды, и он видел, как волнуется её сарафан, как блестят на солнце её голые колена. Она протянула ему благоухающую сочную горсть, и он хватал ягоды губами с её ладони, целуя перепачканные соком пальцы.

Он почувствовал, как больно дрогнуло сердце, словно выпало из обоемы. Заколотилось неровно, с перебойми, ударяясь изнутри о грудь. Кровать, на которой он лежал, стала проваливаться, словно в ней открылась дыра. Он стал падать в сырую тьму, как в могилу, увлекаемый слепым ужасом.

Вдруг задержался над бездной и висел на тонких нитях, слыша, как грохочет сердце. Нити, на которых он висел, рвались одна за другой.

— Господи! — простонал он, стараясь удержаться на нитях, которые связывали его с миром, не пуская в могилу. — Господи!

С великим трудом, чувствуя раскалённую боль в груди, он перебрался в кабинет. Позвонил дочери:

— Вера, мне плохо!

— Что с тобой, папочка?

— Мне очень плохо. Сердце.

— Я сейчас приеду. Доктора возьму и приеду!

Те два часа, что дочь добиралась до него из Москвы, он лежал под разноцветным светильником и слушал своё сердце. Оно грохотало, подсакивало, замирало. Опять начинало скакать, словно мяч, отлетающий от стены. Он был весь липкий от пота. Ёдал, когда разорвутся последние нити, на которых висело и дёргалось в груди его сердце. И он умрёт.

Дочь привезла с собой доктора. С брюшком, с золотистой бородкой, он напоминал чеховских персонажей-врачей.

— Стало быть, сердечко себя обнаружило, Дмитрий Фёдорович? Давайте послушаем, какое у нас сердечко, — доктор прикладывал к его груди холодное рыльце трубки, перемещал от соска к рёбрам. — Пугливое у нас сердечко, ох, пугливое.

Он измерил Кольчугину давление, сделал внутривенный укол.

— Подождём до утра, какое будет у вас самочувствие. Если не станет легче, придётся госпитализировать. Мерцательная аритмия опасна тем, что способствует образованию тромбов. А пока постарайтесь уснуть. И в дальнейшем никаких перегрузок! Отключите телефон, телевизор. Даже окна закройте. Вам, Дмитрий Фёдорович, нужен длительный отдых. Увы, вы не мальчик. Нужно жить по средствам, какие оставляет нам природа.

Доктор направился к выходу. Дочь сказала:

— Я отвезу его обратно в Москву. Буду тебе звонить. А утром приеду. А то Тим-Тим у меня расхворался. Какие у меня мужчины уязвимые!

Он остался один и лежал под разноцветным фонарём, стараясь разглядеть среди стёкол изображение медведя, которое однажды явилось ему в детстве, а потом исчезло. После укола и таблеток ему стало легче. Сердце притаилось в груди, как в норе, и лишь иногда испуганно вздрагивало.

Страх прошёл. Это был обычный приступ, который отступал после приёма лекарств и двухдневного отдыха. Завтрашняя поездка казалась возможной. Он будет дремать в машине, будет дремать в самолёте. Работа, которая ему предстоит, мобилизует организм, откроет скрытую кладовую энергии, и он забудет про сердце.

Позвонила дочь, и он постарался её успокоить. Позвонил сын, которому дочь рассказала о его недомогании. Кольчугин был тронут вниманием детей.

Была глубокая ночь, но сон не приходил. Сердце успокоилось. Он перекрестил его у себя в груди и решил выйти в сад — там вольнее дышалось.

Стояла тьма, прохлада. Пахло вянущей листвой, флоксами, ароматами близкой осени. Над вершинами берёз туманно текли звёзды. И он вспомнил, как совсем недавно, в марте, сверкали среди тающих снегов белые стволы, и в розовых вершинах сияла ослепительная лазурь.

Он сел за деревянный стол, над которым рябина свесила отягчённые ягодами ветки. Далеко, едва видимый сквозь деревья, снижался самолёт, приближаясь к Шереметьеву. Уже включили огни, бриллиантами переливались иллюминаторы. Кольчугин вспомнил, как они с женой любовались этими ночными бесшумными самолётами, и жена сказала: “Они похожи на каравеллы, полные драгоценных камней”.

Кольчугин думал, как завтра начнётся его поход, один из бесчисленных походов его жизни. Туда, где бьёт артиллерия, рушатся города и где ждёт его ненаписанная книга. И его молодой герой Николай Рябинин пройдёт сквозь огненные руины...

Замысел книги был неясен, жил под сердцем, как таинственный эмбрион, которому предстояло родиться. Рос, наливался соком, начинал трепетать, колотился в стенки тесного лона. Сердце взбухало, больно ударялось о грудь, словно стремилось наружу. Кольчугин прижимал ладони к груди, удерживая сердце. Но оно, как ядро, ударило изнутри, прорвало грудь, открывая в нём рваную большую дыру. Яростная счастливая сила вырвалась на свободу, молодой восторженный странник покинул тесную обитель и умчался вдаль, оставляя в ночи гаснущий след.

Кольчугин с разорванным сердцем упал головой на стол. Рука его бесильно свесилась. Он лежал под ночной рябиной среди туманного свечения звёзд.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Николай Рябинин, двадцати пяти лет, стремился в мир, сияющий, стоцветный, жадно поглощая зрелища этого необъятного мира. Он желал запечатлеть эти зрелища в своих литературных творениях, остановить бег событий, спасти их от забвения. Его первые художественные опыты напоминали неумелую охоту за бабочками, когда ловец хватает руками сидящий на цветке “павлиний глаз”, а бабочка улетает, оставляя на пальцах фиолетовую пыльцу и кусочек крыла.

Рябинин предлагал свои рассказы и повести в журналы и книжные издательства, неизменно получая отказ. В глянцевах журналах, среди сверкающих автомобилей и целлюлоидных красавиц ему не было места, как не было места и в толстых литературных журналах, напоминавших сумрачные музеи. В издательствах ему отказывали, ссылаясь на увядание литературы, умирание книг, исчезновение читателя. Читателю скучно разбираться в интеллигентских исканиях какого-нибудь унылого филолога или тоскующего музыканта. Издатели ждали книги, которая разбудит сонного читателя, расшвыряет, как взрыв, блеклые повествования худосочных авторов, ознаменует начало новой литературной эпохи.

Такую книгу задумал Рябинин. К такой книге влекла его молодая неутолимая страсть. Таинственный поток, подхвативший его в свою загадочную стремнину. Сама история, коснувшаяся Донбасса своим жестоким перстом, когда каждый удар перста сметал с земли города и посёлки, оставляя полные дыма воронки от снарядов.

Рябинин решил уехать в Донбасс и там, на войне, найти своих героев и написать заветную книгу.

Он был молодым инженером, которого в институте учили строить самолёты. Но его увлечение скоростями и геометрией крыла, теорией воздушного боя и волшебными материалами, лёгкими, как пух, и прочными, как гранит, — эти увлечения растаяли. Они сменились пьянящей сладостью, когда в обычных словах вдруг начинает звучать чудесная музыка, способная повесть о снах, обожании близких, воспоминаниях младенчества и предчувствии будущей смерти. Он складывал слова, и вдруг появлялось видение сиреновой колокольни в сумерках московского переулочка или сизого льда на замёрзшей луже, в которую вморожен красный осиновый лист. Или бабушкиной седой головы, на которую падает бледное апрельское солнце, и он пугается мысли, что когда-нибудь креслице, где дремлет бабушка, останется навеки пустым.

Он оставил своё самолётное дело, огорчив родителей, и отправился странствовать. Как ловец выхватывает из потока ослепительных рыб, так выхватывал он из окружающего мира яркие образы, волнующие впечатления, людские судьбы. Переносил их в свои рассказы, где они замирали, останавливали свой бег, сберегались навеки. Он работал геологом в тувинской тайге, на берегу Енисея, по которому плыли звенящие льдины, и на одной скакала и ржала обезумевшая лошадь. Был послушником в монастыре, обирал яблоки в монастырском саду и видел, как упал ниц под яблоней измождённый монах и, рыдая, целовал землю. Водил туристов в хибинской тундре и чуть не замёрз, когда на спуске с перевала стали ломаться лыжи, и люди комьями валились в долину, а потом брели по морозу под розовой зарей, превращаясь в ледяные скульптуры.

Теперь он устремился в Донбасс. Там была его книга, её простреленные пулями страницы. Он сказал родителям, что собирается в Сочи, к морю. Не сообщил подруге, в какое очередное странствие отбывает. Связался с людьми в Москве, которые собирали добровольцев. Предъявил военный билет офицера запаса, заверив, что умеет обращаться с автоматом и даже держал в руках гранатомёт. И после нескольких встреч и проверок вылетел самолётом в Ростов.

Телефонные звонки, похожие на пароль фразы, ночёвки в пригородных пансионатах. Наконец, молчаливый, сумрачного вида парень привёл Рябинина в дом, где собрались добровольцы, рвущиеся на Донбасс. В обшарпанной комнате пансионата они ждали проводника, который отправит их к границе.

Рябинин оказался в пёстрой компании. Пожалуй, при иных обстоятельствах столь разные люди никогда бы не встретились.

Здесь был молодой чеченец Адам из Шатоя, с рыжеватой бородкой и зелёными тигриными глазами, которые пылали под жёлтыми бровями. Осетин Мераб из Цхинвала, с одутловатыми щеками, заросшими синеватой щетиной. Калмыцкий казак Валерий, с коричневым скуластым лицом и кошачьими усиками. Кубанский казак Лубенко, похожий на Николая Второго красивыми усами и золотистой бородкой. Боснийский серб Драгош, подвижный, вёрткий, с горбатым носом и насмешливыми кривыми губами. Каталонец Аурели, с лиловыми печальными глазами и тихими вздохами. И он сам, Рябинин, уже приступивший к написанию книги.

Он поместил в неё своих новых знакомцев, раздумывая над тем, какую судьбу он им уготовит среди будущих боёв и пожаров.

— Ну, а ты, Лубенко, почему ты поехал? — допытывался Рябинин у кубанского казака.

— Наше дело казачье, военное, — казак пропустил сквозь пальцы золотой шёлк бородки. Он был в казачьем мундире с золотыми погонами. Тёмно-синие штаны с лампасами погружались в щеголеватые сапоги. Грудь усыпали кресты и медали, Бог весть, за какие походы. — Пошел к батюшке. “Благослови, отец Пётр, заступиться за русскую землю”. “Ступай, сразись за други своя. Казак, он и есть воин Христов”. Вот и поехал. Не мог на диване отлёживаться, когда русских в крови топят.

— А ты, Адам?

Чеченец польхнул на Рябинина зелёную глаз и оскалился, цокнул розовым языком.

— Брата моего Доку уккры, суки, убили. У Басаева уккры воевали, ненавидели русских. Снайпер один был, позывной “Палач”. Он брату пулю между бровей всадил. Я сказал: “Мама, поеду кровника отыщу, который Доку убил”. “Поезжай, сынок”. Я их там мочить буду за брата. Я “Палача” отыщу, и уши его в Шатой привезу, — Адам что-то добавил по-чеченски, злое и короткое, как лязг затвора.

— А ты, Мераб? Донбасс далеко от Осетии.

— С грузинами вместе бандеровцы осетин убивали. Моего отца до полусмерти избили. Если поймаю укра, привяжу к дереву и буду бить, пока рёбра ни вылезут. У отца моего рёбра сквозь кожу вылезли. “Поезжай, сынок, найди того, у которого змея за ухом наколота. Он злее всех меня бил”, — на толстых щеках осетина сквозь синюю щетину проступили малиновые пятна.

— Ну, а ты, Валерий? — спросил он у калмыка с кошачьими усиками. — Где Калмыкия, а где Украина?

— Всё рядом. Мой прадед служил в калмыкском казачьем войске. Георгия получил на турецкой войне. Калмыки России всегда служили. И я послужу. Меня атаман отпустил. Сказал: “Если убьют, не бойся. Семью не оставим”. А я не боюсь. Пусть меня бояться, — он хмыкнул, топорща колючие усики.

— Ту Донбасс Америка, НАТО рат... В Донбассе Америка, НАТО воюет, — серб Драгош задвигал острыми нервными плечами. — Америка бомбордовала Сербия. Мостов бомбордовала, путей бомбордовала, децу бомбордовала. Сербия била, мосты взрывала, дороги взрывала, детей бомбила. Америка Милошевича убию, Караджича мучи, Младича мучи. Америка Россию бомбить хочет. Я Америка стрелять буду. Дайте “калашников”, дайте РПГ. Амерички танк подстетитати... — он приподнял руки, будто подкинул автомат, нажимая крючок. Сменил автомат на гранатомёт, наводя его на невидимый танк. Раздул щеки и ухнул, изображая выстрел.

Каталонец Аурели, не понимая по-русски, водил лиловыми глазами, и когда Рябинин обратился к нему: “А ты, Аурели?” — тот певуче зарокотал, зацокал, поднял сжатый кулак и произнёс: “Венсеремос!”

Все они явились из разных мест. Всех подхватил огромный ветер. Ревущий ураган толкал их в будущее. Этим будущим был восставший Донбасс. Этим будущим была его ненаписанная книга. И все, кто находился в этой уютной комнате, ожидая проводника, были героями его книги, героями загадочного грозного будущего.

Часы шли, за ними никто не являлся.

—обеда нет, лепёшка есть, — произнёс чеченец Адам и стал рыться в дорожной кошёлке. Извлёк чистое полотенце, постелил на столе. Вытащил круглую, домашней выпечки лепёшку. Расширяя и сужая тигриные глаза, осмотрел всех и ловко, бережно разломал лепёшку на семь частей. Рябинин почувствовал, как сладко дохнуло хлебом. — Мама пекла. — Адам указал на лепёшку, приглашая всех угощаться. И все благодарно брали ломти, осторожно жевали. Рябинин старался запомнить просветленное лицо чеченца, руки, которые тянулись к хлебу. Думал, как опишет в книге обряд преломления хлеба, в котором все они братались, отбывая на неведомую войну.

Под вечер явился проводник. В грязном камуфляже и стоптанных кроссовках, горбатый, крючконосый, с седой копной волос и колючими глазами, он был похож на колдуна. Ему не хватало лишь филина на плече, и Рябинин подумал, что этот чародей уже знает судьбу каждого, кого поведёт на войну.

— И куда вас несёт нелёгкая? Сидели бы дома, может, до старости бы дожили. — Колдун сверкнул глазами. Пересчитал людей и сверился со списком. Повёл на выход, где стоял подержанный микроавтобус.

— Если остановят, говорите, что едете на ферму, строить коровник. Паспорта не отдавать. Хотя на что они вам, паспорта? — и полез на сиденье водителя.

Автобус катил по Ростову. Город сверкал, кипел, бурлил, как плавильный тигель. Выплескивал раскалённые брызги, шелестел машинами, распаивал витрины, двери ресторанов, стеклянные фасады торговых центров

и знать не хотел о войне. Он хотел торговать, наслаждаться и не замечал крохотный микроавтобус, в котором семеро людей неслись на неведомую войну.

Катили по шоссе, мимо нарядных домов, узорных заборов, магазинчиков с пёстрыми вывесками, мимо строительных рынков и бензоколонок. Промчался навстречу свадебный кортеж с лентами и цветными шарами. Промелькнула дымящая жаровня — шашлычник поворачивал шампур с мясом.

Рябинин смотрел на мелькавшие лица с печальной любовью. В своих хлопотах и страстях они не ведали о нём, не знали, что он покидает их и, быть может, навсегда. Стремится навстречу смертельным опасностям, на неведомую войну, о которой, если останется жив, напишет неповторимую книгу. Он не осуждал этих людей, живущих обыденной жизнью и не замечающих старенький микроавтобус. Прощал им их неведение.

Внезапно автобус шарахнулся, застучал и зашлёпал. Встал на обочине. Водитель, ворча и ругаясь, вылез из машины. Рябинин покинул салон и увидел пробитое колесо.

— Подорвались на mine? — похохатывал казак Лубенко, глядя, как водитель отвинчивает болты. Его щеголеватые сапоги блестели, золотые погоны сияли. Он расхаживал по дороге, желая привлечь внимание тех, кто проносился мимо.

— Отец, давай помогу, — калмык Валерий подставлял домкрат.

— На таком “Мерседесе” до Киева хочешь доехать? — чеченец Адам вытаскивал из багажника запасное колесо.

Кто как мог, все помогали водителю. Косматый колдун, набрасывая ключ на болт, глянул на них сердитыми глазами:

— Боженька вам знак подаёт. Не пускает. А вы, дураки, свою смерть торошите. Обрати в гробах вернёте. Поворачивайте, пока не поздно. Чтоб мамки ваши слёз не лили.

— Да что ты, отец, нас хоронишь! Мне батюшка сказал: “Ступай, послужи Отечеству и матери нашей Православной Церкви”. Казак для войны рожден. “Или грудь в крестах, или голова в кустах”, — так наши деды говорили. — Лубенко молодецкато погладил золотой царский ус.

— Чего говоришь! Если я в Донбасс не доеду и в село вернусь, в меня плевать будут. Мама сказала: “Отомсти за брата”. Мне “калалшников” дайте, гробы хохлацкие пустыми не оставлю, — чеченец Адам обнажил в злой улыбке яркие зубы.

— Имам брата Виктор, — серб Драгош желал объяснить, — е из Воронеж... Братушка Витя был, Воронеж... Борио у Сараево... Воевал Сараево... Пуца из топи офи... Из пушки стрелял точно. Ему пуля сюда, — серб Драгош ткнул себя пальцем в глаз. — Он Сербия помог, я Россия помог... Ти мой брата... Вы мои братушки.

— Никогда на себе не показывай. А то и тебе в глаз запуляют, — получал его калмык Валерий. — Правильно говорю? — обратился он к осетину Мерабу и каталонцу Аурели. Осетин сурово кивнул, а каталонец, не понимая языка, певуче загудел, зарокотал. Поднял сжатый кулак:

— Венсеремос!

Колесо сменили. Все уселись и двинулись дальше. Пригороды кончились, а вместе с ними и многополосная трасса. Затряслись на разбитом асфальте, среди вечерних полей, зелёных, золотистых и розовых. Миновали чахлую рощу и покатали по просёлку среди пыльных бурьянов. В сумерках достигли поля, на краю которого стоял “КамАЗ” и ходили люди.

Колдун заковылял к ним и вернулся назад с человеком, который сильным простуженным голосом произнёс:

— Я говорил Зубатому. Больше пяти не возьму. Мне что, боекомплект выкидывать?

— Я тебе заработок добываю, Колун. Ты “спасибо” скажи, — сердито ответил колдун. — Давайте, сыночки, вылазьте. Теперь вот этого слухайте, а я домой. — Он сел в автобус и укатил, брызнув из бурьяна хвостовыми огнями.

— Слухай сюда, — человек по кличке Колун сделал сгребаяющий жест. Он был в камуфляже, тяжёлых бусах. В сумерках его лицо казалось бес-

форменной глыбой. — Дорога часов шесть, как придётся. “КамАЗ” без брезента. Если что, через борт сигайте, и дёру от машины. А то накроет. Сидеть будете на боекомплекте. Одно попадание, и яйца ваши по степи собирать. Не курить. Укры в засаде вас по сигаретам вычислят. Снайперы. У меня всё.

— Оружие где дадут? — спросил Лубенко. — Чем отбиваться?

— Я все сказал, — Колун повернулся и двинулся к “КамАЗу”.

Адам отошёл в сторону. Достал с груди платок, постелил на землю, ступил на него и стал молиться.

Рябинину казалось, что молитва чеченца колеблет тёмные травы, раздвигает сумрак, порождает трепет зари. Ему чудилось, что над молящимся начинается брезжить лазурь. В эту лазурь неслись бессловесная хвала Творцу, который привёл их в ночную степь, вырастил в степи травы, зажгёт зарю. Кто ведёт их на войну и не оставит в минуту опасности, а в минуту смерти унесёт их души в лазурь.

Рябинину хотелось устремить свою молитву в открывшееся над головой Адама пространство, соединить свое моление с его чеченским молением, сочетаться с ним немеркнувшей зарей, вянущими травами, негасимой лазурью. Тронув натальный крест, он молился, сливая свою молитву с молитвой чеченца. Верил, что оба они неразлучны в лазури.

— В машину! — рыкнул провожатый. И все повскакали в кузов.

— А где Украина? — спросил Рябинин, пробегая мимо предводителя.

— Считаю, ты уже в Украине.

Грузовик катил по бездорожью, с робким светом подфарников. В кузове было тесно, сидели плечом к плечу. На кочках постукивали зарядные ящики — то ли с минами, то ли с танковыми снарядами. Рябинин чувствовал рядом плотное тело осетина Мераба, которое то наваливалось на него, то отстранялось. И эти колыханья, трясенье снарядов, ямы и бугры бездорожья были тревожными ритмами, которыми встречала их воюющая земля.

Стояла ночь, только на западе слабо синела заря. Ветер летел из степи, и Рябинин чутко вдыхал, стараясь по запахам, словно зверь, угадать, что скрывает окрестная тьма. Пахло сыростью и тлением, когда грузовик ухал в водяную рытвину. Пьяно, вызывая лёгкое жжение ноздрей, благоухали раздавленные стебли полыни. Вдруг налетали сладкие медовые ароматы, где-то рядом пропыхивало поле подсолнечника. Иногда ему мерещился запах дыма — то ли мирного домашнего очага, то ли далёкого пожара.

Рябинин с нежностью и виной думал об оставленных в Москве родителях, которые в этот час собрались в столовой под абажуром и говорят о нём, не ведая, что он трясётся на зарядных ящиках в кузове “КамАЗа”, идущего по ночной степи, думает о них, и мысли их встречаются где-то над макушками подсолнухов. Думал о подруге, о её насмешливых зелёных глазах, розовых нежных ладонях. Он прижимал их к губам, целовал её “линию жизни”, и она со смехом говорила, что его поцелуй продлевают ей жизнь.

Впереди у дороги зажглись два красных рубиновых огонька. Исчезли. Снова загорелись чуть в стороне. Рядом зажглись два зелёных, изумрудных. Переливались, вздрагивали и погасли. Их сменили золотые, страстные и трепещущие. Грузовик встал. Огней становилось больше. Они менялись местами, метались, поднимались в небо, текли, создавая мерцающие узоры, как таинственные светляки, загадочные духи, растревоженные появлением чужаков. Из кабины высунулся провожатый Колун. В его руках тускло блеснул автомат.

— Собаки, мать их ети. Стаями, суки, бродят. Села разбомблены, народ убежал, а собаки остались. Стаями рыщут. Где падаль найдут, там и жрут. Где-то здесь, видать, трупы валяются.

— Так и нас сожрут, не дай Бог! — это произнёс Лубенко, и в голосе его была дрожь.

Водитель включил фары. Серебром полыхнула трава, и множество гибких тел, красных языков, ненавидящих глаз метнулись прочь и исчезли в ночи. Свет погас, грузовик продолжил движение.

Ехали час или два по белёсому, мучнистому просёлку, который слабо светлел в ночи.

Рябинин вдруг уловил кислый запах гари, ядовитое зловонье сгоревшей резины. “КамАЗ” остановился возле чёрной бесформенной груды, от которой исходило зловонье. Провожатый встал из кабины.

— Так вот он куда заделался, Горыныч! Здесь его ждали укры!

Рябинин угадал в рыхлой бесформенной грудке остов грузовика. Просев на ободах, лишённый кузова, с раскрытым капотом, грузовик был изучен ударом, сожжён огнём. Он источал кислый и тёплый запах ржавчины, липкую вонь сгоревшей резины и тонкие сладковатые запахи яда разложившейся плоти.

— “Спелый”! “Спелый”! Я — “Колун”. Ответь! — провожатый гудел в рацию, перебросив на локте автомат.

— Куда они нас завезли? Подстава какая-то! — жалобно воскликнул Лубенко.

— “Спелый”! “Спелый”! Я — “Колун”! — хрипел в рацию провожатый.

Рябинин почувствовал страх — ноющей грудью, замерзшими вдруг лопатками, плечом, которым касался соседа. Через это плечо его страх передавался соседу и возвращался обратно. Страх был общим. Все смотрели в одну сторону — на взорванный грузовик.

Рябинину казалось, что в чёрном остове, среди разорванного железа и зловонной резины притаилось чудище, косматое, как взрыв, свирепое, кровожадное, готовое с рёвом вырваться, наброситься на добычу, сгрести когтями и, чавкая, изжевать и выплюнуть, как выплонуло этот растерзанный грузовик.

— Я — “Колун”! Я — “Колун”!..

— Что здесь было? — спросил Рябинин.

— А то и было, что укрупы грузовик раздолбали с такими же, как вы, охламонами. Здесь по степи укрупские диверсанты шастают. Одну грушпу наши сгребли, штаны с них спустили, автоматы приставили и дали очереди. Теперь укры наших ловят.

— Господи, помилуй! — тихо ахнул кубанский казак Лубенко.

В стороне, догоняя друг друга, полетели красные угольки, метнулись бесшумные белые иглы. Через мгновение донёсся стук автоматов, хрустящие очереди. Польшнул далёкий взрыв.

— А ну, вертай назад! — крикнул провожатый водителю и скрылся в кабине. Грузовик рванулся, круто повернул и помчался, подпрыгивая на ухабах. Все обратились лицом в степь, где шёл бой, летели трассёры, стучали очереди, дергалось пламя взрывов.

Грузовик удалился от места боя и встал. Провожатый вылез из кабины и пошёл осматривать обочину, светя фонариком. Вернулся, сказал, обращаясь к шоферу:

— Пойдём левее. Там топь, туда никто не суется. Только сам не утопни. А то тебя укры из болота за яйца вытащат.

Завели мотор. Грузовик стал осторожно переезжать рытвину. Лубенко вскочил и что есть мочи заколотил по крыше кабины.

— Чего тебе? — вылезла голова провожатого.

— Стой, я сойду! Не поеду!

— Дура, куда пойдёшь? В болоте утопнешь!

— Всё равно уйду! Не могу! — он стал перелезать через борт.

— Ты куда, собака? Ты, казак, икону целовал! — калмык Валерий старался схватить его за рукав.

— Не держите! Не могу! Чую, что убьют!

— Тебя и так убьют, или кобели разорвут.

— Не могу! Не судите! В монастырь уйду, у Бога прощенье вымолю. А сейчас не могу!

Лубенко спрыгнул на землю, махнул рукой — то ли прощался, то ли отмахивался — и исчез в темноте. Слабо блеснули его золотые погоны.

Чеченец Адам плонул ему вдогонку.

Продолжали катить в ночи. На Рябинина навалилась сонливость. Он то клонился на плечо Мераба, то испуганно вздрагивал на ухабах. Уснул, уронив голову к коленям. И ему, под стук зарядных ящиков, приснился подмо-

сковный осенний лес, по которому они идут с подругой, и она о чём-то ему говорит, о чем-то восхитительном и прелестном.

Проснулся, когда было светло. Грузовик стоял на шоссе перед бетонными брусками. К машине шли ополченцы. Один в зелёной, лихо повязанной косынке, с курчавой бородкой, с автоматом на голом плече, где синела татуировка экзотического дракона. Другой — с косматой щетиной, в каске и распахнутой куртке, под которой пестрела тельняшка.

— Здорово, Колун!

— Здорово, Валет! Здорово, Морпех!

Они обнимались, похлопывали друг друга по спинам. Отошли и курили, о чём-то переговариваясь.

Рябинин, очнувшись от сна, рассматривал блокпост: вырытую на обочине траншею, мешки с песком, из которых торчал пулемёт. У соседних строений были проломлены стены. В саду среди яблонь стоял БТР.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Донецк, по которому катил “КамАЗ”, был солнечный, сверкающий, праздничный, с чудесными скверами, искристыми фонтанами, ухоженными фасадами. Среди сталинских колоннад и пышных фронтонов драгоценно мерцали супермаркеты и развлекательные центры. Былолюдно, катили машины. За чугунной оградой сквера краснели розы. Рябинин удивлялся, тот ли это город, который подвергается ударам с земли и воздуха, отражает атаки отборных войск Украины. Но, вглядываясь внимательней, замечал фасады с уродливыми проломами, дома с зияющими проломами вместо окон, над которыми, как косматые брови, чернели кляксы копоти. Среди разноцветных автомобилей возник грузовик с вооружёнными ополченцами. Следом прокатил гусеничный тягач с пушкой на прицепе. В холёном “лендровере” за рулём находился человек в камуфляже, на заднем сидении теснились три автоматчика. И время от времени где-то далеко за домами раздавались глухие удары, будто забивали сваи.

Город напоминал Рябинину спелое яблоко, которое слегка надкусили: на глянцевитой, алой поверхности виднелся след от зубов дракона.

— “Козерог”! “Козерог”! Я — “Колун”! Привёз пополнение. Куда теперь двигать? — провожатый поднял голову из кабины, дышал в рацию. Его лицо, похожее в темноте на булыжник, теперь казалось мужественным, суровым. Рука, сжимавшая рацию, была в перчатке без пальцев. В движениях присутствовала тяжёлая грация. — Понял тебя, “Козерог”! На площадь, на площадь! Скажи своим в оцеплении, чтобы нервы не мотали!

“КамАЗ” проник сквозь оцепление и выкатил на площадь, просторную и сияющую, окружённую помпезными фасадами. Было множество народа — шёл митинг, — развевались знамена, гремела музыка. Ленин на постаменте возвышался над трибуной, плотный, упорный, незыблемый. Площадь приветствовала “КамАЗ” радостным гулом.

Все, кто находился в кузове, поднялись в рост и стояли, наблюдая за площадью.

Над толпой реяли флаги. Много красных, с серпом и молотом. Российские триколоры с золотыми орлами. Андреевские — с голубыми крестами. Чёрно-золотые — имперские. Были алые флаги с синим Андреевским перекрестием — символы новой республики. Были красные хоругви с ликом Спасителя. Полотнища колыхались. Гремели песни. “Комбат, батяня”, “Я люблю тебя, Россия”, “Вставай, Донбасс”.

Калмык Валерий, глядя на площадь, радостно крестился. Серб Драгош крутился во все стороны, изображая пальцами знак победы. Каталонец Аурели воздел сжатый кулак.

Рябинин обнимал взглядом площадь, вслушивался в знакомые и незнакомые песни. Эта солнечная площадь была наградой за ночные страхи и дурные предчувствия. Он влился в это плещущее многолюдье. Здесь он был среди своих, среди братьев, был готов сражаться, был непобедим.

К “КамАЗу” протиснулся худой ополченец с длинным смуглым лицом и играющими глазами. Зелёная косынка “бандана” придавала ему сходство с корсаром. На нём был жилет с множеством карманов, из которых торчали рожки автоматов, гранаты, рация, пакеты, флаконы. На ремешке висел “стечкин” в лакированной щегольской кобуре. На груди красовался бант из георгиевской ленты.

— Здравия желаю, — он козырнул прибывшим. — Я Козерог, командир батальона “Марс”. Поступаете в моё распоряжение. Здесь, на митинге, получите оружие. Потом на базу. А вечером — в бой. Как с парада сорок первого года. Следуйте за мной.

Все соскочили на землю, протискиваясь за командиром туда, где близко к трибуне выстроилась цепь ополченцев. В пятнистом камуфляже, поблескивая автоматами, в стальных касках, они были похожи на тритонов. Рябинин, стараясь запомнить удачное сравнение, встал в строй.

На трибуне толпились военные и гражданские, все с георгиевскими лентами на груди. Выступал плечистый, бритый наголо военный, с рыжей косой бородой, скрывавшей глубокий шрам. Этот шрам мешал ему говорить, и он с силой выталкивал причинявшие ему боль слова:

— Товарищи, я офицер российской армии, прошёл Чечню, навоевался, но приехал сюда, воевать за родной Донбасс! Я командир батальона “Аврора”, позывной “Курок”. Говорю вам от имени шахтёров и металлургов пролетарского Донбасса! Наше восстание взрывает тюрьму, в которую превратили мир проклятые банкиры и олигархи! Революция, которую мы совершили, — это долгожданная весна всего человечества! Выстрелы наших пушек слышит земля, как слышала она выстрел “Авроры”! Мы строим государство трудового народа, сбросив с плеч миллиардеров, воров и бандитов! Мы возвращаем народу шахты, железные дороги и заводы, которые построил великий Советский Союз! Мы сражаемся и гибнем под пулями карателей не только за Донецк и Луганск, Макеевку и Красный Лиман! Мы сражаемся за всю Новороссию с нашими цветущими городами Николаевом и Одессой, Днепропетровском и Запорожьём, Мариуполем и Харьковом! Но не только за Новороссию — за всю родную Украину, которую захватили в свои когтистые мохнатые лапы бандеровцы и фашисты! Мы сражаемся за весь земной шар, за всё человечество, которое вслед за нами ломает стены мировой тюрьмы! В наших донецких степях началась мировая революция! Ополченцы, поджигающие танки на окраинах Донецка, зенитчики, сшибающие на землю кровавых фашистских лётчиков, медсёстры, бинтующие раны наших героев, — они спасают не только родные дома и родные могилы, но и всё человечество! Да здравствует Новороссия! Да здравствует Советский Союз!

Рыжебородый комбат произнёс свою бурную речь и в изнеможении отступил в глубину трибуны.

Площадь ликовала. Кольхались знамёна, особенно много было красных, пламенных, со звездой и серпом и молотом.

Рябинин восхищённо внимал. Оратор угадал его чувства, нашёл для них огненные слова.

Рябинин оставил свой дом, милых родителей, любимую девушку, чтобы участвовать в этом весеннем походе. Сражаться и, если придется, сложить свою голову за великую идею земли.

Он видел лица в толпе. Тяжёлые, утомлённые трудами на заводах и в шахтах, в окалине и угольной пыли, эти лица вдохновенно светились, словно из-под насупленных бровей их глаза углядели чудесную мечту, которая вдруг открылась среди беспросветных трудов и унылого течения дней. Преображенные, они уже не расстанутся с этой мечтой, за которую будут биться, вступая в ряды батальонов.

К микрофону шагнул седовласый человек в очках, в камуфляже, грубых ботинках, с автоматом через плечо, с таким же георгиевским бантом на груди.

— Я обыкновенный школьный учитель. Преподавал детям русский язык и русскую литературу. Мы читали Пушкина, Гоголя, Есенина, Толстого.

Все эти великие русские художники учили добру, красоте, справедливости. Они воспевали природу, проникали в тайны человеческой души, объясняли, как душа связана с Богом. На русском языке говорили великие подвижники, философы, полководцы. Полагают, что русский язык был создан, чтобы на нём разговаривали Ангелы. И этот божественный язык, язык моих предков и моих потомков, язык, которым на могильном камне напишут моё имя, — этот язык хотят украсть киевские изуверы. Хотят отнять у меня мои русские мысли и мои русские чувства. Хотят духовно меня убить. Вот почему я оставил школу, взял автомат и теперь собираю батальон под названием “Пушкин”. Мы воюем за русское дело, за русское слово, за Тютчева, Блока и Шолохова, за государство свободных русских людей — за Новороссию! И государство наше будет русским в том смысле, в каком понимал это Пушкин. Русский — значит, всемирный, открытый миру. Мы предложим миру нашу русскую любовь и справедливость, русскую доброту и божественную красоту. Мир, покорённый бездуховными злодеями, тоскует по русской правде.

Он тряхнул сединами, подбросил на плече автомат, поправил очки и отступил. Площадь ликовала. Люди тянулись руками к сцене, словно обожали его. Рябинин ликовал вместе со всеми. Он пришёл сюда воевать за Пушкина, за Тургенева, который воскликнул: “О, великий, могучий и свободный русский язык”!

В толпе, среди икон и хоругвей, он заметил странного знаменосца. На голове его был вязаный чепец с георгиевской лентой. Лицо было красное, словно ошпаренное. Одет он был в разноцветные, одна на другую, рубахи и кофты и был похож на лоскутную бабу, которую ставят на чайник. В руках он держал шест, на котором развевались цветные ленты и позванивали бубенцы. Иногда он встряхивал шестом, пританцовывал, кружил на месте, напоминая шамана или африканского жреца. Всё, что происходило на площади, волновало его. Он воздевал свой шест, стараясь поднять его как можно выше. Ему не мешали, видно, он был неизменным участником подобных торжеств.

Теперь со сцены вещал батюшка в чёрном подряснике, поверх которого был надет разгрузочный жилет, из карманов торчали автоматные магазины. Борода у батюшки съехала на сторону, словно её смёл ветер. Из-под военной картузы виднелась тугая косица. На груди сиял крест.

— Братья и сестры, спросим себя, чего хотим мы, оставившие свои очаги, рабочие места, служение в учреждениях и даже в храмах? Мы толком не ответим, но все сойдёмся на том, что хотим жить в стране, где все поступают по совести. А что есть совесть? Это звучащий в душе голос Божий. Значит, мы хотим жить в стране, построенной по Закону Божьему. А Закон Божий есть божественная справедливость, которая соединяет человека с человеком, человека — с народом, народ — с государством, а государство — с Господом Богом. Из Новороссии свет Православия хлынул когда-то по всей Руси и превратил Россию в Святую Русь. Отсюда, от нас, пошла православная империя, и теперь, от нас, она вновь возродится. Но нет империи без императора, и здесь, в Новороссии, уже присутствует среди нас будущий Государь Император. Может, он танкист, а может, артиллерист, а может, комбат. Сейчас он не виден, но скоро откроется. И когда нас станут спрашивать, за что мы воюем, мы твёрдо ответим: “За Веру, Царя и Отечество”!

Площадь ликовала. Страстно волновались красные знамёна с серпом и молотом. Колыхалась хоругвь со Спасом. Плескалось георгиевское полотнище. Звенели бубенцы на шесте шамана. Все были едины, нераздельны и неразлучны. И Рябинин был принят в это восхитительное братство.

На сцену поставили ящики, в которых лежали автоматы. Говорил комбат Козерог в пиратской косынке, с красочным “стечкиным” на бедре.

— Граждане свободного Донбасса! Сегодня, на этой праздничной площади, мы отмечаем рождение батальона “Марс”. В нашу вольную донецкую степь бандеровские поджигатели принесли чёрный огонь войны. Они хотят превратить в пепел наши города, наши заводы и шахты, нашу свободу! Но мы отвечаем встречным огнём, алым огнём Победы! И этот праведный огонь

Победы батальон “Марс” понесёт по всей Украине, до Киева и до Львова! Не все из нас пройдут парадом по Крещатику, но имена героев золотом засверкают на монументе Свободы, который мы воздвигнем на Саур-Могиле, рядом с монументом Великой Победы! Бойцы батальона, сегодня на этой площади вы получаете в свои руки оружие! Перед лицом ваших братьев клянитесь, что не выпустите из рук автомат, даже если в сердце вам вопьётся пуля врага! Оружие, которое вы получаете, свято! На нём не остыло ещё тепло тех рук, что водружали над Берлином знамя Победы!

Козерог отдал честь, приложив к косынке заострённую ладонь. На трибуну стали подниматься новобранцы, и комбат передавал каждому автомат, перед этим целуя оружие. Новобранец принимал из рук командира “калашникова”, произносил “Служу Донбассу” и возвращался в строй.

Когда Рябинин поднялся на помост, и комбат поцеловал ствол и протянул ему автомат, в окружении ликующей толпы, родных лиц и плещущих знамён он испытал мгновенный восторг. В сердце хлынул свет. Он обожал своего командира. Обожал людей с прекрасными одухотворёнными лицами. Обожал эту землю, которую пришёл защищать и на которую, быть может, упадёт, не выпуская из рук оружия.

Автомат был близко, у самых глаз. Его ствол утратил воронёный оттенок, а цевьё и ложе были белесыми от прикосновений чьих-то горячих и страстных рук. Рябинин прижал к губам автомат, поцеловал его тёплую сталь. Он слышал, как площадь восхищённо откликается на его поцелуй.

Вернулся в строй. Увидел, как чеченец Адам стиснул автомат, и в его зелёных глазах заплескало солнце.

Он слушал ораторов, воображая, как опишет в книге этот красочный митинг.

По площади вдруг пронёсся ропот. Люди обращали лица к небу, указывали куда-то в синюю высь.

— Прилетел, сучий глаз! Значит, будут бомбить, — произнёс ополченец в каске, поднимая вверх обмотанную бинтом руку.

— Этот паук, значит, гаубицу наводит. А если летучая мышь, то авиацию, — второй ополченец в казачьей папахе с красным верхом задрал к небу седую бородку.

Рябинин стал смотреть туда, куда смотрела вся площадь. Высоко, похожий на паучка, реял беспилотник. Его плотное тёмное тельце, окружённое лапками, покачивалось и пульсировало, медленно перемещаясь над площадью.

— Мочить его! Бей ему в глаз!

Ударил автоматная очередь. Другая, третья. В небо полетели бледные трассёры, колочие росчерки очередей. Автоматные стволы тянулись вверх, грохотали. Острые пунктиры мчались к беспилотнику, исчезая в солнечных лучах.

Чеченец Адам подбросил ствол, раскрыв у прорези сверкающее зелёное око, и выпустил долбящую очередь.

Рябинин прицелился в скользящего паучка и ударил с весёлой торопливостью, чувствуя, как рвётся в руках автомат, как пули уносятся ввысь, сливаясь с вихрем других очередей.

Паучок, покачиваясь, уклонялся от пуль, а потом вильнул и скрылся за крышей пышного, с колоннами, здания. Ему вслед летели гаснущие, запоздавшие трассы пуль.

Рябинин опустил автомат, в котором замирали биения. Между ним и оружием установилась тайная связь. Они принадлежали друг другу. Автомат был его, Рябинина. А он, Рябинин, был его, автомата.

Митинг завершился. Толпа, колыхая знамёнами, уплывала с площади. Новобранцы грузились в “КамАЗ”. Рябинин видел, как светилось лицо осетина Мераба, ласкающего автомат. Как страстно оглядывал ствол и приклад серб Драгош. Как Аурели прижимал к груди подержанный “калашников”.

Раздался высокий шипящий свист, и страшно, трескуче грохнуло. На фасаде пышного дома среди колонн взбухла стена, из неё польхнул огонь, вырвался дым, и вслед за дымом стали рушиться камни, лепнина, и открылась дыра, в которой что-то дымно мерцало.

Толпа истошно взывала, взревела, со стоном и криками побежала, будто её сметал свистящий вихрь. Люди падали, роняя знамёна.

Рябинин испытал ужас, слепое безумие. Ему показалось, что треснула огромная кость, и земля вместе с людьми и домами проваливается. Он попытался перепрыгнуть борт грузовика и бежать.

Снова шипящий свист и страшный удар в отдалённый угол площади. Брызнул огонь, чёрные ошметки асфальта. Сизый дым повалил из земли, как из адской пробоины.

— Беспилотник навёл артиллерию! — произнёс ополченец в казачьей папахе. — Тикать отседова!

Рябинин стоял в кузове, забыв про свой автомат. Смотрел на пустую площадь, на которой одиноко и дико танцевал колдун с разноцветным шестом. Развевались нарядные ленты, гремели бубенцы, и колдун счастливо смеялся.

Рябинин катил в грузовике среди зелёных скверов и сверкающих фонтанов, прислушиваясь к отдалённым гулким взрывам.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Их привезли к сумрачному зданию, окружённому бетонным забором. На заборе грубой краской было начертано: “Слава Донбассу!” “Вперёд, на Киев!” У железных ворот лежали бетонные блоки, мешки с песком, стоял караул. Грузовик проехал в ворота. Сгружались, стучали подошвами, гремели автоматами. Комбат Козерог построил отряд:

— База батальона “Марс”. Здесь мы спим, едим. Отсюда идём воевать. Разберитесь по койкам. Потом обед. Потом получите форму. Оружие не сдавать. Спим с автоматом. Пока всё. Разойдись.

У входа, на каменных ступенях стояла женщина. Немолодая, в косынке, в долгополой юбке, с загорелым увядшим лицом, на котором печально и тихо светились голубые глаза. Она смотрела на проходивших мимо неё новобранцев и, казалось, жалела их и печалилась. Рябинин вспомнил похожее выражение на материнском лице, когда она наклонялась над его детской кроватью, целуя в горячий от жара лоб.

Он последним вошёл на ступени. Женщина спросила его:

— Вы откуда, сынки?

Она спросила так, как спрашивают женщины, когда на перроне, в толпе солдат ищут одного-единственного и не могут найти. Это женское, вековое, горькое тронуло Рябинина, и он произнёс:

— У вас такое красивое, родное лицо. Спасибо, что нас встречаете, — и вошёл под тяжёлые своды казармы.

Пахло карболкой. Стены были покрашены грязно-зелёной краской. В просторном сумрачном помещении стояли железные койки и тумбочки. Для новобранцев оставались не застеленными шесть кроватей. На голых пружинах стойкой лежало бельё и свёрнутый в рулон тощий матрас.

Стелились. Надевали сырые наволочки на жёсткие подушки. Клади поверх одеял автоматы. Рябинин осматривал безотрадное пространство казармы, и только в дальнем углу на тумбочке, утешая взгляд, стояла большая икона Богородицы. Перед ней светилась малиновая лампадка. И сюда доносились далёкие глухие удары.

— Обед! — крикнул появившийся в дверях толстяк в камуфляже, — Я зам по тылу Густой. Набьёте пузо — ко мне, на склад. Получите форму. Заплат не считать — пальцев не хватит. Модельеров нема. Слухай меня. Теперь вы все донецкие. А Донецк хоть и не первый город в мире, но и не второй. Донбасс своё возьмёт, где бы оно ни лежало, — он хмыкнул, давая понять новобранцам, что теперь их благополучие напрямую зависит от его расположения к ним.

Столовая помещалась рядом. Длинные столы, лавки. Окно в стене, сквозь которое подавали порции. Ополченцы алюминиевыми ложками из пластмассовых мисок хлебали борщ. Брали с подноса крупно нарезанный хлеб. Рябинин встал в очередь, видел, как забирают миски осетин Мераб,

каталонец Аурели, и бережно, боясь расплескать, несут к столу. В окне появилось знакомое, загорелое, с голубыми глазами лицо. Полная женская рука с половником черпала из большой кастрюли борщ, наполняя пластмассовые миски. Когда очередь дошла до Рябинина, женщина посмотрела на него из окна, куда-то скрылась. Вернулась, взмахнула половником и выставила большую фаянсовую миску, полную дымящегося борща. Миска была покрыта ярким узором, птицами, цветами и ягодами. Она казалась драгоценной среди бесцветных пластмассовых посуды. Рябинин изумленно взглянул на женщину. Та молча, печально улыбнулась и кивнула ему.

— Ты ей, вроде, понравился, — усмехнулся калмык Валерий, разглядывая волшебных птиц, сверкавших глазурию. — Из такой есть вкуснее.

— Он писатель, ему положено, — сказал Адам, блеснув зелёными глазами.

Все посмеивались. Драгош прижал к виску два пальца, отдавая Рябинину честь. Аурели снял перед Рябининым несуществующую шляпу.

— Дураки, — произнёс немолодой, с небритым лицом ополченец, у которого кромки век под ресницами были в несмываемой угольной пыли. — У Матвевны три недели назад сына убило. С нами воевал. Она ему из дома тарелку принесла, из неё его кормила. Три недели этой тарелки не видел, а теперь появилась. Значит, Матвевне полегче стало.

Рябинин ел солдатский борщ, видя, как смотрят на него из окна выцветшие голубые глаза. И возникло странное чувство, что в нём, наряду с его собственной душой, поселилась ещё одна. Немолодая горящая женщина своими голубыми глазами возложила на Рябинина таинственное бремя: она увидела в нём погибшего сына.

Он закончил обедать, да и весь обед состоял из одного-единственного блюда. Подошёл к крану с водой и вымыл миску, глядя, как сверкают глазурированные райские птицы и волшебные цветы. Вместе с ним этот узор разглядывали другие глаза, таящиеся в глубине его собственных глаз.

Отнёс миску к окну:

— Спасибо, Матвевна. Очень вкусно.

— На здоровье, сынок, — слабо кивнула женщина.

Новобранцы потянулись на склад. Зам по тылу Густой выхватывал из пятнистого вороха стиральные и неглаженные рубахи и брюки и совал новобранцам.

— Ремень достань сам. Разгрузку — сам. Чепчиков нема. Касок нема. Обувка по ноге, — он плюхал на пол стоптанные тяжеловесные ботсы.

Рябинин получил комплект обмундирования. На рубахе, у нагрудного кармана, обнаружил аккуратную штотку. Чья-то старательная рука зашила отверстие, пробитое в камуфляже.

— Чего смотришь? — Густой поймал его взгляд. — Пуля два раза в одно место не бьёт. Носи заместо бронежилета — целее будешь.

Рябинин унёс обмундирование в казарму. Облекаясь в мятую, пахнущую прачечной рубаху, чувствовал слабое жжение под левым соском.

Ещё одна неведомая душа вселилась в него, и теперь он станет приютом для двух незнакомых душ, которые продлят в нём своё существование.

Новобранцы сменили своё пёстрое, разношёрстое платье на одинаковую, пятнисто-зеленую форму. Слились с другими бойцами, составлявшими костяк батальона.

К ним подошёл комбат Козерог в своей пиратской косынке “бандане”, с кобурой пистолета. Протягивал руку к одному, к другому. Одёргивал рубаху, расправлял складку. Этим заботливым командирским прикосновением приобщал новобранцев к военному братству, соединял их с собой незримой родственной связью.

— Забудьте, как вас звали до сего дня. Выходим на связь, по мобильнику или по рации, и никаких имён, только позывные. Украинцы прослушивают все разговоры. Вычислят, где вы и кто. Ты испанец? — он обратился к Аурели. — Будешь Сеньор. Понятно? Ты — Сеньор.

— Сеньор, — кивнул Аурели, ткнув себя в грудь.

— Ты серб? Так и будешь Серб. “Серб! Серб! Я — Козерог! Как слышишь меня? Приём!” — Козерог прижал к губам воображаемую рацию.

— Я Серб! Хорошо, хорошо! — Драгош, принимая игру, ответил в несуществующую рацию.

— Ты будешь Бритый, — Козерог легонько коснулся синей щетины Мераба. — А ты кто? Калмык? Так и будешь Калмык. Хороший позывной, энергичный. — Тебя как зовут? — спросил он чеченца.

— Адам.

— Оставайся Адамом. Тебе позывной сам Господь Бог придумал. Ну, а ты? — Козерог обратился к Рябинину. — Будешь Рябина. Нечего мудрить. У нас тут много деревьев, целый лес.

Новобранцы теснились на двух кроватях. Комбат дал им новые имена, как монахам, принявшим постриг, присваивают новое имя, чтобы в новую жизнь из прежней они не брали ничего — ни имени, ни судьбы.

— Теперь о войне. У вас боевого опыта — ноль. На первых порах будете рядом со мной. Взвод охраны. Стану вас натаскивать постепенно. Фильмы про войну забудьте. Лобовых атак не будет. Война миномётов, установок залпового огня, танков. Укры выжигают территорию “Градами”, затем утюжат танками, потом зачищают пехотой. Главное для нас — зарываться в землю и менять дислокацию. В плен не сдавайтесь — замучают, как в гестапо. Последнюю пулю себе. Остальному научитесь.

Наставления комбата сопровождалась отдалёнными глухими ударами, словно падали пустые железные бочки. Звук перекатывался, медленно угасал в толще города.

— Через пару часов выдвигаемся. Суть операции. Вы слышите, как бандерлоги долбят по городу? Снаряды ложатся вслепую, где в школу, где в клинику. Их батареи расположены в районе аэропорта. Аэропорт штурмует батальон “Восток”. У них и силы, и средства. У нас для штурма аэропорта пока не хватает сил. Разведгруппа доложила, что одна самоходная гаубица, “Акация”, стоит в стороне, в лесопосадках, со слабым охранением. Задача — подавить гаубицу. Взорвать её к чёрту, а лучше захватить. У батальона “Марс” нет тяжёлого вооружения, только миномёты. Будем собирать бронегруппу. Брать трофейные БТРы и танки. Будем копить артиллерию. Эта самоходка — первая. Для вас это боевое крещение. Самим никуда не соваться, только со мной. Задача понятна?

— Так точно, — Калмык нервно топорщил колючие усики. В петлице его камуфляжа уже красовался чёрно-золотой георгиевский бант.

— Теперь о главном, — Козерог переждал, пока очередной отдалённый удар не погаснет в каменной толще. — Вы не наёмники, не “солдаты удачи”. Вы добровольцы, и вместо денег будете получать патроны и кашу с тушёной. А если ранят, то повязку и тампон в медсанбате. А если убьют, то вечную славу героя, воевавшего в добровольческом батальоне “Марс”.

— Почему назвали “Марс”? — спросил Бритый, почёсывая синюю осетинскую щетину.

— Козерог, как вы стали комбатом? — Рябинин испытывал к этому хутому, с провалившимися щеками командиру острый интерес. В комбате что-то трепетало, дрожало, что-то огненное, палящее, что жгло окружающий мир и сжигало его самого.

— Спрашиваете, откуда “Марс”? Откуда Козерог? А был я когда-то, до всего этого, молоденьким архитектором в космическом центре, в Днепропетровске. Работал над программой “Марс”. Существовала такая великая программа, когда красный Советский Союз хотел присоединить к себе красную планету. Россия строила ракету “Энергия”, конструировала транспортный корабль “Буря”. А мы, на Украине, проектировали марсианский город. Марсианские квартиры со всеми удобствами. Марсианские сады с фонтанами и клумбами. Марсоходы, похожие на старинные кареты с атомными двигателями. Марсианские леса, в которых станут жить марсианские олени и гнездиться марсианские дрозды. Но главной нашей заботой был марсианский человек, который станет жить в марсианском городе, гулять в марсианских рощах, наблюдать в марсианские телескопы за галактиками. В нашу группу входили архитекторы, знатоки мировой архитектуры. Энергетики, создающие новые источники жизни. Садоводы, отбирившие семена для будущих

марсианских цветников. Там были психологи, антропологи, врачи. Возглавлял всё это направление могучий человек, который, будь он среди нас, получил бы позывной Великан. Он хотел, чтобы в марсианском городе сложилось людское братство, какого не было на Земле. Чтобы в этот город попадали люди *светлого образа*. Помимо ума, находчивости, деловитости, они были бы добры, бескорыстны. Исповедовали благоговение перед человеком, перед цветком, перед звездой, перед всем мирозданием. Он полагал, что на Марсе, в этом идеальном городе, в космическом монастыре может возникнуть общество, о котором мечтали лучшие философы и творцы Земли. На земле его не удалось построить — слишком много крови, насилия, несовершенства. Но удастся построить на Марсе, среди совершенных машин, которыми станут управлять совершенные люди. Он подбирал в марсианскую библиотеку лучшие книги мира, особенно те, в которых воспевался человеческий подвиг, человеческая мечта и любовь. Великан говорил о преобразении человека. Говорил, что в этом городе каждый станет творцом. Спектральный анализ показал, что в спектре Марса есть такие частоты, которые делают человека творцом. И там, на Марсе, возникнет новая музыка, новая поэзия, новая философия. Возникнет космическое сознание, которое откроет человеку глубинные тайны души и Космоса. Великан говорил о русском рае, о русской мечте, которая возносит человека к Богу и делает его бессмертным. В этом городе мы задумали храм, который хотели расписать образами рая, как его представляли художники и поэты всех времен и народов. Великан верил, что в этом храме марсианским людям явится Бог, который посетит их братство, посетит их космический монастырь. Вот такие мы были мечтатели, настоящие русские космисты. Мы создавали этот город на земных заводах, чтобы могучая “Энергия” перенесла его на Марс. Мы посещали школы, университеты, рабочие коллективы и военные гарнизоны, подбирая будущих марсианских поселенцев. В нашем космическом центре, среди фантастических конструкций марсианского города, мы проводили музыкальные фестивали, поэтические праздники, выставки живописи. Мы ждали момента, когда вся эта музыка, вся эта красота, весь порыв к созиданию и творчеству перенесётся на Марс. Когда десятки громадных ракет взмоют в Космос, и Советский Союз обретёт ещё одну, марсианскую республику. Но этого не случилось. Советский Союз был жестоко разрушен, быть может, для того, чтобы не осуществилась космическая мечта Великана. Ракету “Энергия” и эскадрилью “Буранов” разрубили на части, как и весь Советский Союз. Здесь, в новой Украине, наша программа погибла. Корпуса нашего центра купил олигарх и устроил в нём ночной клуб, дискотеку, сауны и гостиницу, где клиентам предлагали проститутку на любой вкус и выбор. Наши конструкции разломали и сдали в металлолом. Сотрудники, изнемогая от голода и безденежья, стали, кто “челноком”, кто спился, кто устроился в автосервис. А кто пошёл в рабы, в услужение к олигарху. Великан умер от горя. Его научные труды унёс с собой какой-то эзевский американский делец. А я стал проектировать коттеджи и виллы для богачей, стараясь тайно внести в них образ марсианского города. Когда случилось восстание на Донбассе, я пришёл в ополчение и создал батальон “Марс”. Теперь вы обитатели марсианского города. Живите по совести, любите друг друга, и вам, быть может, явится Бог. От нашей марсианской программы у меня осталась только эта коробочка, — Козерог оцупал жилет и извлёк из кармашка жестяную коробку с яркой красной наклейкой. — Здесь находятся семена цветов для марсианского сада. Когда-нибудь, после Победы, мы посадим на Марсе сады. И эти цветы расцветут на клумбах райского сада, — он бережно спрятал коробку в карман жилета, рядом с торчащим автоматным рожком. — Это теперь, в монашестве, я — Козерог, — усмехнулся он. — А в миру меня звали Денис Трофимович Сверчков.

Козерог поднялся, худой, с провалившимися щеками, в пиратской козынке. И пошёл в другой угол казармы, где ополченцы гремели трубами гранатомётов.

— Умрёшь в бою, и Аллах возьмёт тебя в рай, — произнёс чеченец Адам, глядя туда, где Козерог, окружённый ополченцами, что-то втолковывал им,

делающая вид, что прицеливается. — В раю такие цветы, каких нет на земле. В раю виноград слаще меда, а вино — как поцелуй девушки. Мне бы кровника одного застрелить, отомстить за брата, а потом можно и в рай.

— Мы теперь, как братья, — сказал калмыцкий казак Валерий. — Я жизнь свою положу за “друзи своя”. Если кого из вас ранят, берите кровь мою, сколько надо.

— Адам лепёшку нам отдал, разделил поровну, как братьям. Самая вкусная в моей жизни лепёшка была, — осетин Мераб положил руку на плечо Адама. — Когда будете все у меня во Владикавказе, угощу осетинскими пирогами. Один пирог — как солнце, другой — как небо, третий — как земля. У осетин пироги космические.

Каталонец Аурели вслушивался в разговор. Не понимая слов, он понимал их светящееся дружелюбие, возвышенное обожание. Заговорил быстро, страстно, указывая на каждого, как делают дети, играя в “считалки”.

Рябинин был поражён рассказом Козерога. Батальон “Марс”, куда привела его судьба, был космическим братством, которое совершало полёт в таинственное мироздание. Сквозь взрывы и смертельную боль оно летело к обетованной планете, где цветут дивные сады, сверкают божественные озера, живут бессмертные люди. Среди этих бессмертных он отыщет своих любимых поэтов, усопших предков. И ту чудесную игрушку — деревянного конька, которым играл в детстве и который куда-то бесследно пропал.

В казарме появился священник, тот, что днём выступал на площади. Чёрный подрясник. Военный картуз с торчащей косицей. Брезентовый жилет с множеством карманов, из которых виднелись автоматные магазины и гранаты. На груди — золочёный крест.

— Братие, приглашаю вас перед боем помолиться у иконы Пресвятой Богородицы, заступницы нашей, и приложиться к честному кресту, — гулко, командирским голосом, пророкотал священник, подходя к иконе. Все прекратили сборы, огложили автоматы и гранатомёты, потянулись к иконе.

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

— Аминь.

— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Священник приподнял на груди висящий крест. Ополченцы припадали к кресту. Рябинин смотрел на их немолодые, утомлённые, озарённые молитвой лица.

К кресту приложился и осетин Мераб. Его одутловатое, с синей щетиной лицо стало похоже на лицо младенца, что держала на руках Богородица. К кресту приложился Валерий. Его скуластое лицо стало вдруг беззащитным. Приложился Драгош, и губы его, когда он прикладывался к кресту, улыбались. Каталонец Аурели сначала поцеловал висящий у него на груди католический крест, а потом, вытянув губы, поцеловал золотое распятие, словно сделал глоток золотого света.

— Рябина, а можно мне? — чеченец Адам тихо спросил у Рябинина, кивая на крест. — Мне, мусульманину, можно?

— Конечно, — сказал Рябинин. Он видел, как Адам приблизил к кресту лицо с рыжеватой бородкой. Закрыв зелёные глаза, словно крест слепил его. И прижался к распятию. И Рябинин вспомнил, как Адам пустил его в свою молитву, и они вместе, обнявшись, уносились в лазурь. Теперь Рябинин пустил чеченца в свой молитвенный свет, и они неслись вместе в ту же лазурь.

Священник отдельно благословил Козерога, и они принялись о чём-то тихо беседовать.

Рябинин вдруг подумал о доме, об отце и матери, которые в этот час собрались в гостиной. Мама наливает отцу заварку из большого чайника с красными петухами. Отец рассеянно отпивает из фарфоровой кружки, не спуская глаз с телевизора. На экране — горящие дома Новороссии, подбитые танки, по улицам Донецка мчится “КамАЗ” с ополченцами, и в кузове вдруг мелькнуло лицо их сына.

Ему стало больно. Он был виноват перед ними. Уехал, не сказав, куда. И, быть может, сегодня его убьют, и они получат страшную весть, и посольный скажет, где они могут увидеть гроб с телом сына.

Рябинин достал телефон и позвонил домой. Подошла мать:

— Коля, что же ты не звонил? — принялась она его упрекать, — Мы с отцом волновались.

— Извини, мама. Такое море! Такие друзья! Здесь так замечательно!

— А у отца вчера давление подскочило. Насмотрелся по телевизору, как в Донбассе русских убивают. Когда возвращаешься?

— Не хочется уезжать. Здесь хорошо.

Мимо Рябинина проходили два ополченца, что-то сердито говорили друг другу. Один уронил гранатомёт, и тот со звоном упал на пол.

— Что там за шум? — спросила мать.

— Собираемся в холле, пойдём к морю.

Рябинин увидел, как Козерог, отойдя от священника, вышел на середину казармы. И прежде чем тот открыл рот, выдыхая команду, Рябинин успел произнести в телефон:

— Люблю тебя и папу! Очень люблю!

Выключил телефон, слыша, как зычно, растягивая гласные, комбат командовал:

— Батальон! Подъём! На выход, с оружием!

Кругом гремело. Топотали ботинки. Все устремились к выходу. Батальон “Марс” строился во дворе казармы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Они погрузились в машины. Десяток ополченцев уселись в автобус, за неся в него пулемёты. Этой группой руководил замкомбата с позывным “Федя Малой”, курносый крепыш с гранатомётом. За его спиной, словно заострённые солнечные лучи, торчали стрелы гранат. В маленький грузовичок поместился расчёт миномётчиков с трубой миномёта и завернутыми в тряпицы минами. Рябинин с товарищами забрался в кузов “Газели”, а Козерог занял место в кабине, и оттуда крикнул:

— За мной! Колонной! Дистанция десять метров!

Машины покатали в раскрытые ворота, мимо бетонной стены с надписью: “На Киев!” Рябинин, оглянувшись, увидел на ступенях казармы Матвеевну, которая горько махала им вслед.

Солнце садилось. Они выехали из города и катили по предместью, среди малоэтажной застройки. В домиках блестели стёкла. В садах краснели яблоки. Некоторые дома были разрушены, и в проломы крыши било низкое солнце. На асфальте виднелись выбоины, оставленные снарядами, и машины их огибали.

Проехали блокпост. Козерог из кабины небрежно махнул рукой. Ополченцы, дежурившие на посту, отвечали ему такими же небрежными взмахами.

Потянулись пустыри, миновали разбитую бензоколонку, поваленную высоковольтную вышку. Сквозь чахлые лесопосадки виднелись поля. За ними что-то бесформенное, дымное, в железном тумане дышало, вздрагивало, издавало глухое уханье.

— Аэропорт! — высунулся из кабины Козерог. — Батальон “Восток” опять атакует. Но нам туда не надо. Наша пушечка в стороне. Мы её прихватим малой силой.

Ещё один блокпост преградил дорогу. В бетонных капонирах стояли пулемёты. Траншеи пересекали обочины. Над мешками с песком трепетал флаг Донецкой республики: алое поле с синим Андреевским крестом. В кювете лежал на боку обгорелый автобус. Козерог и Федя Малой вышли из машин, достали карту, и ополченец в бронежилете что-то им объяснял. Тыкал в карту, показывая на далёкие посадки. Было видно, как у него пот течёт из-под каски.

Подошёл ополченец, горбоносый, в бандане, с чернявой цыганской бородой и серебряным кольцом в ухе.

— Вроде подбитый? — Рябинин кивнул на сгоревший автобус.

— Да укры заблудились. Сдуру или по пьянке выскочили на блокпост. Из окна своим флагом машут. Увидели наш флаг, и хлобысть из автомата. А Егорыч их гранатомёт достал. Все шесть укропов “двухсотые”, жмурики. Мы их вон там закопали.

Цыган с сергой кивнул на близкую пустошь, где бугрился пепельный бугор. Рябинин видел, как над могилой стеклянно струится воздух.

Подошли Козерог и Федя Малой. Ополченец в каске их наставлял:

— Вы идите посадочками. На открытое не суйтесь. У них пушка закопана вон за тем леском. Вчера стреляла, а сегодня молчит. Видать, снаряды кончились. Охранение так себе. Если скрыто подойдёте, может, у вас и получится.

Оставили машины на блокпосту. Федя Малой с заострёнными лучами гранат за спиной повёл группу в обход открытой пустоши, туда, где тянулась лесополоса, пересекая обширное поле. За ними поспевали миномётчики, неся на плечах трубу и подпятник. Козерог с новобранцами двинулся краем поля, хоронясь среди пирамидальных тополей, вялых акаций, шурша колочими травами.

— Продвигаемся перекатом. Одни прикрывают других. Ты, Сеньор, ты, Серб, ты, Адам, идёте вперёд, вон до тех кустиков. Там залегаете. Ты, Рябина, ты, Калмык, ты, Бритый, остаётесь со мной. Если начнут стрелять, бейте на выстрелы из всех стволов, прикрывайте товарищей. Первая группа, вперёд!

В одной руке — автомат, в другой — рация с усиком антенны... Козерог натаскивал их, как натаскивают неопытных гончих, указывая заячий след.

Первые трое, пригибаясь, держа на весу автоматы, метнулись вперёд, неся с собой длинные тени.

Рябинин лежал в траве, целясь в далёкие заросли. Оттуда вот-вот застучат долбящие трассы, срезая бегущих товарищей. И тогда наугад, с непрерывным грохотом, в пыльные кусты, в мерцающие бледные вспышки он вонзит свои пули, спасая товарищей.

Он видел, как те подбежали к кустам, упали, почти скрылись в траве. Серб приподнялся и махнул рукой.

— Вперёд! До тех бугорков! — скомандовал Козерог.

Вторая группа вскочила и помчалась, разрывая колочие стебли. Рябинин нёсся, видя рядом бегущего Калмыка, который вилял и подпрыгивал, словно уклонялся от пуль. Две их тени бежали наперегонки. Рябинин ждал, что из вялых посадок хлестнёт смертельная очередь, и он, срезанный, упадёт в перепутанную траву. Ему было страшно и весело. Ему казалось, он с кем-то состязается и опасно играет. С тем невидимым, кто притаился в посадках и молча наблюдает за его бегом, за его испугом, его за весёлой лихостью, выжидая секунду для выстрела.

Мелькнула в траве старая автомобильная крышка, раздавленная пивная банка, ворох истлевшей ветоши. Они достигли места, где лежала первая группа, выставив тусклые стволы. Пробежали дальше, до пыльных бугорков и рухнули, разведя веером автоматы. Рябинин слышал своё частое дыхание, стук сердца. Видел у самых глаз резной лист полыни. Он обыграл невидимого соперника, не успевшего послать в него пулю.

Козерог приподнялся из травы, махнул рукой первой группе, и та вскочила. Неслись, пятнистые, стремительные, качая автоматами. Рябинин видел, как упруго, по-звериному оскалив зубы, промчался мимо чеченец, оставляя запах растревоженной полыни.

— Хорошо! Теперь наш черёд! Вперёд! — Козерог вскочил, увлекая за собой остальных.

Они совершили несколько перебежек и залегли у бугра, где кончалась лесополоса, переходя в мелкие заросли. Красное солнце почти касалось холмов, и лица, обращённые к солнцу, казались красными.

— Федя Малой, я — Козерог! Доложи обстановку! — комбат прижимал к губам шелестящую рацию. — Так, так, понял тебя. Без разведки не суйся. Береги людей.

Рябинин смотрел на товарищей, чьи красные лица заворожённо обратились к солнцу, словно оно, уходя, увлекало их за собой.

Солнце село, оставив воспоминанием по себе воспалённую зарю. Воздух стал синим, густым, и лица теперь казались отлитыми из металла.

Они слышали высокий звенящий звук, словно вели смычком по стальной струне. Крохотная сверкающая точка мчалась в небе, озарённая невидимым уже солнцем. Вот она пошла на снижение в сторону города, выпустила чёрные заострённые когти, которые проскребали небо, и там, где в тумане шевелился город, дважды глухо ахнуло, будто на звук накиннули ватное одеяло.

— Опять укропы направили на Донецк самолёты. — Козерог искал в небе исчезнувший самолёт. — Значит, не все ещё пошибали. Ничего, батальон “Марс” разживётся зенитками, разживётся переносными зенитно-ракетными комплексами. Будем их щёлкать в небе!

Они двинулись цепочкой по серой тропе, виляющей в зарослях. Рябинин, глядя, как переступают впереди тяжёлые боты Калмыка, подумал, что все они — экипаж марсианского корабля, проходящий предполётную тренировку в земных условиях.

Тропка, покурлесив в кустах, привела их к родничку. Вода выбивалась из земляной лунки, вздымала дрожащий бурунчик и утекала ручейком в траву, которая сочно темнела вдоль русла. Над родничком на столбиках возвышалась кровля, увенчанная луковицей с крестом. Эта надкладезная часовня, возведённая чьей-то заботливой рукой, была укоризной разрушительным страстям, что вели по тропе их вооружённый отряд.

Остановились и по очереди стали пить. Рябинин подумал, что земля, изуродованная взрывами, засеянная сталью, изрытая траншеями и могилами, продолжала кротко поить людей, словно желая остудить их непримиримую ярость.

Чеченец пил лежа, припадая губами к ключу, жадно всасывал воду. Калмык перекрестился, черпнул горстью и бережно пил с ладони, роняя капли. Осетин омыл воспалённое лицо, плеснул на голову и только после этого долго, беззвучно ловил губами танцующий в лунке фонтанчик. Серб двумя горстями бросал себе в лицо воду, хватал её быстрыми губами, словно целовал. Каталонец опустил на колени, как на молитве, погрузил лицо в воду, и было видно, как с каждым глотком вздрагивают его плечи. Козерог чуть пригубил воду, ополоснул шею и грудь.

В стороне, за путаницей кустов раздались два взрыва. Загрохотал пулемёт. Прогремел ещё один взрыв. Мелко и часто затрещали автоматы. Снова ухнуло. Рябинину показалось, что острое лезвие посекло вершины кустов, и ветки посыпались на тропу. И вдруг всё стихло.

— Федя Малой, я — Козерог! Как обстановка? — комбат дышал в радио. — Так! Так! Хорошо! Потери? Молодец! Укропы? Отлично! Займи оборону! Иду к тебе!

Они пробрались сквозь заросли, вышли на грунтовку и в ложбине увидели сизый дым и тлеющий красный огонь. Ополченцы занимали оборону на обочинах дороги, все возбуждённые, шумные, приветствовали командира. Федя Малой, маленький, круглый, уже без заострённых лучей, словно сбросил со спины оперение, докладывал Козерогу:

— Мы, значит, с двух сторон. Я, значит, из РПГ засадил, а Шатун — из пулемёта. Укры не успели ответить, разбежались, то ли спяну, то ли со страху. У нас ни “двухсотых”, ни “трёхсотых”. Бандерлоги ушли без потерь, может, только в штаны наложили!

Его курносое, немолодое лицо победоносно светилось. Он затоптал ботинком тлеющий клочок травы.

Осматривали место боя. В небрежно отрытом капонире стояла самоходная гаубица, грязно-зелёная, на провисших гусеницах, с толстым хоботом ствола. Рядом высилась гора стреляных гильз, валялись железные бочки. Ополченцы облепили орудие, заглядывали в люк, садились верхом на ствол. Они были похожи на муравьёв, поймавших большую зелёную личинку, и приноравливались тащить её в свой муравейник.

Из люка показался ополченец Шатун. У него на лбу были большие мотоциклетные очки, из-под которых торчал перепачканный копотью нос, а под носом топорчились закрученные усы.

— Козерог, горячего ноль. Снарядов ноль. Завести не могу. Надо нашим передать на блокпост, пусть бочку с горючкой подбросят. Надо её отсюда угнать, пока укры не очухались.

— Шатун, ты теперь начальник артиллерии. Давай, собирай батарею. А эту пригонишь на базу, — Козерог ласково похлопал гаубицу по замасленному железу, как похлопывают по крупу домашнего жеребца.

Рябинин чувствовал весёлое возбуждение. Его первый бой завершился. Во время этого боя он испытал страх, азарт, оторопь, тревожное ожидание, которые теперь сменились лёгкостью и чувством победы.

Этот бой соединил его со всем воюющим ополчением, занимающим оборону от Луганска до Донецка. С теми, кто дежурит на блокпостах, отбивает танковые атаки, выдерживает артобстрелы. Этот бой соединил его с войной, поместил в войну. И теперь он полноправный участник этого грозного, смертельно опасного действия.

Рядом с гаубицей была отрыта траншея, валялись доски, тряпье, пустые зарядные ящики. Стояла палатка с приподнятыми боковинами. Над ней развевался украинский жёлто-синий флаг. Его пытался сбить ополченец в каске. В сумерках палатки топтались ополченцы. В палатке стоял стол, железные стулья. Стол был накрыт: банки с тушёнкой, нарезанный хлеб, перья зелёного лука. Стояла большая бутылка с надписью “Спирт”. Блестели стаканы.

— Козерог, да они нас ждали! — Федя Малой открыл бутылку и нюхал спирт. — У них ресторан настоящий!

— А что, гвардейцы, может, отметим победу? Боевое крещение батальона “Марс”? — Козерог, ликуя, оглядел ополченцев, близкую гаубицу, глеющую траву. — По глоточку, по капельке, из трофейных стаканов?

— Водички бы, спирт разбавить. А то сгорим, — сказал Шатун, в своих мотоциклетных очках похожий на аквалангиста. — Где водички достать? — он тряхнул пустой пластмассовой канистрой.

Козерог бегающими глазами осмотрел ополченцев.

— Ты, Калмык, бегом к источнику! Нога здесь, нога там!

Калмык схватил канистру и кинулся исполнять приказание.

— Отставать! — остановил его Козерог. — Рябина, ты пойдёшь!

Не понимая, почему Козерог оставил Калмыка в палатке, а его послал за водой, Рябинин схватил канистру. Побежал по тропке сквозь заросли туда, где стояла часовенка и бил ключ.

Стояли светлые сумерки. Сквозь ветви светилась угасающая заря. Воздух был густой и синий. Земля, остывая, источала душистое, с полынными запахами, тепло. Он пробежал по тропинке, вышел на поляну. Поставил на землю канистру, чтобы поправить съехавший автомат. И увидел солдата.

Солдат был без шапки, с короткими светлыми волосами, загорелый. Его солдатская рубашка была серо-зелёного цвета, на рукаве виднелась жовто-блакитная нашивка, какие носят украинские военные. Он держал наперевес автомат и медленно переступал, высоко поднимая ноги, словно охотник, скрадывающий дичь. Чутко прислушивался к неясному шуму, который доносился сквозь заросли с позиции недавно захваченной гаубицы.

Рябинин замер, присел, желая укрыться, остаться незамеченным. Чтобы этот солдат, уцелевший во время атаки, прокрался мимо и ушёл восвояси, со своим испуганным лицом и желто-синим шевроном на мятой одежде. Рябинин начал приседать, издавая чуть слышный шорох. Солдат, тревожно вращая глазами, стал искать источник шороха, поднимая ствол автомата. Ещё не видя Рябинина, он искал цель. Их глаза встретились и ужаснулись друг другу. Рябинин видел, как ствол автомата движется по дуге, нацупывая его грудь. Останавливая это движение, не давая дуге завершиться, почти не целясь, он ударил из своего автомата. Увидел рыжее пламя, услышал сквозь грохот чмокающий звук пули, входящих в близкое тело. Солдат отшатнулся. Изумлённо раскрыл рот, выпустил автомат и рухнул навзничь, дрожа ногами.

Рябинин не понимал ещё, что случилось. Он порывался бежать. Видел, как бьётся в траве подстреленный им солдат. Побуждаемый страхом, тоской, ужасом своего слепого выстрела, он кинулся к солдату.

Тот бился об землю ногами, худыми плечами, затылком. В горле у него булькало, клочкотало, рубаха на груди набухла кровью. Кровь двумя струйками текла изо рта. Глаза, серо-голубые, с большими белками, блуждали по небу.

Рябинин подхватил рукой его тёплый затылок, оторвал от земли:

— Сейчас, подожди! Перевяжу! — стал расстёгивать солдату рубаху, обнажая грудь, пачкаясь кровью. Увидел нательный крест, такой же, какой носил сам. В тоске, в непонимании, глядя на чёрную скважину, из которой бил кровавой фонтанчик, бессвязно бормотал:

— Перевяжу, потерпи! Здесь рядом машины!

Солдат остановил на нём выпуклые, полные слёз глаза. Втянул воздух и сильно, с хрипом, выдохнул, посылая в лицо Рябину шматок крови. Словно харкнул в него. Голова его отяжелела, соскользнула с ладони Рябинина, упала в траву и повернулась на бок.

Рябинин встал, отирая с лица кровь. Он стоял над убитым солдатом, который стал длиннее, утих и не дёргался больше в тёмных травах. Синяя заря сквозя ветви смотрела на них обоих: на убитого солдата и на Рябинина.

Он вдруг испытал смертельную панику. Не понимал, кем был теперь он, Рябинин. Кем был лежащий в траве солдат. Кем были его отец и мать, сидящие в уютной московской гостиной. Кем была его подруга, у которой на ладони он целовал “линию жизни”. Кем был его любимый школьный учитель, преподававший литературу. Он не понимал мира, в котором теперь оказался, стоя на тёмной траве перед убитым солдатом, который перед смертью плонул в него своей кровью.

Помрачение и ужас были столь сильны, что он побежал. Наугад, сквозь кусты, хрустя ветками и цепляясь... Бежал подальше от поляны, на которой лежал солдат, от его жёлто-голубой нашивки и нательного креста. Не знал, куда бежит. Только бы прочь от поляны, прочь от гаубицы, прочь от этой войны. Куда-нибудь через пустоши и лесопосадки, к какой-нибудь дороге, до какой-нибудь попутной машины. До границы, до Ростова, до самолёта. Чтобы вернуться в Москву, в милый любимый дом, к любимым родителям, к друзьям в литературном кафе.

Он бежал вслепую, понимая, что прежняя жизнь не примет его. Мама, если станет его обнимать, обнимет убийцу. Подруга, целуя его тёплыми мягкими губами, будет целовать убийцу. Приятели, подтрунивающие над его литературными суждениями, станут трунить над убийцей.

Он вдруг спохватился, что забыл автомат. Оружие, из которого он убил человека, — стёртое железо, лысый приклад, — и это оружие остановило его панический бег, позвало обратно. Оружие, которое он получил из рук командира на площади, связывало его с оставленными товарищами. Связывало с войной. На поляне лежал убитый им солдат, обративший его в бегство. И там же лежал автомат, который позвал его обратно.

В сумерках, испытывая муку и страх, он вернулся на поляну. Тёмный, с мутным лицом, вытянулся на земле убитый солдат. И рядом с ним — автомат, из которого он не успел выстрелить. На тропе тускло отвечивал автомат Рябинина. Рябинин повесил его на плечо, подобрал канистру и направился к источнику — исполнять приказ Козерога.

Омыл лицо, постирал рубаху. Пил студёную воду, которая истекала из таинственных земных глубин и несла с собой целящую силу, кроткое утешение, умаление страданий. Набрал в канистру воды. Надел мокрую рубаху и пошёл, далеко обходя поляну. Старался не думать об убитом солдате. Не пускал в свой рассудок разрушительный взрыв.

Он услышал летящий по небу звук, звенящий, ноющий, словно водили смычком по железной струне. Раздался короткий свист, за бугром с кустами страшно ахнуло, раз, другой. Полыхнул рыжий свет, тряхнуло, и жаркий воздух, продрав кусты, пошатнул Рябинина.

Он стоял, глядя, как близко, за кустами, танцует жёлтый огонь, и что-то трещит там, осыпается. Медлил, не зная куда бежать и как спастись. Бросил канистру, кинулся сквозь кусты на рыжий огонь.

Он увидел душную рытвину с вонючими перебегающими язычками. Перевернутую гаубицу с вывернутым стволом. Растерзанную палатку с горящим брезентом. И разбросанные по земле в нелепых позах, как бесхребетные тряпичные куклы, тела убитых.

Шатун в своих дурацких очках и Федя Малой, светя фонарём, бродили вокруг.

— Двумя ракетами! Фарш!

Рябинин в отвсетах зловонного пламени увидел голову чеченца Адама, с бородкой, с обрубком шеи, с оскаленными зубами. Лицом в землю, заломив назад руки, словно они были связаны, лежал калмык Валерий. Осетин Мераб схватил омертвевшими руками живот, из которого вываливалось синее-розовое месиво. Серб Драгош улыбался, но его шея была вытянута, как длинный чулок, а ноги были завязаны в узел. Рябинин увидел Козерога. Тот лежал в тлеющей одежде, его разгрузочный жилет был разорван, из карманов вывалились рожки, гранаты, и лежала металлическая коробка с красной наклейкой, где хранились семена марсианских цветов. Рябинин среди рыхлой земли, щепок, обрывков брезента искал каталонца Аурели. Нашёл. Тот недвижно сидел, прижавшись спиной к откосу воронки. У него не было ног, торчали кости, и вытекала кровь. Рябинин наклонился к нему. Батальон “Марс” был уничтожен прямым попаданием авиационных ракет. Экипаж космического корабля пал жертвой страшной аварии.

Рябинин пошёл прочь. Проходя мимо Козерога, поднял железную коробку с семенами цветов и сунул в карман. В его голове ревели, мысли сворачивались в большие жгуты. И среди этих жгутов тонко и сверкающе билась мысль. Почему Козерог не пустил за водой Калмыка, а отправил его, Рябинина?

Он ушёл в сторону от перевернутой гаубицы, от стога раненых, от окриков уцелевших ополченцев. Стояла ночь. Из-за горизонта летели ввысь ртутные шары, оставляя гаснущий след. Это “Грады” били по Донецку, выгрызая его дома и кварталы.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Рябинин проснулся от того, что автомат соскользнул с колен. Они остановились у высокой одинокой горы, по которой уступами поднималась лестница. По её сторонам на склонах, похожие на утёсы, были воздвигнуты монументы. Вся гора напоминала огромный памятник, уставленный изваяниями.

— Саур-Могила, — комбат Курок заглянул в автобус. — Здесь в сорок третьем шли страшные бои за Донбасс. И теперь, как тогда, Саур-Могила переходила из рук в руки. На вершине шли рукопашные. Уцелевшие ополченцы вызывали огонь на себя. Там похоронены герои. Там же мы похороним наших павших товарищей. Машины поднимутся на вершину по серпантину. Кто хочет, может подняться пешком.

Рябинин, набросив на плечо автомат, стал подниматься от подножья к вершине. Когда-то здесь двигались торжественные толпы, гремела музыка, пестрели букеты цветов. Теперь он один совершал восхождение. Далёкая вершина манила его, словно кто-то ждал его на горе.

На склоне валялись перевернутые ржавые танки, сожжённые БТРы, подбитые боевые машины пехоты. Их опалил адский огонь, превратил людскую плоть в пепел, а металл покрыл ядовитой окалиной. Каждую машину с растерзанными гусеницами, оторванной башней, лопнувшим корпусом настиг удар ненависти, и эта ненависть висела в воздухе, дула из пробоев, жгла горло.

Огромный барельеф надвигался. Выкрашенный алюминиевой краской, он был посвящён подвигу пехотинцев, отбивавших у фашистов Донбасс. Из бетонной стены выступали лица, вставали в атаку бойцы, развевались

плащ-палатки. Мощные скулы, сжатые брови, расширенные, глядящие из бетона глаза. По этим лицам, по атакующим пехотинцам, по их штывкам, автоматам, знаменам гвоздила украинская артиллерия, стреляла танки, били “Грады”, вырывая глаза, отсекая губы, пробивая дыры в груди.

Под ногами Рябинина валялись оторванные носы, срезанные кисти рук, отломанные надбровные дуги. Он обходил их, боясь наступить. Всё было усыпано осколками, металлической крошкой. Монумент был в метинах от бесчисленных пуль.

Ярость, с какой уничтожался монумент, была безумным порывом. Этот порыв опрокидывал не монумент, а событие, которому тот был посвящён. Опрокидывал память о победителях. Обращал вспять время, в котором страшными трудами и тратами добывалась Победа. Выкальвал из времени эту Победу. Снаряды и пули уничтожали не памятник, не металлические изваяния, а тех, кто прошёл по Донбассу, сметая захватчиков. Павших героев убивали вторично.

Рябинина ошеломила эта ярость и ненависть.

Он поднимался всё выше, туда, где тусклым алюминием сиял второй монумент. Он был посвящён подвигам советских танкистов. Из стены выступали танковые корпуса и башни, круглились пушки. Танкисты в шлемах выглядывали из люков, вели свои стремительные машины среди горящих городов. И по ним гвоздила украинская артиллерия, жгла “тэтридцатьчвёрки”, косила танкистов, останавливала вал победителей.

Рябинин смотрел на выбоину в танковой башне, на упавшую под ноги голову танкиста, на застрявший в бетоне хвостовик мины. И здесь была та же ярость, та же ненавидящая страсть. Желание вонзиться вглубь истории и оттуда, изнутри изменить её ход. История, окаменевшая в монументе, уловленная в недвижные скульптуры, ожила. Она вырывалась из бетона и превращалась в чудовищный вихрь.

Рябинин чувствовал себя вовлечённым в этот вихрь. Он оказался на войне, которая не закончилась семьдесят лет назад, а продолжалась поныне. Смысл этой войны открылся ему здесь, на вешней горе, и заключался он в том, чтобы не отдать Победу, добытую Родиной в смертельной схватке, не проиграть её теперь. Эти абстрактные, не трогавшие душу суждения, которые казались напыщенными, приторными, лишёнными достоверности, вдруг грозно и ослепительно открылись на Саур-Могиле. Обнаружили себя оборельными самоходками, расстрелянными монументами, кудрявой сталью минных осколков.

Вершина звала его, и он восходил по ступеням, слыша трубный глас: “Иди ко мне”!

Третий монумент, как огромный, разрезавший гору волнорез, был посвящён лётчикам, воевавшим в небе Донбасса. Моторы, пропеллеры, крылья со звёздами, лётчики, ведущие машины в лобовые атаки, пикирующие на колонны вражеских танков. И все они были подвержены ударам ненависти. Украинские зенитки сбивали советские самолёты. Украинские пулемёты расстреливали в воздухе парашютистов. Украинские “Грады” сжигали на крыльях самолётов звёзды.

Рябинина сотрясали удары, будто в него вонзались снаряды, буравили пули, обжигали взрывы. Он чувствовал страшное напряжение схватки, которая проходила не только здесь, на земле, но и в запредельных высях. Там сталкивались непомерные силы, сражались космические вихри. И эта поднебесная схватка отзывалась на земле искорёженной бронетехникой, изуродованным бетоном, запахом сгоревшего металла.

Он достиг вершины. Ещё недавно здесь высилась огромная стела — подобие штывка, воздетого в небо. Теперь эта стела, срезанная залпами “Градов”, лежала на земле, придавив металлического солдата. Рябинин тронул ладонью железный висок, ощутив глубинное биение.

На вершине ревел ветер. Здесь было семь свежих могил. На крестах висели венки. Трепетали флаги Донецкой республики, стяги батальона “Восток”. В могилах покоились те, кто оборонял гору и вызвал огонь на себя.

На вершине ревел ураган, словно дула труба. Хлопали над могилами флаги. Свистела арматура взорванной стелы.

Рядом с могилами были выкопаны свежие ямы. В них опускали гробы с бойцами батальона “Марс”. Рябинин кидал землю в яму, прощаясь с усопшими. Вместе со всеми пускал из автомата прощальные очереди.

Выпили из пластмассовых стаканчиков поминальные сто грамм. С вершины горы открывались синие дали, чувствовалась кривизна Земли, словно над ней летел космический корабль.

Ополченцы возвращались к автобусу. Колун садился в свой выдавший виды “КамАЗ”.

Рябинин отстал от остальных. Извлёк из кармана жестяную коробку с красной наклейкой. Открыл и посыпал могилы семенами марсианских цветов. Пройдут дожди, могилы превратятся в цветочные клумбы, и над ними расцветут волшебные радуги.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Батальон “Аврора”, в котором отныне воевал Рябинин, занимал оборону у села Петровка, вдоль шоссе, соединявшего Луганск и Донецк. Шоссе проходило в тылу батальона, позволяя двум городам обмениваться отрядами ополченцев, боеприпасами, продовольствием. Украинская армия стремилась сбить батальон с позиций, выйти к шоссе, отсечь друг от друга два города. Укры долбили артиллерией, наносили авиаудары, атаковали танками и пехотой. Батальон держался, зарывшись в землю. Зацепился за углое селение, где большинство домов было разбито, жители разбежались. А те, что остались, ютились в погребках, опасливо скользили вдоль заборов до колодца и обратно. Ненадолго показывались из своих подземелий, когда приезжал фургоныч с хлебом.

Над штабом батальона, на крыше облупленной хаты, развевался красный флаг с серпом и молотом, ибо комбат Курок был приверженцем Советского Союза. Через огороды и проулки тянулася траншея, куда укрывались ополченцы при артналётах. В понурых, иссечённых осколками садах прятались две колесные гаубицы. Пулемёты ополченцев смотрели в белесое поле с погубленными посевами пшеницы. За полем возоблались холмы и курились слабые дымки. Там находились украинские фашисты. Оттуда начинались атаки, летели снаряды, двигались танки. С того же направления прилетали штурмовики, кидая бомбы на сады и хаты.

Рябинин выходил на боевое дежурство, присаживаясь на зарядный ящик вблизи от траншеи, готовый прыгнуть в её сырую чёрную глубину. В минуты тишины траншея пустовала, на бруствере лежали гранатомёты, ручные пулемёты, а их хозяева покуривали, исподволь поглядывая на пшеничное поле. Пшеница была изрезана множеством дорог, проделанных танками.

Ночевал Рябинин в пустующей хате вместе с другими ополченцами. В хате стояла белёная печь, расписанная цветами, висело зеркало, красовались на тумбочках и на испорченном телевизоре рукодельные салфетки с изображением кота и надписью “Кіт обідає”, что означало “Кот обедает”. Гречневая каша и тушёнка были основной едой. Порой появлялись сочные початки кукурузы и молодая картошка. И конечно, яблоки, устилавшие землю в садах.

Иногда Рябинин совершал прогулки по селу. Разбитый снарядами магазин рассыпал вокруг блестящие осколки витрин. В почтовом ящике на столбе зияла дыра. Перебегали дорогу хромые собаки, получившие ранения при бомбежках. Робкие дети на хрупких ножках появлялись из развалин и тут же скрывались, как испуганные зверьки. Лишь один дом, с каменной башенкой и затейливыми колонками, стоял уцелевший среди разрушенных хат. Рябинин видел, как из дома вышла печальная статная женщина с тугой косой вокруг головы, отрешённо постояла на крыльце и снова скрылась.

С утра над пшеничным полем мимо села пролетел самолёт и сбросил бомбы туда, где соседний отряд ополченцев защищал отрезок шоссе у села

Устиновка. Самолёт просверкал на солнце, и гром разрывов медленно пока- тился над полем.

Рябинин начинал тоскливо закрывать глаза, когда раздавался звенящий и ноющий звук смычка, теребящего небесную струну. В закрытых глазах возникала воронка, окружённая горячей травой, и голова серба Драгоша, висящая на длинной, как чулок, шее.

Рябинин сидел на зарядном ящике, слушая разговор двух ополченцев. Они положили у ног автоматы, чтобы можно было их мгновенно схватить и соскользнуть в траншею. Ополченец Жила вполне оправдывал свой по- зывной. Жилистый, в мускулистых узлах, с тяжёлыми надбровными дуга- ми, под которыми зло и весело блестели глаза, Жила в недавнем прошлом был эком. Ускользнул с зоны, когда началась война и среди барakov стали рваться снаряды, а охрана разбежалась. Жила пустился в бега, примкнул к ополченцам. Дрался храбро и яростно, мстительно стреляя в украинских силовиков, которых называл “мусорами”. На нём была пятнистая безрукав- ка с карманами. Плечи и бицепсы покрывала синяя татуировка с изображе- нием женщин, цветов и драконов. Голову защищала каска с туманным пят- ном солнца.

Второй ополченец, Ромашка, имел крупное лицо, золотистую щетину, тёмно-синие глаза и большие осторожные руки, в которых он держал коло- сок пшеницы, аккуратно извлекая из него спелые зерна. Он слыл целителем. В хате, которую он занимал, висели пучки трав, стояли склянки с отвара- ми. Отдежурив на передовой, он уходил за село, где оставалась неспахан- ная степь. Одинок бродил, нагибаясь, срывая головки цветов, выкапывая корешки, не обращая внимания на пролетавшие над полем штурмовики.

— Ну, ты, цветик божий, скажи, за что люди воюют? — Жила насме- шливо смотрел, как из колоска на тёмную ладонь Ромашки выпадают пше- ничные зерна. — Одни воюют за Сталина, другие — за Гитлера, третьи — за Христа. Тот — за еврейского бога, а этот — за мусульманского. А все за войну воюют. Вот и выходит, что у всех человеков бог — это война.

Ромашка собрал на ладонь белые зёрна. Выбросил пустой колосок. Ки- нул зёрна в большой тёмный рот и стал их медленно жевать.

— Войну чёрт придумал, — произнёс он, проглотив зёрна. — Бог ми- рит, а чёрт ссорит. Только люди опомнятся, начнут обниматься, а чёрт им в душу плонет, и они опять воевать. Всем нам в душу чёрт плонул.

— Я войну люблю. Война меня из тюрьмы увела. Меня хохлы на зоне заставляли мочу пить. Посеут на землю, мордой ткнут: “Ешь!” Теперь я им в рот сесть буду.

— Ты, Жила, больной. Тебе чёрт в душу плонул. Приходи ко мне в ха- ту — я тебя лечить буду, травы заварю. Ко мне старушки приходят, кото- рые без лекарств остались, детишки приходят, которые заикаться стали. Я их лечу.

— Мне баба нужна. Здесь одна баба ходит — с косой. Её в постель по- ложить бы да и лечиться ею.

— Сейчас не до баб. Горе кругом. И люди, и звери, и птицы, и травы — все страдают. Надо обождать, когда война кончится.

— Дураки вроде тебя терпят и ждут. А умные и на войне своё не про- пустят. Ты погляди на шоссе: углевозки одна за другой идут. Уголёк ворован- ный везут в Россию, а может, и украм толкают. Миллионы в карман кладут.

— Ничего про это не знаю.

— Наш-то, Курок, Ленина любит. Идеальный. Ему бы пару шахт взять под личный контроль. Он бы после войны горя не знал. И нам обломи- лось бы.

— Курок в Бога не верит, а Бог в нём есть. Потому и не вор.

— Надо мне от вас, идейных, к казачкам податься. А то как пришёл к вам без штанов, так и хожу.

— Чёрт в тебя плонул, Жила. Приходи, дам тебе траву чертогон.

Над полем кружил ворон. Его редкое карканье трескуче разносилось в знойном воздухе. Ворон приблизился к селу и сел на одинокий столб с об- рывками проводов. Было видно, как переливается на солнце его чёрно-синее

оперение. Жила осторожно подтянул к себе автомат. Прицелился в ворона и выстрелил. Одиночный выстрел чмокнул в тугое птичье оперение, и ворон, разорванный в клочья, упал. Дёрнулся пару раз и замер чёрно-красным недвижимым ворохом.

— Ты что сделал, гад? За что убил птицу? — ахнул Ромашка.

— А я думал, это беспилотник, — захохотал Жила и, сплонув, подхватил автомат и пошёл вдоль траншеи.

Рябинин смотрел на красно-чёрный ворох перьев. В небе зазвенело. Над полем просверкал штурмовик, и вдали дважды ахнуло. Звуки тяжёлыми шарами покатались по полю.

Ополченцы привезли на передний край противотанковые ежи, сваренные из обрезков рельсов. Сбросили их с грузовика.

— Мужики, говорите, где ёжики ставить. Откуда на вас танки попрут?

Рябинин отправился в штаб батальона, чтобы получить указания у начальника штаба.

В штабе, в горнице с раскрытыми окнами, у стола с бумагами, картами, рациями, под висящим на гвозде автоматом сидел комбат Курок. За его спиной у стены стояло полковое знамя времён Отечественной войны: бархатное полотнище с вышитым профилем Ленина и надписью: “За нашу советскую Родину”! Курок был в тельняшке, череп его был лыс. В рыжей косой бороде скрывался шрам, шевелились губы, с трудом проталкивающие слова. Он говорил по мобильному телефону. Была включена “громкая связь”. Он сделал знак Рябинину, чтобы тот не мешал, и Рябинин от порога слушал разговор комбата.

— Вот не думал, Слава, что встретимся. Я тебя после училища потерял из вида, всё думал, где это мой друг Владислав Курков потерялся? Слышал от кого-то, что в Чечне воевал, был ранен. Как теперь-то? Жив-здоров? — “громкая связь” сквозь шелесты и потрескивания доносила чей-то дружелюбный голос.

— Да всё нормально, жив-здоров. А как ты, Миша, мой телефон раздобыл?

— Да пленный из твоего батальона. Кажется, позывной “Малюта”. Мы его немного прижали, и он мне твой телефон дал. Сказал, что “Курок” — это Курков Владислав Александрович. “Ба, думаю, так ведь это друг мой Слава. Дай позвоню”!

— Ну, рад тебе, Миша. Здорово! Как ты? Есть семья, дети?

— Семейный. Старшая дочь, младший сын. Да ты помнишь Варю мою. На выпускном мы с ней танцевали. Ты ещё сказал: “Не раздумывай, женись слёту”. Так что ты нас, вроде, и сосватал. А ты-то как?

— Развёлся. Сын растёт в стороне.

— А помнишь, тактику нам читал полковник Кавун? “Товарищи курсанты, ваша дурь — мои нервы”! Недавно встретил его на Крещатике. Такой же толстый, и усами дома задевает.

— Помню Кавуна. Мы тактику изучали на примерах Великой Отечественной. А надо было на примерах гражданской. Теперь бы нам пригодилось.

— Слушай, Слава, а ведь за мной долг остался. Ты тогда выручил меня, дал денег. Я все мучился, как отдать. Может, теперь отдам? Только гривнами, рублей нема.

— Да ты отдаёшь каждый день. То гаубичными, осколочными. То танковыми, фугасными. Отдаёшь с процентами.

— А что остаётся, Слава? Куда вы, москали, лезете? Где вы, там кровь, разорение. Мало тебе было Чечни? Весь Кавказ перетряхнули, кровью залили. Теперь на Донбассе пришли. В вас, москалях, имперский бес сидит. Как его укротить? Только фугасными и осколочными. Другого языка не поймёте. Ни русского, ни украинского — только язык артиллерии.

— Какое было государство, какая страна Советский Союз! Все жили дружно, как братья. Какая мощь, какое богатство. Надо было разрушить, разломать, всех перессорить. Что ж, теперь придётся заново страну собирать. Крым подобрали, подберём и Донбасс.

— Не дадим, Слава! Голодомора не будет! Чернобыля не будет! Не с Украиной воюете, а с Европой! С НАТО! С Америкой! Задницу вам надерут. И тебе, и твоему президенту! Москаль — самое вредное на земле существо! Плесень, слизь! Мы эту слизь соскоблим!

— Соскоблите, говоришь? Вы из “Градов” по детским садам долбите! Это вы соскабливаете? Людей заживо сжигаете! Это соскабливаете? Женщинам животы вспарываете и в ямы бросаете. Соскабливаете? Подожди, ещё в Киеве второй Нюрнберг состоится! И ты там будешь сидеть за военные преступления!

— Сам шею помой! Будешь в Москве на фонаре болтаться!

— Я тебе шанс даю. Бросай своих бандеровцев и фашистов. Переходи на нашу сторону. Пошли к чёрту своих олигархов и воров. И давай, отпущай моего человека Малюту.

— Ах, какая беда с Малютой вышла! Что ж ты раньше-то не просил! Мы твоему Малюте уши и язык отрезали, да и расстреляли. Был Малюта, и нет Малюты!

— Гад кровавый! Встречу — убью!

— Я же тебе должок не отдал. Сейчас пришлю!

Курок отшвырнул телефон. Его борода дрожала, в ней, набухший кровью, краснел рубец. Через минуту грохнуло на задворках, раз, другой — два снаряда перелетели пшеничное поле и разорвались посреди села.

Рябинин возвращался на позицию и услышал за домами музыку и пение. Улица, выходящая к пшеничному полю, была перерыта траншеей. Бугрились белесые мешки с землёй. Топорщились ещё не расставленные противотанковые ежи. Лежали на бруствере гранатомёты. И тут же собрались ополченцы и местные жители, которых музыка выманила из погребов и подвалов.

Ополченец с позывным “Артист” играл на аккордеоне. Повесив на плечо автомат, перебирал перламутровые клавиши, ловко давил кнопки, растворял малиновые меха.

Его длинное смуглое лицо окружала кудрявая бородка. Над крупным горбатым носом сходились густые брови. Из-под зелёной косынки на затылке выбивались длинные волосы. Он был в пятнистой форме, но вокруг шеи был обмотан розовый шёлковый шарф, а из нагрудного кармана вместо гранаты выглядывал розовый шеголеватый платочек. На ногах были поношенные лакированные туфли, оставшиеся с тех времен, когда он, солист эстрады, выступал с концертами в домах культуры и сельских клубах. Он играл на аккордеоне, пел, открывая белые зубы, и на его лице было мечтательное томное выражение, которое так привлекает к себе немолодых одиноких женщин. Эти женщины, иные почти старухи, вышли на белый свет из своих убежищ, как на звук манка вылетают из чащи осторожные птицы.

Артист исполнял танго. Звуки, сладостные, как мёд, струились в горячем воздухе, пленяли слушателей, оглушённых и поникших среди артиллерийских налётов.

Здесь были и ополченцы, отошедшие от амбразур или прервавшие дневной отдых, столь необходимый перед ночным дежурством. Жила страстно внимал, и было видно, как от наслаждения по его скулам пробегают сладкие судороги. Ромашка мечтательно качал головой, словно музыка несла его по чудесным волнам. Ополченцы, доставившие к переднему краю противотанковые ежи, бросили курить, бережно затоптали окурки и своими одухотворёнными лицами стали похожи на прихожан церкви.

Среди пожилых женщин в неярсливых кофтах, домашних фартуках, небрежно повязанных платках Рябинин заметил высокую статную обительницу дома с каменной башенкой и затейливыми колонками. Она стояла, сложив руки на высокой груди. Голову её украшала тугая коса, а лицо, белое, чистое, было неподвижно, словно высеченное из мрамора. Неподалёку от неё стояла другая женщина, в васильковом платье, в котором прозрачно светилось молодое стройное тело. Рябинин сквозь шёлковую ткань угадывал её колени, бедра, живот.

— Утомлённое солнце тихо с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви... — Артист наклонял голову к великолепному, в перламутре

и серебре, инструменту, упивался его звучанием, своим пением, сладкой, как тягучий сироп, мелодией, которая переливалась из поколения в поколение, пробуждая в сердцах сангвиническую нежность, любовную истому, воспоминание о невосполнимых мгновениях жизни. Его слушали с обожанием. У старых женщин начинали розоветь лица. Они поправляли волосы, одёргивали мягкие кофты. У ополченцев на небритых лицах появлялось незащищённое выражение.

Рябинин вдруг вспомнил, как в детстве лежал в гамаке с соседской девочкой, и его нога касалась обнажённой девичьей ноги.

— У меня есть сердце, а у сердца — песня, а у песни — тайна. Эта тайна — ты!

Молодой ополченец Завитуха, не снимая с плеча автомат, пригласил на танец худую, похожую на цаплю продавщицу разгромленного магазина, которая привозила в батальон хлеб. Та сначала испуганно отшатнулась, а потом прижалась к Завитухе, и они танцевали: она, — закрыв глаза и положив ему на плечо голову, а он — улыбаясь пьяной улыбкой, прижимая закопченную ладонь к её худой спине.

— Я возвращаю ваш портрет, и о любви вас не молю. В моём письме упрёка нет, я вас по-прежнему люблю!

Танцевали, пылили стоптанными ботсами и нечищеными туфлями. Старухи умилялись, подперев головы ладонями, смотрели на танцующих. Пшеничное поле, изрезанное танками, белело, и над ним летели стеклянные миражи.

Из проулка выскочил растрёпанный бестолковый мужик в грязно-белой рубахе с шитым воротничком. Блаженно улыбался, открывал беззубые десны. Нелепо размахивал руками. Пустился в пляс. Отплясывал то ли кадрили, то ли гопак. Хлопал в ладоши, шлёпал себя по бёдрам и ягодицам.

Старушки закатывались смехом:

— Пальч-то пол-литра горилки выпил, и полета лет с плеч сбросил!

Жила, какой-то развязанной, вихляющей походкой, с видом наглого ухажёра подошёл к женщине с косой. Стал тянуть её за руку в круг танцующих. Её белое мраморное лицо испуганно дрогнуло. Она сбросила руку Жилы, покрытую синей татуировкой, и пошла прочь. Жила смотрел, как колышется её сильное крупное тело, и рот его скалился в злой весёлой улыбке.

— Встретились мы в баре ресторана, как знакомы мне твои черты. — Артист пропел слово “ресторан”, как одессит, с рокошущим “р” и манерным “э”.

Рябинин смотрел на женщину в васильковом платье, сквозь которое светилось и волновалось молодое пленительное тело. Шагнул к ней, увидев, как ярко обратились к нему её радостные глаза.

Раздался крик:

— Танки!

Аккордеон прорыдал напоследок и смолк. Жители кинулись врассыпную, скрываясь в подвалах. Ополченцы бросились к амбразурам, похватая гранатомёты. Рябинин видел, как исчезает в конце улицы васильковое платье.

Они сидели в траншее, глядя на белое пшеничное поле, по которому двигался танк. Он был далеко и шёл, окружённый солнечной пылью, — плотный тёмный сгусток, за которым летела прозрачная муть. Рябинин видел танк, тусклое сияние гранатомёта в руках у Жилы, ополченцев, сжимавших автоматы и трубы гранатомётов. Комбат Курок прижал к бровям бинокль, ловил далекий танк.

— Один идёт, сука! — Жила нетерпеливо переступал в окопе, нацелив на танк острие гранаты. — А где другие “мусора”? А где БТРы? А где пехота? Всадить ему под самое не хочут!

Танк приближался. Рябинину казалось, что он различает пыльные вихри вокруг гусениц, отливы металла на башне.

— Без команды не бить! — приказал Курок. — Дистанция выстрела — сто метров!

Рябинин ждал, что из танковой пушки полыхнет пламя, и окоп содрогнётся от взрыва. Прижался к брустверу, чувствуя лбом летящий снаряд, его свист, налетающую смертоносную мощь.

Но выстрела не было. Танк приближался. Рябинин видел, как гусеницы мнут колосья. Пыль за танком казалась пыльным солнечным сарафаном.

— Целить под башню! Жила, Ромашка, ваш танк! — Курок напялил на лысый череп стальную каску, отложил бинокль и взялся за автомат. Рябинин, подражая комбату, принял на мушку танк, не понимая, как остановит его автомат тяжкий брусок танка.

Перед танком взметнулся чёрный взрыв, повесил занавеску земли и дыма. Танк пробил завесу, шатнулся в сторону. Стали видны катки, колея, прорезанная в пшенице.

Еще один взрыв за кормой танка, казалось, толкнул его. Танк рванулся вперёд, а потом вильнул и пошёл, наматывая на гусеницы колосья.

— Чумной какой-то! — Жила вел гранатомёт, выцеливая танк.

— Не стрелять! — крикнул Курок, глядя в бинокль. — У него красный флаг!

Рябинин различил сквозь пыль красный, едва заметный флажок, трепещущий над люком водителя.

Танк метался по полю, уклоняясь от разрывов, которые вставали у его бортов. Казалось, чёрные великаны выскакивают из-под земли и ловят танк, а он ускользает от их протянутых рук.

Разрывы прекратились. Танк оторвался от оседающей копоти. Приблизился с лязгом к траншее. Встал, сотрясаясь, потно блестя. В салных катках застряли колосья. На башне сквозь пыль виднелся жёлтый украинский трезубец. Над люком водителя висел линиялый красный флажок.

— Хрень какая-то! — Жила зло смотрел на танк, не выпуская из рук гранатомёт.

Из люка показался танкист, голый по пояс, в танковом шлеме. Отжимаясь на руках, выдвинулся из люка, соскочил на землю и устало сел у гусеницы. Стянул с головы шлем.

— Ты кто, псих? — спросил у него Жила.

— Кто таков? — Курок ударил ботинком стёртый до блеска танковый трек.

Танкист поднялся, худой, с выступающими рёбрами, светловолосый, синеглазый, с растрескавшимися губами. Его пятерни были тёмные от машинного масла, и казались, на них надеты перчатки.

— Сержант Лукомский, вторая аэромобильная бригада. Прибыл к вам. Пригнал танк.

— Снаряды есть? — спросил Курок.

— Боекомплект. Пить хочу.

Ему принесли канистру с водой. Он пил, дрожа кадыком. Ополченцы окружили его:

— Ну, танкист! Ну, братан! А мы тебя чуть не рванули!

Он пил, тяжелея от воды. А, напившись, поднял канистру и стал лить на себя. Рябинин смотрел, как стеклянно блестят его худые плечи.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Рябинин проходил мимо низкой, в два оконца хаты. У калитки его окликнул ополченец Ромашка. Его большое, в золотистой щетине лицо улыбалось. Тёмно-синие глаза смотрели спокойно и ласково.

— Ты — Рябина. А в рябине большая сила. Баба, которая на сносях, рябину ест, у той дети — кровь с молоком. Мужик, который спортсмен или военный, или, к примеру, артист, если рябину ест, всегда победит и конкуре выиграет. Дрозд рябину клюёт и петь начинает. Оттого певчий дрозд! Смекаешь?

— Ты — Ромашка. Корова ромашку жуёт и большой надой даёт, — усмехнулся Рябинин.

— Заходи, покажу мою поликлинику. Я вместо фельдшера, который убёг. Народ ко мне ходит. Я людям травы даю.

— Ты знахарь?

— Знахарь — который знает. А который не знает — пахарь. А который хитёр — шахтёр. Заходи, траву тебе пропишу, — Ромашка пропустил Рябинина на внутренний двор. Там стояли какие-то бочки и тазы с водой зеленоватого и желтоватого цвета. Поперёк двора тянулась верёвка, на которой вяли пучки полевых трав, расхаживала пегая курица, долбя клювом землю. У курицы не было одной ноги, а вместо неё был приторочен искусно выточенный деревянный протез с тремя деревянными пальцами. Курица прихрамывала, что не мешало ей бодро клевать, мерцаая зорким глазком.

— Это Кока, — сказал Ромашка, садясь на скамью. — Ей миной ногу оторвало. Я вылечил. Она теперь яйца несёт. Кока, Кока, подь сюды!

Курица подошла, вспрыгнула Ромашке на колени. Тот достал из кармана зёрна пшеницы, и курица стала клевать их с ладони.

— Мы теперь всех увечим и калечим: и людей, и птиц, и цветы полевые. А настанет время, и будем каяться и прощения просить и у людей, и у птиц, и у цветков полевых. Этих укров, которые нас огнём поливают и в которых мы из гранатомётов палим, мы их обнимем и к груди прижмём, и друг у друга станем просить прощения: “Простите нас, братья, что мы натворили в потёмках”.

Из дверей сарая выскочила лохматая вислоухая собака. С радостным визгом кинулась к Ромашке, согнала курицу с его колен. Та недовольно соскочила, прихрамывая, ушла долбить землю. На боку у собаки была плешина, розовела кожа, виднелся свежий рубец.

— Это Стрелка. Ну, иди сюда, милая! Давай, покажи бочок! — Собака повернулась боком, замерла, и Ромашка осторожными пальцами ощупал тощий собачий бок. — Хорошо заживает. Я тебе примочку из подорожника прилеплю.

Собака лизала Ромашке руки, а он говорил:

— Её осколок кольнул. Вот такохонький, как крупа. Под сердцем встал, и она помирала. Сама приползла. Я осколок не вынимал, сам вышел. Я его оттуда выманывал, уговаривал, умаливал. “Осколок, осколок, давай выходи. Я тебя в земельку зарою. Тебе спокойней будет. Тебя за это Богородица любить станет”. А как же, всё с молитвой, всё с помыслом. Богородица всех любит: и людей, и зверей, и птиц, и цветок, и этот осколочек махонький. Руки приставлю, начну молиться, и он помаленьку выходит.

Ромашка сложил чашей большие ладони, приблизил к собачьему боку, и собака от сладости закрыла глаза, блаженно замерла, облучаемая незримым теплом.

Из дома показались две женщины. Одна — высокая, рыхлая, с распухшими ступнями и нечёсаной седеющей головой. Другая — сухонькая, шаткая, с немигающими беловатыми глазами, вцепилась в рукав первой женщины.

— Ромашка, мы чуем, шо ты шось говоришь. Может, ты нас кличешь?

— Подходите, подходите, барышни. Будем принимать водные процедуры. Сперва ты, Мария. Разувайся и в этот таз становца мокрые. Тут шалфей, лучок полевой и клевер, — Ромашка указал на таз с зеленоватым настоем. Женщина скинула стоптанные чоботы, осторожно ступила в таз, раскрыв для равновесия руки.

— Помогает, ой помогает, — говорила она, обращаясь к Рябинину. — Я ить три месяца плакала и днём, и ночью. Как хату мою разбомбили и моего Ивана Трофимовича бомбой убило, всё плачу. Иду — плачу. Ем — плачу. Сплю — плачу. Вся одёжа мокрая, все полотенца мокрые. Слёзы текут, как снег тает. Думаю, помру от слёз. Меня Ромашка к себе завёл и в этот таз поставил. И плакать перестала. Вчера Иван Трофимович приснился. Такой хороший, такой молодой, когда мы с ним в Харькове познакомились. Говорит: “Всё у меня хорошо. Я хату новую построил. Приезжай, жду тебя”. И мне так легко. Должно, скоро помру, увидимся с Иваном Трофимовичем.

Она стояла в тазу и улыбалась. Ромашка зачерпнул из таза горсть настоя и полил ей на голову. Женщина стояла, травяная влага текла по лицу, и она улыбалась.

Вторая женщина, что слепо смотрела перед собой бледно-голубыми глазами, сказала:

— Ромашка, у меня опять в глазах темно. Вчера маленько видела, а сегодня погасло. Ты мне в глаза посвети. А то как я по хозяйству управляться буду? На всё натыкаюсь, всё бью.

Ромашка приблизился к ней. Сжал пальцы щепотью и поднес к её глазам, словно держал две лампочки.

— Давай, повторяй за мной: “Богородица Дева, ясное солнышко. Посвети на меня, чтобы я увидела Твоё девичье лицо, и глазоньки мои посветлели. Чтобы внучку мою Катеньку увидела, когда она к бабушке своей из Ростова вернётся”.

Ромашка держал у её глаз щепоти, потом раскрыл ладони и то удалял, то приближал их к лицу старушки, словно черпал из воздуха свет и вливал ей в глаза. Вращал пальцами, словно ввинчивал ей в глазницы лампочки.

— Ну, как, видишь?

— Трошки вижу, ой, вижу! — воскликнула восторженно женщина и бросилась целовать Ромашке ладони. Тот не отнимал.

— Она не мне. Она Богородице руки целует.

Обе женщины, держась одна за другую, ушли со двора. По двору ходила хромая курица и клевала невидимые крошки, грелась на солнце вислоухая собака, подставляя тепло раненый бок.

Ромашка говорил:

— Тут земли целебные. Тут в травах сила. Тут от земли сила идёт. Эти места Богородица босиком исходила. Война кончится, я здесь санаторий открою. Буду людей лечить. И наших ополченцев, которые раненые. И укров, которых мы покалечили. Тут мы будем мириться.

Рябинин покинул хату целителя и пошёл на край села, принимать пост.

С тех пор, как он перешёл в батальон “Аврора”, который занимал позицию у Петровки, здесь не было серьёзных боёв, лишь редкие перестрелки, тревожащий огонь артиллерии да попытки малых групп диверсантов просочиться в тыл ополченцев. Главные бои шли у соседей. Там украинцы рвались к стратегическому шоссе, атаковали танками, бомбили самолётами.

Ноющий дребезжащий звон донёсся с неба. Зловещий смычок теребил металлическую струну. Рябинин тоскливо прислушивался, вспоминая растерзанную взрывом землю, перевёрнутую самоходку, каталонца Аурели, воздевшего руку в предсмертном приветствии, обрубки ног, красные, как горящие головни. Отыскал в небе серую стрелку штурмовика, который в выраже сверкнул на солнце. Ждал, когда издалека над полем прокатятся глухие разрывы.

— Мой батька в Днепропетровске на аэродроме служил диспетчером. — Молодой ополченец Завитуха из-под ладони смотрел в небо, стараясь разглядеть самолёт. — Как началась мясорубка, он подал рапорт. “Не желаю участвовать в карательных операциях против народа”. Его прессовали, довели до инфаркта. Лежит, болеет. Повидать бы его, смотреться в Днепропетровск, — его серые глаза тоскливо смотрели на голубые холмы, за которыми лежал его больной любимый отец.

— Ты поезжай к отцу, Завитуха, — хохотнул Жила. — Тебя через час отловят и за яйца повесят. Отцу на показ. Они всех нас давно вычислили, и для каждого пуля готова. Если тикать отсюда, только в Россию. Сибирь всех спрячет.

По улице, пыля, прогремел грузовичок, остановился у опорного пункта. Из кузова соскочили два ополченца в чёрных комбинезонах и балаклавах. Осторожно достали две длинные трубы и повесили их на ремнях на плечи.

— Где комбат? — спросил один, мерцая из прорезей балаклавы чёрными глазами.

Курок шёл им навстречу. Поздоровались, отошли в сторону. Курок что-то им объяснял, указывая на поле, на редкую лесную посадку, на пустое знойное небо. Неся на плечах трубы, двое в балаклавах двинулись краем села, таясь в садах, туда, где начиналась чахлая лесопосадка. Грузовичок с водителем остался у опорного пункта.

— Ловцы самолётов, — сказал Жила. — Из этих херовин долбят по самолётам. Если бы у нас были такие, я бы наколотил их, как ворон. А то

что с этой пукалкой сделаешь? — он презрительно перебросил из руки в руку поношенный автомат. Татуировка на голом плече заиграла голубыми драконами.

Рябинин сидел в прозрачной тени пирамидального тополя, глядя на стреляные автоматные гильзы, втоптаные в сухую землю. Летели над полем стеклянные миражи. Далёкие холмы, казалось, плыли в слюдяном воздухе, как волшебные острова. Он вдруг подумал о женщине в васильковом платье, той, что вчера вышла из разрушенных хат и поломанных садов на звук аккордеона. Стояла, пьяно внимая сладостному пению Артиста. Её шёлковое платье было прозрачно на солнце, в нём светилось стройное тело. Её голая рука была золотистой от загара. Зелёные глаза щурились, дрожали, смеялись, когда Рябинин шагнул к ней, приглашая на танец. Она была где-то рядом, среди проломанных стен и просевших крыш. А его московская подруга, которой он признался в любви, была страшно далеко, отделена от него не только пространством — этим изрезанным танками полем, Саур-Могилкой, перевёрнутой гаубицей, сгоревшими у обочин боевыми машинами пехоты, — но и разорванным временем, которое совершило вдруг грозный вираж, чудовищный завиток, подхватило его и понесло в другую, небывалую жизнь, в непредсказуемую судьбу, удаляя навсегда от московских компаний, литературных кружков, легкомысленных увлечений. Тот грозный и страшный опыт, который он приобрёл, ещё не был усвоен, он ещё громоздился в нём, как те монументы с оторванными носами, выбитыми глазами, изуродованными телами. И хотелось, чтобы к этому чудовищному нагромождению прикоснулась волшебная сила, умерила боль, укротила ярость, смирила ненависть. Прикоснулась та загорелая женская рука, к которой он потянулся под сладкую музыку танго.

Рябинин услышал дребезжащий металлический звон, падающий с бледного неба. Пошарил глазами, отыскивая в пустоте серый треугольничек самолёта. Следил, как отточенно и беспощадно мчитя штурмовик к невидимой цели. Из лесопосадки сквозь чахлые тополя взметнулось белое курчавое щупальце. Понеслось, догоняя в синеве самолёт, соединилось с ним, превращаясь в бледную вспышку. Негромкий хлопок долетел до земли. Там, где мчался самолёт, возникла пышная кудрявая папаха. Белесые космы стали распадаться, тянуться к земле. А над ними появился белый, прозрачный, похожий на зыбку медузу парашют. Раскачиваясь, он стал опускаться, сносимый воздушным потоком в сторону села.

— Ага, “мусор”, отстрелили яйцо! — Жила, ликуя, воздел руки, словно звал к себе парашют. — Ко мне, ко мне! Я тебе второе оторву!

Из домов, из развалин высыпал народ. Смотрел, как падают далеко на поле дымящие осколки самолёта, как раскачивается парашют, и под куполом, похожий на летучее семечко, темнеет лётчик.

— А ну, давай, гони! — Жила заскочил в кузов грузовичка, хлопнув кулаком по кабине. — Мы его заберём!

В кузов с ловкостью и азартом ловца успел заскочить ополченец Завитуха. Рябинин разглядел, как у него и у Жилы глаза сверкают одинаковым охотничьим блеском.

Народа на улице становилось всё больше: старухи, старики, малолетки, прервавшие дневной отдых ополченцы. Шумели, указывали, кто в небо, кто за село, кто в поле, где далеко, чуть видные, курились обломки.

На улицу влетел ошалелый грузовичок. За крышу кабины, в рост, держались Жила и Завитуха. На коленях, окружённый пузырящимся шёлком, стоял пленный лётчик. Он был без шлема, в синем лётном комбинезоне. На худом лице его кровенели ссадины, синие глаза безумно вращались. Руки были связаны за спиной обрезком стропы, а её конец намотал на кулак Жила.

— Давай, вылазь, мусор! — Жила пихнул ногой пленного, тот неумело стал перебираться через борт. Упал, и Жила дёргал за стропу, понукая его подняться. — Вставай, сука бандеровская! Погляди народу в глаза!

Пленный стоял на коленях, вращая шеей, со связанными за спиной руками. Когда он начинал клониться, Жила дёргал стропу, словно взнуздывал его, не позволяя упасть.

— Смотрите, люди, на эту суку бандеровскую! Это он, сука драная, вас бомбил, сжигал заживо! Хотите — башку ему оторвите! Хотите — повесьте! Если попросите, я ему сам пулю в мозг всажу!

Люди стояли, обступив пленного, боясь перешагнуть невидимый круг, словно от лётчика исходила мертвящая сила, продолжавшая губить и мучить.

Рябинин смотрел на оглушённого лётчика и думал, не тот ли это, кто направил ракету на его товарищей из батальона “Марс”? И жуткая воронка, по краям которой лежали обрубки тел, лишние кишки, оторванные головы... Так не он ли убийца его друзей?

— Я русский, — произнёс лётчик, стоя на коленях. — Русский я, Терентьев Василий. Не по своей воле! Приказ!

— Ты сволочь, а не русский, блядин ты сын, — просипел старик с костяными глазами, на дне которых стояли не просыхающие тёмные слезы. — Мою Марфу Никитичну убил, я её по саду два дня собирал.

— Ой, люди мои горькие, и за что нам така беда! — Женщина в мятом платье, под которым болтались вислые старушечьи груши, заломила руки. — Жили, робыли, гроши были, хлеб був, что нужно — купляли! Всё пожгли, поломали! Деток повывали! Кто не убёг, того разбомбили! На кладбище земли не хватает — в садах хороним! И за что на нас таки гады напали, и бомбят, и пуляют! Пусть бы им бомбой по голове залепило!

— Воны русские, а хуже немцев! Воны нас со свиту сгоняють! Шо нам с им робить? Убить его, биса! — измождённая женщина с длинными худыми руками кинулась к пленному и стала бить его костяными кулачками. — Бис ты, бис и есть!

Пленный уклонялся от ударов, крутил головой, повторяя:

— Русский я, русский! Терентьев Василий Петрович!

— Врёт он! Не русский, а фашист кровавый! — неистово и радостно крикнул Жила, дёргая за верёвку. — Бей фашиста кровавого!

Этот сумасшедший радостный крик колыхнул людей. Они кинулись к пленному. С визгом, бранью, вздымая и опуская кулаки, люди стали молотить лётчика, рвать на нём волосы. Кидали в него камнями, горстями пыли, били подхваченными кольями и шкворнями.

Жила, отпустив верёвку, отступил и смотрел, как убивали пленного.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

У ополченца Завитухи умер в Днепропетровске отец. Он перенёс несколько инфарктов после допросов в службе безопасности и не вынес тревожений, выпавших на его долю. Последний инфаркт унёс его жизнь. Завитухе позвонила по мобильнику мать. Сказала, что похороны через день и что отец перед смертью всё повторял имя сына.

Завитуха зарыдал. Спрятал телефон в карман камуфлированного “лифчика” рядом с гранатой и стал собираться в дорогу в Днепропетровск, чтобы успеть на похороны. Его отговаривали. Укры, их служба безопасности, схватят его прямо у гроба отца. Все ополченцы, их позывные, имена, номера мобильных телефонов известны украм.

Завитуха отмахивался. Спрятал под матрас автомат, камуфляж, натянул мятый пиджак, и глаза его были полны слёз.

Позвали комбата. Курок явился из штаба и строго, проталкивая сквозь рыжую бороду слова, выговаривал Завитухе:

— Отставить! Оружие не прятать! Марш на боевое дежурство!

— Еду домой, командир. Надо поспеть к отцу. Послезавтра хоронят. Мать сказала, чтоб приезжал. — Завитуха упрямо, не глядя на комбата, засовывал под матрас автоматные рожки, балаклаву, ручной фонарь — весь небогатый скарб ополченца, который ему не пригодится в дороге.

— Ну, ты понимаешь, Завитуха, куда ты идёшь? За линией фронта тебя уже ждут, сразу скрутят. Твой телефонный разговор с матерью отсекли. Ну, если не за линией фронта, то прямо у гроба отца, у могилы, на поминках. В наручники на глазах у матери закуют и — в застенок. До смерти замучают.

— Я должен с отцом повидаться! Не успел при жизни, так хоть в гробу посмотрю...

— Да отец, если б мог, сказал бы тебе: “Куда ты, сынок? Они тебя прямо у моей могилы застрелят. Ты лучше живи, сражайся, отмсти за меня”.

— Я уходил в ополчение, отец сказал: “Воюй. А будет отпуск, приезжай, хочу с тобой повидаться”. У меня ближе отца никого нет. Он был авиадиспетчером на военном аэродроме. Когда я был маленький, мы с ним авиамодели клеили: “Тушки”, “Илы”, “Анны”, “Миги”, “Сухие”. Я все самолёты знал. Он говорил: “Будешь лётчиком — я твой самолёт стану сажать без очереди”. Теперь не посадит. Хочу отца увидеть в последний раз. В лоб холодный поцеловать.

— Ты ещё летаешь, Завитуха! Выше всех взлетишь! Когда победим, мы такой самолёт построим, какого мир не видал! Ты будешь лётчиком, Завитуха! А теперь прощу тебя! Как отец прощу... Оставайся здесь. Ты здесь нужен.

Рябинин услышал низкий хрипящий свист. Этот свист вонзился в сады и хаты, рванул воздух, с треском выламывая из земли корни и фундаменты. Грохот ушёл в небо, и стали слышны тихие стуки — это в садах падали на землю яблоки.

Новый удар. Волна горячего ветра. Секущий свист срезал ветки, кидал ввысь обломки шифера, оторванную дверь, вырванное дерево.

Рябинин видел, как застыла в стеклянном небе яблоня — корнями вверх, плодами вниз. Не успел он изумиться зрелищу перевернутого мира, как услышал железные удары, идущие к селу со стороны поля. Среди белой пшеницы чёрные взрывы, словно шагали по полю косматые великаны, приближались к селу, готовые его растоптать.

— Все в траншею! — крикнул комбат, загребая сильной рукой Завитуху, смахивая его в глубину окопа.

Все бежали, прыгали в траншею, натягивали каски. Жила дёрнул Рябинина, пихнул в окоп. Рябинин, прижавшись к стенке окопа, слышал, как вздрагивает земля. Взрывы приблизились, накрыли окоп вешешками, чёрными горячими комьями. Перешагнули траншею и пошли ломать село. Хрустели взорванными хатами, толкали ступки зловонного дыма.

Рябинин упал на дно окопа, стиснул руками уши, закрыл глаза. Испытывал ужас, рвотный, сдавивший живот, натянувший в судороге все сухожилия. Ему казалось, чудовищная сила, дохнувшая на него когда-то из чрева разбитой машины, теперь пришла за ним. Ищет в избах, всаживая в них снаряды. Ищет в садах, подбрасывая в небо яблони и зарытых под ними мертвецов. Ищет в окопе, нащупывая среди ополченцев, освещая их лица яркими вешешками. Он разбудил чудище, нарушил его дремоту, когда с весёлым азартом стрелял по беспилотнику. Когда убил украинца, и тот перед смертью харкнул в него кровью. Когда смотрел на воронку с растерзанными телами товарищей. Когда рыдал над гробами, из которых смотрели каменные белые лица. Когда поднимался на Саур-Могилу среди расстрелянных монументов, стараясь не наступить на оторванные носы и отсечённые губы. Когда смотрел, как убивают лётчика, а тот, умирая, всё лепетал: “Я русский! Я русский!” И минуту назад, когда увидел в небе вырванную с корнем яблоню, и дерево впивалось корнями в стеклянную пустоту.

Всё это пронеслось в его обезумевшей голове как нерасчленимый клубок тоски и страха.

Чувствуя, как настигает его чудище, тянет к нему свои грохочущие раскалённые лапы, Рябинин стал молиться:

— Господи, спаси меня! Спаси меня, Господи! Мама, спаси меня!

Грохот оборвался. Белёсый тихий дым накрыл окоп. Шурша, сыпались ему на голову комочки земли.

Ужас отхлынул, сменился робкой благодарностью к Заступнику, накрывшему окоп светлым пологом.

Но это блаженное облегчение длилось недолго.

— Танки! — понеслось по окопу, приближаясь к Рябинину. — Танки, мать их ети! — крикнул Жила, вставая в рост, хватая лежащий на бруствере гранатомёт.

Рябинин поднялся, положил автомат на сыпучий, нагретый солнцем бруствер и увидел танки.

Три машины шли по пшеничному полю. Они были ещё далеко, за ними поднималась вялая солнечная пыль. Средний танк обогнал остальные два и шёл теперь впереди, проедавая в колосьях дорогу. Солнце загоралось и гасло на серой броне. За танками катили два транспортёра, на переднем виляя жёлто-голубой украинский флаг.

— Огонь не открывать! Огонь с расстояния триста метров! — Курок передавал вдоль траншеи команду. Подносил к губам рацию:

— Артиллерия, выходи на рубеж! Стреляешь прямой наводкой!

Рябинин смотрел только на головной танк. Вся его воля, бурно стучащее сердце, острая зоркость, накалённое солнцем лицо, натянутые сухожилия — всё было устремлено к танку. Рябинин останавливал танк, не пускал, давил на броню, отталкивал назад в продавленную колею. Танк замедлял ход, почти останавливался. Сила зраков превосходила силу раскалённого двигателя, вращающихся катков, бега гусениц. Но это превосходство длилось недолго. Сила зрачков иссякала, и танк вновь стал набирать скорость.

Рябинин черпал из себя всю отпущенную ему жизнью энергию, выдаивал из каждой клеточки, из каждой частицы мозга, направлял в зрачки и оттуда — навстречу танку. Он вновь его почти останавливал, не пускал, замедлял его ход.

И вновь, обессилев, сникал. Он видел, как танк прибавляет скорость, а за ним следовали два других, и, приотстав, катили зелёные бруски транспортёров. И так велика была его страсть, так неодолима была его воля, так притягивал его, не отпускал этот первый танк, что Рябинин, как в бреду, стал карабкаться на бруствер, стремясь навстречу танку.

— Балда чёртов, куда? — Жила стянул его обратно в окоп, больно ткнув в бок.

Из головного танка польхнуло. Удар пришёлся по мешкам с песком: ошметки ткани и брызги песка ударили в окоп. Ещё два снаряда с недолётом взорвались в пшеничном поле, и осколки просвистели, как стая стальных стрижей.

— Не стрелять! Подпустить ближе! — командовал Курок. Рябинин видел, как Жила направляет на танк трубу с заострённой гранатой. Гранатомётчики целились в танки, поводя трубами от одной машины к другой.

На танковой броне, на башнях БТРов затрепетали огоньки. Пулемёты били наугад, сеяли пули вдоль окопов, в соседних садах, рыхлили землю среди стальных противотанковых ежей.

— Санитара на левый фланг! — понеслось по окопу, удаляясь от Рябинина и стихая среди постукивания пулемётов.

Рябинин видел, как БТРы замедлили ход. Из них стали выпрыгивать солдаты в касках, с автоматами, окружали транспортёры, прятались за их кормой, теряясь в пыльных шлейфах.

Мерное движение машин, их неуклонное приближение, жестокая спокойная мощь, сулившая смерть, рождали у Рябинина тоскливую безнадежность, злое нетерпение, безумное отчаяние, готовое превратиться в панику. Он приподнял автомат и стал выцеливать средний танк, сажая на мушку серую машину. И опережая его, срываясь, не дожидаясь команды комбата, окоп загрохотал автоматами, зачавкал автоматическими гранатомётами, метнул курчавые дымные трассы с красным угольком гранат.

— Огонь! По танкам! Артиллерия, жги! — комбат хрипел в рацию, вскидывая кулак, словно грозил танкам.

Рябинин, захваченный вихрем, отбиваясь от близкой смерти, стрелял в танк, переводил ствол на БТР с пехотой, бил в облако пыли, в котором мелькали солдаты.

Стрельба была неистовой. Он был готов отбиваться пулями, уколами штык-ножа, ударами приклада. Был готов грызть танк зубами, впиваться в него ногтями. Его ярость и ненависть хлестали жаркой болью, и он стрелял, пока не опустошил магазин.

Рядом, ухватив рукоятки автоматического гранатомёта, Артист сеял в поле череду взрывов, словно высаживал перед танками косматые заросли. Завитуха что-то кричал, долбя из пулемёта. Курок всё грозил кулаком, и на его запястьях играли синие жилы.

Рябинин видел, как на левом фланге, из садов, полетел курчавый след. Граната играла золотым огоньком. Коснулась танка, рассыпалась бенгальскими искрами. Отскочила в сторону и пошла прыгать по полю, пока не погасла в пшенице. Танк замер. Некоторое время стоял, а потом двинулся, отвернув в сторону, туда, откуда прилетела граната.

Две другие машины повернулись и пошли туда же, польхая из пушек, сметая на своём пути сады и хаты.

— Ты мне ещё жопу покажешь! — Жила пританцовывал в окопе, вёл за танком гранатомёт. Вот остановил его, прильнул к прицелу, приоткрыв рот с белыми собачьими зубами, и пустил гранату. Она коснулась головного танка, ушла внутрь, и оттуда шарахнул взрыв. Танк подпрыгнул. Замер, клоннул пушкой. Из люков и щелей сочился серый дым.

— Такой базар! — Жила хохотал, хлопал себя по бёдрам, приплясывал, извергая бурлящую блатную бессмыслицу. — Мой танк! Не тронь!

Два другие танка развернулись и стали уходить. Пехота загрузилась в транспортёры, и те на большой скорости удалялись. А им вслед били автоматы, грохотали пулемёты. Рябинин всаживал в пылевое облако длинную очередь и ликовал, наливаясь счастливой силой. Ополченцы, торжествуя, падали в воздух.

И вот настала тишина. Над белой измятой пшеницей светило солнце. Подбитый танк одиноко темнел в поле, окружённый металлической дымкой.

— Молодец, Жила. Благодарю за службу. — Курок обнял Жилу, и тот молодцевато, слегка кривляясь, произнёс:

— Служу Донбассу и рабочему классу!

Подошёл начальник штаба и доложил:

— Один “двухсотый” и трое “трёхсотых”.

Рябинин видел, как двое ополченцев пронесли носилки. Под стёганым одеялом бугрилось тело, торчали грязные продранные кроссовки.

Остаток дня прошёл спокойно, без выстрелов. Ополченцы на открытом воздухе варили еду. Дым был сладкий — на дрова шли стволы и сучья сломанных яблонь.

Под вечер, когда солнце начинало краснеть, снижаясь за селом, Жила подошёл к Рябинину:

— Слышь, Рябина, айда к танку смотаемся.

— Зачем?

— Поглядим, кто танкисты. Через два дня не подойти — вонять будут.

— А, может, они живы. Дожидаются ночи, чтобы уйти. Мы подойдём, а они из пулемёта.

— Дурило, от них лепёшки остались. Я башню прожёт, и боекомплект сдетонирует. Их всех там внутри размазало. Пойдёшь? В случае чего — прикроешь.

— Ну, пойдём, — ответил Рябинин, глядя на танк, окружённый прозрачным чадом.

Они взвели автоматы и двинулись по пшенице к танку: Жила — впереди, Рябинин — сзади. Обходили воронки с жирной землёй, готовые упасть в колосья, если из танка застучит пулемёт.

Приблизились к неподвижной машине. Гусеницы провисли. В катках застряли колосья. Крышка люка была открыта, и над ней туманился воздух, словно из танка истекала таинственная жизнь. Пушка бессильно склонилась, а на башне, среди чешуи защитных брусков, виднелось оплавленное отверстие, сквозь которое в танк проник смертоносный огонь и уничтожил машину.

Жила прислушался, приложил ухо к броне. На лице его появилось чуткое опасливое выражение, как у охотника, который приблизился к убитому зверю, но готов отскочить, если зверь очнётся.

— Тихо, ни звука, ни пука! — произнёс Жила и вскочил на броню. Опустил в люк ствол автомата, следом просунул голову:

— Ну, и дела, Рябина! Танкисты черножопые!

Рябинин, хватаясь за скобы, влез на танк. Броня была тёплой, от неё исходил запах гари, от которого слегка жгло ноздри.

— Смотри, Рябина, какая хрень! — Жила изумлённо приглашал Рябина заглянуть в люк, словно там находилось нечто чудесное. Рябинин осторожно заглянул.

Нутро танка было в рыжей окалине, с обрывками проводки, с огрызками металла. Среди ломаных уступов на сиденье поместился танкист. Его шея казалась скрученной, как скручивают полотенце, выжимая воду. Грудь была расплющена, а живот жутко раздулся. Оторванная рука застряла среди обгорелых уступов. Другая рука, тоже оторванная, повисла в пустом рукаве. Танкист был чёрный. На чёрном маслянистом лице, выдавленные взрывом, голубели глазные яблоки. Пухлые губы раскрылись, и среди белых зубов виднелся красный язык. На оторванной руке блестел золотой перстень. На скрученной шее поблескивала золотая цепочка. На второй руке желтел браслет разбитых часов. В глубине танка, на кресле механика-водителя, виднелся второй чернокожий, помятый, раздавленный взрывом. Пахло парной плотью, горелым пластиком, пороховой вонью.

— Ну, что, Рябина, негров давно не видал? Давай с них шкуру сдерём и кошельков наделаем! — Жила хохотал, отодвинул от люка Рябинина и полез внутрь танка.

Рябинин испытывал отвращение от зрелища изувеченных тел. Он был поражён тем, что среди украинской пшеницы в подбитом танке находились негры, которых принёс на эту войну неведомый вихрь, летающий по земле, собирающий для этой войны будущих мертвецов.

Он стоял на броне, и у него кружилась голова от непонимания этого мира, в центре которого находился подбитый танк с мертвецами, а красное солнце по-прежнему безмолвно светило из космоса.

Жила возился в глубине танка, кряхтел и чертыхался. Рябинин заглянул в люк.

Жила держал оторванную руку с пепельно-серой ладонью и снимал с пальца перстень. Сунул в карман и стал совлекать с закрученной шеи золотую цепочку.

— Жила, ты что, охренел? Ты что, мерзавец, делаешь?

— Заткнись, сука! Мой танк! Я здесь бесплатно воюю! А это мне компенсация! На послевоенные годы!

Он ловко снял часы с золотым браслетом. Стал опускаться на сиденье механика, толкая ногой мертвеца.

Рябинин с отвращением спрыгнул на землю. Скоро из танка вылез Жила. Его лицо было злым, словно он ждал, что у него отнимут добычу. Они возвращались в село, и Рябинин испытывал гадливость к Жиле, к смердящему танку и к себе самому, участнику этого гадкого дела.

Ночью ему приснилась яблоня, застывшая в стеклянной синеве, корни-ми ввысь и с кроной, обращённой к земле. Корни яблони питались хрустальной силой небес, а глянцевиная листва и чудесные плоды были обращены к Рябинину. И он тянул к ним свои обожающие руки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Рябинина вызвали в штаб. Комбат Курок готовился идти по домам, что-бы раздавать продукты обездоленным селянам. В штабе ополченец Лавр, ведавший продовольствием, укладывал в мешок банки стущёнки, мясные консервы, буханки хлеба, пакеты с макаронами. Лавр был остронос, проничен, с железистыми бачками и длинными едкими губами, на которых играла недоверчивая улыбка. Прежде он работал на шахте бухгалтером и в ополчении вёл учёт продовольствия и боеприпасов.

Комбат Курок, в португезе с лакированной кобурой “стечкина”, сидел на стуле под красным знаменем. На бархатном полотнище жёлтым шёлком был вышит профиль Ленина и красовалась надпись: “За нашу советскую Родину”!

— Давай, Лавр, не жадничай. Клади больше сгущёнки. Детишек подсластим, стариков утешим. — Курок следил, как прижимистый Лавр пересчитывает банки.

— Да куда больше-то! — упрямылся Лавр. — Своим не хватает!

— А они, которые по подвалам сидят, они чужие? Народ не чужой. Мы за этот народ воюем. Последнее ему должны отдать. Не только сгущёнку, но и жизнь. — Лысый, с блестящим черепом, с рыжей косой бородой, сидя под красным знаменем, перетянутый португесей, Курок напоминал Рябинину командира времён гражданской. И впервые за многие дни он подумал о книге. О том, как опишет рыжебородого командира, восседающего под красным полотнищем.

— Всё оно так, Курок, — едко хмыкнул Лавр. — Мы за этот народ воюем и жизни кладём. А где, я спрашиваю, мужики молодые призывного возраста, которые в этом селе проживают? Все в Россию сбежали, старух и детишек побросали. Почему не берут “калашникова”, не идут на блокпост?

— Ничего, Лавр. Скоро вернутся. Я клич бросил, в интернете призыв разместил. Чтобы народ к нам из России ехал, в батальон “Аврора”. Будем на основе батальона создавать Красную армию. Как в Советском Союзе.

— Да где он теперь, Советский Союз? — Лавр махнул рукой, в которой держал банку тушёнки. — Кошка языком слизнула.

— Вот знамя, видишь? Знамя полка Первого Украинского фронта. Это и есть Советский Союз. Здесь, в Петровке, территория Советского Союза, которую мы отбили у врага.

— Ну, да, Советский Союз, и столица его — Петровка! — Лавр поддразнивал комбата, предвкушая политический спор.

— Сейчас Петровка, а завтра и Устиновка. И Луганск, и Донецк, и Макеевка, и Горловка. А также Красный Луч, Краснодон. Перейдём в наступление, и в состав Союза войдут Мариуполь, Одесса, Запорожье и Харьков. И Николаев, и Днепропетровск, и Киев. Под этим Красным знаменем пройдем по Крещатику, и люди будут встречать нас хлебом-солью!

— Что, и в России будут встречать? — Лавр наивно ахнул, а сам смотрел на комбата едким колочим взглядом. — И в Россию понесём Красное знамя?

— Россия сама к нам придёт, и мы её встретим хлебом-солью, — твёрдо произнёс Курок.

— Что-то она не торопится к нам, комбат. В Крым пришла, хорошо. “Своих не бросаем”. “Без единой капли крови”. Там без единой, а здесь мы кровью умыты. Разве мы не свои для России? Где она? Где её танки, зенитки? Почему она смотрит, как нас убивают?

— Погоди, не настало время. Придёт Россия, и будут танки, и гаубицы, и “Ураганы”, и самолёты. Ты думаешь, в Москве про наш вчерашний бой не знают? Про Саур-Могилу не знают? Про обстрелы Донецка не знают? Знают. Готовят войска. Скоро ударят.

— Несправедливо это, комбат. Мы здесь не за себя воюем, а за Россию. А она нас не видит. Несправедливо.

— Всё будет по справедливости, Лавр, поверь! Справедливость правит миром, и как бы её ни топтали, как бы ни издевались, а победит справедливость. Победит Советский Союз!

Курок произнёс это торжественно и вдохновенно, как произносят слова любимого стихотворения. Рябинин видел перед собой верующего человека. Курок, лысый, с изуродованным лицом, казался прекрасным, словно был окружён едва уловимым сиянием.

— И я в это верю, комбат. Если бы не верил, не взял бы автомат, — кивнул Лавр.

— Погоди, Лавр, — комбат протянул к нему осеняющую руку. — Мы ещё пройдем парадом по Красной площади — все батальоны, которые защищали Донбасс. Проедем на танках, на самоходках, на БТРах, под флагами Новороссии. А это знамя взвѣется над Кремлём. Победное знамя Красной армии! — Курок тронул тяжѣлый, потемневший от времени бархат.

В подвале разгромленного магазина в полумраке скопились старухи и дети. Пахло сыростью, тленом. Из дверей морозильника тянуло испорченной рыбой. Сквозь продых снаружи бил луч света. Нары у стен, скомканные одеяла, стол, на котором лежало несколько яблок, длинная скамья, где в ряд сидели старухи в платках и кофтах. К ним жались дети. Испугались вошедших, стихли. Только маленькая девочка в коротком платьице продолжала кружиться на тонких ножках.

— Здравствуйте, граждане, — бодро приветствовал их Курок, привыкая после солнца к сумеркам. — Командование батальона “Аврора” решило выделить вам из своих запасов некоторую часть продовольствия. Тут и мясные консервы, и сгущёнка, и макароны. Одними яблоками не прокормиться, — Рябинин и Лавр вытаскивали из мешков банки, пакеты, буханки зачерствелого хлеба. Складывали на стол. — Мы вам всё оставляем. Другие пусть приходят. Вы уж сами поделите, по справедливости.

Было видно, что Курок испытывает удовлетворение, наделяя измученных людей продовольствием.

— Спасибо вам! — жалобно благодарила старуха.

— Храни вас Господь. Как без пенсий, без магазинов жить? Совсем отоцали, — вторила слёзно другая.

— Вчера был бой. — Курок воздел руку, как оратор, обращаясь к старухам. — Танки противника в сопровождении пехоты пытались прорваться к Петровке и выйти на стратегическое шоссе Донецк — Луганск. Но мужественными и слаженными действиями батальона “Аврора” противник был остановлен и обращён вспять. Мы сражались за вас, дорогие граждане. За вашу свободу. Ваше село остаётся свободным и будет таковым оставаться.

Рябинин испытывал неловкость, слушая комбата. Тот, казалось, не чувствовал неловкости своей пафосной речи в этом тоскливом подzemелье, среди понурых старух и испуганных детей. Маленькая девочка перестала танцевать, обратила к комбату свое бледное личико. Рябинин видел её хрупкую шейку, шаткие ножки, прозрачные волосики, на которые падал луч света.

— Ой, горе ты, горе! — тяжело вздохнула рыхлая старуха в красной кофте. — Думаю, чем всё терпеть, выйду-ка я из подвала, и пусть меня снарядом приобьёт, чтобы не видеть всю эту беду. А с этими что будет? — она притянула к себе двух белоголовых мальчиков. — На кого их оставлю? Ихние мать и отец отбегали в Россию, сказали: “Скоро вернёмся”. И негу их.

— При немцах лучше было, — скрипуче произнесла древняя старуха, замотанная тёплыми платками и шерстяными кофтами. — Немцы хаты людям оставляли. А тут все хаты побили. Как зимовать? Ни газа, ни дров. Померзнем. Из зимы никто не выйдет.

— Не подавайтесь унынию, граждане. — Курок бодро взмахивал рукой, словно дирижировал, желая извлечь из оркестра бравурную музыку. — После победы всё восстановим: новые хаты, школу, газ проведём.

В наступившей тишине раздался слабый голосок. Девочка, продолжая смотреть на комбата, спросила:

— А когда меня убьют, больно будет?

Рябинин почувствовал, как хлынули к глазам жаркие слёзы и остановились, не в силах пролиться.

С лавки вскочила худая женщина в нахлобученной зимней ушанке, кинулась к комбату и стала трясти у его лица костистыми кулаками, визгливо и хрипло выкрикивая:

— Щоб ви сдохлы, бисы! Щоб вас повбивало, клятых! И слиду вашого нэ залишилося! Кто вас сюди кликав, бисовы души! До вас жили, було все, будинки, городи! Хлеб сияли, прибирали! Ви прийшли, и все зруйновали! Усих повбивали, каты проклятии! — она кидалась на Курка. Лавр перехватил её сухие запястья. Другие женщины тянули её назад, на скамью.

Курок, бурля неразборчивыми словами, пошёл к выходу. Следом шли Лавр и Рябинин, слыша за спиной детский плач.

Они шли по селу. Курок долговязо шагал, бурно дыша. Его лысый череп воспалённо блестел на солнце, рыжая борода от возбуждения съехала набок. Кобура со “стечкиным” скакала на бедре от быстрой ходьбы.

Проходили мимо дома с затейливыми колонками и башенками. Навстречу из калитки, из цветущего палисадника, выбежала женщина, та, которой однажды любовался Рябинин — её печальной статью, беломраморным лицом, уложенной вокруг головы косой. Теперь коса рассыпалась спутанными космами, на белом лице краснели ссадины, из губы сочилась кровь. Платье на груди было разорвано, и женщина, придерживая обрывки, рыдала:

— Он бил, насильничал! Он сказал: “Воды попить”. Я пустила. Он ударил, автомат наставил! Снаильничал! Залез в шкатулку! Взял золотые колечки, цепку с крестиком, сережки с камушками! Кто защитит? Ой, горе, мамочка моя! Ой, да зачем мне такой позор!

— Кто? Кто? — рявкнул Курок. — Кто насильничал? — Его лицо побледнело, под бородой ходили бешеные желваки. — Кто, скажи, этот вор?

— Ой, мамочка, ой, не знаю! Автомат наставил! Все колечки, цепочки, которые от свадьбы остались! Ой, куда мне теперь бежать! — она, было, кинулась по улице, косматая, с голыми ногами, удерживая среди обрывков платья тяжёлые груди.

— Стой! — схватил её за руку Курок. — Сейчас батальон построю, покажешь суку! Лавр, батальон к построению!

Через десять минут перед магазином на площади был выстроен батальон. Солнце жгло на небес, ополченцы топтали свои короткие круглые тени. Одни были с оружием, взятые с постов. Другие подняты с коек, на которых отдыхали после ночного дежурства. Стояли неровным строем, в бронежилетах, пятнистых тужурках, в домашних рубахах и куртках. На головах каски, косынки, картузы, шляпы с приподнятыми полями. На ногах ботсы, стоптанные туфли, спортивные кроссовки. Всё пестрое воинство, явившееся защищать Донбасс из дальних городов и селений.

Рябинин стоял в строю, глядя, как комбат, яростный, с выпученными синими глазами, озирает батальон, подталкивая вперёд женщину в растерзанном платье.

— Смотри! — толкнул он её к строю. — Укажи суку! Кто тебя изнасиловал?

Женщина, плача, боясь отпустить обрывок платья, прикрывавшего грудь, пошла, загибаясь, вдоль строя. Остановилась перед Жилой, который насмешливо, зло смотрел на неё.

— Этот! — крикнула она. — Он автомат наставил!

Курок метнулся к Жиле, выволок из строя:

— Ты?

— Да ты что, командир! Первый раз бабу вижу! — Жила набычился, зло смотрел на комбата и женщину. Мускулистые руки, выступавшие из пятнистой безрукавки, играли синей татуировкой. Поглаживал автомат. Был готов сдернуть его с плеча.

— Он! — стонала женщина. — Колечки взял, которые от мужа остались!

— Отдай оружие! — Курок дёрнул автомат, и Жила, не сразу выпустив ремень, выступил на шаг из строя. — А ну, покажи! — Курок набросил автомат себе на плечо, стволом вниз, и стал обыскивать Жилу, шарить по карманам его пятнистой безрукавки. Из кармана длинные дрожащие пальцы комбата вытянули золотую цепочку с крестиком. Следом на землю посыпались колечки, серёжки, блестящие украшения.

— Твои? — обернулся Курок к женщине. Она кивнула, всхлипывая. — Забирай! — та схватила цепочку, стала поднимать с земли кольца и украшения.

— Батальон! — хрипло, срываясь на клекот, крикнул Курок. — Мы пришли сюда, на священную землю Новороссии, чтобы своими жизнями добыть для людей Донбасса свободу и справедливость! Но среди нас завёлся гад, сучье отродье, который потерял человеческий облик и использует святое оружие, чтобы грабить и насиловать. От него исходит яд, который отравляет святой колодец наших душ, оскверняет нашу праведную борьбу! Именем народа, памятью павших борцов, во исполнение священной справедливости — этому гаду смерть!

Курок выхватил из кобуры “стечкин”, поднёс к голове Жилы и выстрелил. Клюквенные брызги разлетелись во все стороны, и Жила молча грохнулся на землю.

— Убрать! — приказал Курок начальнику штаба. — Батальон, разойдись!

И пошёл, не оглядываясь, к передовой линии, по-журавлиному переставляя длинные ноги. Женщина убежала, колыхая распущенными волосами. Два ополченца оттащивали в сторону Жилу. Рябинин заметил, как в пыли блестит, мерцает камушком оброненное золотое колечко.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Стояла жара. Всё было залито слепящим светом. Рябинину казалось, что в этом солнечном свечении присутствует едва уловимая дымка, предвестница мглы. Он испытывал необъяснимую тоску, неизъяснимое одиночество, словно остался в этом мире один, без прошлого и без будущего, без привязанностей, без друга, без дома, без любимой и любящей женщины. Все его прежние побуждения, делающая жизнь увлекательной и неутомимой погоней, теперь исчахли. Он был пуст, из него изъяли память, сердце. Оставалась ноющая душа, которая предчувствовала конец всего. И этот слепящий солнечный свет таил в себе будущий мрак.

У соседней хаты ополченцы, голые по пояс, обливались водой, гоготали, смеялись. По улице, пыля, промчался грузовичок, на крыше которого был установлен пулемёт. Пулемётчик промелькнул мимо загорелым лицом. В саду среди яблонь, зарытый в землю, стоял танк — тот, что пригнал Танкист. Ополченцы, маскируя машину, набрасывали на броню срубленные ветки. За изгородью старуха в красном платье, с распухшими ногами тащила ведро. Было видно, как качаются под платьем её тяжёлые груди. В селе среди хат, в проулках и садах шла осторожная жизнь, готовая при первой опасности затаиться. На белом пшеничном поле темнел подбитый танк, и в нём разбухали на жаре чернокожие мертвецы.

Но все это не интересовало Рябинина. Над всем нависала мгла, и его тоска сама была мглой, в которой меркла его бессмысленная жизнь.

Он шёл по улице, чувствуя на боку нагретый солнцем автомат, обходил мелкие воронки от мин, похрустывал осколками битого стекла. Увидел палисадник, в котором пестрели цветы. И вид этих солнечных цветов привлёк его. Он потянулся к палисаднику и стал разглядывать золотые шары, розовые мальвы, фиолетовые и белые астры. Вдруг вспомнил семена марсианских цветов, которые посеял на Саур-Могиле. И явилась мысль, что часть этих семян долетела сюда и здесь расцвела.

Они были прекрасны и трогательны, эти малиновые мальвы, рыжие ноготки, сиреневые флоксы, клубящиеся пеной гортензии. Тихо гудели пчёлы, от цветка к цветку перелетал медлительный шмель, сладко припадала к лепесткам пестрая бабочка. Рябинин тянулся к цветам. В них было спасение от тоски, избавление от надвигавшейся мглы.

Он увидел, как мимо клумбы к крыльцу идёт женщина в голубом платье. Прозрачный шёлк таил в себе светящееся тело, которое колыхалось, словно огонь в стекле лампы. Это была та самая женщина, что взволновала его несколько дней назад, когда Артист играл свои танго, и Рябинин хотел пригласить её на танец, но истошный крик: “Танки!” — помешал ему сделать это.

Теперь она шла, опустив глаза, не замечая его. Он чувствовал, как с каждым её шагом тают драгоценные неповторимые мгновенья, унося её от него навсегда. Исчезает возможность какой-то иной, не проявленной, поманившей его жизни. Он оцепенел, видя, как она обходит клумбу, поднимается на крыльцо, чтобы исчезнуть в доме и больше не появиться. И чувствуя, как тают последние секунды, всё ещё помня, как бабочка перелетает с цветка на цветок, он окликнул женщину:

— Здравствуйте!

Она обернулась, удивлённо смотрела на него с крыльца. Глаза её шурились на солнце, и было неясно, какого они цвета — цвета мальвы, золотых шаров или голубых садовых колокольчиков. Между ней и Рябининым была пылающая клумба. Женщина ответила:

— Здравствуйте.

В её голосе среди женских певучих интонаций ему почудился дрогнувший звук, словно ручей ударился о маленький солнечный камень. Этот звук был едва уловим, но в нём притаились рыдания. Рябину показалось, что женщина хочет уйти. Стараясь удержать её на крыльце, он произнёс:

— Какие красивые цветы. Вы сами сажали?

— Сама. Ещё в прошлом году, — она спустилась с крыльца, и теперь их разделяли пышные малиновые мальвы.

— Это ваш дом? Вы родом из Петровки? — он заговаривал её, удерживал, не позволяя уйти.

— Я из Харькова. Приехала сюда работать. Я в библиотеке работаю.

— Здесь есть библиотека? Я и не знал.

— Её разбомбили. Почти все книги сгорели. Что осталось, я принесла домой. Думала, может, люди захотят почитать, отвлечься. Но никто не приходит за книгами.

— Я пришёл. Хочу почитать. Что я могу почитать?

Женщина смотрела на него сквозь мальвы, на его автомат, на несвежую пятнистую форму, раздумывая над чем-то.

— Что ж, зайдите. Я покажу, что осталось от библиотеки. Вы единственный читатель, который пришёл за книгами.

Она отворила калитку, впустила его. Он шёл за её голубым платьем, видя, как колеблется её молодое гибкое тело. Бабочка перелетела с цветка на цветок.

Они вошли в сени, и она провела его в небольшую комнату, где, видимо, зимой хранились соленья, домашние припасы, а теперь на полу высились стопки книг. Некоторые были порваны, обгорели. Другие уцелели, но были зачитаны до дыр, с потрёпанными корешками.

— Выбирайте, — она повела рукой.

Он вдруг подумал, что в этой сельской библиотеке, если бы её не сожгли, могла оказаться и его книга, которую он напишет. Бомба, что разрушила библиотеку, целила в его книгу, чтобы она никогда не появилась на свет. Женщина, спасая обгорелые томики, спасала и его будущую книгу. Эта ещё не написанная книга хранится здесь, в маленьком, никому не ведомом доме.

Рябинин просматривал книги, перелистывал Толстого, Лермонтова, Чехова. Страхивал пепел с Валентина Катаева, с мемуаров Рокоссовского. Трогал спёкшиеся от огня страницы, читал уцелевшие строки. Ему показалось, он стоит на краю воронки, вокруг которой разбросаны книги, как были разбросаны после взрыва изувеченные тела ополченцев бригады "Марс". И женщина в голубом платье, и он сам чудом уцелели от взрыва.

— Я выбрал вот это, — он показал ей потёртый томик Пушкина с профилем поэта на обложке, напоминавшим пушкинские рисунки на полях рукописей. — Не читал Пушкина со школьной скамьи.

— Пушкина брали школьники и молодые мамы, чтобы читать детям сказки.

Они молчали. Он не знал, что сказать. Казалось, все слова исчерпаны, и нужно уходить.

— Хотите, угощу вас яблоками? — спросила она.

— Конечно! — просиял он, чувствуя, как остановившееся время радостно хлынуло вперёд.

Они вернулись в сени, и она впустила его в горницу. Комната была солнечной, с белыми занавесками на окнах. Белела печь. На высокой кровати пестрело покрывало, высились подушки, одна другой меньше. На столе в вазочке стояли сорванные в саду колокольчики. В плетёной корзине на стуле сияли глянцевиные, румяные яблоки. Комната была наполнена тёплым благоуханием, светлой и чистой женственностью. У Рябина сладко дрогнуло

сердце, и он не решался шагнуть в этот свет, сплутнуть эту женственность видом своего потёртого автомата, стоптанных бот, несвежей одежды.

— Ну, что же вы, проходите!

Рябинин поставил автомат у порога, стянул боты и в носках прошёл к столу, сел, глядя, как женщина берёт из корзины яблоко.

— Меня зовут Николай. А вас?

— Меня Валя.

Рябинин беззвучно повторил её имя. Оно было округлым, тёплым и будто пахло яблоками.

— Вот, возьмите, — она протянула ему яблоко, красное с одной стороны и золотисто-белое с другой. — Когда из пушек бьют, яблоки падают. Вчера очень много падало.

Он ел яблоко, вкушая его медовую мякоть, а она сидела напротив, чуть улыбалась, словно ждала, когда подействует на него пьянящая сладость.

Теперь он видел, что глаза у неё серые, тёплые, с притихшим в них ожиданием, словно она чего-то терпеливо ждала, быть может, с самого детства, а оно всё не шло, не являлось. Волосы у неё были золотистые, выгоревшие на солнце до белизны, и у маленьких розовых ушей свивались в трогательные детские локоны. На узкой переносице виднелись веснушки, которые появились, вероятно, когда она ухаживала за солнечной клумбой. Губы улыбались, но улыбка была несмелая, готовая исчезнуть. И тогда уголки рта опустятся вниз, и в голосе дрогнет рыдающий звук. В вырезе голубого платья виднелась загорелая шея, но ниже, где начиналась ложбинка груди, кожа была белая. И, глядя на эту незагорелую ложбинку, Рябинин испытал к этой женщине нежность, трогательное волнение, от которого стало влажно глазам.

— А вы откуда? Вы кто? — спросила она.

— Я из Москвы, писатель, — ответил он и смутился.

— Писатель? — брови её изумленно взлетели. — Может быть, в библиотеке есть ваша книга?

— Нет такой книги. Ещё не написана.

— Зачем же вы здесь? — она повела глазами к порогу, где прислонился к стене автомат. — Я думала, писатели сидят за столом и пишут, а вы на войне.

— Хочу написать об этой войне.

— Я думаю, когда весь этот ужас закончится, люди захотят читать книги о любви, о природе, о семейном счастье. Они захотят поскорее забыть о войне. — В её голосе вновь прозвучал рыдающий звук, словно ручей тихо плеснул в блестящий на солнце камень.

Рябинину вдруг захотелось открыться ей, рассказать о своих мечтаниях, глядя в её тихие серые глаза, чувствуя на губах душистый вкус её имени.

— В моей книге я напишу о героях, о мучениках, которые оставили свои дома, своих жён и детей и пошли воевать по зову совести. Они погибают, совершают подвиги, умирают в застенках. О них не должны забыть. Они не могут исчезнуть из людской памяти. Я напишу о них, чтобы они не были забыты.

Она смотрела на него изумлённо. Её губы вздрагивали, словно она повторяла его слова, чтобы лучше запомнить. Он испытывал к ней доверие. Своими изумлёнными бровями, вздрагивающими губами, трогательными веснушками она побуждала его говорить. Он смотрел на неё, как смотрят в зеркало, чтобы увидеть своё отражение.

— Пригласите меня на танец, — тихо сказала она.

Поднялась и встала перед ним. Поднимаясь навстречу, он видел прозрачные складки шёлка у неё на груди, обнажённую по локоть руку, золотистую от загара. И начинала звучать тихая упоительная музыка, сотканная из бледного солнца, стоящих в вазе цветов, запаха яблок и его нежности, которая пела в нём. Он обнял её за талию, чувствуя, как гибко напряглась её спина. Сжал её пальцы, которые слабо ответили на его пожатие. И они закружились по комнате в медленном, как во сне, танце. Он видел проплывающую мимо корзину с яблоками, томик Пушкина на столе, садовые колокольчики в вазе, автомат у порога, и снова яблоки, потрёпанный томик, садовые

колокольчики. И у окна с занавеской, попадая в пятно бледного солнца, он испытал бесшумное головокружение, словно колыхнулась волна света, и женщина, которую он обнимал, стала вдруг драгоценной и ненаглядной. Он любил её близкий локон, маленькое ухо, сгиб руки с крохотной голубой жилкой, вырез платья с хрупкой ключицей.

— Какое счастье, что я вас увидел! — прошептал он чуть слышно. Она отстранилась, прекращая круженье. Обняла его и поцеловала жарко, сильно, делая больно его губам. И он с закрытыми глазами целовал ее шею, ключицу, запястье, жилку на сгибе руки. И потом, когда её платье, полыхнув синевой, упало на пол, целовал её груди, живот, колени, узкие щиколотки. Сквозь закрытые веки он видел её обожаемое лицо.

Они лежали, чуть касаясь друг друга. Он видел, что глаза её закрыты, ресницы вздрагивают, а губы улыбаются, словно она хочет сказать что-то чудесное, трогательное, но не решается.

— Откуда ты взялся, родной? — сказала она. — Утром я поливала цветы, смотрела на колокольчик и подумала; “Это Коля, колокольчик”. А оказывается, это ты, мой цветочек.

— Утром у меня была такая тоска, словно мне уже не жить. Словно предчувствовал смерть свою. И с этой тоской я пошёл по селу, увидел тебя, и случилось чудо. Вот люблюсь тобой, целую твою руку, и так будет теперь всегда.

— Но мы же совсем не знаем друг друга. Я о тебе — хоть что-то, а ты обо мне — ничего.

— Знаю, что ты спасала мою книгу, выхватывала из огня. Теперь я её напишу. И в ней будешь ты, твоё васильковое платье, наш танец и чудесные ароматные яблоки. Может, я попал на эту войну для того, чтобы встретить тебя?

— Ты должен знать обо мне. Я окончила в Харькове библиотечный институт, готовилась в аспирантуре. На последнем курсе я влюбилась в преподавателя. Он был красивый, яркий, все студентки его обожали. Он читал нам русскую литературу, и мне он казался Печориным — загадочным, храбрым и одиноким. У нас была близость. На выпускном балу он сказал, что должен ненадолго уехать в Киев, а когда вернётся, мы поженимся. Он уехал и не вернулся. Говорили, что переселился в Америку или в Канаду. Я была оскорблена, хотела чуть ли ни в омут. Отказалась от аспирантуры и приехала сюда, в глушь, в Петровку. Работала в библиотеке, понемногу забывала прошлое. Чувствовала, что нужна этим людям. Подбирала им книги, проводила читательские конференции, помогала ученикам. Думала, здесь, среди зачитанных книжек, бесед с многомудрыми стариками и шаловливыми ребятишками так и пройдёт моя жизнь. Книги, цветы, заботы... А тут случилась эта беда, это горе. Бомбы, снаряды, страх и жестокость. Одни мои читатели похватали домашний скарб и уехали куда глаза глядят. Другие были убиты, и их хоронили прямо в садах, потому что кладбище было в руках украинцев. Третьи забились в подвалы, и им стало не до книг. А потом прилетел самолёт и сбросил бомбу на библиотеку. Я никуда не уехала. Осталась тут. Знаю, что меня убьют. И тебя убьют. И всех нас убьют.

В её голосе задрожали рыдания. Рябинин целовал её близкое плечо.

— Мы выиграем эту войну. Нам на помощь очень скоро придёт Россия. Она видит, как обливается кровью Новороссия. Она не бросит русских братьев в беде. Сюда придут отборные русские части — десантники, спецназ, танки и артиллерия. Мы начнём наступление, выйдем противника из Мариуполя, Одессы, Харькова. Когда победим, вернусь за тобой в Петровку и уверю. Мы станем путешествовать. Поверь мне, всё так и будет.

— Это правда? Всё так и будет? — в её голосе было печальное недоверие и тайная надежда. И подхватывая эту надежду, как ветер подхватывает на склоне горы дельтаплан и несёт в восходящих потоках, Рябинин стал говорить восхищённо, страстно обнимая Валю. Он уносил её прочь от этих разгромленных хат, измятого танками поля, от минных осколков, похожих на уродливые, с железными лепестками цветы.

Они проносились над морем, над его бирюзой, рыбаки, стоя в лодках, доставали из сетей огромных серебряных рыб, и те сверкали, как солнечные зеркала. Они летели над синей протокой с фиолетовыми гранитными лбами, и два оленя переплывали реку, задирая вверх чуткие головы с сиреневыми глазами. Они плыли по Неве мимо белых колоннад и дворцов, и золотое отраженье Адмиралтейской иглы дробилось и ломалось, когда его пересекала сахарная льдина, а на льдине на одной ноге стояла желтоклювая чайка. Он целовал её у ночных каналов с отражением маслянистых фонарей. Пахнул ветер, побежал по каналу, и отражения превратились в крутящиеся золотые веретёнца. Они поднимались на солнечную жаркую гору, которая казалась фиолетовой от созревшей земляники, и она протянула ему горсть спелых ягод, и он хватал губами ягоды и целовал её ладонь, чувствуя пьянящую сладость. Они любовались белыми волжскими городами, краше которых нет на земле, и в старом соборе, среди свечей и лампад, огромный коричневый Спас смотрел на них тёмными, как ночное небо, глазами, и она, робея, о чем-то моля, приблизила к образу свои побледневшие губы. Ночная изба с жаркой печью, язычки света бегут по венцам, и он рассказывает детям какую-то бесконечную сказку, а жена прижала к себе детские головы. С детьми они выходят в лунную ночь, идут к замёрзшему озеру, и она сквозь ломтик прозрачного льда смотрит на голубую луну, и маленькая дочь, запрокинув лицо, охваченная луной, спрашивает: “А на луне водятся люди”?

Рябинин рассказывал ей всё это, или ему только казалось, что он рассказывает... Видения, которые его посещали, были из чьей-то иной, ему не принадлежавшей жизни. Словно кто-то, родной, но неведомый напоминал о себе, дарил своё исчезнувшее счастье.

— Ты взял томик Пушкина. Там есть стихотворение про цветок, забытый в книге: “Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...” Я найду этот стих и положу между страниц цветков колокольчика. Пусть он там останется на долгие годы. И когда-нибудь, в старости, мы откроем эту страницу, найдём засохший цветок и вспомним нашу первую встречу.

Она соскользнула с кровати, прошла к столу, где стояла ваза с цветами. Вынула синий цветок колокольчика и, полистав томик, спрятала его меж страниц. И он с умилением и нежностью смотрел на неё.

Ночью они несколько раз просыпались, и их пробуждения были жаркими, бурными, и их любовь друг к другу была неутолимой.

На рассвете он ушёл, прихватив автомат и забыв на столе томик Пушкина с цветком колокольчика. Она провожала его до калитки, сказала на прощанье: “Буду ждать тебя вечером, Коля”.

Счастливый и лёгкий, он шёл по селу прямо на малиновую зарю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На позиции он сменил Лавра, который, зевая, кивнул на батальонное знамя, установленное у мешков с землёй:

— Курок хочет устроить парад батальона. Для поднятия духа. А чего его поднимать? Выше некуда, — и пошёл, положив автомат на плечо, как лопату.

Одни ополченцы сменяли других. Рябинин видел Ромашку, Завитуху, Артиста, которые рассаживались перед траншеей, на зарядных ящиках лицом к заре и смотрели на неё, как смотрят птицы перед восходом солнца.

Вдруг он услышал режущий, секущий свист. Чёрный взрыв расщепил соседнюю хату, метнул ввысь ошметки. Горячий воздух толкнул Рябинина в грудь, залепил пробками уши. Ещё один взрыв рванул огнём среди улицы, просвистел осколками, и взрывная волна докатила до Рябинина свой пыльный жар. Взрывы впились в село, вонзались в сады и хаты, вспарывали, перетряхивали их, как лежалое одеяло. Свистели осколки. Металлический свист нёсся среди чёрного дыма, срезанных яблонь, горящих домов.

Рябинин, оглушённый, прыгнул в траншею. Он видел, как ополченцы бегут из домов на позицию, пригибаясь, словно над ними свистит лезвие.

Завитуха юлой повернулся в прыжке и спрыгнул в окоп. Артист сполз в траншею, утягивая за собой трубу гранатомёта. Лавр, не успев добраться до хаты, семенял обратно, оглядываясь, вжимая голову в плечи.

Появился Курок. Выпучив глаза, кричал в рацию. Он был без шапки, лысый, с рыжей метлой бороды.

Рябинин сжался в окопе. Чудище вновь появилось и разыскивало его среди дыма и пламени. Взрывы шли валом от пшеничного поля, занавешивая малиновую зарю серой мутью. Перекатывались через окоп, сотрясая грунт, и Рябинин видел, как рядом отломился от стенки окопа кусок земли и засыпал проход.

Взрывы катились в село, отыскивая Рябинина среди хат. Уходили в далёкий дуг, надеясь найти его среди травяных оврагов, и возвращались обратно. Свистело, хрустело, чавкало, словно огромные зубы чудовища изгрызали село. Дёргались его красные глазницы — чудовище среди поломанных яблонь и горящих домов выискивало Рябинина.

Он лежал на дне окопа, вдавливая лицо в землю. Видел близко, прямо перед глазами стреляную автоматную гильзу, хребтом чувствовал свистящие над окопом осколки, затылком ждал, когда удар упадёт сверху, смешивая с землёй его кровь. Страх его был лишён мысли и скорее был похож на непрерывный бессловесный крик. И вдруг, среди ужаса и безумия, слыша, как перекатываются по селу убийственные удары, он подумал о Валентине. Удары чудовища были нацелены на цветущую клумбу, на корзину яблок, стоящую в горнице на стуле, на томик Пушкина с цветком колокольчика, лежащий на столе. На нежную белизну в вырезе её платья, на солнечные локоны над маленьким ушком и на тот незащитный рыдающий звук в её голосе, которым она умоляла пощадить её. Это он, Рябинин, побывал в её доме и навёл несчастье. Теперь чудовище ищет в её доме Рябинина, харкая огнём и металлом.

Он испытал страстный порыв бежать к ней, выхватить её из чёрного взрыва, накрыть собой, унести на руках прочь из села, в овраги, в холмы, куда не достанут взрывы. Он стал карабкаться из траншеи, но резкий, как клёкот, голос комбата остановил его:

— Танки! Бить с прицельной дистанции! — стибаясь в окопе, прижимая к бороде рацию, комбат вызывал артдивизион, расположенный на соседнем участке:

— Гром, я — Курок! Меня атакуют танки! Поддержи огнём, Гром! — следом, переключая волну, он связывался с батальонной артиллерией, состоящей из двух трофейных пушек. — Пушкарь, мать твою! Спишь? Выдвигайся на прямую наводку!

Рябинин занял место в стрелковой ячейке и смотрел, как в пшеничном поле вздымаются и оседают взрывы. Сквозь косую завесу пыли мутно краснела заря, чернел одинокий, подбитый Жилой танк, и к нему приближались другие танки. Они выделялись тёмными брусками, шли широким фронтом. За ними с интервалами катили БТРы. Взрывы далёкой, укрытой в холмах артиллерии создавали завесу, за которой приближались машины.

Рябинин лбом, переносицей, испуганным пылающим мозгом чувствовал приближение упорной жестокой мощи. Эта мощь шла на зыбкую цепь ополченцев. Издалека, не стреляя, уже вдавливала в село свою броню, накатывала волну неодолимого истребления, от которого цепенела воля и бессильно немели руки.

Рябинин увидел, как по улице, толкаемая ополченцами, подкатила пушка. И вторая, мелькнув в проулке, исчезла среди дыма на левом фланге.

Внезапно взрывы смолкли. Пыль оседала. Рябинин, оглушённый, чувствуя, как попавшая за ворот земля колет спину, оглядывал траншею. Артист, прижимаясь к брустверу, выставил гранатомёт. Лавр прильнул к пулемёту, и в ленте тускло желтели патроны. Завитуха, и впрямь похожий на упругий завиток, сжался, уложив рядом с собой сразу два автомата. По траншее пробежал начштаба и что-то докладывал комбату. Тот поправлял знамя, потревоженное взрывной волной.

“Как она там? Надо к ней! Живи, живи, моя милая!” — Рябинин смотрел на село, беззвучно повторяя её имя, но теперь оно пахло не яблоками, а гарью.

Из танковых пушек полыхнуло. Взрывы ударили в окраину села, словно кто-то огромными горстями черпал землю и швырял её на крыши, рушил в траншею. За спиной Рябинина лязгнула пушка. Она била вдоль улицы прямой наводкой. Ей вторила другая, скрытая в садах. Врытый в землю трофейный танк грохал, посылая снаряды над головой ополченцев. И уже летели из окопа кудрявые трассы гранаты, стучали пулемёты.

Несколько танков на пшеничном поле горело. Один, охваченный пламенем, крутился на месте. Другой дымил, дёргался, но не двигался с места.

Рябинин услышал, как сади на улице лязгнуло, потом треснуло. Колесо пушки, оторванное взрывом, падало с неба. Орудие завалилось, на земле, головами в разные стороны, лежали артиллеристы.

— Гром, дайте огня! Они прорываются! — орал комбат и грозил кулаком, в котором был зажат пистолет.

Рябинин видел, как головной танк надвинулся на окоп, навис гусеницами, обваливая в траншею оползень. Завитуха кинул ему вслед какой-то чёрный комок, быть может, гранату. Но танк, невредимый, пошёл вглубь села, ломая яблони. Ещё один танк двигался вдоль окопа, поливая из пулемёта. Ополченец, поднявшись с гранатомётом в руках, рухнул, напорвшись на очередь.

Из путаницы кустов, задев и разрушив край дома, выкатил трофейный танк с красным флажком на башне. Голова Танкиста, без шлема, с беззвучно кричащим ртом, виднелась в люке. Танк шёл наперерез прорвавшейся машине, разогнался и с лязгом ударил в борт, стал карабкаться, заскрежетал гусеницами, словно драл когтями, перегрызал железное горло. Взрыв кольнул обе машины, и они распались, охваченные голубоватым пламенем.

Танки двигались по селу, рушили дома. Долбили пулемёты и рывкали пушки. Село шевелилось, бутрилось, превращалось в горы мусора, из которых появлялись лязгающие машины, неся на горбах крыши домов и расщеплённые яблони.

С БТРов выгружалась пехота. Солдаты в касках, густой цепью шли на окоп. Рябинин бил из автомата, увидел, как от его попадания солдат схватился за плечо и стал оседать. Перевёл ствол на соседнего, но очередь хлестнула по брустверу, и он сполз в окоп. Сползая, видел, как над холмами появился край солнца.

Солдаты прыгивали в траншею, схватывались с ополченцами в рукопашной.

Лавр орудовал штык-ножом. Поднырнул под грохочущий автомат, пырнул пехотинца, и тот стал валиться с раскрытым от боли ртом, погружая очередь в Лавра, и оба они в обнимку рухнули на дно окопа.

Ромашка, расстреляв магазин, бил прикладом солдата, и тот с разбитым лицом отступал, заслонялся. Другой пехотинец вогнал очередь в спину Ромашки, и тот с изумлением пытался оглянуться и падал, обнимая ноги избитого им солдата.

Завитуха вертелся в окопе. Крутил ручным пулемётом, бил от живота, насаживая на огненную спицу прыгающих пехотинцев. И один, умирая, кинул в окоп гранату, оторвавшую Завитухе руку.

Рябинин, оглушённый взрывом, слышал, как комбат хрипит в рацию:

— Гром, я Курок! Они прорвались! Вызываю огонь на себя! Гром! Гром! Вызываю огонь на себя! — комбат среди пуль и взрывов подобрался к знамени, старался выдернуть древко из мешков с землей. Рябинин видел, как подходят БТРы, из люков сыплются новые пехотинцы. Комбату всё никак не удавалось выдрать древко из осевших мешков. Красное солнце вставало над холмами. И внезапная, как мучительный порыв, предсмертная тоска, желанье сохранить в зрачках эти последние видения — солнце, подбитые в пшенице танки, изумлённое, уже не живое лицо Ромашки — всколыхнулась в нём.

Рябинин содранными в кровь пальцами извлёк из кармана мобильный телефон, набрал домашний московский номер и услышал голос матери:

— Коля, сынок, ты где?

— Я в Новороссии. Меня убивают, мама! Прощай!

Тяжкий взрыв прилетевшего снаряда сотряс грунт, и Рябинин выронил телефон. Ещё один взрыв харкнул огнём и обсыпал его землёй. Это артдивизион откликнулся на призыв комбата и вёл теперь огонь по селу.

Комбат освободил, наконец, древко знамени, колыхнул красным бархатом. Выхватил пистолет. Слепо взглянул на окоп:

— Мужики, вперёд! За нашу советскую Родину! — и пошёл, страшный, с лысым черепом, выпученными голубыми глазами, с рыжей косой бородой. В одной руке у него был пистолет, в другой — знамя. Полотнище тяжело колыхалось, и вслед за комбатом из окопа вылезали уцелевшие ополченцы. Шли, блестя штык-ножами, Артист с безумной улыбкой, начштаба, сжимая в кулаке пистолет, Артиллерист, хромая, несёт перед собой не стреляющий автомат.

Рябинин вылез из окопа и торопился за всеми, боясь отстать от знамени. Он шёл без единой мысли, желая одного — не отстать от своих. Близкий взрыв колыхнул землю, приподнял его и унёс туда, где вставало солнце.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Рябинин очнулся. Было темно, только ярко светилась узкая щель. Эта солнечная щель отражалась длинной полосой на шершавой стене. Он лежал на бетонном полу, среди бетонных стен, под бетонным потолком. Голова гудела. Он ощущал её и обнаружил, что из уха сочится кровь, застывая на шее сухой коростой. Вспомнил, как шёл за красным знаменем, обредая воронку. Вспомнил лицо комбата с немо орущим ртом, БТР, из которого выпрыгивали солдаты в касках, чёрный ком взрыва, приподнявший его и швырнувший навстречу солнцу.

Теперь солнце било в узкую щель бетонного каземата. Он ощущал карманы — ни телефона, ни фонаря, ни документов.

— Очухался? — услышал он близкий голос, — Значит, жить будешь, пока не расстреляют. — Это был голос Артиста, который лежал рядом на полу. Его узкое лицо, окаймлённое курчавой бородкой, проступало в сумраке. Длинные волосы, обычно собранные под косынкой, теперь, когда косынка исчезла, рассыпались по плечам, но вокруг шеи по-прежнему был повязан розовый шарф, и в кармане камуфлированной рубахи виднелся край розового платочка. — А мы думали, что тебе хана.

Артист посмотрел туда, где лежал второй человек. Им оказался комбат Курок. Его лысый череп с рыжей бородой в сумерках казался валуном, опутанным жёлтой тиной.

— Ты бы лучше, Артист, ещё раз разведал. Можем мы отсюда выбраться? — произнёс Курок, и Рябинин услышал, с каким трудом дались ему эти слова.

— Нет, комбат. Отсюда не выйти. Разве что мухами стать и в щель вылететь... А так невозможно.

Снаружи сквозь прорезь в стене раздавались неясные звуки: голоса, стук металла, глухой рокот и лязг прокатившего танка. Кто-то прошёл совсем близко и раздражённо крикнул:

— А ты пошукай, побачь!

Рябинин, тоскуя, с беззвучным стоном понял, что он в плену. Всех троих, оглушённых взрывом, захватили украинцы и поместили в этот бетонный каземат.

— Нет, Артист, мухами мы не станем, — сказал Курок, — а умрём, как люди. В одном ты прав: расстреляют и исповедоваться не дадут.

— А зачем тебе исповедоваться, комбат? Ты же коммунист. А коммунисты Бога не признают. Это белые в Бога верят, а красные все безбожники.

— Какие красные, какие белые? Все, кто на Донбассе воюет, все русские люди. И у всех один Бог — справедливость. Мы теперь каждый — и красный, и белый, и у нас один Бог.

— Что ж ты раньше мне не сказал, комбат? А то я всё сомневался. Кто я? Красный или белый? Или просто бабник и забуддыга, который по ресторонам на аккордеоне играет и деньгу сшибает, — едко засмеялся Артист.

Но Курок не заметил насмешки. Мысль, которую он только что высказал, была для него не случайна, она родилась не сию минуту, а сопутствовала ему среди военных забот, танковых атак и обстрелов.

— Вот ты посмотри, я родом из Омска, сибирский человек. У меня есть великий земляк — генерал Карбышев, Дмитрий Михайлович. Он из дворян, служил в царской армии, был офицером, воевал под Мукденном, получал награды. По всем признакам — белый. Но во время гражданской он перешёл на сторону красных, дослужился до генеральского звания, строил Брестскую крепость. Значит, красный. Контуженным попал в плен к фашистам. Совсем, как мы. Если бы нас не контузило, не взяли бы нас в плен никогда. Карбышева понуждали к измене, пытали, мучили. И нас будут мучить, пытаться. Но он не предал Родину и принял мученическую смерть, когда его на морозе облили ледяной водой. Значит, он не просто герой, но и мученик. А война-то, которая называлась Отечественной, она же называлась священной. Значит, война за святых. И Церковь победу в войне называет священной. Поэтому, я говорю, Карбышев мученик и святой, умер за святых. Вода, которой его поливали, превратилась из чёрной смертельной воды в святую воду. И Церковь когда-нибудь причислит Карбышева к лику святых. Значит, он не белый, не красный, а русский святой. Вот и мы — не красные и не белые, а просто русские люди, которые попали в беду. И нам предстоит вынести муку, но не потерять нашу честь. — Всё это Курок произнёс вдохновенно, лежа на бетонном полу, не в силах согнуть повреждённую ногу.

— Вряд ли, комбат, я святой. В Бога не верю, баб люблю, в карты играю. Похоже, я жизнь мою в карты проиграл и теперь выпадаю из колоды, как бубновый валет. И никто, комбат, не увидит, как нас с тобой на расстрел выведут. И люди о нас с тобой ничего не узнают.

— Узнают. Им Рябина расскажет. Его не убьют. Ему ещё долго жить. Он о нас с тобой людям расскажет. Расскажешь, Рябина?

— Не знаю, — сказал Рябинин. — У меня с вами одна доля.

Он осторожно поднялся, чувствуя, как ломит в затылке. Приблизился к длинному прогалу в стене, заглянул и увидел пустой солнечный двор, стену с блестящим рулоном колючей проволоки, двухэтажное строение с зарешёченными окнами, солдат, подхвативших с двух сторон огромную кастрюлю и несущих её через двор. На солнцепеке стояло одинокое кресло с резной спинкой и гнутыми ручками. Перед креслом на штативе была установлена телекамера, и оператор налаживал аппаратуру. Тут же находился человек в белом костюме, жгучий брюнет с блестящими волосами и чёрными, жгучими глазами, какие бывают у сладостных эстрадных певцов.

Одинокое кресло, вырванное из стильного интерьера и поставленное на тюремном дворе, вызвало у Рябинина мучительное сравнение с лодкой, утонувшей в песчаном бархане. Ему стало худо. Он отвернулся от кресла, от сладострастника в белом костюме, от телекамеры с чёрными глазком. Схватился за крестик у себя на груди. Вспомнил корзину яблок, томик Пушкина в женских руках и то, как по голой женской спине скользнул таинственный луч. Вспомнил, как в детстве отец и мать, молодые, счастливые, везли его на санках, и кругом был снежный восхитительный мир с морозным солнцем, слодянными лесами трепещущей высоко в небе сорокой.

К брюнету подошли два солдата. Оба были без головных уборов, с расстёгнутыми воротами форменных рубах. У одного кисть руки была забинтована. Они о чём-то поговорили с брюнетом, указывая на кресло и телекамеру, а потом все трое направились к каземату, откуда наблюдал за ними Рябинин.

Лязгнул засов, хрустнули железные петли. Дверь растворилась, хлынул свет. В квадрате солнца на бетонном полу лежал комбат, слепо мигая после полумрака.

— Ты, что ли, Курок, или ты спусковой крючок? — хохотнул брюнет, глядя на распротёртого с вытянутой ногой комбата. — Вставай, поговорить надо!

Солдаты подхватили Курка под локти, с силой поставили на ноги. Курок охнул, стал оседать. Его потащили волоком. Рябинин видел, как скребут пол ноги комбата, и на одной ноге не было бутсы.

Комбата усадили в кресло и скотчем примотали запястья к ручкам. Комбат сидел на солнцепёке нахохленный, похожий на филина, ослепшего на свету.

— Здравия желаю, товарищ подполковник, — приветствовал его брюнет. — Здравствуйте, товарищ Курков Владислав Александрович. Приветствую вас от имени свободного вольнолюбивого украинского народа. Всё ли у вас хорошо?

Рябинин, припав к прогалу в стене, различал почти все слова. Видел сладостную улыбку брюнета, стеклянный блеск его волнистых чёрных волос.

Курок молчал, нагнув лысую голову, и смотрел на брюнета исподлобья потемневшими синими глазами.

— Мы изучили ваше личное дело. Вашу службу в Северо-Кавказском военном округе. Ваше участие в двух чеченских кампаниях. Ваши смелые боевые действия под Аргуном, где вы получили ранение, орден и были комиссованы из армии по состоянию здоровья. Знаем, что вас бросила жена, что вы начали, было, пить, но потом “завязали” и преподавали в детском военно-спортивном клубе. Как по зову сердца пошли воевать за Донбасс и храбро, беззаветно сражались за Советский Союз. И в последний бой шли под красным знаменем, как настоящий герой. Кстати, это знамя находится у нас в качестве трофея.

— Не вздумай лапать знамя грязными руками, — хмуро буркнул Курок. — А то, гнида, ответишь.

— Я офицер, и никогда не позволю себе глумиться над боевыми реликвиями. Наши с вами деды сражались под этим знаменем.

Оператор нацеливал телекамеру на Курка. Двое солдат отошли от кресла, чтобы не попасть в объектив. Брюнет в белоснежном костюме, с яркой ядовитой улыбкой и блестящими волосами был похож на актёра немого кино.

— Мы не намерены держать вас здесь слишком долго, Владислав Александрович. Но прежде чем мы выпустим вас на свободу, вы окажете нам небольшую услугу. Сейчас перед телекамерой вы подтвердите, что вы — кадровый офицер российской армии. Вместе с кадровым армейским подразделением вас перебросили в Донбасс, обеспечив танками, артиллерией, установками залпового огня и переносными зенитно-ракетными комплексами. Во время боевых действий вы пользовались данными российской военной разведки, в том числе и космической. Вы скажете всё это под запись — и свободны! Договорились, Владислав Александрович?

— Предателем Родины меня не сделаете, — ответил Курок.

— Ну, каким предателем? Какой Родины? России на вас наплевать. Втравила вас в авантюру, замарала кровью и отступила. Бросила вас на позор всему миру. Владислав Александрович, давайте сделаем запись, и вы на свободе. Получите от нас военную пенсию, похлопочем, чтобы вы приобрели симпатичный домик у моря. И будет у вас безбедная жизнь и спокойная старость. Будете, как говорится, залечивать старые раны.

— А пошёл бы ты! — крутанул Курок лысым черепом. — Россию не трожь! Россия сюда придёт, и всё ваше дерьмо разбежится! Ты костюмчик-то белый сними, а то будет видно, как ты обосрался! Прижми ухо к земле, урод. Послушай. Это Россия идёт!

— Кретин! Кацап вонючий! Где твоя Россия? Где твой президент? Они вас сдали. На хрен вы им? Они Крымом подавились, переварить не могут! Они вас выплонули, и ты не Курок, а Плевок, ты понял?

— Россия идёт, и ты дрожишь перед ней, как последняя погань!

Рябинин видел, как сияют синевой глаза комбата. Как выпрямился он в кресле, выкатил грудь, словно стоял в строю. Брюнет что-то сказал солдатам, и один побежал в соседнее здание, а второй, с забинтованной кистью, подошёл к комбату и ударил его в лицо. Удар опрокинул комбата вместе с креслом, ноги его беспомощно задёргались в воздухе. На той, где не было ботса, виднелся драный носок.

Солдат поднял с земли кресло, и комбат снова, ссутулясь, сидел в нём. Из носа текла кровь.

Солдат вернулся, держа в руке небольшую кастрюлю с ручкой. В другой руке он нёс пачку соли.

— Слушай, Курков, — брюнет наклонился к комбату. — Последний раз предлагаю. Сделаем запись, и катись ко всем чертям. Хочешь, в Киев. Хочешь, в Париж. А хочешь, в свою грёбаную Москву.

— Сюда Россия придёт, и мы тебя в клетке станем показывать, как ублюдка кровавого! — Комбат попытался плюнуть в него, но брюнет увернулся.

— А теперь мы из тебя станем блюдо готовить. Здесь, в кастрюльке, подсолнечное масло из лучших сортов подсолнечника. Мы его слегка вскипятим, и твою лысую башку, твою картошку, по-нашему, по-украински, бульбу, слегка помаслим.

Брюнет кивнул солдату. Тот подошёл к комбату и вылил ему на голову раскалённое масло. Комбат взревел, забился в кресле. Жёлтое масло стекало по черепу, текло по лицу, заливалось в бороду, и комбат, оскалась, ревел, тряс головой, выпучивая побелевшие глаза. Было видно, как набухают пузыри и лопаются на черепахе кожа.

— А теперь мы бульбу посолим, чтобы вкус был, — брюнет зачерпнул из пакета горсть соли и высыпал на обожжённый череп комбата. Тот замер в беззвучном крике, обмяк в беспомощности. Голова его в масле, осыпанная солью, свалилась к плечу.

— Комбат! Держись! Я с тобой, комбат! — Артист кричал в щель, просовывал кулак. — Палач, отродье! Горло сломаю!

Брюнет обернулся на крик и что-то сказал солдатам.

Рябинину казалось, что это на его голове взбухают волдыри, это его плоть горит от нестерпимой боли, и он вот-вот потеряет сознание, как комбат. Но кто-то грозный приказывал ему: “Смотри!” И он повинился этому беспощадному приказу.

Брюнет достал телефон и кому-то приказал:

— Подгоняй танк. Сделаем из картошки пюре! И тряпку, тряпку красную захвати, чтобы с воинскими почестями! — И повернулся к каземату. — Это кто там хотел сломать мне горло? Кто там кричал: “Комбат, я с тобой?” Давайте его тоже под танк!

Солдаты вошли в каземат. Набросились на Артиста. Стали валить, крутить, заламывали за спину руки, стягивали скотчем, мотали ленту вокруг ног. Вытащили наружу и кинули посреди двора. Артист извивался, матерился. Его розовый шарф развязался, кокетливый платочек выпал из кармана и цветастым лоскутком розовел на земле.

“Стой и смотри!” — Рябинин слышал это грозное повеление, оставшись в каземате. Дверь оставалась раскрытой, и в конусе света на полу валялась ботса комбата.

Курка отделили от кресла. Скрутили бессильные руки скотчем. Уложили на землю рядом с Артистом.

— Ну, чего ты смотришь? Снимай! — прикрикнул брюнет оператору. — Такое кино нигде не снимешь!

Оператор переставлял камеру, нацеливал на лежащих. Связанный Артист извивался. Комбат был недвижим, только вздрагивали ноги с единственным башмаком, и сквозь продранный носок виднелся палец.

Появился человек в джинсах и футболке. Ткань футболки облегла лютую грудь, круглились бицепсы, выступал вперёд боксёрский подбородок. Человек держал под мышкой красный рулон. Брюнет принял рулон, развернул. Батальонное знамя из малинового бархата, с жёлтым профилем Ленина и вышитой надписью “За нашу советскую Родину!” колыхалось в руках брюнета.

Рябинин помнил, как малиновое полотнище реяло над головой комбата, когда тот в последнем порыве ринулся навстречу пехоте, и несколько уцелевших в бою ополченцев, и с ними Рябинин, устремились за знаменем. Теперь знамя было без дровка, с оборванным краем.

— Как говорится, со всеми воинскими почестями, — брюнет подошёл к комбату и широким взмахом, как стелют скатерть на стол, накрыл Курка знаменем. Тело комбата бугрилось под знаменем, торчали ноги с одиноким башмаком, из продранного носка белел палец.

— Давай, запускай! — приказал по телефону брюнет. Раздался рокот танкового двигателя.

Рябинин в ужасе понял, что сейчас случится. Он не хотел смотреть. Он хотел забиться в бетонный угол, но кто-то незримый, величественный, заполнявший Собой всё пространство от земли до солнца, беспощадно приказывал: “Стой и смотри!”

Рокот приближался, послышался лязг гусениц. Артист перестал извиваться, лёг лицом к небу и зашел: “Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю. В моём письме упрёка нет, я вас по-прежнему люблю!” Он пропел “портрёт”, как, должно быть, пел в одесском ресторане, грассируя, с выпуклым “э”.

Рябинин увидел в проёме распахнутой двери, как появился танк, — башня, пушка, близкие масляные катки, провисшие гусеницы. Танк остановился. Чуть изменил направление. Нацелился на красное полотнище. Двинулся на лежащих, с хрустом и лязгом кромсая их гусеницами. Рябинин видел, как мелко задрожали ноги комбата, как разорвали скотч и раздвинулись ступни Артиста. Танк прокатил, оставляя липкое страшное месиво бархата, крови, костей.

Рябинин лёг на бетонный пол и беззвучно заплакал.

Он лежал час или два, без движений и мыслей. Больше не было жестокого приказа: “Стой и смотри!” Невидимый повелитель добился своего. У Рябинина не оставалось души, памяти, мыслей — всё слиплось в красное мокрое пятно, сквозь которое не виден был мир.

Он услышал негромкий стук автомобильного двигателя, крики, команды. Дверь в каземат открылась, и кто-то крикнул:

— На выход!

Рябинин поднялся, вышел. Посреди двора стоял автобус с решётками на окнах, дорогой джип и небольшой грузовик. Солдаты выводили из тюремного здания людей, загоняли в автобус. Туда же, к автобусу, погнался автоматчик и Рябинина. Пересекая двор, Рябинин увидел свежий песок, которым присыпали место недавней казни. В стороне розовел оброненный Артистом платочек.

— Шевелись, ополчение! — брюнет в белом костюме понукал людей, которых автоматчики загоняли в автобус. Рябинин сел на продавленное сиденье рядом с пожилым, очень худым человеком, чьи глазницы провалились, как у старой лошади. В них мерцали печальные покорные глаза.

— Кто вы такие? — спросил Рябинин соседа.

— Раньше были люди, — ответил тот и показал костлявые руки, перетянутые на запястьях скотчем. Вокруг Рябинина были измождённые небритые лица, порванные пятнистые куртки. На лицах виднелись синяки и запекшаяся кровь.

— Отмучились, мужики. Приятно было познакомиться, — пытался бодриться скуластый крепьш с большим синяком под глазом. Но ему никто не ответил.

Джип с брюнетом тронулся. За ним покатил автобус. Следом двигался грузовик с автоматчиками.

Проехали какой-то город, небольшой, замусоренный, с памятником солдату-освободителю, уцелевшим с советских времён. Кое-где попадались жители, которые устало и равнодушно провожали джип, грузовик и автобус. Рябинин с тоской подумал, что ни одна живая, страдающая душа не kinetic вслед ему прощального любящего взгляда. Сосед касался его плечом, плечо вздрагивало на ухабах. И Рябинин вспомнил, как совсем недавно он ехал

в грузовике через границу, рядом сидел осетин Мераб, и его плечо тогда вздрагивало на ухабах.

Выкатили за город. Дорога сначала вела мимо бараков и обмотанных рваной фольгой трубопроводов, а потом заструилась среди зелёных холмов с проступавшей сквозь зелень известковой породой.

Открылся песчаный карьер — огромная жёлтая ямина, на дне которой темнели какие-то поломанные механизмы.

Автобус остановился у края карьера. Узников высадили из автобуса. Рябинин заметил, что руки у всех стиснуты скотчем. И только у него одного руки оставались свободными.

— Давай, становись! — брюнет подталкивал пленников к откосу, и те испуганно теснились. Боялись оступиться и рухнуть в провал. Автоматчики встали цепью и навели стволы.

— Вы прибыли в Украину по путёвке Кремля, — чёрные глаза брюнета засверкали, и он стал похож на сладострастного кумира эстрады. — Вы привезли с собой пули для наших стариков, жён и детей. Мы отняли у вас ваши автоматы и пули. Но по одной для каждого из вас оставили. Теперь вы их получите. Цельсь! — брюнет отступил, и стволы автоматов тускло блеснули.

Рябинин почувствовал, как непрерывное время рассыпалось на множество мелких частиц, и каждая пролетала отдельно. Он проживал свои последние секунды. Огромный, вырезанный из мира брусок отделился и двинулся на него с чудовищным рёвом и скоростью. И, видя, как приближается этот жуткий стремительный слиток, Рябинин качнулся и стал падать. Нацеленный на него ствол распушил жёлтые лепестки. Из них излетела пуля, двинулась к нему, заострённая, окружённая бледным пламенем, буравила воздух, оставляя светящуюся дорожку. Прошла у самого виска и исчезла. А он продолжал паденье в карьер, слыша грохот автоматов, видя, как сверху, догоняя его, валятся люди.

Орудая руками, цепляясь за склон, отталкиваясь от каменных уступов, он ухнул на дно карьера. Теряя от удара сознание, успел увидеть падающих, как кули, убитых людей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Он очнулся, и ослепительная мысль, что он жив, дышит, видит у глаз блестящие песчинки, поразила его. Он порывался вскочить, но смертельный страх удержал его на песке. Те, кто хотел убить его, были рядом, наблюдали за ним, ждали, что он шевельнется. И тогда множество пуль вонзятся в него и погасят эти блестящие на солнце песчинки.

Он не двигался, притворяясь мёртвым, как притворяется жук перед клювом зоркой птицы.

Было тихо. Саднили содранные ладони, но не было боли ни в спине, ни в руках, ни в ногах. Желая убедиться, что нет переломов, он, не шевелясь, сжимал и распускал мышцы. Боли не было. Не было переломов.

Осторожно, чуть повернув голову, он скосил глаза. Рядом лежал человек, кисти его рук, склеенные на запястьях, напоминали уродливые, растворённые клешни.

Рябинин вспомнил ствол автомата, жёлтые лепестки пламени, пустую сердцевину цветка, из которого вырвалась пуля. Она медленно приближалась, и он мог рассмотреть кромку на латунной оболочке, раскалённый пузырек воздуха на острие, расходящийся конусом светящийся след, который пуля оставляла в пространстве. Рябинин помнил, как Кто-то чуть слышно толкнул его, позволяя пуле пролететь мимо. И этот Кто-то был тем же невидимым повелителем, кто заставлял его смотреть неотрывно на казнь комбата.

Рябинин пролежал без движения час или два, пока не услышал высокое скрипучее карканье ворона, прилетевшего к месту казни. Тогда он вскочил и помчался. Он убежал от груды недвижных тел, от отвесной стены карьера, мимо испорченных механизмов, оборванной ленты транспортёра.

Не было выстрелов, не было погони.

Он выбирался с карьера по разбитой дороге с обрывками железных тросов, между брошенных автомобильных покрышек. Вечернее солнце озаряло дорогу, и его длинная тень следовала по пятам. Тень пугала его. Ему казалось, что тень выдаёт его, от неё нужно избавиться. Он пробовал бежать, но и тень начинала бежать рядом.

Дорога привела его к тракту, который тянулся по степи. Рябинин не знал, в какую сторону идти, и пошёл не туда, куда садилось солнце, не на запад, а на восток, где была Россия. Он шёл по тракту в сторону России, солнце светило ему в спину, и теперь тень была его поводырём — вела в Россию.

Он старался понять природу таинственной силы, что каждый раз избавляла его от смерти. Эта сила проявилась во время первого боя, когда комбат Козерог сначала послал за водой Калмыка, но в последний момент передумал и послал Рябинина и тем самым вывел его из-под удара авиабомбы. Ещё раз та сила проявилась в каземате, откуда увели на мучительную казнь комбата Курка и Артиста, а его словно забыли и не положили под танк. И не стянули ему руки скотчем, что позволило при падении отталкиваться от камней и не разбиться. Та же таинственная сила качнула его перед выстрелом, и пуля, искавшая его, пролетела мимо. И все другие пули, и взрывы, что уносили рядом с ним жизни товарищей. Будто Кто-то хранил его. Кому-то он был нужен. Кто-то сберегал его для неизвестной цели.

Он вдруг подумал о Валентине, которая осталась в разгромленном селе и, быть может, лежит, истекая кровью, на цветочной клумбе. Или её истязают и мучают солдаты на кровати, где он недавно её обнимал и любил. Эта мысль была страшной, заставила его обернуться, толкнула назад. Но слишком велик был его ужас, неодолим был страх оказаться во власти беспощадных мучителей. И он заслонился этим страхом и ужасом, продолжая уходить на восток.

Он шагал по тракту, который уводил его с этой ужасной войны. Шёл по вечерней, озарённой солнцем степи в Россию.

Вдруг он услышал сзади металлический стрёкот — его догонял мотоцикл. Слабо пылил, вилял, не внушая опасения. Приблизился, протрещал мимо. Мотоциклист в нелепом шлеме и не посмотрел на Рябинина. Отъехав, остановился, сошёл с мотоцикла и стал мочиться. Была видна слюдяная струйка. Снова оседлал мотоцикл и укатил.

Рябинин знал, что поход его завершён. Книга, ради которой он приехал на Донбасс, ещё не написанная, уже существовала в нём. Он сам был книгой, которую можно было листать, перевёртывая опалённые страницы.

Он услышал в небе лёгкие посвисты, нежный стрекот, шелест крыльев. Его нагнала птичья стая, окружила шумом, серебристым блеском. Множество дроздов, пересвистываясь, взлетая и снижаясь, сопровождало его. Он видел их маленькие головки, тёмные клювы, блестящее оперенье. Чувствовал их крохотные сердца. Дрозды летели туда же, куда вела его тень, — они летели в Россию. Несли весть о нём, о его возвращении. Он жив, он уцелел и спешит на встречу с мильми, близкими, родными.

Рябинин напутствовал птиц, провожал, уповал на скорое свидание с ними в России.

Он шёл, улыбаясь, думая о пролетевших дроздах. Сзади раздался рокот мотора — в солнечной пыли катил автобус. Но не тот, хищный, с беспощадным воем двигателя, в каком везли узников на расстрел, а жалобно и устало тархтящий.

Рябинин сошёл на обочину, пропуская ободранный запылённый автобус. Но он остановился, дверь растворилась, и сильный голос водителя позвал:

— Садись, подвезу.

Рябинин сел, автобус покатил дальше. Водитель с сильным голосом оказался женщиной в старом офицерском кителе, с курчавыми негритянскими волосами, густо припорошёнными сединой. Автобус был полон женщин, стариков и детей. Проход был завален кулями. Сумки и мешки стояли на колёнях. Даже маленькие дети держали кульки. И у всех было одинаковое мучительное выражение глаз, которые старались что-то углядеть впереди.

И все они, женщины, старики и дети, казались сутулыми, словно в спину им дул ветер. Тот же ветер гнал и Рябинина. И он был беженец, погорелец.

Он сел на приступку возле водителя. Женщина в кителе крутила баранку. Лицо её было желтоватым, словно она болела желтухой. Волосы были полны мелкой седины, будто собрали в себя летучую степную пыль или ветер осыпал их пылью разрушенных городов.

Рябинин дремал под вой двигателя, который, казалось, своим металлическим голосом напевал: “Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю...”

Очнулся он, когда автобус остановился. Женщина в кителе сказала:

— Тебе лучше сойти, парень. Там дальше блокпост. Снимут тебя и до-
бьют.

— Куда мне идти?

— А это куда ты хочешь. Там Россия, — она указала вперёд. — Там Луганск, Мариуполь, — она махнула назад. — Там Донецк, Макеевка, Горловка, — она кивнула куда-то вбок. — Прямо, по дороге, тебе идти нельзя. Иди в обход. Повезёт — дня через три дойдёшь.

— Спасибо, — сказал Рябинин и покинул автобус. Возница с желтоватым лицом и пыльной купой волос повлекла своих пассажиров дальше.

Он уходил от дороги в сторону соседних холмов. Солнце село, но вершина ближнего холма оставалась освещённой. Он поднимался по склону, а золотая шапка от него удалялась, словно манила к себе.

Он поднялся на холм, когда вершина погасла. Заря была огромной, как застывший пламенный вихрь. Внизу, в тенистой долине, сияло озеро. Оно было круглое, бирюзовое и слегка подрагивало, как грудь дышащего голубя.

Рябинин восхитился волшебным сиянием, бесплодной красотой, тёмными копами сена на озёрных берегах. Озеро вливалось в его измученную душу, наполняя дивной чистотой.

Он вдруг подумал, не для того ли он явился в эти края, участвовал в жестокой схватке, уцелел среди боёв и казней, чтобы найти это дивное озеро, смотреть с обожанием на его синеву, на божественную красоту его и непорочную чистоту.

Он спустился с холма и приблизился к озеру, вдыхая запах воды, сырой земли и холодной травы. Утки поднялись на крыло, с шумом вспенили воду и унеслись, оставляя на озере медленно расходящиеся круги.

Рябинин разделся, сбросив на траву измызанную одежду. Стоял голый, чувствуя стопами холод травы, а животом и грудью — чуть слышные дуновенья, веющие из озера.

Вошёл в воду, погружаясь в мягкий ил, из которого поднимались серебряные пузыри. Он чувствовал ногами их веселящие прикосновения. Вдохнул, нырнул в глубину, испытывая счастливый испуг. Плыл под водой, загребая руками, чувствуя животом пробегавшие холодные струйки ключей, питающих озеро. Выскользнул на поверхность, счастливо и шумно, увидел вокруг голубоватый свет, таинственный блеск воды. Плыл то на груди, то на спине. Озеро омывало его, ласкало и нежило. Оно смывало пот и гарь, следы слёз и крови. Все его рубцы, царапины, тёмные синяки и ссадины заживали в озёрной воде. Его утомлённая плоть и ожесточённая душа молодели и просветлялись. Озеро его к чему-то готовило, о чём-то тихо шептало и нежно звенело над ухом струйками проточной воды. Он верил озеру, любил его, отдавал себя его светлой и благой воле.

Он плыл вдоль тёмной стены камышей и вдруг увидел цветок белой лилии, её сочные лепестки и золотую сердцевину. Драгоценная звезда качалась на воде у самых глаз, источала тончайшую свежесть, прелесть упоительной женственности. Он поцеловал цветок, который был послан ему в преддверии волшебного откровения.

Рябинин вышел на берег взволнованным и просветленным, как из купели.

Было почти темно. Он выбрал копну сена, ту, что стояла поближе к воде. Лёг, утонул в глубине копны, окружённый подвядшими стеблями, пьянящими запахами. Глядел на озеро. Над водой струился туман. Пролетели утки и, крикая, сели в близких камышах.

На душе Рябинина было светло. Возникло предчувствие волшебного, долгожданного, к чему он стремился многие годы, мечтал, странствовал по городам и весям, попал на эту войну, где чудом избежал смерти. Всё для того, чтобы оказаться у этого сказочного озера, в этом обетованном краю, где поджидало его чудесное озарение.

Он дремал. В полусне видел туман, летящий над озером. Из этого тумана, как сновидение, возникала женщина. Стояла на водах, прозрачная, статная, возносясь головой к мерцающим небесам, утопая босыми стопами в тумане. Рябинин никогда прежде не видел её лица, но оно было знакомо ему, и он обожал его. В этом лице было столько красоты, благородной силы, материнской нежности, что Рябинин почувствовал, как по щекам текут слёзы. В мире, где он жил, присутствовали женственность, милосердие, чудесное избавление от смерти. Эта женщина, восхитительная и родная, сопровождала его на войне, уберегала от лютых смертей, а теперь станет сопровождать всю остальную жизнь, не позволяя ему творить зло, отводя от него сокрушительные напасти.

Рябинин смотрел на её туманное платье, прекрасное лицо, высокую белую шею, на которой красовалось ожерелье из тёмного граната, и испытывал к ней благоговение.

Проснулся, с сожалением отпуская от себя чудесный сон. Озеро в ночи чуть светилось. Слышалась далёкая канонада. Над холмами слабо колыхалось зарево. Там, где оно колыхалось, шёл ночной бой, снаряды и бомбы падали на город, и он горел.

Рябинин вскочил с копы. Война, от которой он уходил, снова его настигала. Он заторопился, покидая озеро. Поднялся на холм. Зарево разгоралось, из белого становилось жёлтым, малиновым. Ухало, и отдалённые разрывы сливались в бархатное рокотание.

Рябинин спустился с холма и вышел на тракт. Дорога в ночи белесо светилась. Он стоял на обочине, слабо покачиваясь, словно его колыхала из стороны в сторону неведомая сила. Там, по левую руку, откуда привела его дорога, гремела война, шёл бой, погибал под обстрелом ещё один город. Направо, куда уводила дорога, была мягкая тьма, тишина. Там была Россия, было избавление от угроз и нападений. И туда, домой, направлял он свои стопы.

Рябинин вышел с обочины на тракт и сделал шаг к дому. Почувствовал, как неведомая воля колыхнула и остановила его.

Обернулся к зареву, которое начинало краснеть. Там продолжалась война, и на этой войне погибли ополченцы из батальона “Марс” с комбатом Козерогом, которые лежали на вершине Саур-Могилы и смотрели на тракт, где стоял Рябинин. На этой войне погиб батальон “Аврора” с комбатом Курком, который смотрел на тракт неподвижными синими глазами. Там, где “Грады” полосовали ночное небо, убивая город, оставалась беззащитная женщина. Её округлое, пленительное, пахнущее яблоками имя. И томик Пушкина с заветным цветком.

И Рябинин, тоскуя, будто находился в недрах каменной горы, совершил поворот, сдвинул плечами каменную тяжесть. Шагнув навстречу зареву. Быстрой и быстрой, словно торопился успеть до окончания боя встать в ряды ополченцев.

Он шагал по ночному тракту и услышал сзади тяжёлый гул. Воздух дрожал, дорога сотрясалась. Он оглянулся. Что-то неразличимое, тяжкое приближалось к нему, давило. Он сошёл с дороги и смотрел, как налетают в ночи два огонька. Мимо с тусклым светом подфарников прокатил упругий военный джип, пахнул бензиновой гарью.

Гул приближался. Рябинин, уступая место этому слепому могучему гулу, сошёл с обочины и стоял уже в бурьяне.

На тракте, мутно светя огнями, появились танки. Головная машина, лязгая, бодая пушкой ночь, выбрасывая из кормы гать, проревела мимо. Рябинин слышал скрежет песка, почувствовал тяжёлый, опахнувший его ветер.

Танки шли колонной, с жестокой мощью, с неодолимым стремлением. Рябинин, обомлев, пропускал колонну, вслушиваясь в её лязг, вглядываясь

в слепые подфарники, красные габаритные огни. Считал, сбиваясь, текущие в небе пушки, башенные пулемёты, круглые, в танковых шлемах, головы экипажей.

Колонна танков прошла, но гул не стихал. Следом, взрезая тракт гусеницами, пошла колонна самоходных гаубиц. А следом — установки залпового огня, короба, накрытые брезентом, хлопающим на ветру.

Шли боевые машины пехоты, вспарывая пыльную дорогу, шли плавные и гибкие, как ящерицы, БТРы.

Рябинин, ошеломленный, не понимал, откуда и куда движется эта ночная армада. Не выходил на дорогу, пока последний транспортёр, взбивая колёсами тракт, не промчался мимо.

А он всё ещё стоял в бурьяне, задыхаясь от гари и пыли.

Медленно вышел на тракт и побрёл, чувствуя стопами изрезанную гусеницами землю.

Впереди тёмной горой застыл танк. Мелькал свет переносного фонаря, слышались голоса, звяканье металла. Рябинин сошёл с дороги, прячась в бурьяне, обогнул танк. Был страх оказаться в руках украинских военных, страх получить пулю в ночи.

Танкисты двинулись у танка, освещали фонарём катки и гусеницы.

— Я тебе, сопля, говорил, бери запасной. А ты что?

— Когда ты мне говорил?

— Да ещё в Ростове.

— Ни хрена ты мне не говорил!

А у Рябинина возникла в груди ликующая радость, порыв броситься к ним, обнять. “Свои! Россия пришла!” Но танкисты погасили фонарь, скрылись в люке. Танк рыкнул и покатил дальше. Удалялись его красные хвостовые огни.

Рябинин шёл за танком, всё прибавляя шаг. Видел, как удаляются красные огоньки. Ночное зарево становилось всё красней и огромней.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Голова Кольчугина лежала на столе, а рука свесилась до земли. Глаза, полные холодных слёз, не мигая, смотрели в тень сада, где слабо белели флоксы. Над деревьями разгоралась огромная алая заря, и в ней пламенела узкая золотая струйка. Когда взошло солнце, на рябину слетелись дрозды. Они обклёвывали ягоды, шумели, перелетали в ветвях, вспыхивая серебристыми перьями. Ягоды сыпались на голову Кольчугина, краснея и на столе, и в его волосах.

ОЛЬГА ФОКИНА



ВЕРШИННОЕ-НЕДОСТУПНОЕ

* * *

Ах, черёмуха, в цвете — белая
И душистая — по весне,
Летом ягодой чёрноспелою
Занавесила окна мне!
У черёмухи — с домом рядышком —
Непредвиденный урожай!
В каждой ягодке — семя-ядрышко:
По зубам ли? — всяк сам решай.
Обрала я куст, да не дочиста:
Верхних ягодок не достать!
А достать-то их так уж хочется!
Так не хочется оставлять!
Обрала с куста то, что свесилось,
Но доступное — разве сласть?!
Мне бы крюк какой али лесенку —
Я бы доверху добралась.
Оглянусь кругом: где бы что бы взять?
Но — ни лесенки, ни багра...
Да и хватит мне под кустом плясать —
Уж и так добра полведра!

ФОКИНА Ольга Александровна — уроженка Архангельской области. Окончила Литературный институт имени Горького. Автор более двадцати стихотворных сборников. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

Упрекну себя, в мыслях выстыжу,
Мол, спасибочки, — сколько есть!
Сняту ягоду — то ль мне высушить?
То ль засахарить? То ли съесть?

Утром собрано, — ближе к ужину
Попростано всё ведро:
И поедено, и посушено,
И засахарено добро.
А вершинное-недоступное
Пусть останется, так и быть,
Знойно-спелое, сладко-крупное —
Птичек радовать и манить.

...В разненастную пору осени,
Как повыгинут все цветы,
Куст черёмухи щедро сбросит мне
Всё до ягодки с высоты...

* * *

Выкошу канавку
Да высушу я травку,
Да попрошу свекровку
Да завести коровку...
— Нет, она не хочет
Заводить корову! —
Но капля камень точит!
И я — опять да снова:
— Чтоб сынку и дочке
Молока хватало,
Я бы днём и ночью
Сено добывала!
Чтобы и свекрови
Для тугого стана
На добро-здоровье —
Творог да сметана!.. —
Но свекровка снова
Строго возразила:
— Молока сухого
Хватит в магазинах!
А около коровы
Знаешь, сколько дела?!
— Так али мы не ловки,
Али не умелы?
Али мы ленивы?
Али не здоровы?!
Зарастают нивы
Лесом — без коровы!
Нивы мы удобрим,
Вспашем под пшеницу!
Но свекровка в скорби —
Прочь от молодницы:
Навставалась рано!
Напласталась в стайке!
Ей, как соль на рану,
Просьба молодайки.
Хватит, натерпелась
Около скотинки,

Глянуть захотелось
На други́ картинки!
Ей осточертело
За хвосты держаться!
Села, полетела
В Турцию! Купаться!
У неё путёвка,
У неё — обновка...

Прилетит свекровка,
А у меня — коровка!
Ахнет: — Ну и девка! —
А у меня — отпевка:
— Сама садик я садила,
Сама буду поливать...
А свекровка (чуть стыдливо):
— Я те буду помогать...

* * *

Полоскала — да не в речке!
И сушу — не на ветру!
И не с тёплой русской печки
Поднимаюсь поутру.

Печь моя давно остыла.
Речка, налитая всклень,
До себя не допустила б:
Столь сердита — не задень!

Днесь, покуда не загусла
На хребте её шуга,
Ей не грустно: чистит русло,
Прибирает берега.

Перед близкою зимою
(На дворе — уже октябрь)
Вот и я стираю, мою,
Прибираю всяк пустяк.

Нацежу воды из крана,
Кран, конечно, не родник,
И не баня — Белла Ванна,
Но привык народ, привык!

Я — из этого ж народа:
Привыкаю, гоношусь...
Стонет радио “Свобода”:
— Нет свободы! —

Ну и пусть!

Там, в Москве, конечно, тесно,
Но Россия велика!
Захоти — найдётся место
У реки. У родника.

Будешь печь топить дровами,
Гостю ставить самовар,
И растить, промеж делами,
Коль имеешь, Божий Дар.

НАТАЛЬЯ ЛЕСЦОВА



СЕДЬМАЯ РАНА

БЫЛЬ

*Посвящается моему деду,
фронтовику и труженику*

1

В конторе друг против друга, каждый за своим столом, сидели счетоводы: Николай и Крутиков; первому — немного за двадцать, второму нет ещё и тридцати пяти, оба инвалиды. Культяшка Крутикова жалко свисала со стула в сторону, потому что сидел он всегда вполоборота, облокотившись на стол — так ему было удобнее. Засаленные счёты лежали в центре, и он, не глядя, щёлкал костяшками, попутно записывая, что получилось.

Николай поднял голову только ближе к обеду. Работа пока давалась нелегко, он многое позабыл за годы войны и боялся допустить ошибку — всё по несколько раз перепроверял. Глаза уставали, левая рука деревенела, никак не желая пока привыкать к работе. Но надо было держаться за это место, ведь ему был теперь по силам только лёгкий труд.

Сорок четвёртый год. Война, хоть и откатилась на запад, а всё ещё в разгаре.

ЛЕСЦОВА Наталья Анатольевна родилась в 1971 году в Оренбурге. Окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию (ОрГМА), кандидат медицинских наук, доцент. В настоящее время живёт в Москве. Обучается на Высших литературных курсах (Творческая мастерская Олега Павлова). Участница II Некрасовского семинара молодых писателей (секция А. Казинцева и С. Макаровой). Публиковалась в журнале "Литературная учеба", газете "Литературная Россия", альманахе "Гостиный двор" (Оренбург), на болгарском языке в журнале "Литературен свят" (Болгария).

В совхозе такой работы не было, тут, в конторе только, где они с Крутиковым и трудились.

— Хорош, пошли обедать. — Крутиков резко перевернул счёты, которые звонко щёлкнули костяшками, и сдвинул их на край стола.

— Угу, щас, щас, — ответил Николай, что-то сосредоточенно проверяя.

Крутиков, встав на ногу, сунул подмышки костыли, потоптался на единственной ноге и направился к двери. Закрыв ведомость и убрав её в сейф, Николай бросился следом за начальником, уже стучавшим костылями по коридору.

— Ты, чего, Коль, смурной в последнее время, — осторожно спросил тот, когда они вышли на улицу.

— Да сёстры, мать их! — нехотя ответил Николай. — Злыдни. Мешаем мы им. Мать говорит, чтобы строились мы с Надей. А я не знаю, чего, как? Меня хушь самого надстраивай: всё тело болит; рука по всем ночам прикурить даёт; спину пополам ломает, ноют раны, в непогоду — прям смерть. А башка после контузии — ой, лучше и не говорить, — он махнул рукой и отвернулся.

Крутиков задумчиво слушал его, насупившись и тяжело дыша, ловко переставляя костыли и топая за ними по грязи ногой, обутой в старый армейский сапог.

Нелегко жить в селе и здоровому, а больному да израненному и того тяжелей. Сам-то он, Крутиков, тоже в мазанке жил с женой и сыном, даже баньки не было, к свояку мыться ходили, но зрела у него в голове надежда как-нибудь, когда война проклятущая закончится, да как он разбогатеет, обшить хату доскам какими-никакими, да крышу новую покрыть, ворота крепкие поставить. Понимал он Николая, но и сам был не помощник.

Одно только у него теплилось внутри намерение, о котором он вспомнил теперь как нельзя более кстати. Свояк его, когда баньку строить затеялся, то ничего не выходило поначалу, печь не получалась. Мужиков и так раз-два и обчёлся: кто воюет, а кто уж и отвоёвался, а печников — ни одного. Подсказал ему кто-то в Краснохолм съездить — там пленные немцы кирпичный завод строили и бараки. Он нарубил кур, прихватил ещё кое-чего из домашних припасов и — к прорабу. Выпросил немца на несколько деньков, чтобы тот ему печку сложил. Немец постарался, все в деревне были не против к нему в баню наведаться: жар такой, что держись!

— Коль, — подумал вслух Крутиков, — спросил бы ты у свояка моего, как он немца раздобыл тогда. Может, и тебе чего отвезти прорабу, да и сговоритесь. Как?

— Ты чего? — уставился на него Николай. — Да как же я сам во двор немцев приведу?!

Он побагровел, правая рука затряслась, глаза налились кровью.

— Тише, тише, Коль. — Крутиков положил ему на плечо свою ладонь и легонько постучал.

Потом он стукнул костылем о костыль, вроде как бы стряхивая грязь, а сам краем глаза наблюдая за разбушевавшимся Николаем и укоряя себя в душе за крамольную мысль.

— Я ж... Как? Да чтобы... — Николай рвал слова, не зная, как выразить своё возмущение. — Они ж в меня...

— Ладно, ладно, — снова постучал его по плечу Крутиков. — Всё. Всё... Так-то оно так... Только, коли ты затеяешься сам строиться, тебя у того дома только и останется потом, что схоронить. Не выдюжишь ты с твоим здоровьем.

— Отец поможет, — сверкнув глазами, твёрдо ответил Николай.

— Ну, и чего вы с отцом вдвоём сробите, а? Это ж не курятник, а дом. Моя мазанка вся валится, две подпорки, крыша течёт. Ты тоже так хочешь? У вас малец родится, тепло надо, порядок, и место какое-никакое чтобы было: корыто поставить, чтоб скупать его, постирушки там разные к тому же... А как дитё ползать начнёт — где?..

— Под лавкой возле печки. Все мы так росли, и своих так же растить будем, — сердито отозвался Николай, придерживая больную руку, чтобы не сильно тряслась.

Разошлись обедать нескоро. Долго умирал Крутиков Николая, стоя напротив птичника. На их крики вышли две пожилые птичницы и несколько девушек. Посмотрев на доказывающих что-то друг другу инвалидов, так и не поняв, в чём причина раздора, постояв, они зашли обратно, пожимая плечами и тихо переговариваясь.

Всю дорогу до дома Николай шёл, размахивая здоровой рукой, делая ею какие-то непонятные резкие движения, словно держал саблю и рубил ею то ли воздух, то ли что-то невидимое, и ругаясь с кем-то воображаемым. Старухи, возвращавшиеся с реки, тащившие поперёк животов тазы с постирушками, даже шарахнулись от него на край дороги, в самую грязь, испугавшись и ничего не разобрав в отрывистых возмущённых его выкриках. Выбравшись обратно на дорогу, обсудили, перекрестились, списав всё на контузию.

Дома мать, зная нрав сына, сначала его накормила. Попив чаю и немного поостыв, Николай рассказал ей о разговоре с Крутиковым. Отец, отдышавший у печи на лавке, встал и подошёл к столу.

— Я чего, Коль, скажу, — спокойно, своим мягким голосом, стараясь не глядеть на сына, начал он, — ты того, про завтра подумай. Зимы холодные, стены надо потолще справить, крышу опять же, чтоб... Ну, как у нас, помнишь, на хуторе была, с коньком, со стропилами крепче, да покрыть хорошо. Мужиков-то осталось, что зубов после драки. Я подмогну, насколько силов хватит, только по хозяйству сейчас работы, Коль, невпроворот, сам знаешь. Лето, ничего не попишешь. Скоро, и оглянуться не успеешь, уже сенокос. И так ужом на сковородке верчусь. Летом сроду так. Всё успеть надо. Окромья стройки делов хватает, не заскучаешь. А они, немцы, я слышал, хорошо строят, да и мужики крепкие среди них есть. С прорабом сговорились бы. Сало есть, можно барашка нарезать. Для такого дела можно и барашка. Сметаны мать насобирает, яичек... Найдём, чего дать.

Николай порывисто задышал, потом вскочил с места и выбежал вон. Мать с отцом посмотрели друг на друга долгими тяжёлыми взглядами. Вытерев краем фартука слёзы, мать вздохнула:

— Разве ж он виноват?! Ироды! Они ж из него решето сделали. Молодого парня здоровья напрочь лишили. Пою травами, и раны мажу, и припарки уж какие ему на руку, да на грудь и на спину ни прикладывала — всё, как в прорву. Видать, столько здоровья в нём осталось, что и зацепиться им, моим стараниям, не за что. Как ему на них глядеть теперича?

— Как, как, — снова ложась на лавку, отозвался отец, — пушай не глядит. Поеду, привезу, и будут работать. Глядишь — за лето выстроят. Саман сами сделаем, а на стропила да на полы лесу после сенокоса купим. В долг возьмём, в крайнем случае, осенью картошкой рассчитаемся.

2

Так уж случилось, что для Николая война закончилась в октябре сорок третьего. Вернулся он чуть живой, со второй группой инвалидности. В госпитале после последних ранений и контузии дали сначала первую группу, да он сам упросил майора медицинской службы, чтобы на вторую переписали. Только написать-то можно, а вот выжить и пожить ещё надо суметь. Болело у Николая всё, что на костях держалось, и даже кости. Редкая ночь выпадала, когда не мучился он от ран и контузии. Поначалу, корчась от боли, сжимая гудящую голову руками, жалел только об одном: что на фронте не оставили, там, может, душа хоть так не ныла бы.

Когда сводки передали, как наши фашистов теснят, такая радость была на сердце, вроде даже легче становилось, и казалось, что раны успокаиваются, а на душе, наоборот, тошно делалось, больно до ломоты и обидно, что не выстоял до конца, комиссовался. А был бы там, глядишь, как на собаке, может и зажило бы всё, а душа так прежде ран успокоилась бы.

И как ей, многострадной, объяснить было теперь, что он не только не боец, а может, и не жилец уже на этом свете, и кто знает, насколько его, полуживого, хватит?

Николай гнал от себя эти мысли, потому как, коли правая рука висит плетью и не слушается, а только рвётся в ней боль, и больше ничего, то на что ты годеи? И когда ветром качает от слабости и голова контуженная разрывается на части — какой из тебя солдат? И спина, и лёгкие простреленные, и ноги, то и дело сводимые судорогами, не дают глаз сомкнуть ночью... Одно слово: инвалид.

Мать с отцом, и те, поплакавши на радостях, когда вернулся, вскоре уж от горя стали над ним слёзы лить, поняв, что жизнь в нём еле теплится. Глядя на Николая, тяжело и нестерпимо мучительно было думать, что, дождавшись сына с этой страшной войны, они могут пережить его. Выхаживали с молитвой да с неиссякаемой крестьянской негибемостью два месяца, неотступно находясь рядом. То тоже была война, их война... За его жизнь, за будущее, за продолжение рода, и бились они до тех пор, пока не начал он худо-бедно в себя приходить, у небес, почитай, заново получая благословение на жизнь. С наступлением сорок четвёртого ясно стало родителям, что Николай на поправку пошёл, отпустило его понемногу. Рано, конечно, было пока радоваться, ждал их ещё не один месяц битвы за его здоровье, но как-то спокойнее за него стало. Молодость да твердокаменная упёртость родных сделали своё дело, хоть и болел, и мучился, а всё ж таки держался фронтовик. Да и было за что держаться. Семья поддерживала, мать, не опуская рук, выхаживала, отец всё время рядом был, не давал падать духом. Да и в деревне родной за время войны народу прибавилось: со всей страны ехали в тыл, много было среди них и красивых девушек, и местные девчата подросли, тоже ничем не хуже приезжих. И как ни крути, а он сразу стал тут первым парнем, и интерес к себе почувал такой, что и хвори, чуть не превратившие его в покойника, отошли на второй план. И решил он, что рано ему в двадцать три года помирать, женился назло проклятой войне и её отметинам на своём теле и привёл в родительский дом жену Надю.

Только не заладилось у молодых с родней. И становилась такая жизнь с каждым днём всё невыносимее. Не успели они ещё толком пожить все вместе, а уж понятно было, что немогут так, как хорьку с курицей в одном сарае.

Как-то в первую весну их семейной жизни, накануне майских праздников сорок четвёртого года сидел Николай после очередной перебранки с сёстрами в палисаднике у дома. Опустив от отчаяния голову, он уставился в лужу возле лавки. В ней отражалось небо и небольшое облако, висящее над ним. Его отражение медленно проплывало по глади мутноватой воды, и казалось, что облако смотрит в лужу, как в зеркало, любуясь собой, и не торопясь разглядывает каждую завитушку и каждую свою выпуклость.

Спокойствие неба, какое бывает после дождя и особенно после грозы, его чистота и светлая воздушная прозрачность рожают в душе тихую приятную грусть и покой. Кажется, что воздух остановился, распластавшись по земле и впитывая в себя влагу, ждёт, когда про него вспомнят притихшие просторы, когда позвуют к себе, и он встрепенётся, двинется и полетит вольным ветром, унося вместе с влагой людские печали.

— Коль, ты тише, — подседа рядом и гладила его по трясущейся больной руке жена. — Пускай чего хотят, то и делают. Чего там у нас в сундуке-то? А? Тряпье одно, и намокнет, не велико горе. Посушим да снова положим на место.

— Ну, как с ими? А? — сверкал впальми серыми глазами Николай. — Ведь люди в совхозе уважают. Жалеют меня. Чужие! А эти? И что за змеи, а, Надь? Дня не проживут, чтоб нас не задеть, чтоб не цапнуть.

— Не надо, Коль, — упрашивала Надя. — Ну, и пускай. Завидуют, наверно.

— Да, чему, Надь?! Сундуку нашему чуть не пустому или, вон, калошам твоим худым? Да ещё руке моей, в трёх местах простреленной?! У меня ж, окромя наград да шинели, и нету больше ни шиша. Сапоги, и те, считай, с самого госпиталя топчу, уж и надевать страшно, того гляди — подмётки отлетят.

— Да они, как ты не поймёшь, горе ты моё, завидовали бы, даже если б мы с тобой в одну тесёмку на двоих одеты были. Завидовали бы, что у нас все хорошо, что и промеж нас тоже, и ещё что тебя счетоводом взяли, и что я — в школе, а не как они, в телятнике да в свинарнике. Ну, такие они, Коль. Ну, что теперь? Молчи.

— Коль, — со двора позвала мать.

— Да тут я, — отозвался он. — Чего?

— Я на ваш сундук таз и ведро поставила, — шумно дыша после ругани, сказала мать.

— Спасибо, мама, — ответила Надя. — Я потом посмотрю, разберу, посушу, что промокло.

— Ничего, Надюш, я их, этих курв, приструню, — погрозил Николай кулаком в сторону дома, где после перебранки скрылись сёстры Глафира и Алевтина.

Яблоком раздора этого дня стал сундук молодых. Из-за дождя потекло с потолка, да на сундук сестёр, они его — долой с мокрого места, а туда — сундук Нади с Николаем задвинули. Когда Николай после работы, зайдя в горницу, увидел их подлость, взорвался так, будто внутри кто на мину наступил. Надя ещё не вернулась из школы.

Он сорвал с себя ремень и набросился на Глафиру.

— Дурак, дурак контуженный, — завопила она и выбежала из комнаты.

Мать, схватив его за рукав, пыталась остановить, но он вырвался и кинулся вдогонку.

Крики были слышны на всю округу. Надя входила во двор, когда ей навстречу выскочила растрёпанная золовка.

— Ага, — завопила Глафира, — пристроилась тут, на наших харчах. Езжай в свой Краснохолм, чтобы духу твоего здесь не было.

Подоспевший Николай сгрёб сестру здоровой рукой и вытолкал со двора на улицу. Там уже посматривали через заборы соседи. Закрыв калитку, он в сердцах швырнул ремень в куст сирени и выматерился. Надя обняла его и повела подальше от всех, в палисадник, где отец соорудил лавочку.

— Чего там, Коль? — тихо спросила она, усаживаясь рядом.

— Да чего?! — подняв вверх здоровую руку и, тряхнув головой, тяжело дыша раздутыми ноздрями, ответил он, — опять они мудруют. После дождя в комнате с потолка потекло малость, и прям на ихний сундук, так они, заразы, его подвинули на наше место, а свой — в наш угол поставили, где сухо.

Со двора послышалось, как мать ругает Алевтину. С улицы вопила разъярённая Глафира, размахивая передником, зажатым в руке. Она кричала на брата, на Надю и, топая ногой, даже выкрикивала что-то в адрес матери, но та не обращала внимания.

Но вдруг все разом замолчали. Было слышно только, как тяжело лягнула щеколда калитки. Надя с Николаем переглянулись, поспешили во двор.

В проёме калитки показался пьяненький муж Глафиры Степан. Все смотрели на него с досадой и недоумением, в мгновение ока позабыв о только что случившемся разладе. Воспользовавшись моментом, когда замешательство почти парализовало всех и сразу, Глафира схватила мужа за руку, двинула боком калитку, и, сверкнув глазами на родню, протолкнула его во двор. Алевтина подхватила его с другой стороны. Калитка описала небольшой полукруг и упёрлась в землю. Алевтина толкнула её ногой, не удержала равновесия и покачнулась, увлекая за собой Степана. Глафира с трудом удержала их обоих. Они повели Степана, блаженно улыбающегося и пытающегося что-то сказать заплетающимся языком, в избу.

Мать обтёрла лоб краешком фартука и вздохнула, глядя на сына со снохой:

— Строиться вам надо. Хушь как, хушь пристройку какую, а никуды не деться. Пока лето только началось, затевались бы вы с хатой. Отец помог бы, и я чего смогу.

Надя молчала.

— Из чего строить, мама? — Николай насушился и нахмурил брови. — Совхоз, и тот не строит ничего. Ни лесу, ни цементу, ни гвоздей... Поработаю чуток, глядишь, разживёмся, да война, может, кончится. Когда-то же ей придёт конец?! Уж три года всем народом маемся. Ладно, пока потерпим годок-другой, может, всё уладится? Ну, не враги же мы, не чужие. Попрыгнут они к нам.

— Эх, Колька, глупай ты. По людям никогда не скажешь, чаво на уме-то у них. И чаво гадать “глянитесь — не глянитесь”, когда, уж пузо вот-вот на нос полезет? Дитё-то куды класть будете? Поверх Глашкиных двоих али Алькиного подвинете?

— Может, нам, и вправду, к моим податься, — будто бы спросила Надя, глядя в сторону.

— Нет, — замотал головой Николай, — я тут вырос. Тут, под кручей и пупок зарыт, и вся моя жизнь туточки. Не поеду.

— Так как же нам здесь? Ведь стройка — дело неподъёмное, — вздохнула Надя. — Деньжат мало совсем, здоровье у тебя слабое, я тоже не помощница этим летом. Как строиться-то? Ребёночку надо сначала справиться приданое хоть какое-нибудь, ведь ничегошеньки нету: ни пелёнки, ни лохмота какого лишнего на рубашонку, ни одеялка. И тазик бы купить новый, оцинкованный, для купания да для стирки, ведро для кипячения и кастрюльку под кашку.

— Отца бы послушали, — резко отвернувшись от них, с укоризной отозвалась мать. — Поди, скажет чего путного. И в силе он ещё, помочь может. И я саман делать могу, и мазать, и пилить бы помогала. А дитё и без этого вырастет. Вон, я четверых вырастила. Корыто есть, одеяло на гусином да курином пуху состегаем, ведёрко тоже найдётся, выделю вам одно, стало быть, а кашу... Кашу вон в чугушке сварим. Делов-то.

Надя потупила взор, только дрогнули губы едва заметно. Николай ещё крепче сжал её руку.

3

В родительском доме, в двух комнатах, проживало их десять человек: в передней избе — старшая, Глафира, с мужем и детьми, и Николай с Надей, в задней избе за печкой стояла кровать матери с отцом и их сундук, на лавке возле печки спала Алевтина с ребёнком, младшая из сестёр. Митьке её шёл третий годок.

И тесно было, и шумно, и ребятишки всё время под ногами. Мать, когда самовар несла, так громче обычного кричала, чтоб не обварить никого, споткнувшись. Все толклись больше в задней избе у стола или у печки, там было теплее и самовар всегда наготове, мать следила. В передней было хоть и просторней, и светлее, чем в кухне, но туда шли ближе к ночи, спать. Глафира со Степаном спали на высокой кровати, укладывая между собой младшенькую, старший, Пашка, спал на сундуке. Воздух всегда к вечеру в комнатах был спёртый, тяжёлый. После протопки мать уже дверей не открывала — берегла тепло на ночь.

Колька с Надей мешали старшей сестре в комнате. Слишком много места, как ей казалось, занимали их вещи: кровать из оструганных досок, сундук — единственное Надино приданое, — вешалка для одежды да занавеска цветастая, которая отделила угол молодых в горнице.

Сначала она заняла, как ей казалось, лучшую половину комнаты, ближе к печи, но весной крыша прохудилась, потекла и, как назло, на сундук, который они делили с Алевтиной.

Отец затевался с ремонтом на июль, не раньше. Пока мешали неотложные дела: сначала пахота, потом сев, картошку посадить следовало, после огород... Да и денег на ремонт крыши ближе к лету откуда взять? Всё за зиму долговую, трудную поутекло. Ничего не осталось у матери в заначке, последние копейки истратила на поросёнка, даже шаль пуховую продала — не хватило.

В доме были ещё сени и веранда, но они холодные, для жизни пригодны только летом. Пока же все теснились двух в комнатках, кучковались

у самовара за столом, каждый день из-за чего-то ругались, что-то не могли поделить, мешали друг другу.

Глафира всё чаще стала задумываться, как бы брата с женой куда сбегать. А как узнала, что Надя беременная, совсем ошалела. Рассудила так: только свои подросли, ночами спать стала, а тут у этих дитё вот-вот родится, орать станет — снова не заснёшь. И самой маяться, и детей перебудит, своих потом укладывая да успокаивая, а утром рано на ферму, ишачить целый день, да не выспавшись — худо. Вот и бесилась она, как необъезженная кобыла в упряжи, будоражила всех.

Не было Николаю с Надей места в родительском доме. Даже угла не было, а уж ребёнку и подавно. Мать и по-хорошему с дочерью говорить пыталась, и стыдила, и бранилась с Глафирой, требуя переселить в свою комнату Алевтину. Но ни та, ни другая не спешили съезжаться.

Алевтинин Митька тоже по ночам не больно-то спокойно спал, и качать приходилось, и на руках носить, и кормить, бывало. Хрен редьки не слаще. Для Глафиры было что так, что этак — разница небольшая, а для Алевтины и подавно. Она и не всегда просыпалась к ребёнку, чаще мать вставала, нянькалась с ним, укладывала. И удобнее ей было с маленьким в задней избе, и теплее, и мать, всё время копошившаяся подле печи, за дитём присматривала. Дед вечером клал Митьку под бок, и тот засыпал, снова Алевтинке благодать — руки-то развязаны, можно хоть к подружкам сбегать, посудачить, а то весь день на работе, словом перекинуться некогда.

Она после семилетки пошла в колхоз разнорабочей. Куда пошлют, там и вкалывала: летом — на сенокосе, потом — на току, осенью — на картошке, зимой дояркам помогала, на свиноферме, весной — на посевной. Потом замуж вышла, но и года не прожили молодые — война началась. И успел мужик только Митьку ей оставить, которого и не видел даже. Ушёл на фронт, когда дитё в утробе и не шелохнулось ещё ни разу, через полгода после того народилось, аккуратно под Новый год, в самую стужу.

И теперь Алевтина не знала, жив ли муж или сложил уже где голову? Письма приходили редко, последнее из полевого госпиталя было. Товарищ писал, что он ранен, сам писать не может, но жив, о чём и просит сообщить. Ещё писал, что повезут их дальше лечиться, но куда — неизвестно. И с тех пор ничего больше она от него не получала. Довезли ли, нет ли — не знала.

Плакала она по ночам от тоски, от неизвестности, от беспомощности. Не хотелось вдовой век доживать, одной дитя растить. Страшно было, что война, что родители стареют, слабеют, а коли помрут, так, кроме сестры, больше ей и помочь некому станет, ведь кто его знает, сколько эта война продолжаться будет? Когда мужик вернётся? Да и вернётся ли?

Понимала Алевтинка, что брат больной весь, надежды на него мало. Да и у самого уж семья. До неё ли ему?! Вот и держалась она поближе к Глафире, во всем соглашалась с ней, поддакивала. Та была баба здоровая, крепкая, языкастая, любого отбреет, своё всегда отстоит, и мужик при ней. Опять же сила...

Насчёт Митьки тоже беспокоилась: вдруг с ней самой чего недоброго случится? Ну, заболеет или ещё чего, помрёт, упаси боже, а малец один останется. Старики последнее доживают, с мужем чего — неизвестно... Кто о нём позаботится? Вот и получалось, что только на сестру вся и надежда оставалась. Надеялась Алевтина, что не бросит племянника тётка, коли случись чего, воспитает со своими рядом, выкормит, в люди выведет. От этих мыслей она немного успокаивалась, потому была во всём с Глафирой заодно.

4

Надя держалась в доме смиренно, но независимо. Всё больше молчала, перед сёстрами мужа не заискивала. Не то чтобы не хотела унижаться или гордилась слишком, а так считала, что коли уж не мил ты кому, так в том ни твоей вины нет, ни его, просто нескладуха получилась.

Она была родом из казачьего села Краснохолм, а здесь, в тридцати километрах от родного села, в целинном зерносовхозе Подстепинском оказалась

в первый год войны, когда, окончив школу, а потом курсы учителей начальных классов, приехала сюда по направлению работать.

Поселили молодую учительницу в бараке. В совхозе их было три, построили их в тридцатые годы для себя американцы. Они приехали сюда, на Урал, ещё в конце двадцатых за хлебом, жили несколько лет семьями, пшеницу выращивали и в Америку отправляли. Когда уехали, ещё до войны, в бараки заселили кое-кого из местных, кто нуждался в жилье, а с началом войны — беженцев, эвакуированных и всякий приезжий люд.

В комнате они жили втроем: учительница Надя, медсестра Нюся, присланная в совхоз после окончания медтехникума, и учётчица Клава, из эвакуированных. Жили девочки дружно, все, считай, ровесницы. Делить нечего, есть — тоже. Поедут Надя с Нюской раз в три, а то и четыре месяца домой, обе родом были из сёл неподалёку, чего привезут от мам, то и тянут, насколько хватит, и с подругой делятся, ей-то и взять негде: свои далеко, на другом конце страны остались.

Зарплаты у девчат копеечные, в совхозе тоже почти ничего не платили, хоть они после работы и на стрижку овец ходили, и на общественном огороде помогали, и во время уборочной на току. Да и купить еды было негде. У кого чего в хозяйстве водилось, так и для себя не всегда хватало, ведь коли скотину кормить нечем, так чего от неё получишь? Да к тому же у многих квартировали эвакуированные, и все почти что с детьми. Приходилось хозяевам и от себя кусок отрывать, чтобы поделиться с ними, подкормить. Хлеб для фронта отдавали, себе оставляли только-только, чтобы до весны дотянуть как-нибудь и вкуса его не забыть.

Как-то по весне после стрижки овец возвращались девчата в барак и увидели, что казахи барашка режут. Попросили мяса продать, а те ни в какую — самим мало. Уговорили девочонки, упростили продать немного мякоти, прибежали счастливые домой, теста замесили комочек, мясо изрубили мелко, как смогли, и давай пельмени лепить на радостях. А как слепили, так и ахнули, варить-то как? Дрова давно кончились — печь не истопишь.

Нюска придумала. Выпросили у старухи, которая их в баню свою мыться иногда пускала, примус и керосина немного. Кастрюльку с водой установили, зажгли и стали ждать, когда вода закипит. Долго ждали, еле-еле огонь теплил в примусе, нет-нет, а пузырьками по краям запенилась вода, бросили они пельмени, а те легли на дно и прилипли. Мешали, мешали их девочки, уж поизлохматились все пельмешки, а не закипают — и все. Есть охота — страсть, и бульону охота горяченького — ведь холодно в бараке.

Ждать пришлось долго. Промучились они, примус потом ещё и коптить начал, в комнате смрадно стало, уж и есть расхотели, а пельмени все не сварятся никак. Упрямая Клава мешала и мешала их, стараясь ложкой не лохматить, аккуратно, осторожно, но они все уж сплошь в дырках были. Кое-как дождалась, пока они хоть наполовину сварятся, разложили по мискам и проглотили их вмиг, полусырые, вязкие, с расплзающимися ошметками оборванного теста. Потом бульону горячего нахлебались в удовольствие и легли спать. Сморило девчат долгое ожидание, забыли, что старуха наказала им примус вечером обязательно вернуть — только утром отнесли обратно. Досталось им от неё! Ведь примус был эвакуированных, которые у неё в доме жили. Думала бабка, что девчата скоро на нём сварят и вернут прежде, чем хозяева с работы вернуться, да ошиблась. Неприятность вышла ведь она, получается, без спросу чужую вещь дала. Уладилось всё, конечно, но с того случая перестала она пускать их в баню.

А у Нади — косы до пояса, волосы густые, волнистые. Бывало уборщица в школе подойдёт, погладит лежащие на спине тугие косищи и спросит:

— Как же вы, Надежда Леонтьевна, их в бараке моете?

Все знали, что дров на складе с ранней весны нет, обогрелись, кто как мог.

Учительница, смущаясь, улыбалась:

— Да, так вот и мою... Как придётся.

Мыла-то она голову только когда к своим, в Краснохолм, ездила. Мать набирает коровьих “лепешек” — котяхов, засушит, да сёстры из леса чего

притащат — вот и вся топка. Лишь бы вода согрелась. А Наде, чтобы промыть такое богатство, ведра два воды надо; пока с головой управишься — и самой уж мыться нечем. Так она приспособилась: вставала в пустой таз, а другой — с водой, на нижний полок ставила, в него доливала щёлок, который мать настаивала, вспенивала и, наклонившись, мыла волосы, потом этой водой мылась до пояса, аккуратно, чтобы не расплескивалась, а в таз стекала, потом ниже пояса уж оттуда мылась. Оставшейся водой волосы ополаскивала и домывалась. Торопилась мыться, к печке жалась, ведь в бането не шибко тепло, одевалась тоже прямо тут, не в предбаннике, чтоб не простыть.

В доме её уже сёстры ждали. Насыплют в тяжёлый железный утюг углей, присядет Надя к столу, наклонится, разметаёт волосы, а они сверху простынькой накроют и водят поверх неё утюгом, чтоб быстрее высохли. Потом мама расчешет чистым гребнем, заплетет косы, и снова до следующей бани, как случится приехать домой.

Когда Николай стал захаживать к ним в барак, Надя на свой счёт это не принимала. Куда уж! Нюська вон бойкая да весёлая какая, ему, пожалуй, больше понравится могла, или хоть Клава, тоже хохотушка, красавица и трещотка, каких поискать, — любому парню голову заморочит. А она, тихая, спокойная, молчаливая, — кому глянется?

Да в бараке много и других девчат было. В семьях эвакуированных, к примеру, Циля, еврейка, будто с картины писана: осанистая, высокая, чернявая. Заглядишься. Или вот Лина, дочка Марии Семёновны, завуча, или Саша, доярочка, ютившаяся в соседней комнате с матерью и младшим братом и вдовой с двумя детьми. Эти девушки были совсем не прочь погулять с Николаем, улыбались ему, задирали, хихикали. Надя замечала, как они бросались причёсываться, прихорашиваться, стоит только ему показаться на пороге. Сама же уходила к себе в комнату.

Но Николай, посмеявшись и побалагурив с соседками, стал искать встречи именно с ней. Подмигивал, несколько раз даже ждал у школы. Она не позволяла ему провожать её до барака — стеснялась. В комнату к себе тоже не приглашала, не хотела разговоров, да и зависть быстро догнала бы. Держала она его на расстоянии весь декабрь и январь, а в феврале, в начале, он как-то зашёл к ним с работы и позвал в баню, мол, мать приглашала, узнала, что старуха Макариха не пускает больше мыться.

Нюська с Клавой обрадовались, собираться стали, а Надя не решалась сначала, но все же пошла с ними. Понимала, что неспроста ухаждёр их позвал, что-то, видать, сказать хочет. Но вечно же нельзя его на задворках держать, решила, что пора поговорить, да и помыться очень хотелось, а баня у них на всю деревню самая завидная была.

Мать встретила девушек радушно. Накрыла стол. Мочёный тёрн зазывно выглядывал из алюминиевой миски бочками с белесоватым налётом, утопая в кисловато-терпкой пахучей бурой жижице, аккуратным ободком окаймлявшей ягоды по краям чашки; картошка томилась в чугушке, политая топлёным маслом и слегка присоленная; сало белело на обкромсанной дощечке, только что вынутое из рассола и прикрытое сверху тряпочкой; кожурки розовые лежали у самовара горкой рядом с увесистым ржаным караваем, от которого были уже отрезаны несколько ровных сытных ломтей.

Видя глаза девчонок, мать усадила их сначала за стол и накормила, только потом в баню отправила. А к чаю достала ещё кусочек коровьего масла из погреба и, намазав им хлеб, стала дожидаться девчат. А они, весёлые, румяные, чистые, забежав в дом, бросились целовать и благодарить её, обнимали старуху, чуть не плакали от радости. В такой бане уже давно не мылись и не помнили, когда?

Потом сели за стол, Николай тоже присел, но ничего не ел и чай не пил. Клавка с Нюсей быстро смекнули, что они тут лишние, быстренько поели-попили и засобирались домой. Надя молчала. Мать вышла проводить девчат, а Николай, сев рядом с ней, положил здоровой рукой большую рядом возле её руки на столе, спросил серьёзно:

— Пойдёшь за меня?

Надя бросила на него быстрый короткий взгляд и отрицательно покачала головой.

— Т-а-а-к, — тряхнул головой Николай, — значит, за инвалида не хочешь?

— Нет, что ты! — вскопчила девушка и тут же села. — При чём тут это! Ты мне по душе. Только я пока не знаю. У матери ребятишки, ей помогать надо, отца у нас нет. Я думала, работать стану, полегче будет. Но так получается, что она мне больше помогает. Куда же мне замуж, и себя прокормить ещё не могу.

— А я? Я работаю теперь, меня счетоводом оформили, я ж ещё до войны курсы кончал. Корочки имеются. И хозяйство у нас хорошее. Всё есть!

— Это всё родителей, — вздохнула Надя.

— И мне отец отделит, — не унимался Николай. — И корова, и свинья, и куры... Всё у нас будет.

— Ладно, пора мне, — засобиравлась девушка.

Николай преградил ей дорогу:

— Так как же?

— Скажу, Коль. Скоро скажу, — улыбнулась ему Надя, — только не теперь. Теперь мне думать надо. К маме на днях поеду, ей сказать надо. Обожди пока.

Дома, помывшись в бане и высушив волосы, она, как обычно, села у печки, чтобы мама расчесала и заплела косы. Но та, помедлив и ничего не говоря, ушла в спальню. Сестры вызвались помочь ей, весело разбирали волосы, передавая друг дружке гребень. Мать наблюдала со стороны. Только когда девочки стали туго заплетать густые пряди в косу, не выдержала и вышла, указав им на дверь.

Оставшись с Надей, мать долго не прикасалась к ее волосам, словно не решалась начать какой-то важный обряд, о котором знала только она. Когда старшенькая, поняв, в чём дело, сама попросила её об этом, мать, украдкой промакивая слёзы рукавами кофты, осторожно собрала волосы и заплела их в одну косу. Потом она показала, как надо укладывать её на затылке, отошла, посмотрела со стороны, постояла так недолго и бросилась снова к дочери, обнимая и плача. Надя гладила её руки, обнимала за шею. Когда та понемногу успокоилась, глотнула воды и обтёрла лицо, она уже сама расплела косу и, склонив назад голову, стала разбирать волосы надвое.

— Давай помогу, — поспешила мать. — Попробовали и будет. Походи в девках пока. Успеется.

Она решительно убрала руки дочери от волос и сама быстро сплела косы. Ловко её пальцы перебирали блестящие чистые пряди, а привычные движения придавали делу уверенные черты той законченности, от которой не возникает сомнений, что так будет всегда. Но мать знала, что обманывает сама себя. Понимая, что последний раз, наверно, она так плетёт дочерины косы, она изо всех сил пыталась унять гнетущую тревогу и разрывающее изнутри беспокойство.

Через неделю Надя дала Николаю положительный ответ, а через месяц, когда первые сосульки с крыш свесились, сразу после свадьбы переселилась из барака к ним.

5

Вечером, на исходе того дня, когда случилась ссора из-за сундука, в доме было спокойно. Сёстры, прихватив детей, вышли на улицу и, расположившись на брёвнах, лузгали семечки, усадив малышей на колени. Пашка крутился рядом, играл с котёнком, дразня его веточкой.

Отец с Николаем ужинали. Степан спал в горнице.

Фигура отца, склонившаяся над миской с кашей, показалась Николаю какой-то совсем уж сутулой, чуть ли не горбатой. Его всегда удивлял высокий рост отца. Про него даже говорили в деревне, что, мол, Макар — родственник Ивана Великого — известной в Москве колокольни, и шуткой удивлялись: и как его только в эти края степные занесло?

При том, что Макар был диковинно высок ростом, был он худощав и нескладен. Длинные руки и ноги его выглядели, как оглобли. Сухие, со вздувшимися венами руки вечно торчали из рукавов ватника, рубахи или пиджака чуть не от локтей, а мохлястые ноги мотылялись в голенищах сапог, что ухват в утробе печи. Но несмотря на такую свою сухотелую наружность, был он жилист и силен, много работал, вилы и лопату из рук не выпускал с утра до поздней ночи.

Отец ел гречневую кашу с молоком. Жадно откусывая от ржаной краюхи кусок за куском, он с силой двигал челюстями, торчащими из-под ушей и ходившими под его загорелой щетинистой кожей, как жернова молотилки.

Мать сидела напротив. Широкая в кости, полноватая, дородная, она рядом с ним казалась чем-то необъятным, мягким и приятным. Но всё на самом деле было не так, а как раз наоборот. Внешне казавшийся грубым и угловатым, отец был мягок характером и добр. Он никогда не повышал голоса, во всём советовался с женой, тихо говорил, и все догадывались о том, что он дома, только по храпу, который слышался из-за печки, когда он засыпал. Он был незаметен и тих, как домовый. Всё прощал детям, когда маленькими были, любил их безмерно и всегда перед матерью за них заступался, если шкодили.

Мать же была права сурового, бранилась на него по делу и без дела, громко кричала, если дети или внуки выводили её из себя. Дом держался на них обоих, но отец как-то присутствовал в нём незаметно, почти незримо, а мать была повсюду, голос её не переставал слышаться то с огорода, то из сараев, то с веранды. Всегда было ясно, где она находится и чем занята.

Имела мать одно дело, которым занималась всю жизнь, переняв его секреты у своей тётки. Она слыла в округе знахаркой, готовила лечебные снадобья, собирала и сушила травы, знала, как и чем лечить болезни. Во дворе было два погреба: один — для продуктов, другой — её — для мазей, настоек, отваров и прочих целебных средств, коих имелось у неё такое количество, что и сама порой забывала, в какой посудине что. Безграмотная, она не могла ничего записать и, держа в голове, наверно, не меньше сотни рецептов, часто бормотала их себе под нос во время домашней работы, чтобы не забыть. Дочерей в секреты своего дела она не посвящала. Они сами пытались помогать ей, даже завели тетрадку, в которую записывали, что и где хранится. К примеру, “в горшке с отколком — мазь от кожных сыпей — на полке второй сверху с правого края, как стоять спиной к входу; рядом в банке чёрного стекла — настойка от мокрого хрипу и кашлю, а с другого боку, в кастрюльке без ручки, — роженицам от кровей”. Когда мать забывала что-нибудь, то шла с тетрадью к дочерям и те, спускаясь в погреб с огарком свечи, начинали разбираться в склянках и горшочках, вычитывая записи и перебирая на полках посудыны.

Когда Николая комиссовали, она ему сразу жену присмотрела. Через два дома вдовица жила с ребёнком — Сотникова Полина, и всего-то на два года его старше, похоронку давно, в сорок первом получила, ещё до морозов. Бабёнка она была простая, справная, работающая, дитё у неё присмотренное, дом в порядке, в совхозе имела поощрения за работу: то ситца отрез, то отходы на корм скоту, а то и зерна, бывало, перепадало в урожайный год.

Но Николай заупрямился, не стал вдовицу брать, всё в барак похаживал. Мать выведывала у бабёшек тамошних, к кому ходит сынок, да вроде поначалу даже успокоилась, понадеялась, что он к Нюске или Клавке клинья подбивает. Эти были не хуже Сотниковой: деловые девки, крепкие с виду, ухватистые, надёжные, что работать, что детей родить, что за себя постоять. Но случилось по-другому.

Когда сын объявил ей своё решение Надю в жены взять, она опешила. Не понятно ей было, чем приглянулась ему эта сухопарая молчунья, про которую все говорили, что руки у неё, будто у барышни какой, белые, пальцы тонкие, длинные, сама павой ходит, голову держит высоко. Что с неё проку в доме? Учительница — одно слово, ей только в школе за столом сидеть да книжки читать.

К тому ж выяснилось, что у Нади одна мать ещё с тремя ребятишками бьётся, что мальчик младший — инвалид, а отца ещё перед войной расстреляли за то, что плохо про власть чего-то сказал.

Мать сына отговаривала, никак душа не лежала девушку в дом брать, но Николай и слышать не хотел. Сотникова ему не нужна была, потому что девок кругом, хоть лопатой загребай — черенок сломается, чего на вдовицу размениваться? Клава ему не нравилась, потому что была какой-то непонятной, городской, говорила много и чудно, будто книгу какую читала по памяти. Нюска хоть и веселила его разговорами, пела звонко и то и дело задевала по причине простого своего нрава, тоже была не по душе. Он уставал от её быстрых движений, от вскоков и вскриков внезапных, и от её внимания к себе.

Рядом с Надей ему становилось спокойно, хорошо. Она всё больше молчала, и он тоже, но они и так всё понимали и чувствовали, без слов, без лишних движений. Выше него ростом, она была недоступной и умной, но его это не тяготило, потому что Надя не старалась выделиться, обратиться на себя внимание, как-то показать себя. Она всегда сидела на своей кровати, что-то читала, штопала или просто молча наблюдала за подружками и за ним.

Он долго не мог понять, почему она так ведёт себя? Сначала подумал, что, может, он не нравится Наде из-за своего невысокого роста, покалеченности, не слишком привлекательного внешнего вида, но как-то со временем стал замечать, что она ласково смотрит на него, что в глазах её всегда светится радость, когда он приходит.

Девчата даже рассмеялись однажды, видя, как он, засмотревшись на неё, чуть не сел мимо табуретки, а она, вскочив с места, бросилась его подхватывать.

— Глянь-ка, Клав, — скосила глаза Нюска, — Николай-то чуть не расшибся.

— Да я, чего-то я... — смутился парень, оказавшись рядом с Надей, схваченный ею за здоровую руку для поддержки, — как-то не рассчитал я...

— Ой, да видим, не слепые, — продолжала Нюска. — Чего-то ты мимо, Коль. Иль куда загляделся, а?

Чтобы поближе сойтись с Надей, он попросил мать позвать девчат в баню. Она, было, воспротивилась, но дочери уговорили. Им с ребятишками приходилось частенько к Нюске в медпункт обращаться за помощью, решили, что неплохо было бы с ней поближе познакомиться, да и с учительницей тоже, ведь Пашке Глафириному вот-вот в школу.

Так и оказалась Надя в их доме первый раз. Не знала она тогда ещё, что вскоре переберётся из холодного барака в этот маленький, чистый и тёплый дом. Правда, не знала и про то, что приём её здесь ждёт вовсе не тёплый...

6

Отец вернулся ближе к ночи и привёз двух немцев. Гвидо и Алекс послушно слезли с телеги и бросились помогать распрягать лошадь.

Все семейство во главе с матерью высypало на улицу. Обтирая руки фартуком, она исподлбья рассматривала гостей. Её прищуренные глаза смотрели зорко и цепко, изучая невиданных доселе в этих местах иностранцев, к тому же заклятых врагов, ненавистных варваров, которых она долгие годы войны дённо и ночью без устали проклинала про себя и вслух, которых хотела растерзать всякий раз, когда прикладывала Николаю примочки и готовила мази, когда плакала по без вести пропавшему в сорок втором младшенькому своему, Гришке.

В её воображении эти нелюди раньше не рисовались никак, скорее, они представлялись ей каким-то необъятным неистребимым злом, ужасом, жутью, которая накрыла страну смертельной опасностью, обрушила на её жителей страх, горе и муки. Глаза матери выражали не просто застывший крик, в них металась и билась боль, накопленная за годы войны, и глухое,

отчаянное и несгибаемое желание дать выход этой измотавшей её боли и немому крику, которые было тяжело удерживать внутри.

Дочери и зять смотрели по-разному, кто — с ненавистью, кто — зло и брезгливо, но даже вроде с интересом. Пашка схватил камень и с криками кинулся на немцев:

— Фрицы проклятые! — завопил мальчишка и запустил в них камнем.

Степан схватил его за руку и дёрнул к себе. Немцы отскочили в сторону и пригнулись.

Отец строго посмотрел на внука и молча погрозил ему кнутом.

— Чего выставились?! — громко, как никогда, спросил он у домашних и уже тише, но сурово и твёрдо прибавил: — Поглядели? Чешите домой.

Он привязал коня и подал знак немцам помочь с телегой. Взяв в руки оглобли, отец стал направлять её в угол у поленицы под раскидистой старей татарский клён. Они с обеих сторон толкали, внимательно наблюдая за хозяином и выполняя его указания.

Поселил их отец на улице в балагане. Он обычно летом сам там спал на свежем воздухе, да и гонять, бывало, по ночам приходилось с огорода охотников поживиться чем-нибудь. Теперь сам перебрался ближе к дому, на сеновал.

Вещей у гостей с собой было немного: по паре сменного белья, портянки, шинелишки потрёпанные да пилотки. Форма, пропитанная потом, в подмышках и на спине была в белых разводах, местами виднелись следы штопки и даже заплаты. Одежда на них была немецкая, а сапоги, порядком уже заношенные, наши.

Мужики они и вправду были крепкие, несмотря на невысокий рост. Один рыжий, с кошной хоть и стриженных, но настолько густых волос, что они смешно торчали во все стороны и выбивались из-под пилотки. Ему было на вид лет тридцать пять—сорок. Второй, что ростом был чуть ниже, выглядел моложе, всё время приветливо улыбался и пытался по-русски здороваться и приветствовать всех. Оба были гладко выбриты, в руках держали шинели и небольшие узелки с имуществом.

Отец отвёл их в сени, где мать приготовила им еду. В миске лежали варёные картофелины, с краю — пёрышки зелёного лука, четверть краюхи хлеба и ромашкой — пяток яиц. Ели они, стараясь не спешить, озираясь по сторонам, но то, как торопливо они жевали, как роняли на стол яйца, пытаясь их поскорее очистить, выдавало не больно сытые месяцы, проведённые в плену.

Немцы не выглядели ни истощёнными, ни даже худыми, видимо, кормили их почти в достаток, только пища была непривычная, не особо вкусная и питательная. Они солили картошку и яйца, макали в соль перьями лука, откусывали хлеб полноротой хваткой, с удовольствием жевали нехитрое крестьянское угощение и благодарно смотрели на деда.

Постояв немного возле, отец вышел на веранду. Семья уже поужинала, его не дождалась сегодня, и мать хлопотала теперь для него одного. Она разогрела тушёную картошку с мясом, принесла бочковых огурцов и ровненько порезала маленький кусочек сала. Без него отец за стол не садился. Хоть с палец огрызок, а съест обязательно, иначе голодный, чем ни накорми.

— Может, хоть сала им дашь? — тихо спросил он.

— Хватит, — глядя в сторону, хмуро отозвалась она.

— Им работать.

— И пуцай. Чего ж ещё-то? Их, поди, там на стройке одними отрубями кормят.

— Не без того, — хрустнув огурцом, согласился отец. — Видал сегодня, как обедали. Баланда да каша пшённая сухая, хлеба — в полжмени, не больше.

— Чего, как сторговался с прорабом? Хватило харчей иль чего еще запросил?

— Ох, и жулик, он, шельма! Всё у меня выгреб и говорит, мол, муки давай мешок ещё, — усмехнулся отец.

— Чаво?! Мешок! Рехнулся, паразит, иль чего ли? — всплеснула руками мать.

— О-о-о-х, — вздохнул отец, — разбойник. Сколько ни дай — мало. Я ему ещё только яичек пообещал, а насчёт муки — нету, говорю. Кончилась. Уж новый урожай скоро. Где ж её взять, коли она родится в поле, а не у бабы в подоле.

— И чего ж? — выпрашивала до крайности возмущённая мать, не сводя глаз с мужа.

— Поругался, стервец, ещё, говорит, кур прихватишь, когда этих обратно привезёшь. А я смекнул сразу, башкой машу, согласие показываю, а сам примечаю, что этому скряге, хоть весь курятник свежи, а все скажет: ещё давай. Ладно, как Бог даст, мать. Куры вон хорошо несутся, садиться стали, глядишь, к осени разбогатеём.

— Ой, дурень ты старый, — засмеялась мать, — на курах да на цыплях уж разбогатеешь, поди, ага-а-а...

Встав утром с петухами, отец пошёл к балагану. Немцы ещё спали. Укрывшись шинелями, они спокойно сопели и даже похрапывали.

Отец направился на задний двор. Мать с Алевтинкой вышли ему навстречу из карды. В подойнике белело молоко, он был полон.

Макар выгнал скотину, напоил телят, дал сена коню. Визгливо заверещала свинья. Он вылил ей ведро вчерашних помоев, сдобренных запаренными с вечера в лохани остатками отобранной на корм прошлогодней мелкой картошки величиной чуть поболее овечьих котятков.

Когда он ходил по двору, носил воду, кормил скотину, звуки разносились в утреннем тихом воздухе, отстоявшемся за ночь на огороде, и доносились до балагана. Они разбудили немцев и те, шустро одевшись, как по команде, прибежали к нему. Один выхватил у него ведро, пытаясь говорить по-русски:

— Помош-ш-ш...

Другой стал показывать знаками, что он тоже хочет помогать. Отец улыбнулся, глядя на их усердие и, криво усмехнувшись, пробурчал себе под нос:

— Убивать, видать, тоже друг дружке помогали. Эх, никакого суда на вас нету, окаянных. Никакими словами не оправдаетесь, ни пред Богом, ни перед людьми. И никакими трудами не отработаете, хоть до смерти уломайтесь... Беда.

Они остановились, видимо, легко уловив настроение старика, поняв по тону его ворчания смысл сказанного. Опустив головы, встали подле него, но чуть на расстоянии, будто боялись, чтоб не огрел чем-нибудь в сердцах. Но отец махнул им и пошёл к дому. Они поспешили следом.

За домом уже было расчищено место под стройку. Николай здоровой рукой порубал кусты реписа, а Надя граблями собрала прошлогоднюю листву, палки и мусор, убрала всё. Отец показал участок и, достав из кармана грубую лохматую бечёвку, протянул её немцам. Они сразу поняли, что надо делать. Залопотали по-своему, показывая руками, как они будут копать, держа в них воображаемые лопаты.

— Щас, щас я, — заторопился отец и вскоре вернулся с двумя штыковыми лопатами и одной совковой, стал показывать им, где копать ямки.

Немцы, выхватив из его рук инструмент, сходу набросились на работу. Они врыли маленькие столбики по размерам будущей избы и стали привязывать верёвку, обозначая границы постройки.

Отец наблюдал за ними, подсказывал, поправлял кое в чём, но было понятно, что работники они толковые, и дело взялись делать со всей ответственностью. Немного погодя отец пошёл хлопотать по хозяйству. Но стоило ему только дойти до сеновала, чтобы перекидать сено ближе к выходу, как посылались крики.

Макар побежал что было мочи обратно, хлопая голенищами сапог и стуча ногами по утоптанной дорожке. Ему навстречу уже спешила мать, крича и задыхаясь, показывая руками туда, куда он только что отвёл работников. Из того, что она кричала, он разобрал только "Колька-а-а... Колька-а-а...".

Завернув за угол дома, но тут же чуть не споткнулся о лопату, валявшуюся прямо у него на пути. Немцы, прилигнув спинами к стене, кричали что-

то непонятное на своём языке, закрывались руками и втягивали головы в плечи.

Николай, держа в здоровой руке совковую лопату, весь багровый, с выпученными глазами, с матюгами и угрозами шёл на немцев. Жилы на его шее натянулись ремнями, скулы остро и туго обозначились под кожей, а сумасшедшие от гнева глаза горели ненавистью. Всё его тщедушное тело, напряжённое и согнутое болезненной беспомощной дугой, рвалось вперёд, за рукой и орудием мщения, которым стала лопата.

Отец знал, что сына в такой поре лучше не трогать. Он мог, не разбирая, и своих сгоряча огреть, пожалуй, подвернись ему кто случайно под руку. Поэтому он кинулся обратно к дому. Требовалось что-то вроде полушубка или одеяла, чтобы завернуть его сзади и зажать в руках. Он даже не заметил, что утром мать вывесила на забор проветриваться старое одеяло.

Ему навстречу бежала мать.

— Дай чего-нибудь обернуть... Ну, хоть чего там... Дай, завернуть надо... — крикнул отец, размахивая руками.

Мать бросилась к забору:

— Так вон же... — Она сгребла одеяло и кинула ему.

Когда Николая, обернутого с головой, повалили на землю, он уже весь трясся. Ноги, сведённые судорогой, беспомощно торчали из-под одеяла. Мать навалилась на него, прижимая руками голову, налитую кровью и хрипящую что-то перекошенным ртом, и заголосила.

Отец тут же прикрикнул на неё:

— Цыть! Не на похоронах. Воды принеси.

— Ой, мама, — лежа на земле, шипел Николай, — нету им прощения. Нету! Не люди, они, мама. Фашисты. Звери они. Жили б мы, как жили, и я б здоровый был, и Гришка был бы тут... На Тоньке своей женился бы. А то и не знаем, где он? А они вон живы-здоровы, как бычки молодые. Падлы!

Она кое-как поднялась и, на ходу вытирая слёзы, поспешила во двор. Отец налёг на сына, отбиваясь от его здоровой руки, то и дело грозящей ударить ему в лицо. Немцы всё это время молча смотрели на то, что происходило, и их глаза, расширившиеся от ужаса, застыли, а лица вытянулись и стали похожи на лошадиные морды. Они так и стояли, прижавшись к стене дома.

Когда мать вернулась с ведром воды и плеснула Николаю на голову, тот сразу весь обмяк. Отец отпустил его и подал знак немцам, чтобы ушли. Они торопливо скрылись, оглядываясь и подталкивая друг друга.

Развернув одеяло, мать с отцом стали усаживать трясущегося сына. Он шумно дышал, продолжая таращить глаза, утыкался куда-то в плечо отцу, дёргал беспомощно руками и стонал. Судороги в ногах ослабли, и они развалились широко в стороны.

— Всё, сынок, всё уж, — успокаивала мать. — Тихо, тихо... Ушли они. Нету их тут. Пошли потихоньку в кухню. Подымайси, я травку заварю осмирительную, выпьешь... Всё, Коля, уляжется. А щас на работу тебе пора. Ага. Поспешать надо.

7

Сёстры недоумевали, как это братец не может с немцами разговаривать, чтобы объяснить им, как и что ему надо в доме сделать, а всё через отца. Ведь это дом, в котором ему жить с семьёй всю жизнь потом.

Но не было у него сил с врагами разговаривать. Не мог. Вскоре все поняли, что так оно, пожалуй, лучше будет.

Утром, когда Николай шёл на работу, и днём, когда приходил на обед, и вечером он старался побыстрее пройти мимо стройки. Краем глаза, конечно, поглядывал в сторону будущего дома, но, услышав немецкую речь, сразу убегал на озеро.

Оно начиналось за огородом. По ступенькам, прорытым с высоты кручи до самой воды, он спускался на мостки и сидел на них, опустив в воду но-

ги, по многу раз умывался, иногда даже опускал голову в воду, кричал что-то, вспугивая стада уток и гусей, обосновавшихся здесь на всё лето, разгоняя их своими воплями.

Как-то он в сердцах запустил гнилой корягой, прибившейся к мосткам, в чьё-то стадо. Гуси громко и истошно загоготали, всполошились и бросились в разные стороны, это заметили с берега и доложили хозяйке. Та прибежала ругаться, ведь каждая птица была дороже золота. Баба орала на Николая, грозилась пожаловаться участковому.

Он расстроился, просил прощения, умолял не беспокоиться.

— Я же, как его... Ну, не специально... Ну, не хотел же я...

— А мне какое дело, — визжала возмущённая баба, — у меня четверо по лавкам. И каждый гусь — на неделю. Разрублю на четыре части и варю, хоть щи, хоть картошку с ним, хоть лапшу. Всё хорошо. А ты? Вот убил бы гусёнка, и остались бы дети на неделю без еды. Подумай ты своей контуженной башкой, а? Да я ж ребятишкам по кусочку делю, лишь бы хоть раз за день мясное поели пацаны мои. Им и этого-то хлёбова не хватает, а ты — корягой. Гуся — корягой! Да я как пойду сейчас, найду там эту корягу и тебя, поганца, ею отделаю и не погляжу, что ты фронтовик.

— Ну, уймись, угомонись, — просила мать соседку. — Да я бы тебе сво-во гуся отдала б, не остались бы твои ребята без обеда.

— Ага! — грозя ей пальцем, закричала баба. — Да кабы не увидал никто, так и ты бы в зубы не далась. Чо сказала бы, а? Докажи, сказала бы, а чем я докажу? Да я на него и не подумала бы сроду! Ведь фронтовик, инвалид, а?! Человек уважаемый, в конторе работает. А чего творит?!

— Да не убил же он гуся, — вмешался отец.

— Да, не убил. А завтра, гляди, убьёт. Нервы-то у него ни к чёрту! Он сначала на гусей кидается, а потом и на людей начнёт замахиваться! И вы его не защищайте. Я к нему как к фронтовику, конечно, уважение имею. Мой тоже два раза уж раненый, и сейчас не знай жив, не знай... Ой, и сказать боюсь, четвёртый месяц уж писем нету. Чего уж не понять, но и меня поймите. Он же вон, трясется весь, как шальной. И чем ему мои гуси помешали?

Николай, действительно, весь затрясся, мелкая дрожь колотила тщедушное тело, словно он находился на морозе в одном белье. Прижимая большую руку к туловищу, он схватил пятерню здоровой рукой и сжал изо всех сил, чтобы унять дрожь.

Кое-как спровадив недовольную бабу, родители повели сына домой. Мать усадила его за стол, поставила две стопки и налила самогону. Они с отцом выпили. Мать налила ещё и унесла бутылку в чулан. Вторую пить не спешили.

— Коль, — сжав переносицу узловатыми, грубыми пальцами, с трудом начал отец, — я никому не говорил. Опасно было, но тебе теперь расскажу.

Он встал, закрыл на засов входную дверь, потом — на крючок — дверь в сени и, посмотрев зачем-то в окно и прикрыв шторку, сел.

— Чего, батя? — глядя виновато из-под опущенных век, спросил сын.

— Я, Коль... — отец медлил.

Он смотрел куда-то перед собой, странными, вдруг помутневшими глазами, будто извиняющимися за что-то. Так прошло несколько времени, Николай даже забеспокоился, уставился на отца удивлённо и растерянно. Наконец, тот, выпив стопку и поставив звучно её на стол, решительно отодвинул от себя миску с картошкой и, не закусывая, сморщившись, выдохнул и начал:

— Я, ведь, Коль, ты знаешь, на войне был. На той ещё, первой германской.

— Так то все знают.

— Ты, погодь, слухай. Воевал честно, за спинами не прятался, в окопах сырых погнил — будь здоров! Ну, да ладно. Война, она, знаешь, никого не щадит, выжил, вернулся и, знай себе, радуйся, что уцелел. Вернулся, и слава Богу. Только всяко бывает... Главное, — не осуждать. Вот. Чтобы без понятия, без должного разума. Осудить-то, оно, знаешь, легко, а вот понять... Тут, поди, суметь надо.

— Ты, бать, давай, говори, чего... — махнув рукой, попросил Николай. — Я ж не дурак, уж разберусь как-нибудь, в чём дело.

— Да тут, сынок, — отец подался всем телом вперёд и почти лёг боком на стол так, что оказался лицом к лицу с сыном. — Тайна у меня одна есть.

— Военная? — усмехнулся Николай и тоже придвинулся поближе.

— И так можно сказать. Назови хоть как, а я никому не говорил. В плену я был, Коля.

Отец смотрел ему в глаза, и Николай, ещё не поняв до конца то, что услышал, как ему показалось, чуть не ослеп от этого тяжёлого испепеляющего взгляда.

— Че-е-е-го? — протянул он, вилотную приблизившись к лицу отца.

Тот молча поднялся, задвинул ногой табуретку под стол и встал у стола, облокотившись на него руками и уставившись в задёрнутое занавеской окно.

— Я был в плену. У немцев. Так-то, Коль. Полтора года. Работал на них.

— Как же? Бать... — Николай даже открыл рот от удивления. — Раненый, что ли, попал?

— Нет. Уж так вышло. Только ты чего плохого не подумай. Не предатель я, сынок. Потом, значит, схитрил, сумел вернуться так, что вроде как в плену и не был. Повезло мне. Расскажу как-нибудь. Всё расскажу.

— А почему молчал, скрывал? Вроде ж ничего за это не было б тебе? — не понял Николай.

— Не-е-е, Коль, плен — всегда позор, вот я и скрываю всю жизнь. Убежать у меня не случилось, чтоб героем вернуться. Так-то. Вот и не хотел, чтобы на вас пальцами показывали, чтобы вы, мои дети, позор терпели, что я в плену отсиживался, не воевал. Ну, да ладно. Щас про другое. Я про немцев хотел сказать, Коль.

Сын соскочил с табуретки:

— Я ж, знаешь... Как я... Сволочей этих... Карателей...

— Погоди, погоди, блажен! — Отец тихо успокаивал его, обняв за плечи и усаживая снова к столу.

— Ты слухай, чего скажу. Они, конечно, гады! Давно они на нашу землю зарятся. Чего уж! Есть от чего позавистничать. Был я в ихней Германии. Они об таких просторах только сказки слыхали. Вишь, на моём только веку уж второй раз ползут на нас, ироды. Да ведь как?! Я у них на пристани работал. Корабли мы разгружали и загружали, баржи тоже бывало. Потаскал сколько — мама, не горюй! Работал до дрожи в руках и ногах. С трудом вернулся обратно и до гробовой доски скрывать буду, что в плену был. Не хочу, чтоб люди плохого чего подумали. Говорю: воевал, и всё. Но я и взаправду воевал. Техника ихняя против нашей, сынок, что фонарь супротив лучины, башковитые они. Тут бы и нам у них чего подглядеть да себе смастерить тоже. Ну, это так, к слову. Я вот к чему. В плену, значит, я полтора года пробыл, но содержали нас хорошо, кормили не шибко густо, но и не били, работать, да, работали, но и жили в тепле. В бараках чисто всё было, от вшей обработка опять же, и баня, и бельё меняли после. Всё как у людей. Вернулся я в порядке, не больным, не отощавшим и не покалеченным. Тебя вот ещё родили с мамкой и Гришку, и Алевтинку. Понимаю я, что ты уж на другую войну ходил, досталось тебе. Прощения им нету никакого, и никогда не будет, сынок, такое не отмолишь никакими молитвами и не смоешь кровью даже, за такое и опосля их дети и внуки ещё отвечать будут. Так-то. Но у тебя, Коля, жизнь впереди. Бог даст — поживёшь, порадуетесь, вон, скоро дитё... Дитё — это хорошо, оно завсегда на радость родится. Подлечит тебя мать, может, в больницу направят, руку тебе подлатают, глядишь, поправится всё. Но, Коль, дом тебе щас пуще еды, пуще матери родной нужен. Будет дом — будет и покой, будет где детям расти, где самим обжиться да семьёй прирасти к месту, хозяйство наживать, корни пускать. А коли не будет дома, так по углам — какой вы эшелон? Так, прищепной вагон только. Телега без колёс... Вот ведь как... Поглядел я на них. Они ребята справные, отощали малость, правда, на казённых-то харчах, да это дело мы поправим. Работают, как для себя, Коль. Смотрю и благоденствую. Стараются, жить-то

охота всем. Понимают, заразы, что тут кормёжка и отношение другое. И, знаешь, мастеровитые... Я тут с ними говорил, ой, Коль, смех один, что с казахами, которые из степи заездные, что с этими. Ну, прям беда. Лопочут чего-то, руками показывают, ой, ничего не понял. Только разобрал “шлехт”, плохо, значит, тяжело вроде, им тут, в России, да ещё твердят, что, мол, “нах хаузе” — домой, стало быть охота. А-а-а... Нескоро им домой-то. Один мне всё рассказывал да пальцами показывал, что жёнка у него там есть и ребят двое, а сам он учитель, вроде или кто, я не разобрал. А второй — холостой пока, шофёр он, но баба у него там есть, фрау, значит, родила даже, дитё не видал ещё. Они ж, Коль, тоже, поди, не сами пошли-то на эту войну. Дома-то оно всегда лучше. Тут не стреляют. Жили бы себе и жили, этот детей бы растил да с бабой своей спал, а другой женился бы на своей, раз уж дитё народилось. Также, глядишь, пожили бы ладком. А коли и не ладком, а всё равно лучше... И самая сварливая баба роднее чужбины. Тяжко им тут. Ну, в том нашей вины нет, сами пришли, самим им отсюда и выбираться, стало быть. Ихнему Гитлеру, дьяволу, чёрту поганому, пуцай жалуются, что погнал их сюда, а нам спасибо пуцай скажут, что в живых остались, да, Бог даст, когда-нибудь к своим вернуться да ребятишек на руках подержат ещё. Коль, потерпи ты их, окаянных, — отец приложил кулак к груди и надавил на неё.

Николай, насупившись, молча слушал отца. В его взгляде было что-то похожее на застывшее проклятие, на немую щемящую муку, разрывающую изнутри. Ненависть, отражавшаяся в глазах, казалось, безнадежно состарила его молодое лицо, сделав похожим на измождённого, навечно уставшего человека, у которого война отняла силу, душевный покой и здоровье.

— Ты, Коля, не шуми лишнего, — вкрадчиво уговаривал отец, — на дом посматривай, тебе в нём жить, семью размещать. Потихоньку налаживаться с хозяйством, обживаться, чем Бог пошлёт. Они воевали, Коля, супротив, да только жить у них супротив нас не получилось. Я так разумею, да разве ж я пошёл бы на войну, когда у меня жинка молоденькая была, дочка только народилась, мать с отцом на руках были больные? А сказали: “Иди!” — и деваться-то некуда. И в плену только и жил тем, что про дом вспоминал да про семейство. Тоска, знаешь, гложет так — хуже голодного живота. И страшно, и тяжело, и муторно было в ихней Германии, а всё ж тоска хуже всего. Они ж, Коль, сами себе не рады. Детей не видали уж сколько годов, и баб своих, и родителей. У них тоже и матери, и отцы, поди, имеются. И об них беспокоятся.

— Они в меня, батя, стреляли, и такие, как они, гады, — прошипел Николай, подняв на отца глаза.

— Война, Коль, война... Чтоб её... Все друг в друга стреляют. На то она и война. Пуцай строят пока. Может, к зиме управимся, а?! Как думаешь?

— Как, как... — Николай отвёл глаза в сторону.

— Вишь, они за неделю сколько наворотили. Мы б с тобой так за месяц не сумели, пушки бы порвали, а не сладили бы так. Пуцай, Коль. От коров до коров стараются. Перекур только два раза делают: раз до обеда да после обеда разок. Всё чинно у них, аккуратно, с умом. Эх, чудно мне, Коль, гляжу я на них и не уразумею никак: такую они основательность во всём имеют, такое терпение! И ведь, заразы, мастеровито как работают! Видать, порядок у них такой заведён по жизни, чтоб, значит, всё крепко было, правильно, по разумью слажено, по опытности. Э-э-х, набедокурили, наломали дров, злодеи, душегубы... Неймётся людям. Своё есть — чужое глянется. Всё лучше у кого-то, знать, надо отнять. Ну, ладно, Коль, хребет-то мы им поломали уж, считай, обратно погнали восвояси, ещё башку свернём набок, а лучше — отвернём к чёртовой бабушке совсем!.. Эх, пуцай знают наших! Не по нутру нам под ими ходить. Европа под ими разложилась, что девка бесстыжая, а мы никому не дадимся. Ты вот вернулся, живи теперь. За всех, Коль, за товарищей своих, которые полегли там, за Гришку нашего... Слухай, мать не верит, каждый раз на меня кричит... Говорит, без вести — это ещё надеяться надо, молится, просит. За Гришку-то... Может, и взаправду, а? Я тоже молось. Из плена с молитвой вырвался, может, и сынка отмолим?

— Не знаю я, бать, — покачал головой Николай, — насчёт молитв этих. Перед боем старики достанут у кого чего есть, ну, крестик там, иконку махонькую, книжечку в пол-ладони, читают, молятся, крестик целуют... Потом, глядишь, убило. Видать, не больно оно помогает.

— Так то судьба, Коль... Кому суждено утонуть, тот уж не помрёт от пули, а коли выжить на роду писано, того и пуля пощадит.

— Ой, бать, чего-то ты мудруешь, не понимаю я. Да и ни к чему мне. Я в комсомол перед боем вступал, потом в партию, когда медаль “За отвагу” получил. И не молился ни разу, хоть старики звали, обещали научить. Ничего, живой вроде.

— То-то, что вроде... Вроде. Рубаху, вон, и ту жена застёгивает. Ладно, поправишься Божьей милостью... Жизнь долгая. И строиться, Коль, будем, хоть ихними кровавыми руками, а всё одно будем. Уж раз они тебя били, били, да не добились, пушай теперь хоть дом построят. Эх, с паршивой овцы хоть шерсти клок, — отец криво улыбнулся. — Оно, сынок, как ни поверни, а так выходит, что, коли они убили бы тебя — и дом щас не надо было б строить, потому как ни тебя, ни Надошки твоей, ни мальчика — никого не было бы. А коли б ты их, дьяволов, пострелял, некому, значит, стало бы строить, ушли бы строители в сыру землю. Вот и получается, что пустая затея эта война, хоть так, хоть так глянть. Ну, а раз так, что и они уцелели, и до тебя смерть не добралась, то пушай корячатся. Наломали дров, поганцы, получили по шапке, теперь ещё и под зад получают. Вот им и награда. Ладно-ть, пора управляться по хозяйству, коровы скоро придут.

Отец заспешил во двор, оставив сына в раздумьях.

Было слышно, как они с матерью шушукуются во дворе. Николай, посидел так ещё немного, размышляя над словами отца, но вскоре, переодевшись в домашнее, тоже направился во двор, чтобы помочь ему.

8

Николай крепко задумался после разговора с отцом. Умом он вроде всё понимал, а нутро никак мириться не хотело, что-то горячо и нестерпимо пекло там, мучило, тяготило. Это было нечто отдельное от него, поселившееся внутри и не желавшее соглашаться со словами отца. И ясно было, что прав отец-то, прав, и немцы эти проклятые — тоже вроде люди. Тихие, спокойные, работают от темна до темна, ничего не просят. Отец им табаку дал, так они его каждый день благодарят, в глаза заглядывают со своими “данкешон”, даже “спасибо” выучили. Мать щей нальёт — они, что дети малые, радуются. Вчера яичницу с салом им на ужин подала на большой сковороде да картошек сварила в чугушке десяток, — думала, они ей руки все поотцелуют.

Надя тоже их жалеет, говорит, что простой человек сам себе никогда не хозяин. Их послали убивать, они не смели ослушаться. Да только не знал Николай, как это всё сердцем понять?! Мучило его теперь пуще ран это непонятное чувство. Ненависть — не ненависть, боль — не боль, а словно нарыв какой. Пучится изнутри, мешает, терзает по ночам хуже ран, ничем не унять, не успокоить.

Не мог он их видеть рядом, сразу большим каким-то становился. Вставали перед глазами картины боя под Гатчиной, когда лежал раненый в окопе, а танки мимо громыхали железом, и шли то справа, то слева, грозясь раздавить его, как опарыша, и намотать его мясо на гусеницы.

Или всплывало в памяти первое ранение, в декабре сорок первого, когда он в разведроту попал. Тогда они ворвались в дом на окраине деревни, куда определили на постой двух немцев, чтобы взять “языка”. Один из них, усатый, ранил его, а товарищи тащили потом через линию фронта к своим, а он, зажав во рту рукавицу, чтобы не стонать от боли, прокусил её насквозь, а потом изжевал всю в мотла.

— Надо, батя, надо, прав ты, — думал он свою трудную думу. — Между собой сёстры дружно живут, да и хозяйство без них мать одна не вытянет, бабьей работы всегда много, ей уж тяжело. Построюсь, глядишь, сест-

рухи поуасмирятса, матери роздых дадут, а то что ни день — бои местного значения. То оборона, то наступление...

Надя-то тоже не железная, виду не кажет, а сама плачет тихонько. От этих наслушается да натерпится, а то и сама чего напереживает себе, думает потом чего-то и по ночам, бывает, не спит, а ей вредно.

Отец понимал, как тяжело сыну, чувствовал, как тот мучается. Сам терзался сомнениями, правильно ли сделал, может, как по-другому надо было?

Только как? Всё одно выходило: терпеть и строить, помолвившись, да за сыном следить, чтоб чего не учудил.

Стены, как и задумал отец, поднимали из самана. Делали его из глины, мелкой соломы, лошадиного навоза. Добавляли речного песку для прочности. Дома саманные получались удобные, зимой они хорошо сохраняли тепло, а летом в них было прохладно в любую жару. Хорош саман по-всякому, как ни крути, только канители с ним много. Делать его и большим семейством хлопотно, долго, потом сушить ещё дольше, да следить, чтобы дождь не подмочил, под навес прятать. Только деваться некуда — ничего другого нету.

Лето сорок четвёртого, как по заказу, тёплое выдалось, и жаркие дни бывали. После обеда песок у речки, бывало, так раскалялся, что на него с опаской ступали. Отец знал, что многие в совхозе, пользуясь теплом летним, кинулись теперь делать саман. И хоть строить по-крупному никто не собирался вроде, а припасти ценного стройматериала люди были не прочь. Такое добро всегда сгодится: на сарайчик ли, на баньку, да мало ли... А уж если основательно строиться затевались, то столько его делали, сколько во дворе помещалось, а то и прямо на улице складывали.

Несколько дней возил отец с работниками глину из-под кручи, где речка берег подмыла. На заднем дворе выгружали в углу. Потом песку ещё привезли несколько раз, а опосля на конюшне, по деревне да в своём хозяйстве навоза конского насобирали. Соломы вот только с прошлого года совсем мало осталось... Председатель разрешил на ферме немного взять, наскребли кое-как к концу недели.

С утра всем семейством вышли на задний двор. Работы в совхозе в эту пору невпроворот, отец с трудом выпросился у бригадира на день. Но лошадь председатель забрал на полевые работы.

— Котяхи тут, в корыте, а соломенной трухи с сеновала натаскаем, — спокойно говорил отец, обращаясь ко всем, и в особенности к дочерям.

Они наблюдали в сторонке, уж больно не хотелось им руки пачкать.

Мать в старом оборванном платье, залатанном в нескольких местах, стояла босая у круга из глины. Немцы разгребали лопатами глину к краям, делая валик. Когда круг подготовили, отец стал сыпать туда солому, а работники таскали в дырявом тазу конское "добро".

Алевтина, держа на руках ребёнка и прижимая к себе сбоку младшенькую сестрину, смотрела на всех, переводя взгляд то на одного, то на другого. Надя и Николай, одетые во всё старое и рваненькое, и Глафира, в мужниных заношенных до дыр штанах, в которые было заправлено выцветшее платье, подносили на дерюжке труху.

Когда в глиняный круг были набросаны песок, труха и навоз, и немцы, управляясь лопатами, начали было перемешивать всё, отец, скинув сапоги и закатав выше колен штанины, влез в круг босыми ногами и показал им рукой, что и они должны сделать так же. Немцы остановились.

Пахучий навоз конский хоть и был гладок до блеска и выглядел, словно отполированный, но топтать его босиком, а тем более пачкать в нем заношенные до дыр сапоги, им не хотелось.

— Чаво, робяты, засумлевались? — подмигнула им мать. — Аль, воняит? А, так-то. Не бойтеса. На озеро вечером сходитя, отмоетеса. Я травку дам пахучую, потрета ноги-то ей, и вся вонь стухнет. А от навозу пятки мягше станут.

Она тоже встала в круг и принялась топтать. Немцы не спешили следовать её примеру, тем более что не поняли ни слова из того, что она сказала, но, помедлив немного, переглянулись, вздохнули и понуро направились

к карде, где ночью стояла корова, чтобы, присев на брёвнышки, которыми было отгорожено место для сена, снять обувь и размотать портянки.

— Давай, давай! — по-доброму посмеивался отец, глядя на них из-под мохнатых бровей. — Не “кушали” такого?!

— А как же они бараки строят? — не поняла мать.

— Они бараки засыпные делают, — пояснил отец, вытерев со лба пот краем рубахи. — Землю, золу, песок сыплют, камни туда бросают, гравий... Ой, видал я, как они там “мастерят”. Из чего попало. Вот завод кирпичный построят когда, тогда и начнётся путное строительство.

Гвидо и Алекс, подойдя к кругу, снова остановились, толкая друг друга локтями и сморщившись от брезгливости.

— Ну?! — махнула им рукой мать, показывая, чтобы заходили в круг.

Они не спешили. Наконец, Алекс, шумно выдохнув и тряхнув обречённо головой, решительно шагнул к ним и сразу утонул в жиже до середины икр. За ним осторожно, на самый краешек круга, встал Гвидо, провалившись в пахучую массу по щиколотки. Отец подмигнул им и показал ногами, с силой утаптывая глину с навозом, мол, шибче, шибче! Они, опустив головы и зажав пальцами носы, стали нехотя топтать.

В это время с сеновала вернулись Глафира и Надя с Николаем, притащив ещё трухи. Глядя на немцев, Николай рассмеялся. Он подошёл к самому краю круга, протянул к ним здоровую руку и, ткнув указательным пальцем вниз, радостно, но с надрывом заговорил:

— А-а-а, гады! Получили? Макнулись в говно? Правильно, батя! Тут им самое место. Месите, месите, вы сами хуже него воняете. Ишь, скривились, суки, паскуды! А убивать не кривились?! Детей мучить, баб наших брюхатить не кривились?! Подлюки, мразь... Сравняем мы вас с землёй, вот так же в говно втопчем. Недолго вам осталось. Скоты!

— Коля, — бросилась к нему жена, схватила за руку, стала оттаскивать от круга.

Немцы опустили головы и старались отстраниться от Николая, удаляясь в центр круга. Но он не унимался. Больная рука затряслась, лицо, налившееся кровью, стало страшным и злым. Он тяжело дышал, закашлялся, наклонив голову вниз. Надя с Глафирой стали оттаскивать его, схватив за руки, но он дёрнулся изо всех сил, слабо оттолкнул их и снова кинулся к кругу.

— Вы же хуже зверей, — завопил он что было мочи. — Каратели! Вас же на столбах вешать надо! Вас душить надо, как крыс, как клопов! Пускай весь мир посмотрит, как мы вам хребет ломаем, как утопим в навозе поганом, в помоях, в дерьме! Ненавижу! Воротит от вас пуще, чем от навоза. Вы же смертью воняете, мертвечиной! Вы ж в крови по самые уши! По ночам спите, да? Спокойно, бестревожно? Покойники не снятся?! Нет?

— Коль, а Коль, — приблизился к нему отец. — Всё, хватит. И так в дерьме стоят, ну, чего ещё? Правильно, пуцай помесят его. Я всю жизнь с навозом, жив и здоров, ничего, и им разок не помешает. Вспомнят потом, коли до Германии своей доберутся.

Мать тоже, встав возле отца, стала уговаривать его успокоиться. Жена и старшая сестра, обступив с обеих сторон, пытались сдерживать разбушевавшегося Николая.

— У меня шесть ранений! — кричал он, не обращая внимания ни на мать с отцом, ни на женщин. — И щас озноб колотит по ночам, руку всю выворачивает, пальцев не чую. Спина перебитая, чудом до мозга не достало, а то лежал бы, как мешок, парализованный; осколки из груди вынимали, промеж рёбер были, и в лёгкое попало. И голова прострелена, ладно, хоть неглубоко пуля прошла, в кости застряла. И контузия по сию пору в башке колошматится, хоть бейся ей в стену, хоть оторви да выброси, лишь бы не болела. Только это не всё! Но самая большая рана, самое тяжёлое ранение — то, что вы, природы, звери, мне с душой сделали.

Он ударил себя в грудь кулаком здоровой левой руки и, вытаращив глаза, заорал ещё громче:

— Вот где вы меня покалечили. Через душу, через сердце пробили! Насквозь! Вот где она, седьмая моя рана! И живу теперь с ней, никудышный.

Был бы там сейчас, бил бы вас, извергов, душил, рвал бы на части, может, от этого затянулась бы рана. Местью моей прикрылась бы. Но нет! Всё. Кончилась моя война. Списали с фронта. Негоден, значит, я теперь. Живите, падаль. Повезло вам. А мне с этой раной жить придётся до гробовой доски.

Он вдруг внезапно замолчал, дёрнул головой, отшвырнул ногой ведро, стоявшее рядом, и быстрым шагом пошёл прочь со двора.

Гвидо и Алекс сначала растерянно посмотрели ему вслед, потом, переглянувшись, испуганно уставились на отца.

Он тоскливо посмотрел на них, махнул рукой и скомандовал:

— Месите, ребята, месите. Топчите говно. Такая теперь ваша доля.

9

Убрав со стола, мать наладилась затевать хлеб. Приспособилась тесто на ночь ставить, чтоб на следующий день до полудня испечь, до жары.

Она насыяла муки, высыпала ее в квашню и вылила туда опару. Засучив по локти рукава, она стала плавно, но с заметным усилием водить рукой по кругу, замешивая тесто. Двигалась всё время в одном направлении, чтобы не образовались комочки. Тесто постепенно приобретало свой привычный вид, превращаясь из лишнего серого месива в белую послушную массу. Оставив тесто подниматься, мать присела на лавку у печки и нечаянно задремала.

Сон у нее был беспокойный, недолгий, и на этот раз он сморил её, обрвав размышления о семейных бедах, которые не шли из головы. Она словно провалилась в тот короткий, но перекрывающий собой всё сон, после которого кажется, что он длился бесконечно долго и был невероятно крепок. И был тот сон неспроста, оказался странным и чудным, потому что пришёл к ней во сне без вести пропавший сын Гриша. Вроде как идёт он по улице, улыбается, здоровается со всеми, а они крестятся и плачут. И подходит он к дому, ставит на лавку возле палисадника чемодан и кричит через калитку, зовёт её. А она видит его с веранды, а сама с места сдвинуться не может. И заходит он во двор, останавливается посередине его и всех зовёт, а они не слышат его. Сёстры с Колькой ругаются, отец на заднем дворе возится, а она, как на грех, с места сдвинуться не может.

Проснувшись мать так же внезапно, как и заснула, будто толкнул кто. Села порывисто на лавке, стала платок зачем-то повязывать. Лоб взмок от пота, утёрлась платком, потом на шее под пучком волос обтёрла, бросила платок на пол. Отдышавшись, мать снова обессиленно легла на лавку, но ноги так и остались на полу. Она этого не заметила даже.

— Эх, Гришка б вернулся...

Вскоре она вышла во двор. Старшая дочь таскала воду с озера, поливала огород, задрав подол до середины мясистой ляжки. Мать хотела было пристыдить её, ведь за водой для стройки через огород ходили немцы с ведёрками, но не успела. Из-под кручи показалась фигура Алекса, который нёс воду. Он был мокрый до пояса, с взъерошенными волосами и в прилипшей к телу майке. Глафира не видела мать. Взяв ведра, она вальяжно пошла ему навстречу. Немец заторопился, расплёскивая воду, стараясь побыстрее пройти мимо неё.

— Чего, фриц, — задела его Глафира, — худо без баб, поди, а? — и ещё выше подоткнула подол.

Смутившись, он прибавил шагу и вскоре скрылся за смородиновыми кустами.

— Ах, ты, бесстыжая, — закричала мать, грозя дочери кулаком, — иди в избу! И выпусти платье! Бессовестная! Ещё раз увижу — коромыслом отхожу.

— Чего?! — уставилась на неё дочь. — Я чего сделала? Ты глянть, сколь я полила. Весь подол вон измочила. Чего это я бесстыжая?

— Ноги-то повываила, как на ярмарке, — не унималась мать, — чего мужиков-то будоражить, коли у тебя мужик свой под боком?!

— А мне, мама, и не надо от них ничего. Я ж так, только подразнить, — захихикала Глафира.

— Чего их дразнить, окаянных? Они и так уж, глянь на них только, сами себе не рады. Их жизнь уж побила, поколошматила и без тебя. И нечего мне тут разводиться срам всякий и их, бедовых, мутить, — потребовала мать строго.

— Господи, мама, я уж баба замужня и детей имею, — ухмыльнулась дочь, — а всё от вас по башке получаю! Как девчонка, ей-богу. Я старшая и вы со мной должны, как с ровней, обращаться, а вы меня всё время принижаете. Ну, ладно, Алька зелёная ещё, но я-то?..

— А то! — не выдержала мать. — Старшая, не старшая — дело бестолковое, коли в голове, как в чулане, темень да свалка. Нашла чем гордиться! Алька только из-за тебя и ругается, а так бы молчала. У ней совесть, поди, ещё есть.

— Чего? Совесть?! — Глафира бросила вёдра. — Вот про нас с сестрой да про совесть, мама, говорить не надо. Лучше бы Надьку вон воспитывали! Обленилась совсем! Когда она огород поливала, а? Или воды принесла?

— Эх, ты, — забирая у неё вёдра и направляясь с ними к спуску под кручу, обиженно отозвалась мать. — Или ты тяжёлая вёдра носила? Или на огороде с пюзом когда надрывалась?

— Ещё чего?! У меня мужик есть! — гордо заявила Глафира. — Он меня, беременную, берёт, поди. А раз Колька ей не подмога, так в том моей вины нет.

— А чья ж вина? — покачала головой мать.

— Я вот как вам скажу, мама, — вытаращив на неё глаза, отбивала атаку дочь. — Коли сам чуть живой, так и нечего было семью заводить. Себя бы прокормил сначала, да и жил бы как-нибудь, вон, может, к бабе какой прижился, любая бы рада была. Сколько их, с домами, с дворами, с хозяйством, и без детей даже вдовицы есть, и девок пруд пруди — умашься! Любую бери, живи, радуйся... И бабы-то и девки какие! Крепче мужиков теперешних. Да, такая и его, инвалида, и детей, и весь дом бы пёрла ради семьи. Любую тяжесть выдюжила бы. Не привыкать! А он? Дурак! Взял эту дохлятину мосластгую, без приданого, без денег, без коровы. Ничегошеньки в дом не принесла, и сама уж с пюзом. Берегите их обоих, ага, хоть надорвитесь тут. Я, мама, тоже не двужилная! С пятнадцати годов на ферме. Мало?! И всю войну в телятнике спины не разгибаю, и Степка, поди, в поле днями и ночами, не спамши, не жрамши. И пьёт он, горемычный, потому что хуже загнанной лошадуки, месяцами без продыху.

Только когда мать скрылась под кручей, Глафира наконец замолчала. Алекс с вёдрами в руках снова показался меж ягодных кустов. Она схватила мотыгу, подвернувшуюся под руку, и запустила в него. Но та, не долетев до кустов, упала посреди свекольной грядки и повредила острым краем молодую ботву. Немец поставил ведро, взял мотыгу и поставил на место у сарая рядом с лопатами.

Он ещё не дошёл и до середины огорода, когда сзади услышал грохот. Глафира, проходя мимо, специально задев ногой, свалила лопаты и мотыги. Алекс вернулся и снова аккуратно поставил их на прежнее место. Глафира мельком глянула на него, и, громко засмеявшись, ушла.

10

В самую макушку лета, вернувшись к вечеру с картошки и войдя в дом, отец остановился в дверях, как вкопанный. За столом сидели немцы с побитыми рожами: у одного краснело вокруг левого глаза, у другого была сильно расцарапана щека. Николай сидел у стола в углу с перевязанной головой. На столе стояла бутылка самогона, стопки и закуска: варёные яйца, сметана в миске, хлеб, лук, огурцы и сало.

— А, батя, — попытался встать со стула Николай, но неукложе сел на него, потеряв равновесие.

Немцы опустили глаза в пол, оба сразу отодвинулись от стола и замерли. В комнате слышался тихий женский говор и шипение старшей дочери. Она была чем-то очень недовольна.

— Чего тут у вас? — облакачиваясь на край стола, спросил отец, внимательно посмотрев на сына.

— А чего? Да, так, бать, немного поругался я опять с этими, мать их, но ты не гляди... Всё. Теперь — мир!

— Мир, значит, — тихо повторил отец и, выдвинув из-под стола табуретку, присел.

— Ты, это, вышей с нами, — предложил Николай и потянулся к бутылке.

— Щас! — отодвигая от себя стопку, сказал отец, внимательно глядя на него из-под больших седых бровей.

Немцы соскочили со своих мест и, благодаря на ходу, стали пятиться к двери, натыкаясь друг на друга. Штангина у одного была разорвана, у другого на шее болтался оторванный ворот нательной рубахи.

— Идите, мужики, — махнул им отец.

— Спасибо! Спасибо! — лепетали они, отходя к двери.

Потом стало слышно, как побежали через сени и веранду на улицу.

— Ты чего на них набросился?! — хмуро спросил отец. — Ты чего против них можешь, а? Дурень ты, Колька. Тебя ж соплей пришибить можно, что муравья. А ты на них, здоровых мужиков, замахиваешься. Война, Коль, там, далеко, на западе идёт. А твоя уж всё, закончилась! Баста!

Отец взял со стола бутылку и пошёл в сени. Было слышно, как он шуршит в кладовке, убирая с глаз долой ценный продукт. Мать вышла из горницы и, посмотрев на сына с укоризной, стала хлопотать у печки. Выбежали и дети, расселись у стола. Глафира, засучивая рукава платья, встала напротив брата и, косо поглядывая в сторону сестры, объявила:

— Значит, Коля, так. Бешеным ты стал до своей самой последней степени. И потому проживать здесь больше не будешь. Такой наш сказ. Детей перепугал, вон, плачут, успокоить не можем с Алькой вдвоём. А как заиками сделаются от твоих криков? Чего тогда? А этих... — она мотнула головой в сторону табуреток, на которых сидели немцы, а теперь разместились дети, — коли тронешь, с нами иметь будешь дело.

— Чего? — соскочил было с места Николай, но закачался и снова плюхнулся на табуретку. — Шалавы! Чо, боитесь, что я вас позову строить?! Брёвна таскать, крышу крыть... Щас! Не дождётесь! Сдохну, а не позову. Уйдём с Надей от вас, и больше вы нас не увидите.

— Ага! Не увидим! — засмеялась Глафира. — Это ж как вы со двора выходить собираетесь, через трубу на метле иль как?

— Глашка! Колька! — одёрнула их мать, с силой двинув лавку ногой. — Сейчас как возьму ухват! Господи, как же мне помирать, коли время придёт?!

Николай выругался и, сверкнув глазами в сторону сестры, медленно встал. Осторожно, по стенке, он пошёл в горницу, остановился было, придерживаясь за косяк, ссутулился весь и, покачиваясь, направился к себе.

— Мама, да что ж я, злыдня какая?! — поспешила оправдаться Глафира. — Или ведьма?! Или кто?! И чего я, ему, Кольке-то, враг, что ли?! Только вот как нам всем тут находиться?! Своим двором пускай живут. И всё у нас наладится. Чай, родня...

— Да уж, — недовольно покачала головой мать, — родня. От такой родни беги, беги, да не спотыкайся — затопчут. Эх, дочка, и как не совестно тебе?! Ты-то уж сколько за мужиком, а всё с нами живёте.

— Чего-чего? У моего мужика, сироты безродной, помочь некому, что-бы строиться. Не виноват он, коли один, что месяц на небе. Алевтинкин хоть бы вернулся, его ещё дожждаться надо. А и с него толку немного будет, коли такой, как Колька, вернётся. Они вон все с фронта чуть живые идут, израненные. Чего понапрасну который раз тыкать мне, мама?! Война, а я при мужике, при детях, чего вам ещё надо?!

— Да твой Степка, коли б не война, уж давно спился бы, — поспешила объясниться мать, — до войны-то как закладывал? Забыла?! Не просыхал! Ему ещё сvezло, что бронь дали как одному трактористу на два села. Егора Плотникова хотели оставить, он передовой был, не пьющий, а потре-

бывал на фронт его отпустить, выпросился правдами и неправдами, и всё. А то бы не видать твоему Степке брони, как чёрту алтаря!

— Вот вы чего городите, мама?! — завопила Глафира. — Ну, выпьет мужик в праздник да в выходной когда, и чего? Они, выходные-то эти, когда были?! Напашется на своём тракторе, намёрзнется в степи, что ж ему и не согреться?!

— “Греется” не каждый божий день твой Степка, конечно, но куды почаще праздников, — возразила мать.

— Опосля работы, — продолжала наступать и оправдываться Глафира.

— Да хоть опосля, хоть не опосля, а всяко было бы лучше, коли бы он хоть через раз бы мимо пропускал, а не тянулся к ей, проклятуш-щ-ей. Стыдно ведь, от людей стыдно. Они ждут своих, похоронки получают, а он тут, дома, и пьёт, собака, — со слезами в голосе упрямо возражала мать, вытирая глаза кончиком платка, повязанного на голове.

— И нечего мне стыдиться, — становилась на дыбы дочь. — Он надрывается с утра до ночи, с трактора не слезает. У него и руки ломит, и спину... А вы, мама, попрекаете. Эх, мама, мама, да мне все бабы в деревне завидуют! Им б вон хушь какого... Хромого, старого, больного — лишь бы мужик рядом был!

Мать, устав от бессмысленного разговора, уткнулась в печь, делая вид, что занята и ничего не слышит. Глафира, поправив косынку на голове, удалилась в огород — поливать капусту.

Отец сел за стол, положив перед собой руки, сжатые в кулаки. Вены, навеки вспухшие синими тяжами под сухой тёмной кожей, выдавали застывшую усталость его натруженных рук и, казалось, местами даже лежали по верх кожи — так они были велики.

— Чего учудил-то? — тихо спросил он у матери.

— О-о-х-х, — тяжело вздохнув, отозвалась она, доставая из печи чугунок со щами.

Налив в миску дымящееся, с капустной кислинкой, пахнущее сытой сладостью варево и поставив на стол, мать отрезала ломоть хлеба и дала отцу в руку. Он стал есть. Сама села напротив.

— Беда, отец, чуть не случилась, — глядя на него исподлобья, засовывая выбившиеся волосы под платок, начала она. — Как ты уехал, девчата следом на работу подались. Ребятёшки спали ещё. Я блинцов им спекла, в погреб полезла за сметаной. Слышу — крики. Вылезла кой-как, гляжу, а это Колька вилы схватил — и на немцев. Сам кумачовый, глаза бешеные, трясётся. Ну, я подбежала, вилы отняла, выпроводила его на работу. Он рыжему рубаху все ж таки порвал, успел, я заштопала потом, но мог натворить делов. Господи милосердный, съездил бы к батюшке, что ли, в Краснохолм, почитал бы над ним да исповедал, можа, утихомирится бы, а?

Она рассеянно и грустно потупилась, сметая в ладонь крошки со стола, потом высыпала их в рот и пошла к печке. Взяв тряпками сковороду с картошкой, она вернулась к столу. Отец, выхлебав щи, обтёр ложку хлебным мякишем и, бросив его в рот, следом отправил кусочек солёного сала, потом принялся за картошку.

Мать снова села, но теперь рядом и, понизив голос, продолжала рассказывать:

— К обеду я его укараулила. Встретила, проводила, ребятам велела переждать в балагане, туда им хлебово отнесла. А вечером Пеструха, паразитка, загуляла. Стадо пришло, а она с бычком за огороды унеслась, зараза. Я нальгач взяла да ребят кликнула, пошли туда. Они обращения с коровой не знают, кричат по-своему, басурманы, шарахаются от неё. Да ещё бык рожищи свои на них наставил, глазищи выпучил. И сама ничего поделатъ не могу, и они не умеют. И страшусь за них, чтобы не покалечил их бычок или корова рогом, ответ за них потом держать перед прорабом. Заналыгали кой-как Пеструху-то, отогнали бычка, повели её домой. Рыжий — впереди с коровой, второй рядом — с вилами, я следом. Дошли, слава Богу, а тут Колька, как на грех, навстречу. Да выпивши.

— Он же в рот не берёт! — удивился отец.

— Ой, беда... Достал бутылъ из чулана, отпил маленько, а много ли ему, бедовому, надо?! В башке тут же и помутилось.

— И чего он? — внимательно уставился на неё отец.

— Чего, чего... Стал на этих бросаться, кричал, матюгался, потом вилы схватил, да не у них, а которые у сарая стояли, и давай за ними гоняться вокруг саманов, я и не попевала. Глашка выскочили с Надькой, но подойти тоже боятся, кричат в сторонке, а ему вроде как и не слышать. И откуда и силушка только у него взялась?

— Так выпивши завсегда море по колено, — вздохнул отец.

— Вот-вот, — согласно закивала мать. — Гонял он их, гонял, потом, видать, выдохся, бросил вилы да как давай рыдать. Прям в голос, хуже, чем вдова пузатая на похоронах. Упал наземь и дикими криками рыдает, а сам про между тем орёт: “Ненавижу!” Ой, отец, ох, и спугалась я. Думала, что умом тронулся. Немцы тоже спугались, вылупились на него, смотрю, того гляди, слезу пустят. Глашка крестится, Надька плачет. Ребятёшек поперепугал, Алевтинка их в дом увела. Колька по земле катается, что зверь раненый, орёт, как ошалелый, а я и делать чего не знаю. У меня грудь сдавило всю, продохнуть не могу, с места не сдвинусь. Век прожила, отец, а такого не видывала. Ой, святые угодники, и не видать бы никому никогда такого! И врагу не пожелаешь! Опамитовалась я, душа во мне ожила, кликнула я Глафиру с Надькой, стали мы его умирать, с земли поднимать, а тут рыжий, Гвида этот, как стукнет ногой по корыту и тоже как заголосит чего-то по-ихнему, руками машет, кричит, вроде, ругается на кого-то. Сам весь бешеный сделался, волосы рвёт на себе, рубаху рвёт... Ой, отец, светопреставление! Второй-то, молоденький, кинулся к нему, говорит, говорит ему чего-й-то, потом ухватил за рубаху, а он дёрнулся и ворот вырвал чуть не с концами... А сам всё кричит по-своему, грозится куда-й-то, пинается по сторонам, куды достанет, ногами, бьёт, чего подвернётся под сапожищи... Ладно, этот, второй, размахнулся и по морде ему, рыжему, ка-а-к даст. Он сразу замолчал, вроде как охолонулся. Глашка, было, кричать на них затеялась, потом замолкла. А Колька, как всё это увидал, так встал, как вкопанный. Глядит на немцев, не шелохнётся. Снова затрясся весь, бросился к ним, стоят все вместе обнявши три мужика и рыдают. Ой, кто б сказал — не поверила. Потом Колька их в избу повёл, велел на стол накрывать, наливать. Мы кой-чего собрали по-скорому, они боятся, присели с краешку, глядят на него с опаской. Глафира в горницу ушла, к детям. А Надька тут, рядом трётся, но не подходит. Встала в углу, глядит. А Колька налил этим, да и говорит: “За победу!” — и выпил.

— А они? — широко открыв глаза, тихо спросил отец.

— Выпили, — махнула рукой мать. — Не, не подавились. Видать, и им осточертела эта война. Чужбина — она и есть чужбина. Всем дома лучше. Этот Гитлер ихний, тварь, башкой своей дырявой не думал, куды лезет, и не чаял, поди, что фашисты у нас будут говно конское месить да нам же дома строить вместо того, чтоб нами тута командовать, да чтоб мы на них работали.

— Эх, мать, — усмехнулся отец, — его и самого наши в дерьме утопят, как дотудова дойдут, да его, вражину, в плен возьмут. Чтоб нахлебался досьта, выродок!

— Уж хоть бы дошли, родимые, Бог им в помощь, — взмолилась мать, — да поскорее бы! Можя, и Гриша нашёлся бы да вернулся. А?

Отец молча махнул головой в знак согласия. Он тоже не хотел верить в то, что второй сын погиб. Надеялся, прислушивался по ночам, не скрипнула ли калитка, не стучит ли кто в окно. Молился перед образом. Каждый раз, засыпая с вечера, про Гришку вспоминал, утром просыпался с надеждой: вдруг от него весточка какая будет?

— Ждать надо, мать, надо, и надеяться надо, и строить, и детей родить, и врагов бить, и хлеб растить, — встав из-за стола, решительно сказал отец. — На то она и жизнь.

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА



У МЕНЯ ВОПРОСОВ — ТОННА

* * *

...И снова большие вырубki
В лесах производят выродки,
Чтоб личных настроить дач.
И есть на сии свершения
У выродков... РАЗРЕШЕНИЕ!
А ты, человек, хоть плачь.

На всякое разрушение
Имеется... *разрешение!*
Поспрашиваем теперь;
— А где отыскать виновника?
Но запер лакей чиновника
У нас перед носом дверь.

Теперь у жучка-“типóграфа”
Проси, репортёр, автографа!
Он дал топорам ПРЕДЛОГ
Рубить и крушить — на деле —
Не только больные ели,
Но всё, что послал нам Бог!

МАТВЕЕВА Новелла Николаевна родилась в городе Пушкине (Царское Село) Ленинградской области в 1934 году. Окончила Высшие литературные курсы. Автор книг “Кораблик”, “Ласточкина школа”, “Река”, “Страна прибойя”, “Хвала работе”, “Избранное”, “Жасмин”, “Мяч, оставшийся в небе”, “Кассета снов”.

А ты, Разрешилище смрадное,
Почто разрешаешь неладное?
Страшилище стоит пинка!
Но к офису его жрецкому
И к зámку его людоедскому —
Ни тропки, ни большака.

6–7 февраля 2015

НАШИ ЛИ ЭТО СМИ?

Уж раз Исламским государством
Нельзя ни быть, ни называться, —
СМИ намекают нам с коварством,
Что Сирии... пора сдаваться!
Страшна — по радиоволне —
Московских геббельсов подсказка!
Но факт: они — на стороне
Непрошенных гостей Дамаска.
И гнут к тому, что “там сейчас
Бомбардировки — в самый раз!”

Январь 2015

СНИМИТЕ ШОРЫ — ПРОТРИТЕ ВЗОРЫ!

Слона-то я и не приметил!
Иван Крылов

Чтó Севастополь? Что там Крым?
Пора включить соображенье;
Вторжение К СЕБЕ САМИМ —
Не настоящее вторженье.

Уж кто вторгаться не дурак, —
Поверьте, вторгнется, как надо;
С Бродвея — в недра Тринидада!..
Через Атлантику — в Ирак!..

В не относящийся никак
Ни к Пентагону, ни к Нью-Йорку
Дамаск — запрыгнут с целью драк,
Как через маленькую горку...

Сто храмов сербских подорвут...
Вот что ВТОРЖЕНЬЕМ-ТО зовут!

Январь 2015

* * *

Слово за рабочего замолвили
Мы на днях (среди другого-прочего)
И, глядишь, — опять его охаивают!
Даже вроде... с пафосом
настаивают
На “собачьем сердце” для рабочего!!!

Де, рабочий мало хорохорится;
 За своих ругателей не борется,
 Не выходит маршевыми толпами
 Защищать буржуазию с воплями, —
 Вот у него дело и не спорится...
 Или мы ему не льстили всячески?
 Не кадили всячески? Не холили
 “Гегемона” (человека *маленького*)?
 Ничего себе “польстили”! — Шарикова
 На его костях создать изволили!
 Русский-де не мастер и не деятель.
 Что же вы лжёте, шеи ваши бычии?!
 Кабы царство не было *построено*, —
 Не было бы царство и *присвоено*! —
 Как ты хапнешь — *чего нет в наличии?*
 Что ж бы вы могли *прихватизировать*, —
 Пухнуть на готовеньком любители,
 Кабы не бетонщики, формовщики,
 Не литейщики, не фрезеровщики,
 Не *кудесники-станкостроители*?!
 Кто “спасибо” им сказал? Немногие.
 Чаще — сами бывшие рабочие.
 Но ни хлыщ, ни щёголь, ни “учёные”
 (Разрушеньем мира увлечённые) —
 Никогда их не ценили прочие.
 Сколько помню — *никогда* не видела
 “Гегемона” я *благополучного*,
Процветающего пролетария;
 Он как был, так и остался — пария,
 Жертва деньгоделателя тучного.
 “Гегемон” — зовут, а держат — пешкою.
 “Гегемон” — всегда звучит насмешкою!
 А посмотришь, как рабочий трудится —
 По-всегдашнему, по-настоящему! —
 И — наперекор происходящему —
 Вдруг поверишь; будущее — сбудется!
 А когда и встретишь саботажника, —
 Нитками же это шито белыми...
 В каждом деле водятся негодники.
 Ан не забывайте, греховодники;
 ОН ТАКОЙ, КАКИМ ВЫ
 ЕГО СДЕЛАЛИ.
 Вспомните — *тупые девяностые!*
 Кто пошёл тогда на приступ,
 храбренький?
 Кто у “гегемона” пресловутого
 (Как в года “гегемонизма”
 дутого)
Отобрать помог заводы-фабрики?
 Лишь во сне бывая справедливыми,
 Лишь в актёрской роли “синеблузыми”,
 Вы и днесь (на что б там ни “заточены”)
Меньше всех на свете озабочены
 Раскуроченными Профсоюзами!
 Если ж вы — не *самого* успешного,
Самого заброшенного — смеете
 Порицать (как Цезаря за шалости
 Порицал Катулл) — спрошу без жалости;
 — Что ж вы сами делать-то умеете?
 Где чихнёте — там изба не строится.

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА



В ХОРОШИЕ РУКИ

РАССКАЗЫ

— Уважаемые члены комиссии! Начнём, наконец!

Гомон собравшихся в большой комнате начал стихать. В раскрытые окна ни ветерка, только крики детворы со спортплощадки.

— Рыжик, давай же, съезжай! — веснушчатый мальчишка, упираясь в перила, пытался столкнуть растерянного пса с горки.

— Сам ты — Рыжик! А он — Мустанг! Муста-а-а-анг, иди ко мне, ну давай, ну скатись, тебе понравится! — девочка лет восьми приманивала собаку у подножия горки, изображая, что в руках у неё есть что-то вкусное.

— Такого имени вообще нет, не выдумывай! Ну давай, я сразу за тобой съеду, это не страшно! — мальчишка погладил пса по холке.

— Если хочешь знать — есть такое имя! И он на него отзывается! Давай, толкни сильнее! — она застучала по горке, отвлекая собаку. Мальчик выпрямился, пёс воспользовался моментом и, проскочив под его рукой, неуклюже заскакал вниз по ступенькам лестницы.

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна родилась в 1986 году в Москве. Окончила Институт психотерапии и клинической психологии и Институт психоанализа. Работала во Франции и США. Сейчас старший медицинский психолог в Центре по работе с подростками, страдающими наркозависимостью. Как прозаик дебютировала в 2014 году в журнале “Наш современник”. Публиковалась в газетах “День литературы”, “Литературная Россия”, на сайте “Российский писатель”, в журналах “Подъём”, “Родная Ладога”, “Вертикаль — XXI век” (Россия), “Белая Вежа”, “Нёман”, “Новая Немига литературная” (Беларусь), “Литературный европеец” (Германия), “Простор” (Казахстан) и др. Лауреат V Международного форума славянских литератур “Золотой Витязь”, молодёжной премии журнала “Наш современник” (2014). Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

— Не удалось причинить добро! — засмеялся молодой парень, повернувшись от окна к стоящей рядом девушке. Его рубашка прилипла к спине от пота. Девушка коснулась его плеча и улыбнулась в ответ.

— Аня, хватит кокетничать! Работать надо! — нарочито громко объявила председательница, тётка лет пятидесяти с бородавкой на брови.

Девушка смущённо порскнула за столик секретаря.

— И вы, Игорь Алексеевич, присядьте тоже, — довольная эффектом, продолжила чиновница. — Мы подбирали время, в том числе и под вас, поэтому затягивать не будем. Что у нас сегодня?

— У нас Саша Савельев... — на столике суетливо зашуршали листы. — Саше десять. На право опеки подал дед, Виктор Анатольевич Савельев. Его старшая дочь, мать мальчика, покончила с собой в пьяной горячке. Там история такая: не рассчитала — хотела напугать, но оступилась и выпала с двенадцатого этажа. То есть, это как бы не суицид, а несчастный случай. После чего над мальчиком взяла опеку тётка, младшая сестра погибшей, тоже пьющая. Через три года она умерла...

— Это всё мы уже знаем, что там по факту: отдавать — не отдавать, давайте порасторопней. Что с документами?

— Да-да, Татьяна Михайловна, я просто подумала... у нас же тут приглашённые специалисты, чтобы они тоже были в курсе дела.

— Специалистам все эти детали ни к чему. Игорь Алексеевич — психолог, а не следователь.

“Психолог? А это ещё зачем? — Саша с тревогой поднял глаза. — Ребята в приюте говорили, что эти психологи всегда что-нибудь навыспрашивают, а потом в психушку сдадут!”

— А Александра Ильинична из детской комнаты полиции, — с раздражением продолжила тётка, — нужна нам, чтобы подтвердить положительную характеристику на подростка. Чтобы дедушка знал, что мальчика мы отдаём вполне нормального, на учёте не состоящего, и ответственность опекуна перед государством — сохранить такой статус ребёнка, — на этой фразе тётка перевела недовольный взгляд с тощей девушки на Сашу с дедом.

“Взгляд у неё неприятный. Раньше ласково говорила, обещала, что в обиду не даст, что у него всё в жизни будет хорошо. А теперь пугает. Психолог, полиция... Сандалии дурацкие, ступни от пота скользят, теперь моль натрут”.

— Так, значит, вы, Виктор Анатольевич, решили забрать Сашу к себе? — тётка выразительно посмотрела на деда поверх очков.

— Ну да, вон документы, — дед кивнул головой в сторону шуршащей бумажками секретарши.

— Да-да, мы уже ознакомились. А почему?

— Чего “почему”? — нахмурился дед.

“Зачем она вопросы задаёт? Раз решил, так чего тянуть. Вдруг он передумает и уйдёт!” — Саша сидел, скрестив пальцы. Он загадал, что если так просидит до самого конца, то его обязательно отдадут деду, а если не сможет, всё пропало. Так уже было в шесть лет. Он попросил у Деда Мороза полицейскую машину с сиреной. Он хотел запускать её на кухню, когда мать и тётка будут ругаться, надеясь, что звук сирены заставит их замолчать. Тогда он загадал, что, если по дороге домой наступит на все чёрточки между плитками тротуара, то желание точно сбудется.

На пути дворник расчищал снег. Саша хотел переждать, но мать была не в духе и, резко дёрнув его за руку, потащила к подъезду. Машины он так и не получил. В тот Новый год он вообще ничего не получил. Утром 1 января мать сказала, что он плохой мальчик, и Дед Мороз ничего ему не принёс. До самого вечера он ещё надеялся на подарок. А вечером, протрезвев, мать подошла к нему и, погладив по голове, сказала, что Деда Мороза нет. “Ты теперь взрослый, Сашенька. А это сказки для детей. Просто родители покупают детям подарки и кладут под ёлочку. И я тебе так клала. А в этом году у мамочки денег нет, ты же знаешь. Мамочка тебя любит. Но теперь давай без подарков”. Следующей зимой за неделю до Нового года мать умерла. Подарков он больше не получал.

— Почему вы решили взять Сашу к себе именно сейчас? Почему не раньше?

— Так мать у него была и тётка, — дед достал из кармана вибрирующий телефон и посмотрел на экран.

— Ну, у матери были проблемы с употреблением алкоголя. Мальчик рос в некомфортной обстановке, почему раньше не забрали? — с напором продолжала председательница.

— А я с ними не общался.

— Из-за того, что они пили?

Он нажал клавишу и убрал телефон в карман. Тётка замолчала, дед стоял спокойно. Саша решил, что надо обязательно сказать что-то хорошее о нём. Но ничего кроме давно подаренного самосвала вспомнить не мог.

— Он мне подарки давал, дедушка мой! — зачастил Саша высоким ломким голосом. — Самосвал! Кузов поднимался.

— Ну вот видишь, — председательница мельком глянула на Сашу, попытавшись изобразить улыбку. И уже обращаясь к деду, жёстко спросила: — Вы не могли бы уточнить, по какой причине перестали общаться? Мы должны представлять, какова ситуация. Поймите правильно, родственников больше у Саши нет. Вас-то разыскали с трудом только через месяц после смерти Сашиной тёти.

— Если отдавать не хотите, — проворчал дед, — так и скажите...

— Нет-нет, вы не поняли. Ребёнок государственный. Есть определённые нормативы ведения дел. Никто же не хочет, чтобы потом Сашу у вас забрали, решив, что вы не подходите.

— А чего забирать-то? Ну если им надо, пускай делают, как знают, — дед засунул руки в карманы и начал раскачиваться. Саша испугался, что, качнувшись в очередной раз, он пойдёт к выходу.

— Виктор Анатольевич, вы не раздражайтесь. Это формальные требования. Мы обязаны собрать информацию. Собственно, даже если соврёте — мы и проверить-то не сможем! — примирительно продолжила тётка. — Спросить больше не у кого.

— А чего мне врать? — снова насушился дед. — Я и не врал никогда. Как забрюхатела она, так и ушёл.

— Кто, простите?

— Да Маша, кто ж ещё, старшая. Забеременела она в шестнадцать. Я ей: “Иди избавляйся, дура!”. А она: “Рожать буду!”. Ну я и рявкнул, мол, не позволю. Сам к врачу отвезу, позорище такое! А тут мать её нашла повод заступаться: грех это, грех!

— То есть вы были против того, чтобы дочь родила?

— А вы бы дали своей родить в шестнадцать? Школу даже не закончила! Впереди экзамены, институт, или техникум хотя бы. “Всю жизнь изломаешь!” — говорю.

Дед сильно покраснел. Саше стало его жаль. Он не знал про эту историю.

— Конечно, вы переживали за дочь...

— Говорил жене: я с таким срамом жить не стану! Да и кому он нужен будет — ребёнок этот безродный?! Но нет, кто ж меня послушал! А результат? — дед вытянул руку и начал загибать пальцы. — Я из семьи ушёл, жена через три года померла, дочь сама спилась, да ещё и сестру спила! И вот, — дед ткнул пальцем в сторону внука, — сидит: кому он теперь нужен?

Слова деда не сразу дошли до сознания Саши. Так, значит, он ушёл... из-за него?!

— Ну что вы, нам каждый ребёнок нужен! — приторный голос председательницы вывел Сашу из забытья.

— Да не придирайтесь к словам! — раздражённо махнул рукой дед. — Вы же понимаете, о чём я. Что у него теперь — ни дома, ни родителей, ни жизни нормальной.

— Ну, у него есть вы, раз решили забрать...

Психолог при этих словах выразительно хмыкнул.

“Чего ты лыбишься, — разозлился на него Саша, — как будто что смешное говорят! Лезут все не в своё дело”

— Да, чего он по приютам мотаться будет, — уже спокойнее произнёс дед.

— Ну, почему мотаться, — приосанилась председательница. — Государство устраивает сирот, предоставляет хорошие условия. Но вы родной человек, будете заботиться с душой.

— Вырастим как-нибудь.

— Трудностей не боитесь? Подростковый возраст всё-таки, нелёгкие времена мальчик пережил.

“Нелёгкие. Тебе спасибо! — ехидно подумал Саша. — Сразу ты мне не понравилась, ещё тогда, когда решали про приют. Наобещала всякого: ты там всего на пару неделек, там будет хорошо, друзья появятся, в цирк сводят, в театр, на экскурсии...”

В первую ночь, в туалете его обступили мальчишки. Он попытался спрятаться в кабинке, но все щекотки были давно выбиты, и ребята с гогогом начали его лупить. Так происходило со всеми новичками. Саша тогда не знал, что первая драка — это как проверка, после неё всем станет ясно, чего ты стоишь... На весь следующий месяц — самый ужасный месяц его жизни — за ним закрепились репутация лузера. Он пытался жаловаться, но становилось хуже. Правда, уже не били. Мстили по-другому: наливали воду в кровать, могли и помочиться. Саша терпел, надеясь только на то, что скоро заберут. А теперь... Детский дом? Да он ничем от приюта не отличается: народ там такой же, и дуют так же...

При воспоминании о драках всё внутри съёжилось. Обрывки беседы с трудом доходили до него.

— У меня всё есть, вон список документов: квартира двухкомнатная, машина наша, зарплата нормальная, можете проверить, на еду хватит.

— Да-да, вы молодец, все документы в порядке. Вы же опеку захотели оформлять, а не усыновление, — значит, государство будет выплачивать на Сашу пособие, льготы предоставит...

— Пособие сейчас оформлять будем, или отдельно приходиться?

— Ну вы погодите, — улыбка неловкости скользнула по лицу. — Мы сначала должны решить, остаётся ли Саша у вас или нет.

— А что, в детский дом его что ли решили?

Саша вздрогнул. Если в детдом — сбежит, он уже решил. Ему Костик рассказывал, как потом устроиться. В приюте Костик появлялся раз в три месяца. Он был вроде как сам по себе, пацаны его не трогали, потому что знали, что у Костики в друзьях воры Казанского вокзала. А в тюрьме его батя — выйдет, всем отомстит. Костик приходил в приют сам, получал полный комплект одежды, обуви, немного отъедался и отдыхал от своей воровской жизни и через месяц уходил снова. Он именно уходил, неспешно, обдуманно, загодя аккуратно сложив всё положенное государством добро. Вещи он тут же продавал, спуская получку на игровые автоматы. А потом жил и “работал” на вокзале, пока снова не тянуло в тепло.

— Да нет, нам бы не хотелось, естественно.

Саша испугался, что из-за своих воспоминаний пропустил что-то важное, и не мог понять, чего именно тётке “не хотелось бы”. В какой-то момент он перестал понимать, чего теперь бояться. В детский дом? Нет, туда точно нет... Дед?..

“Да отвязжитесь, наконец, от меня! Все, все! — Незнакомая прежде ярость ударила ему в голову. — Тётка, ишь, заботу изображает: “Нам каждый ребёнок нужен”, а ведь ей на него плевать, Саша это сразу понял. И дед не лучше! За столько лет даже не поинтересовался, как там внучек. Другим подарки к каждому празднику. А ему — за всё это время — самосвал: капот не поднимается, дверки не открываются... Один проживу! с Костилом на вокзале!”

Саша будто заглянул в бездомную пугающую неизвестность. Ему стало так жалко себя. Ожесточение схлынуло. Он растерянно прислушивался к разговору взрослых.

— Мы здесь за тем и собрались, чтобы решить вопрос об опеке, — председательница напряжённо оглядела присутствующих. — Уважаемые члены комиссии, есть ли у вас вопросы?

Судя по скучающим лицам, вопросов не было.

— Ну, вы тогда подождите в коридоре, а мы обсудим и вам скажем.

— Сейчас скажете? А то мне ещё на работу сегодня надо заехать.

— Да-да, мы сегодня примем решение. Вы пока можете пойти передохнуть.

Как только дверь прикрыли, дед начал отзваниваться на работу, что-то раздражённо объясняя. Саша проводил его взглядом до лестницы и прильнул к щели, оставленной для сквозняка.

— Ну что, я так понимаю, будем отдавать? — после выхода деда с внуком все зашевелились, кто-то снимал пиджак, кто-то жадно пил уже нагретую воду. — Проблем с документами, я так понимаю, нет?

— Нет, он всё принёс. По доходу всё нормально, квартира на него оформлена, никто больше не прописан. Мальчику по исполнению восемнадцати лет предоставлять жильё не нужно, за ним будет числиться эта жилплощадь.

— Хорошо, меньше инстанций, меньше бумаг. А остальные — что скажете? Вроде дед нормальный?

— Да вообще-то по нему не поймёшь, — откашлялся окончательно взмокший Игорь Алексеевич. — Может, нам надо побольше о нём узнать, пригласить их на наши тренинги или консультации, а там и решать?

— Вот вы, психологи, молодцы какие! — взъелась председательница. — И куда ж мы его должны деть, пока они к вам ходить будут? Сейчас конец мая, если не отдать деду, то нужно Сашу в приют или детский дом пристраивать. А они все с июня разъезжаются по лагерям. Ему нужно будет срочно путёвку с кем-то оформлять. Вы представляете себе, как на государственного ребёнка оформить путёвку за неделю? Это гонка невозможная: ходить, выпрашивать, выбивать — списки-то все оформляются чуть ли не с зимы. А если не возьмут — тогда в инфекционную больницу придётся, сидеть мальчику как минимум месяц, если на июль смогут пристроить! Вы считаете, это лучше будет?

— Да не то что бы... — уже с меньшей уверенностью продолжил психолог. — Может, обязать их походить к нам в ближайшие месяцы. Не понятно, где раньше-то дед был, почему вдруг объявился? Десять лет с семьёй не общался, не интересовался никем, а теперь вдруг решил мальчика взять. Опека подразумевает приличное финансирование от государства, тоже настораживает. Всё-таки не котёнка отдаём...

— При чём тут котят? Вы один тут озабочены судьбой ребёнка? Мы все ищем наилучший вариант для мальчика. Мало ли какие споры в семьях могут быть. Дочери алкоголички, вот и не хотел общаться, что тут непонятного! Вам нужны консультации, чтобы это узнать? Человек в будни работает, вот лично вы готовы по выходным с ними заниматься?

— По выходным не хотелось бы... Ну, давайте хотя бы предложим?

— Конечно, предложим, посоветуем, проконсультируем. Всё как обычно, приложим максимум усилий!

— Да, как обычно... — ухмыльнулся психолог.

— Вы хотите что-то конкретное предложить, Игорь Алексеевич? — голос зазвучал озлобленно.

— Нет, конкретного пока ничего, надо подумать...

— У нас нет времени думать! — оборвала председательница. — Мы должны принять решение сейчас. Пригласите их, пожалуйста!

...Вошли. Мысли в голове у Саши кружились, он не знал, за какую ухватиться.

— Виктор Анатольевич, на сегодняшний момент комиссия решила передать вам право опеки. Поздравляю! — она активно изображала улыбку. — Вы вполне подходите по всем параметрам. Мы надеемся, что у вас всё по-

лучится. Документы будут оформлять некоторое время, так что вам ещё придётся к нам приехать, но уж такова система.

— Долго ещё надо-то будет? — дед методично укладывал в папку бумаги. — Чтоб с работы отпускали, нужно договариваться.

— Да-да, мы понимаем. Вся процедура займёт около месяца. Но забрать Сашу вы можете уже сейчас!

— Месяц, ладно. Понял, забираю.

— Мы бы хотели вам рекомендовать занятия у психолога.

— Это зачем? Он же нормальный вроде, — буркнул дед, постукивая ладонями по столу, чтобы стопка была ровнее.

— Это для вас обоих, чтобы лучше привыкнуть друг к другу, всё-таки давно не общались, могут быть конфликты...

— А без этого никак? — он перестал складывать бумаги и удивлённо посмотрел на председательницу. — Работа у меня.

— Ну, не то, чтобы никак! — заторопилась та, как будто тоже переживая, что дед передумает. — Это наши рекомендации. Может, позже, в июле.

— Нет, в июле у меня отпуск. Мы на дачу поедem к моему другу, — бумаги отправились в портфель.

— А, ну на дачу — это замечательно. Отдохнёте на свежем воздухе. Ну что, Саш, я же говорила тебе: всё будет хорошо! Ты-то рад?

Саша молча глядел в пол — в приюте это вошло у него в привычку. Он хотел было взглянуть на тётку, но никак не мог поднять глаза. Почувствовав, что на него смотрят и ждут ответа, он едва заметно кивнул.

— Что ж, тогда всего вам хорошего. Остальные бумаги вам сейчас передадут в 102-м кабинете. Удачи!

Когда они вышли на улицу, начинало темнеть. Собиравшиеся всю неделю тучи, казалось, готовы были вот-вот затушить раскалённый асфальт. Мамочки спешили увести детей с площадки и собирали разбросанные игрушки, пока разгорячённая детвора пыталась наиграться впрок.

Рыжий пёс бродил по площадке, провожая взглядом убегающих ребят.

— Рыжик, Рыжик, на, чё дам! — закричал ему Саша. Пёс подбежал к незнакомому мальчишке, как будто знал его целую вечность. Саше вдруг захотелось уткнуться в эту длинную пушистую шерсть, почувствовать тёплое прикосновение, мокрый нос... Пёс улыбнулся открытой пастью, обнюхал протянутую руку.

— Нечего дразнить собаку, если у тебя ничего нет, — нахмурился дед.

— Да я просто погладить хотел! — Саша присел было на корточки, чтобы потрепать пса, но остановился и перевёл глаза на деда, боясь его неодобрения. Только теперь он понял, что совсем не знает этого человека. Не знает, что можно делать, а что нет. А ещё не знает, любит ли дед футбол, умеет ли жарить картошку, и как его нужно называть: дед, дедушка или по имени-отчеству.

— Бездомная собака — чего её гладить, только подцепишь что-нибудь! — Дед посмотрел на часы. — На работу не успел! — Он ещё раз открыл портфель, проверил бумаги, и, махнув Саше головой, пошёл к машине. Саша выпрямился и поплёлся за ним. Под ногами замелькали бледные от засухи чёрточки тротуарной плитки.

TU ME MANQUE

Странный язык. Вроде бы хочешь сказать: “Я по тебе скучаю”, а дословно переведёшь — “ты меня скучаешь”. Как будто это не мои чувства, а ты делаешь так, что я скучаю. А может, и впрямь, ты так и делаешь?

А чего ждалось-то? Как на рекламных буклетах: зелёная лужайка, а на ней развалились белозубо улыбающиеся парни и девушки... Кстати, тогда бы

уже насторожиться. Не девчонки-мальчишки у них, а именно парни, со щетиной, загрубевшие, девушки с весёлыми морщинками — а ведь только закончили школу. Наши-то курса до третьего ещё как дети, если не размалюются. На выпускных фотографиях мы в смешной форме — бордовые жилетки, белые рубашки — гимназисты. Они же окончание школы отмечают в мантиях и кафедралках, как будто достигли вершин науки. Всё другое, даже надежды другие, самоощущение иное.

Она налила себе чая погорячее. Очередная суббота. Окно большое, во всю стену, распахнуто настежь. Как будто открыла дверь в своё одиночество: может, кто заглянет?

Весна... А там у нас зима только отпускает. Тают уродливые проступившие чернотой сугробы, замызганные дворники-таджики почёсывают лопатами потрескавшуюся от холода кожу асфальта. Каждое утро, часов в шесть...

Она закрыла глаза и вспомнила тот разрывающий утреннюю тишину звук: когда до подъёма есть ещё полчаса — самые сладкие, будто всю ночь не спалось — и тут кшых-кшых. Бррр...

А когда здесь дворники убирают? Что-то и не припомню, чтобы их видела. Зато собачники ходят с мешочками, так мило. Эдакий верзила выгуливает своего пуделька и семенит за ним к каждому дереву: “Вы закончили, сэр? Позвольте...”. И неловко ему, но попробуй не позаботься, сразу найдутся — причём не обязательно старушки, как у нас, любой прохожий: “Месяе, вы забыли убрать!”. И оправдание, что забыл пакетик, не сработает, будут стоять над душой и ждать, пока не выполнит предписание. Даже деревья вдоль тротуара растут по одной линии, зажатые асфальтом в жалкие квадратики земли. Здесь как будто всегда чисто. Так чисто, что аж...

Не начинай! Что, лучше как у нас? Остановки, усталые следы торопящихся влезть в автобус курильщиков. Высыпать бы им прямо в постель всё то, что они за месяц выбрасывают под ноги — мягкий матрас выйдет, зацените. А эта уникальная манера плевать. И главное, идёт тебе навстречу по дороге, глянет победно, с хрипом втянет воздух и... хрясь!

Фу, так можно напрочь аппетит убить. Впрочем, не помешает его хотя бы временно обезвредить: полка со сладким почти опустела за два дня. Интересно, долго можно себя убеждать, что “мозгу нужна глюкоза”?

Что там у нас завалилось в шкафике? А, чипсы! — пошарив рукой, дотянулась. Вот они: сырные, арахисовые, с пищей. Состав в самый раз: штук тридцать разных “Е”. Сырный воздух, воздух арахисовый. Отличный вкус — без поводов для вкуса. Как и вся жизнь здесь: одни усилители. Море, природа, горы... вроде как сами ингредиенты есть, но почему такие пресные? Не приправишь баночкой местного пива, распрекрасная эта жизнь в горло не полезет. Комом стоит!

Комом... как в зале вылета в Шереметьево, когда до последнего всё машешь, машешь, уже и не можешь увидеть своих за таможенной перегородкой, подпрыгиваешь, машешь... и хочется сглотнуть, но никак... И непонятно, ради какой такой идеи мы это делаем, если так пусто становится внутри? Но куда там, гони такие мысли, мы же за “светлое будущее”, жертвы необходимы, чтобы потом... И утешаешь себя этими иллюзиями, по несколько раз созваниваясь до вылета, пытаешься наговориться.

И вроде как ещё на своей земле стоишь, но уже и не коснёшься её, сразу в воздух. И хочется, как в детстве с карусели, вытянуть вниз ногу и хоть чуть-чуть, но зацепить при разбеге землю. Но садишься в самолёт, и уже никак не дотронешься до неё, как ни тянись, только из иллюминатора цепляешься взглядом за исчезающие огоньки, узнавая очертания улиц...

Сырые, мартовские улицы... Народ никак не отгаёт, лица измотанные, зелёные, в метро, как в лифте: поскорей влезть, поскорей выйти, захлопнуть дверь за этим миром. Весь день перебежками. И каждый рядом с одинаковыми мыслями: не видеть бы никого, скорее домой! Там тепло, там дети смеются, родные обнимают, там стоптанные тапочки, там своё место за столом. Такой нежный, нужный мир. Такой хрупкий, что не дай Бог кому в него заглянуть — разрушат, сглазят, натопчут. Вот и прячут его за угрюмыми лицами. И чем мрачнее стража, тем надёжнее. Едешь с ними, с такими же,

растворяясь в этой дремотной молчаливой массе. И ещё больше свой мир любишь.

Улыбки у наших — редкость. Если увидишь — удивишься, сразу додумываешь: что у него такого, у этого лысого, случилось, что так сияет? Повысили? В лотерею выиграл? А может... Вот он до сорока дожил и решил для себя давно, что навсегда один, глупо ждать дальше, не хватило на него человека, чтобы рядом до самой старости, прямо перед носом раздалось резкое: “Сказала же, дальше очередь не занимать, кассу закрываю, идите в другую!”. А другая — очереди-и-ина... В этой двадцать с хвостиком лет стоял, в той как минимум столько же. И сил стоять и ждать больше нет. И смотрит он на эту свою уже ставшую почти родной коробочку “Счастье семейное”: вся поистрепалась, пока в руках столько лет теребил, уже и забыл, какие ещё на полках стояли... И понимает, что проще оставить где-нибудь здесь у кассы (обратно на полку возвращать совсем тоскливо), авось не заметят, и потихоньку к выходу, стараясь не смотреть на счастливиц, пробивающихся на кассе... И тут ему в спину: “Мужчина! Мужчина, я вам! Вы брать что-то будете? Да вам я, вам! Подходите, я сейчас за кассу сажусь! Только скажите, чтобы за вами больше, чем на пять лет, не занимали, я не обедала ещё”.

И вот он, как школьник, рванул к кассе, задевая кричащие полки со всякой бессмысленной мелочью. Вмиг вспотел от напряжения: вдруг кто ещё услышит, набегут, попробуй, докажи, что ему первому тётка сказала. И вот: стоит! Первый! Сияет! Гордо смотрит назад: “Да-да, сейчас она откроет, только просила занимать не больше, чем на пять лет, вы им туда дальше передайте”. Бегут, выстраиваются за ним. Ну что же она так долго! Уселась, включает, шуршит чем-то: “Давайте!”. И вот уже у неё в руках она самая, родная — “Счастье семейное”. Смотрит недовольно, поистерся штрих-код, вручную набирать придётся. Только бы получилось, а то ещё отправит менять! И тогда, знай, всё пропало, обратно уже не протолкнёшься. Смотрика, пробивает... Пробивает!!!

— Упаковать?

— Что, простите? — волнуется, о чём спрашивают, не поймёт.

— Упаковку брать будете? Дом там или квартира, комната? Во что упаковывать?

— А! Нет-нет, спасибо! Пока нет! — а сам боится, за это бы суметь расплатиться, хватит ли? — Я сам упакую, потом.

— А, ну держите. Всего хорошего!

И вот он идёт, светится! Теперь бы, главное, всё правильно сделать! Инструкции-то внутри не оказалось, но не возвращать же обратно.

Улыбается, как ребёнок, сжимает в руке телефон, и всё посматривает, проверяет. А там на экране ээмэс: “И вам спасибо за вечер! Завтра могу после восьми. Я тоже этот фильм ещё не видела, с удовольствием схожу!”.

И мир теперь другой совсем, пьянящий, как карусель. Идёт он и любит эту псевдовесну, этот воздух, эту угрюмость вокруг. И сияет, провожаемый взглядами исподлобья. И видно такого из всей толпы аж с той стороны улицы...

А здесь? Выйдешь... и все они улыбаются! Взглядом с кем встретишься — *трынь*, уже натянули для тебя сорок лицевых мышц. *Трынь* — и ты в ответ: ты ж интегрируешься, культуру их поддерживаешь. И не удивляешься этим взаимным улыбкам. Как блаженные! Приятно? Должно быть. Они же искренне. Только не от радости, а из вежливости.

Даже тот, надутый в аэропорту, тоже улыбался:

— Боюсь, мадмуазель, вы опоздали, — *трынь*.

— Как опоздала?! До вылета ещё вот: 52 минуты!

— Да, мадмуазель. Полагаю, в вашем билете написано, что посадка заканчивается за час. Давайте я покажу, внизу строчка.

— Да видела я! Не могла найти нужную стойку! Пожалуйста, я успею, вы только зарегистрируйте скорее, — *трынь* ему в ответ пошире.

— После регистрации пассажиру нужно пройти ещё общий досмотр, затем паспортный контроль, затем повторный досмотр перед посадкой. Сейчас Рождество, очереди очень длинные.

— Да-да, я знаю, конечно длинные! Пожалуйста, поскорей! — умоляющая *трынь*.

— Тогда вы должны понимать, что не успеете, — *трынь*.

— Прошу вас, вы мне дайте попробовать, сами же сказали — Рождество, праздник. А уж я постараюсь, попрошу, чтобы пропустили вперёд.

— Не думаю, мадмуазель, что это корректно: просить пассажиров, пришедших вовремя, пропустить вас только потому, что вы не рассчитали своё время. Судя по вашему билету, вы не относитесь к льготной категории граждан, проходящих вне очереди. Это люди, нуждающиеся в физической помощи персонала, пассажиры с детьми, беременные женщины...

— Да знаю я! Какая вам разница, это же я попрошу, а не вы! Пожалуйста, время идёт!

— Да-да, мадмуазель. Время вышло, я же сказал. К сожалению, ничем не могу помочь.

— Так зачем вы мне всё это объясняли, раз “нет”?!

— Это моя работа, разъяснять правила перевозок, — *трынь*.

— Отличный сервис! — гневно пышет в упор.

— Пожалуйста, мадмуазель.

— А поговорить с кем-то компетентным в этом вопросе можно? С вашим начальством свяжите, пожалуйста.

— Боюсь, что по данному вопросу я предоставил вам полную информацию. Мне очень жаль. Вы можете купить билет на другой рейс на первом этаже.

— Да неужели?! — уже не получается *трынь*, убить бы его взглядом.

— Счастливого Рождества! — *трынинь*.

До сих пор всё бурлит, как вспомнишь! А главное: улыбка-то с лица не сползала. А за ней — полное к тебе безразличие.

Интересно, а если жениться передумают, они тоже с улыбкой сообщают? — Согласны ли вы, месье?..

— Простите, кхм, полагаю, что нет. *Désolé**.

— Дорогой? Ты что — передумал? — нервное *трынь*, похлопывает прилепленными ресницами.

— Боюсь, что да... — поджимает губы в извиняющейся улыбке.

— А почему сейчас? Мы же семь месяцев готовили свадьбу, все гости здесь! — растерянное *трынь* заморозило мышцы.

— *Oui, mais... m-m-m, je ne sais pas... donc, c'est la vie...***

— Но объясни, что случилось? Может, ты всё-таки передумал? — заискивающее *трынь* пробежало по лицу, упало на букет, задрожавший так некстати.

— Сожалею, дорогая, боюсь, что нет. Ничего не выйдет. *Воп journée...**** — *трынь*: — Мне пора.

И все гости, поддельно сочувствующие и неподдельно злорадствующие, заулыбаются.

Ну не идёт учёба! Надо бы засесть, но ведь не идёт. О чём угодно мысли лезут, но не о налогообложении. Школьную медаль надо было с собой взять что ли, хоть смотреть иногда, стыдно бы становилось. Куда ушла сила воли? Наверное, захлам вместе с иллюзиями об интересной профессии. Хотя какие иллюзии, себе-то врать не надо. Что предложили, на то и согласилась. Даже подумать не успела. Да и что можно надумать в шестнадцать? У нас народ только начал подниматься после 90-х. А тут — Франция... Ноги в руки и вперёд, а уж потом полюбишь то, что имеешь.

Что ж ты, мама, не запрещала смотреть “Элен и ребята” — не примеряла бы я на себя киношное счастье! Хотелось, как в сериале: друзья, все

* Сожалею (фр.).

** Да, но... м-м-м, я не знаю... ну, такова жизнь (фр.).

*** Хорошего дня (фр.).

такие улыбочивые, заботливые. Целыми днями: универ—спортзал—кафе. Не жизнь — песня! И вроде бы есть и универ, и спортзал (кстати, надо посещать поактивнее)... Только в кафе сходить не с кем! Да и понятия о дружбе у них не те, что в сериале. Каждый сам за себя. И жёстче: каждый за *правила*. Узнают, что списываешь — сообщат: беспорядок! Приведёшь в общагу гостей — доложат. Лекцию пропустишь, на море поедешь — тем более проинформируют. Потому что так *правильно*. Потому что из этих *правильно* вырастает образ жизни. Рождается Законопослушный Гражданин. Бунтари Европе не нужны.

Хотя и плюсы есть: горы, море, солнце... Солнце... Навязчивое, депрессивное. Так шпарит — только лежать на пляже. От яркого света уже тошно, как от их улыбок.

У нас и солнце-то более искреннее, редко подмигнёт, но зато как. Что-то праздное есть в этих южных краях. Вечная тусовка. А наше лето...

Она присела на так и не застеленную кровать, поджала колени и с улыбкой зажмурилась, вспоминая нежно-серое московское утреннее летнее небо. Дождь шуршит. И от стекла глаз не оторвать: целая Вселенная скользящих капель, ползут, сливаясь в ручейки, скатываются “паровозиком”, снова замораются. А за стеклом — танцующие листья, будто невидимые человечки едва касаются их балетками: парара-рара-пам-пам, пам-пам. И вся скудная городская природа перезванивает колокольчиками, передавая сплетни шептавшихся ночью звёзд.

А внутри как будто мурлычет что-то, лениво перекачиваясь. Окна откроешь — зябко, свежесть врывается, охватывая тело мурашками. Кутаешься в свитер, плед, дремоту... и втягиваешь в себя эту музыку, нежность, сказочность. И мысли внутри медленно танцуют в такт. Всё идёт так отлаженно, надёжно, просто. И с каждым вдохом всё больше сил, энергии набирается. И хочется двигаться, делать что-то... Творить, вытворять, гениальничать — в такт разыгравшемуся ливню. Нарастающие потоки будят всё накопившееся в душе. И жить — хочется!

А потом вдруг раз — тишина... И как будто после потопа жизнь замерла, насторожилась, прислушивается... Несколько мгновений — и уже зашуршало, закопотило, задвигалось всё, выползло к небу в ожидании лучика. И солнце лениво раздвигает уютные свои подушки-тучи, неспешно потягиваясь, поглядывает на этих муравьёв внизу, начинает *свой* день. И листья уже не танцуют, а робко выгибаются, подставляя спинки погреться, щеголяя хрустальными россыпями дождинок. И хочется туда — с ними, — хоть краешком ухватить солнечного блеска, как будто сотни ночей провёл в подземелье.

Она открыла глаза и невольно нахмурилась от резкого кричащего света. Из сада вызывающе смотрело солнце. Довольное, целиком заняло всё окно, пролезло в комнату, оттеснив тени к стене. Уселось.

— Не скроешься от тебя! Зашторишь — придётся лампу включать, как в больнице, тоска. А с тобой ни на чём сосредоточиться невозможно, лезешь всюду! — она раздражённо встала, выплеснула чай, снова открыла холодильник.

— Ну вот, докатились: с солнцем разговариваем. Пожевать что ли чего-нибудь... — полупустые полки предлагали либо занудно-полезное, либо приятно-отравляющее: суррогатные шоколадные пудинги, glutomatные колбаски, кислотного цвета желе... — Ну что, видимо очередь антидепрессантов! — она запустила в рот пару острых колбасок, отломилла хрустящий багет.

— Хм... то есть врут они всё про зимнюю депрессию. Вот вам палящие солнце — и депрессия к нему. Заедаем-с. Не проходят, товарищи психологи, ваши рекомендации: чаще бывать на свежем воздухе, получать солнечные ванны, гулять... Как было тошно, так и осталось. Ну, что теперь скажете?

А и правда, что бы они сказали...

— Заелась, деточка. Сидишь тут, на средиземноморском побережье, летом наслаждаешься, учишься, пока не работаешь, какие заботы?

- Да, но... — заппнёшься, не найдёшь, что ответить.
- По шкале от 1 до 10, как бы ты охарактеризовала комфортность своего быта?
- Баллов 8–9, вроде всё есть...
- Вроде? А чего это у тебя нет?
- Ну...
- Еда?
- Вон, в холодильнике.
- Тепло?
- Весна всюю.
- Крыша не протекает?
- В каком смысле? Если вы про здание — нет. А вот моя собственная, кажется, едет потихоньку.
- Условия для обучения есть? — иронию проигнорирует.
- Ну, стол, стул, учебники, лекции, интернет...
- Мозги? — уже сердито.
- В прошлом году были. Сейчас, судя по проваленным экзаменам, не уверена...
- И куда это, интересно, ты дела предоставленные природой мозги? Жировыми клетками обтянула? К сессии не готовилась?
- Готовилась, но сосредоточиться не могу. Слова эти...
- Какие слова?
- Да эти, на лекциях: прибыль, процент, продажа, выгода, спрос, прирост, налог, прибыль.
- Прибыль уже была.
- А, ну да. Вот, кстати, прибыли от всей этой затеи я не ощущаю.
- От какой?
- Оттого, что я здесь. Не моё это, кажется...
- Кажется? — перестанет писать в блокноте, устанется в упор.
- Не знаю...
- А кто знает?
- Может вы подскажите? — взглянешь с надеждой.
- Я, дорогая моя, занимаюсь делами поважнее. У меня до тебя сегодня уже пятеро. Мать с ребёнком аутистом, мужчина, потерявший жену после тридцати лет брака, молодой человек с ночными кошмарами после службы в горячей точке.
- А пятый? Вы сказали пятеро.
- Пятый, к сожалению, в другое место должен будет обратиться, тут уже моей помощи не хватит, нужна медикаментозная поддержка. Так что ты давай, определяйся поскорее. А то мне на эту ерунду время тратить некогда.
- А с чем определяться?
- Как — с чем? Не твоё, говоришь?
- Не моё.
- А чего здесь сидишь?
- Да меня родные уже француженкой считают! Мечтают — в солидной фирме работать буду. Как же я всё это брошу? Неудобно...
- Неудобно спать на потолке, одеялко спадает. Давай быстренько, не раздумывай: чего сама хочешь, не анализируй, раз — и что пришло в голову, то и сказала.
- Не знаю...
- Я не спрашиваю, что ты там знаешь. Давай быстро первое, что в голову придёт.
- Ну, может, работу, как у вас. Людей слушать, а не какую-то прибыль считать.
- И чего сидишь тогда? С кровати поднимись, соберись и вперёд.
- Прямо так?
- Да как тебе будет угодно! Хотя пижаму лучше переодеть, а то приросла к ней. Всё, мне пора. Сейчас следующий будет: сорок лет, наконец нашёл девушку, теперь боится, что сделает что-то не так, и она уйдёт!
- О, что-то знакомое, кажется... а что он от вас хочет?
- А это уже дело не твоё. Всё поняла?

— Ага.

— Ну, вперёд, действуй. И вот ещё: заканчивай со своими “вроде”, “может”, “как бы”, “кажется”. У тебя помимо мозгов ещё и душа есть, ей, знаешь ли, надёжнее доверять...

Хм, какой-то у меня не добрый психолог получился. И вообще, они, наверное, на “вы” должны обращаться и как-то подшеюнее, подбнее. Но с этими “как бы”, “может” и впрямь завязывать надо. Сплошная неуверенность. А в чём тут будешь уверенной? Разве только в том, что домой хочется.

Как же хочется! Скучаю по тебе... по каждой чёрточке... Детская, што-ры, мамин пирог с капустой, папино кресло, код на подъезде, уже лет пятнадцать не менявшийся, трамвайная остановка на перекрёстке, город — звенящий, гулкий, бесконечно большой, люди — торопливые и медлительные, тихони, безбашенные, замкнутые, рвущие рубаху на груди, страна... огромная, нищая и богатая, измождённая и праздная, чужому непонятная...

Скучаю по тебе — ты меня скучаешь... *Tu me manques*. А ты? Ждешь ли меня? Заметил ли, что меня нет, примешь ли обратно, *дом*?

ДРУГАЯ ВОЙНА

Прозвенел звонок, но решили не расходиться. Лысоватый профессор предложил работать без перемены, зато раньше закончить второй урок. На экране мелькали чёрно-белые кадры. Он видел их несколько раз по телевизору. Смотреть не хотелось: как здорово было бы развалиться на лужайке хоть на десять минут, снять кеды, носки, ощутить ступнями прикосновение уже тёплой земли, погладить пахнущую близким летом траву, почувствовать сквозь закрытые веки пробивающиеся солнечные лучи.

Спина и ноги затекли, но он приучил себя не подавать вида и подолгу сохранять одну позу. Так было надёжнее: никто не придерётся, что ему не интересно, что он не хочет слушать. С годами он научился жить в новом мире с его правилами. Это было сложнее, чем там. Правил больше, и некоторые уж очень странные. В прежней жизни правило было одно: хочешь выжить — попробуй! Здесь всё запутанней, но он принял условия игры, даже не пытаясь понять.

Вот и сейчас решили сидеть в наглухо зашторенной аудитории и смотреть, как дети на экране засучивают рукава и показывают оператору номера, набитые на тощих руках, как они жадно вылизывают алюминиевые миски; как взрослые мужчины, похожие на скелеты, закапывают горы таких же скелетов, едва удерживая в руках лопаты. Он не понимал, почему его одноклассники смотрят, не отрываясь, на эти смерти, когда там, за дверью в саду лица пахнут жасмином, а в столовой уже начали подавать обед: сегодня спагетти с мясом. При мысли о еде в животе заурчало. Он глубоко вздохнул, пробежал глазами по знакомым лицам и снова вернулся к экрану, изображая интерес. Кадры на экране сменяли друг друга, вызывая дремоту...

— Итак, я предлагаю вам поработать в группах, — профессор включил свет, и класс постепенно начал оживать. — Ваша задача — сделать к следующей неделе небольшой проект. Обсудите увиденное, соберите информацию у своих близких, может быть, семейные истории, найдите фотографии тех лет. Попробуйте максимально подробно воссоздать хотя бы маленький кусочек того времени. Вы можете выбрать один день из жизни лагеря или кон-

кретного человека, будь то солдата или ребёнка, один час боя, или ночь бомбёжки. Проявляйте фантазию и творчество! — закончил он, жестикулируя, как фокусник.

Фантазия и творчество... Как учитель мог применять эти слова к такой теме? Он вспомнил, как впервые услышал их ещё на родине, когда ему повезло попасть в детский лагерь какой-то благотворительной организации. Их собрали в огромной зелёной палатке с длинным столом. Перед каждым положили новую футболку, и молодая белая девушка с рыжими веснушками и широкой улыбкой объявила: “Привет всем! Меня зовут Джулия. Сейчас мы с вами будем заниматься творчеством. Вы сможете сделать из своей футболки настоящее произведение искусства, используя блёстки, краски, фломастеры и аппликации!”. В палатке повисла тишина, никто не шевелился. Девушка немного растерялась: “Вы можете придумать всё, что хотите, используйте вашу фантазию!” — для двадцати детей эти слова звучали непонятно, оттого и пугающе. “А потом вы сможете забрать футболку себе!” — ребята начали переглядываться. Первым рискнул толстяк Дуби, самый старший и самый глупый: он ухватил футболку и прижал её к себе. Двадцать пар глаз с испугом уставились на рыжую девушку. Она, как ни странно, улыбнулась: “Да-да, это ваша вещь, вы можете сделать из неё, что хотите, и забрать домой!” Кто-то начал натягивать футболку на себя, тогда можно будет убежать, если захотят отнять.

“Нет-нет! Подождите! Не надо надевать. Вы же не сможете ничего нарисовать!” — она хотела было подойти к детям, чтобы помочь снять футболки, но, увидев испуганные взгляды, остановилась, задумалась и направилась к ящикам в другом конце палатки. Вернувшись, она небрежно бросила на стол новую футболку, открыла баночку с красной краской и, расправив складки ткани, что-то нарисовала. Он хорошо помнил своё изумление: зачем эта добродушная девушка портит такую замечательную новую вещь. Другие тоже настороженно наблюдали, как Джулия, по очереди подходя к каждому, показывала, какие рисунки можно сделать, обведя ладонь или наклеив блестящие кусочки бумаги.

Когда через полчаса очередь дошла до него, он крепко вцепился в неожиданный подарок и, не смотря на то, что вокруг уже кипела работа, старался не поднимать глаз, пока Джулия открывала стоящие перед ним яркие баночки с краской. Если эта вещь его — он ни за что на свете не будет портить её краской.

Он был восьмым ребёнком в семье и ещё ни разу не получал новой вещи, купленной специально для него. Одежду скидывали подростки братья, он терпеливо ждал, пока к нему перейдёт очередная рубашка или шорты. Обидно было, когда вещь не доходила до него, потому что заплаток было слишком много. Тогда мать бережно разрезала её на небольшие кусочки, чтобы потом заштопывать ими прорехи других обносок.

— Да что с тобой, малыш? Я же сказала, это твоя вещь, я не заберу её обратно! — Джулия погладила его по голове. — Смотри, ты можешь сделать, как у меня. Вот видишь, тут нарисован замок и принцесса. Это сделала моя младшая сестра. А у тебя есть братья или сёстры? Ты можешь подарить им — футболка большого размера! — Он взглянул на стол и с ужасом понял, что все они одинаково большие. Всё пропало! Дарить её он никому не хотел, но мать и не спросит, отдаст старшим братьям.

Он грустно смотрел на Джулию, с улыбкой описывающую возможные узоры и украшения.

— А на рукаве ты можешь написать имя своего брата или друга, чтобы это был подарок специально для этого человека!

Он ухватил фломастер и быстро большими буквами написал единственное слово, которое успел выучить в свои восемь лет: “Jamaica”.

— М-м-м, оригинально. Ты знаешь про эту страну? Мы можем нарисовать её флаг или пляж с пальмой, я где-то видела здесь аппликацию.

— Это его имя, мисс Джулия! — влезла его беззубая соседка и одноклассница Габби.

— А! Вот как! Спасибо! Ты можешь звать меня просто Джилл. Так, а тебя, значит, зовут Джамайка. Очень красиво. Немного крупновато получилось, зато издалека будет видно твоё имя!

Надежда блеснула в его голове. Может, мать и не отдаст футболку с его именем. Теперь он сделает самую красивую вещь в своей жизни. Он ожил, стараясь успеть наклеить как можно больше картинок и блестяшек. На спине он оставил несколько разноцветных отпечатков своих ладоней и для надёжности вновь написал имя.

Его восторгу не было предела. Занятия длились целый месяц, каждый раз они делали что-то, и Джулия называла это творчеством: украшали кружки, кепки, носки, обклеивали коробочки, мастерили бусы. Все эти богатства они уносили с собой. Вот это было творчество и фантазия!

— Джама! Иди сюда, мы все здесь!

Он послушно поплёлся к своей группе за широкий стол под акацией. Эмили была их лидером в этом проекте, и он с тоской понял, что обед испорчен: она захочет начать обсуждение прямо сейчас.

— Мы как раз выбираем, какой формат нам интересен. Пит предложил сделать реконструкцию и отснять на видео! — Он перевёл взгляд на Пита, но тот был занят поеданием непомерно большого гамбургера со стекающим сбоку кетчупом. Не совсем понимая, что от него ждут, Джама по привычке кивнул.

— Надо решить, что мы будем делать. Можем, например, составить подборку историй, которые в детстве слышали от своих дедов. Принести фото стариков, какие-нибудь их вещи! — пока Пит это произносил, из его набитого рта летели крошки на стол и на футболку.

— Пит, пройди сначала, фу! — скривился Ману. — Не подойдёт, Джама тогда не сможет участвовать с нами. У вас ведь там не было Гитлера?

— Нет... Гитлера не было, — он опустил глаза, стараясь настроиться на добротный обед.

— Повезло вам! — снова включилась Эмили. — Представляете, европейцы гибли тысячами, а где-то в это время люди наслаждались жизнью, ни о чём не задумываясь...

Джама посмотрел на её лицо: белая, почти прозрачная кожа. А волосы длинные и прямые, как будто отглаженные.

— Во-во! — оживился Пит. — Отлично выйдет! Серия историй от дедушек внукам, одна другой тяжелее, их драмы. И в конце: бац, контраст! Что-то вроде: “А на другой стороне Земли маленький мальчик слушал от своего деда совсем другие истории... Про беззаботную молодость, песни и танцы, про рыбалку, солнце, океан...” Здорово получится! Как будто для кого-то война, а для кого-то лишь слова.

Джама медленно накручивал спагетти на вилку, разглядывая свои шершавые руки со следами ссадин. Он никогда не слышал от своего деда таких историй. Он вообще его никогда не слышал. Мужчины в их краях редко доживали до сорока. Деда по линии отца никто не знал, а второй погиб со всей бригадой на стройке во время обвала. Ему повезло: несчастный случай. Семье выплатили его жалование за целую неделю! Отцу Джамы повезло меньше. Он умер от малярии. Мать говорила, он долго мучился. За него никто не заплатил, а кормить его было нечем. Старший сын отвёз его в больницу. Там таких не лечили, но раз в день давали суп. После смерти тела больных сжигали, чтобы зараза не шла по округе, и родственникам не нужно было хоронить. Отца Джама не помнил. От него остался журнал, тот самый, посмотрев который мать выбрала имя для младшего сына. Читать она не умела, только разглядывала фотографии волшебной страны, где, как ей казалось, чёрные жили на роскошных виллах и ни в чём не нуждались. Он берёт журнал, перелистывая с детства знакомые страницы, обводя пальцем большие буквы на обложке: “JAMAICA”.

— Нет, не получится. Я не знал своих дедушек. Умерли. И фото их тоже нет.

— Оу, извини, мне жаль, — Пит с лёгким усилием открыл банку с газировкой, она зашипела, и пена полилась через край. — Тогда давайте про один день. Например, самый первый, когда люди узнали, что пришла война. Ну, какая-нибудь деревня глухая, где никто ничего толком не слышал, и вдруг — на тебе! Обычный день, люди работают, отдыхают, ходят в церковь и тут... Какой-нибудь налёт, как в Пёрл-Харбор, или внезапно ворвались фашисты на мотоциклах. Это ведь самое страшное, когда война приходит внезапно. Раз — и вокруг уже маршируют новобранцы, копают окопы, строят казармы, везде военная техника. Один вид людей в военной форме — мне бы жутко стало!

Джама не помнил, был ли в его жизни похожий день или час. В какой-то момент белые разъехались. Не стало машин с едой, подарков, школьных занятий. Военных в форме он тоже не помнил. Просто начали появляться мужчины с мачете, реже с автоматами, обычно это были те, что главнее. Они не маршировали, не ходили колоннами и не строили казармы. Они приходили в чей-нибудь дом и оставались там на ночь. Хозяева старались поскорее уйти. Если не успевали, из дома раздавались страшные крики. Он помнил их до сих пор. Крики женщин, похожие на звериные. Больше всего он тогда боялся, что услышит такие из своего дома...

Криков женщин своей семьи он, к счастью, не слышал. Однажды летом мать слегла. Он заметил, как мать резко похудела, перестала вставать. Позже ему сказали, что это пневмония. Он не понимал смысла слова, забравшего его мать, и просто кивал. Ещё через год умерла старшая сестра. Он уже был большим, и ему рассказали, что она обнималась с плохим мужчиной, больным. И потому заболела сама. Старший брат часто кричал на неё, обвинял в чём-то. Джама не понимал за что, ведь виноват какой-то другой человек. Разве могла она догадаться, что заболит только оттого, что кто-то её обнимал.

— Джама! Ау-у! Ты опять где-то в своих мечтах?! — маленькая сердитая складка на лбу у Эмили делала её похожей на обиженного ребёнка. — Мы работаем в группе! И даже если тебе не интересно, каждый должен участвовать!

Он понял, что от него чего-то ждут, и вжался в скамью.

— Извини, я просто задумался про день начала войны... — Джама почувствовал, как потеют ладони, и потянулся к бутылке с водой.

— Парень, мы уже развили тему. Ты давай и правда включайся! — Пит смотрел не столько с раздражением, сколько свысока. Он был не из отличников, но из тех счастливицков, которые умеют повести за собой, предлагая всевозможные идеи. Его любили и одноклассники, и учителя, в шутку называя балбесом, не использующим свой потенциал. — Мы про детей, которых отправляли в концлагеря.

— Это про тех, которые в фильме показывали свои руки с номерами?

— Бинго! И он снова с нами! — Пит поднял банку, изображая, что чокается с невидимыми друзьями.

— Пит, кончай! У нас времени мало. Давайте решать уже! — Ману был из толковых учеников, но очень нервный. Он объяснял это тем, что его родители уже два года как пытались развестись и постоянно вовлекали его в свои конфликты. — Я тоже за то, чтобы сделать акцент на детях. Это за душу берёт. Маленькие ни в чём не повинные люди. Их собирали толпами и отправляли в эти бараки. Почти не кормили, заставляли работать...

— Не знаю, это совсем жутко. Вроде не Средневековье, а откуда такое варварство. Как дикари. Мне даже страшно делать проект. Это — позор человечества.

— А я вот не пойму, как они отбирали туда детей? — Пит закончил с газировкой и теперь лепил что-то из пустой банки. — Это как можно понять по ним, маленьким, еврей или нет. Да и какая им, собственно, разница была, ведь они могли забрать детей себе и воспитывать их в верности к Гитлеру! Дети-то ещё не выбрали, за кого они.

— Правда, ребят, давайте, может, не про детей? Это же страшно и несправедливо. У кого-то было счастливое детство, а у кого-то ад только пото-

му, что он родился “не у тех” родителей. — Эмили посмотрела на часы, порылась в сумке, достала расчёску и начала медленно ею приглаживать и без того ровные длинные волосы.

Джама смотрел завороженно на эту красоту. Он вспомнил волосы Габби — тоже длинные, но жёсткие из сотни мелких косичек. Она всё время их теребила, поэтому с её головы сыпались соринки и песок. У остальных женщин в его деревне волосы стригли коротко. А Габби была из другого племени и по их традициям у неё, как у её мамы, волосы не стригли, только заплетали. Он помнил, как они торчали из-под грязной простыни, когда выносили её тело. В отличие от Германии, на его родине никто не отбирал детей и не заставлял работать. Дети были не нужны, их просто выгоняли, и каждый мог идти куда глаза глядят. Когда убивали родителей Габби, она не ушла. Какой-то человек с автоматом вытолкнул её и двух младших на улицу, но она, рыдая, побежала обратно в дом, и братья за ней. Джама слышал, как она плакала там. Из дома вышли трое. У одного был автомат, а у двух других мачете. С них текла кровь. Они крикнули Габби, чтобы та проваливалась, но плач продолжался. Тогда один подошёл к соломенной крыше и поджёг её. Крыша вспыхнула быстро, издавая сильный треск. Люди начали подходить к дому, но тот, с автоматом, несколько раз выстрелил в воздух, и народ разбежался. Потом все трое ушли. Жители вернулись тушить пожар, чтобы огонь не перешёл на другие дома. Из хижины вынесли шесть тел, покрытых простынями и тряпками. Никто не плакал.

Джама не знал, по каким признакам отличались люди разных племён. Но в их деревне все знали, кто какого племени. Первое время убивали только людей другого племени. А потом всё смешалось. Люди с мачете и автоматами просто убивали. Все стали ещё злее, еды не хватало. Дети ходили в джунгли за пропитанием. Так было безопаснее: взрослого сразу расстреливали, если он наткнулся на какую-нибудь группу с оружием в лесу. Детей не трогали.

Его сестренке Таре не повезло. Она пошла с подругой в лес и набрала много съедобных кореньев и ягод. Они несли их в корзинах, не спрятав под одеждой. Их остановили и потребовали отдать съестное. Подруга Тары испугалась и отдала. Она рассказывала, что те с автоматами были злыми и тощими, и крикнули девочкам, что они их охраняют и воюют за них, потому те должны их накормить в благодарность. А Тара сказала, что ей надо отнести еду голодным братьям. Её убили. Так рассказала подруга, прибежавшая к ним домой. Она рыдала, широко открыв рот и теребя руками короткие кудряшки. На её платье остались брызги крови. Малик, старший из братьев, схватил нож и выбежал из дома. Остальные не шевелились. Малик так и не вернулся. Никто не знал, что с ним стало. Джама надеялся, что Таре не было больно, и она не кричала.

Когда двое с автоматами пришли к ним в дом, ему и братьям предложили вступить в отряд. Но старший — Кирки закричал, что они убили их сестру из-за еды, и он ни за что не будет с ними заодно. Это было глупо. Джама понял это спустя годы. Кирки было шестнадцать, они голодали, и у всех нервы были на пределе. Один из пришедших направил на него автомат и, засмеявшись гнилыми зубами, сказал, что их жадную сестру съели вместе с её едой. Кирки бросился вперёд, и тот выпустил в него целую струю патронов.

— Ну что решили? Джама, тебе вообще хоть какие-нибудь предметы интересны? По-моему, ты на всех скучаешь! — Эмили укладывала свою сумку и собиралась на урок.

— Да нет, просто мне не очень хочется делать проект про войну. У нас она тоже была.

— Ты же сказал, что фашисты до вас не добрались. Они были в Либерии?

— Они — нет. Наша война была позже, уже в моём детстве.

— Да ладно, прям настоящая, как с немцами? — Пит недоверчиво посмотрел в глаза Джама.

- Настоящая...
- И там даже кого-то убивали?
- Да, точно! Я же слышала в новостях: в Африке всё время кто-то с кем-то воюет. И люди ходят из одной страны в другую.
- А кто на вас напал? Русские или американцы? — не унимался Пит.
- Она была между нашими.
- Воевали сами с собой, что ли? И кто победил: вы или вы? — хмыкнул Пит, но заметив выражение лица Эмили, сделал вид, что закашлялся.
- Получается, что никто.
- А, ну это другая война... Пойдёмте, сейчас звонок прозвенит.

ЛИПКИ

Голоса в холле

Что такое Липки, пишушим объяснять не надо. А читателям расскажу. Вообще — это подмосковный пансионат, где ежегодно проводился Форум молодых писателей. Но название давно стало брендом, живущим своей жизнью. В прошлом году Форум прошёл в другом месте, но всё равно говорили: “Липки”. В сущности, это молодёжная мифологема, сотканная из газетных отчётов, литературных сплетен и яростных постов в ЖЖ. А ещё — царство непризнанных гениев. Цыганский табор, без устали гомонящий всю отпущенную ему неделю. Семинары в Липках устраивают в холлах. Подходишь, уже из коридора слышны возбуждённые голоса. А кто-то слушает молча. Но посмотрите, как сосредоточены лица! О чём же здесь думают и говорят?

— Пишу я с четырёх лет! — сияющие глаза победоносно оглядели присутствующих. — Читать меня научили в три, а в четыре я уже написала стихотворение!

Удивительно, что не в два. Господи, хоть бы кто разбавил это однообразие вундеркиндов, рассказал о тяжком, порой нудном ежедневном труде. О тоннах прочитанного, переосмысленного, прежде чем рука поднялась и рискнула написать что-то своё. А потом о таких же тоннах уже собственного, разорванного, скомканного, выброшенного в порывах гнева, отчаяния, потому что всё это — не то, недостойно, ничтожно; о месяцах молчания от осознания собственной бездарности, ради... Ради нескольких строк, выстраданных, выплаканных, и оттого блестящих, которые теперь... привёз сюда! Я пронёс это чудо сквозь трёхдневное уныние плацкарта, с его потно-луковыми зловониями, туалетными сквозняками и липкими попутчиками. Я привёз его вам, готовый к битве, к борьбе, жаждущий каждого нового мнения, слова. Хотя бы взгляните, прошу вас! И я месяц буду запрещать себе прикасаться к бумаге, разгромленный, полный смятения и тоски, чтобы однажды посреди ночи вскочить и выплеснуть всё то, что смог нажать, почувствовать. А потом править, править, править! Вычёркивая снова и снова! Вспоминая каждое ваше наставление, будто впервые понимая всю ценность той беспощадной критики!

— В семь лет мама напечатала мои стихотворения, их было уже больше пятидесяти! Потом она размножила их на работе, и мы раздали эти сборники всем нашим знакомым! — девушка откинула назад чёрные пряди с фиолетовым оттенком, оправила преждевременно уползшую вверх юбку. Бордовые колготки несколькими выразительными стразами подмигивали словам хозяйки. — Так что писала я всегда очень много, мне никогда не было лень писать! Сюда, как вы могли заметить, я тоже очень много послала.

Какая умница, не лень писать. Ну а нам, по всей видимости, должно быть не лень читать. Вчера с самолёта, так и засел на весь вечер. В полёте не до чтения, уже зрение не то, пришлось дома... Жена такой штрудель испекла, ждала меня, неделю не виделись, а я вот занят талантами. И не говорили толком, а теперь ещё неделю не свидимся. Работа...

— Вас вчера на открытии не было, сегодня приехали из Волжска? Как говорится, прямо с поезда?

— Я? А, не-е-ет! — кокетливая улыбка растревожила длинные серебряные сосульки в ушах. — Вчера я была у подруги на *деньрождения!* — просияли сосульки. Их хозяйка не заметила, как вытянулось лицо вопрошавшего. — В пять утра закончили отмечать и к десяти я уже сюда! А в Москву мы переехали уже три года назад, потому что дома у нас творческим людям делать нечего. Мама считала, что мой талант там пропадёт впустую. Кому в этой глухомани нужны поэты, вы же понимаете. Поэтому я уже как бы из Москвы, просто на конкурсе указала, что из Волжска.

Что, Серёжа, кушится на диалект? Увы, уже и здесь всё реже услышишь голоса малых городов. Они все нынче москвичи! Только для таких мероприятий вспоминают, откуда они. Что ж, удобно: живёшь в Москве, можешь в избытке пользоваться её ресурсами — литературными мастерскими, студиями, круглыми столами. А как на конкурсе, то пожалуйте: я из городочка N, у вас наверняка не найдётся и пары представителей нашей области, не отвертитесь, берите. Это мы, Сергей, ездим, ищем, а они уже тут! Ждут похвал и публикаций. Только мы, чудаки, не замечаем их шедевры.

— А учитесь вы где? — чеканная речь и пристальный взгляд как будто пытались выудить единственно правильный ответ.

— Ну, я пошла учиться на менеджмент в Институт культуры и бизнеса.

— Ага. Ну, как говорится, искусство всюду, — ответ, по всей видимости, не столько разочаровал, сколько озадачил.

Что, Сергей Сергеевич, загрустил? Думал, они в Литературный идут или на филологический? Да ну что ты, им же деньги ковать надо, покорять столицу. А название-то какое: культуры и бизнеса! Хотят стать бизнес-поэтами.

— Ну, как бы писать я и сама умею, диплом для этого не нужен, а пошла учиться на менеджмент в сфере культуры.

Вот видишь, “как бы писать” они все умеют. Ну, разве не замечательно? Нам можно и не трудиться, просто читать и радоваться!

— А ещё я напечатала свой первый сборник, ну первый профессиональный, а не как в детстве. Конечно, не в твёрдом переплёте, но у меня друг на дизайнерском факультете сделал обложку. Вот, привезла вам, Сергей Сергеевич, и вам, Алексей Иванович, со своим автографом! — гордой поступью в четыре шага, предварительно ловко одёрнув юбку, она вручила свой дар. — Приз в студию! — звонко рассмеялись сосульки.

На яркой обложке в стиле поп-панк-трэш-арт сложно было вычленить передний план или хотя бы основной мотив. Перо с чернильницей, свеча, окно и книги, и при этом половина зелёной женщины, отражающаяся в зеркале шестикрылым ангелом, роковой револьвер и подобие статуи Давида.

— Так, на чём я остановилась? Столько всего нужно рассказать ещё! — скрипучее кресло вздыхало от избытка энергии. — Значит так, дальше я продолжила писать в школе...

— Прошу прощения, поближе к сути! — резко прервал Сергей Сергеевич. — Всё-таки мы ограничены во времени, и хочется обсудить вас не второпях... — словесный поток юной поэтессы словно вытеснял из кресла его, харизматичного, пружинистого, жёсткого.

— Да-да, я вот как раз о сути. Ну, основная идея моего творчества, она может быть понятна далеко не каждому! Но это для меня не главное. Мне важно выразить себя, я иногда ощущаю, что просто не могу молчать.

Ну что ты, Серёжа, так на меня смотришь? Видишь, не может девушка молчать. Ну ладно-ладно, подключусь и я:

— Голубушка, почитайте нам, на ваше усмотрение, из того, что вы привезли, — мягкая улыбка, тем не менее, указала жёсткое направление для продолжения беседы.

— Ой, хорошо! Даже не знаю, что выбрать. Или всё читать? Но это мы с вами надолго тогда засядем! — локоны мелодично подключились к танцам сосуллек. — Я лучшее сюда привезла, оно мне всё нравится.

Ну, кто бы сомневался. Как же замечательно, когда всё в себе нравится, только завидовать остаётся. А мы, старая гвардия, всё ищем кого-то. Вот она — наша смена. И ведь надо же их принять, надо успеть им что-то дать, пока не уничтожили русскую литературу. А как до них достучаться? Молодые, горячие, хотят напролом, не услышат. А вдруг услышат — ещё натворят дел от обиды. Работка у нас... А ведь достучаться, Серёжа, надо! Мы же в ответе за них, недоучек, за исковерканную школьную программу, за Донцовых и Шиловых на лотках, за скудость свежих идей. Ну что ж, будем стучаться. Прилепных не штампуем сотнями, будем шлифовать. Читает... Ну хоть читает с душой. Может, не всё потеряно.

— Хорошо, спасибо. Ну что ж, начнём. Кто готов к обсуждению? Здесь задача высказаться всем, как можно строже и жёстче. Автор должен получить качественную суровую критику! — глаза медленно сканировали каждого, как будто проверяя готовность полка. Чёрная рубашка, крепкий ремень, идеально отглаженные стрелки брюк — придавали образу воинственности.

— Ну, Сергей Сергеевич, не будем забывать, что стоит говорить и о положительных сторонах, автор всё же трудился, — улыбка осветила лицо второго “мастера”, её тёплый ответ скользнул и угас, затаился в крупной вязке мягкого свитера. — Помните, мы здесь объединены светлыми целями, мы создаём литературу.

— Тогда давайте я. Я читала Анжелику, и мне очень понравилось!

— Можно просто — Лика! Ой, извиняюсь, что перебила! — нетерпение юбки, по-видимому, охватило и хозяйку.

— Ну да, так вот. Пять стихотворений мне очень понравились, а два не понравились, про пальмы и про смерть. А так и идеи понравились, и как вы пишете, Анжелика. То есть, Лика. Ну вот... Спасибо.

Началось. Ну не смотри ты, Серёжа, так жалобно, у самого уже сил нет. Предлагал же ещё в прошлом году запретить слово “нравится”. Ну сядь ты накануне, подготовься, накидай хотя бы десять синонимов “нравится” и “не нравится”. Да, Серёжа, что делать. Значит, нужно их растормошить, нужно расшевелить. Какой год воюем, не унывать! Зря я что ли здесь глотаю вегетарианский борщ и хлебные котлеты вместо домашней запечённой утки? Раз живы-здоровы, надо бороться.

Эстафета “нравится” передавалась от одного к другому. Сосулльки благодарно покачивались, запуская по стенам солнечных зайчиков. Новые лица, новые строки, новые судьбы... Новая литература — будет ли, придёт ли с ними? На столе в номере, как обычно, стопка их текстов. На некоторые даже и времени жаль: с таким багажом обсуждаться рано, с трудом тянет на этюды, но они же не хотят тренироваться. У них всё, что пишут — шедевры, всё надо обсуждать, а лучше — сразу печатать.

За пару дней стол заполнится целиком — потянутся пострелы с других семинаров: “Посмотрите, пожалуйста, оцените, подскажите, порекомендуйте, возьмите в журнал”... И стопки, стопки, стопки текстов... В большинстве своём однообразных: типовые герои, схожие сюжеты, эклектика стиля, штампы, штампы... Но в двух-трёх подборках засветятся искорки. Крошечные, дунешь — погаснут! Значит, надо защитить, сберечь, помочь развиваться.

* * *

Потрясающие! Да это просто потрясающие колготки! Глаз не оторвать! Такие стразы, наверное, вручную приклеивают... Эх, в Снежинске и не достать такого. У нас только чулки сеточкой, да и те папа даже примерить не позволит. Сразу все шептаться начнут, как будто фильмов не смотрели. Ого, у неё и маникюр со стразами! Наверное, кучу денег выложила. Интересно, она ещё и работать успевает или родители помогают? Нет, наверное, она сама уже им помогает, учится на “бизнесе”, наверняка подрабатывает, платят

много. А говорят, Москва людей портит! В Волжске, небось, она выглядела как все, жила как все, а теперь вон какая! Красивая, ухоженная, учится и работает! И стихи пишет. Правда, вот стихи... Совсем корявые. Или это верлибр? Да нет, рифмы есть, только иногда странные: мне — в траве, куда — весна. Но уже третий человек говорит, что нравятся. Не могу же я сказать, что меня совсем не тронуло, что стихи скучны, скрипучи. Да и потом, когда она меня будет обсуждать, ещё наговорит суровой правды, а я и расслакаться могу, вот позор будет, приехала папа-мамина дочка.

А вдруг и правда стихи у неё отличные, просто я бестолковая. Вон “мастера” сидят вроде бы вполне довольные. Хотя по ним и не поймёшь. Может, они просто довольны, что выбрались в санаторий, на природу, с бассейном и полным питанием. Гуляй да читай — отличная работа. Сколько же лет нужно пахать, чтобы тебя вот так приглашали отдыхать. Тот, что помолчаливей, вон как к ней ласково: “Голубушка, почитайте”. Обидеть не хочет. Значит, я тем более права не имею сказать жёстко. А второй вот-вот выскочит из кресла, хотя и не скажешь по лицу, что он в восторге, но глаза у него загорелись, наверное впечатлён. Нужно сказать что-то хорошее, только бы найти, о чём. Так, ритм... Нет, ритм сбивается. Посчитаем: 7-8-8-9 и 8-9-7-10. Нет, никуда не годится, вот потому и спотыкаюсь. Ритм и рифмы отпадают. Может, выразительные средства... Так, про смерть, про часы, хотя они тоже, кажется, про смерть, про дорогу, опять-таки к смерти... Что-то выразительные средства совсем не выразительны. Может, просто сказать, что я не поняла её стихи, закосить под дурачку? “Если нужно объяснять, то не нужно объяснять”... Кстати, это откуда? А, не важно, не до этого, Машка, соберись! Машка-дурашка, как лодку назовёшь... Вот у неё имя — сразу понятно, какие горизонты откроются — Анжелика. Загадочное... Ну вот, бестолковая, опять прослушала, чем же её стихи нравятся. Ведь кажется, и обсуждать здесь нечего! Теперь я... Ну выкручивайся! Главное — не молчать, а то не за дурачку сойду, а за круглую дуру, а это уже совсем обидно.

— Анжелика, я с интересом читала ваши стихи...

Так, ну и что же я там интересного нашла?

— Мне кажется, их объединяет тема тяжёлых экзистенциальных переживаний.

Господи, ну что за бред! Что она, сама не знает что ли, какая у них тема? Надо активно пошуршать страницами.

— Ну, кроме стихотворения “Бабочки”. Оно светлое, нежное.

И абсолютно пустое, так что сказать мне нечего.

— Оно мне понравилось больше всего, ближе мне по настроению. Остальные тоже понравились, но они более мрачные. Ну вот, спасибо.

Фуф, отделалась, вроде, без позора. Она вон сидит, сияет, значит, не обиделась, уже хорошо.

* * *

Сидит, сверкает! Безвкусица какая, новогодняя елка! Из Москвы она, деловая. Припёрлась туда и уже, видимо, считает, что талант, бренчит ви-сюльками. У нас в Сургуте тебя бы приняли за проститутку. Красные колготки, да еще с блестяшками, на карнавал приехала королева Анжелика. Подделка под роскошь. Уже, небось, отхватила себе хахалю с лысиной, а там, в Волжске оставила всё настоящее, живое. Обещала звонить, писать, рыдала, упершись лбом в стекло поезда, всю дорогу строчила эсэмэски. А потом первые пару месяцев и правда звонила каждый вечер, тараторила про свой день, плакала, как тяжело, как скучает, как считает дни до Нового года, чтобы приехать и больше никогда не уезжать в эту чужую Москву. А он-то, дурак, верил, кидал ей деньги на телефон, чтобы могла чаще звонить, никак не мог наслушаться, в век интернета каждый день слал почтовые открытки, романтик недобитый. А по выходным загружал себя подработкой, чтобы не замечать заунывные сумеречные дни, и ждал. А она так и не приехала! Дура. Московские выпендрёжки со всей России. “Мама решила, что

мой талант пропадёт”! Мама решила, что замуж тебя не возьмут и денег у тебя не будет. А тут вот на тебе, доченька, Москва! Женихи так и побегут! А мы, значит, в остальной России — только алкаши да нищие?! Тьфу, тошно смотреть, кукольная улыбка.

Стихи она с четырёх пишет! Хотя бы кто правду сказал — бездарно! Так и застряла на уровне лет двенадцати! О чём твои стихи? О Любви? Ну нет, куда, ты же такая особенная, о любви не пишешь, ты о “высоком” — о смерти! Нашла, на чём выезжать. Да их отличить можно только по названиям, стихи твои, а так — тасуй строфы, как колоду карт, всё равно суть не поменяется, потому что нет её, сути, пустота! И ты — пустота, только разукрашенная. Что сияешь? Думаешь, напечатают? Да нужна ты им, не туда попала, я здесь уже третий год. Таких, как ты, тут каждая вторая, и все с трёх пишут, гениальные вы наши!

А чтоб напечатали — пахать надо! Сначала год пахешь, приезжаешь, а они — фиг тебе, сиди дома. Обижаетесь, злишься и весь год снова пишешь, как дурак. Потом приезжаешь, уже не такой смелый, знаешь, что скажут. А они раз, и удача, говорят! Из твоих двадцати трёх выстрадавших, родных, один-единственный рассказик, может, и возьмут, только вот тебе, дядя, список доработок. А ты уже счастлив! И потом полгода им пишешь, а они возвращают и возвращают: то начало затушево, то финальная фраза не играет, то диалог не прописан. Уже и не веришь, думаешь, отписываются. А они, бац: “Приняли в третий номер”! И вот тут... думаешь всё, танцуешь и радуешься? Ну, если больше литературных интересов нет, то можешь и танцевать. А так — сядишься и пишешь, и вычёркиваешь больше половины.

И едешь в третий раз, зная, что здесь — как русская рулетка. Ходишь по разным семинарам, за каждым ведущим по пятам, как мальчик-гимназист. Тексты свои тоннами распечатываешь, всем раздаёшь, чтобы, может, хоть один тебя заметил. А половина из них выкинет, не читая.

Нравятся тебе твои стихи, вот и сиди, пиши! Сказал бы я тебе про них откровенно... А то тошно, пятый человек, и все — “нравится-красавица”. Ладно Костик, я с ним второй год в одном номере, ему уж конечно “нравится”, вы ему все очень нравитесь своими формами, только не поэтическими. Сначала предложит в баре посидеть — “половить” писателей, чтобы представить юное дарование. А дарование сидит, сияет, стопки текстов набрало с собой, как на кастинг пришло. Правда, “мэтры” по ночам в бар не заглядывают. Рукописи читают. Вон у наших уже глаза красные, а только второй день! Потом Костик и бассейн покажет, куда ж без него. А потом под утро довольный припрётся и давай трепаться, хоть рассказ пиши, только уж больно пошлый выйдет. Ему вы все безумно нравитесь, и нахвалил-то тебя как, вроде даже конструктивно, если стихи не видеть. А вот девчонки-то что хвалят — обалдели что ли?! Это же и стихами не назовёшь. Рифмы глагольные, ритм скачет, ударения исковерканы. А главное — пустота полнейшая! Ну, держись, я всё скажу...

* * *

Ну, вот и осень снова. Холодно здесь в этом году, а у нас в Сибири уже совсем по-зимнему. Сейчас как раз время окончания первой смены, все плетутся к Николаичу, согреться хорошенько... А тут ещё весь день. С утра можно было бы чем-то “разбудиться”, голова ноет, да не с кем особо. Девчонка вроде неплохая, а сколько шуму. Как может, так и пишет, что привязались к ней. За пять лет и не таких видали здесь. Пришла счастливая, а сейчас сидит вся красная от обиды — прям как её рейтузы. Или это колготы такие, не разглядишь отсюда. Какие-то они ещё с камушками, нарядилась, молодец, а вы напали, мужики. Руководители-то ладно, понятно, хотя в резкости им не откажешь. “Это всё надо оставить для себя, в стол, так сказать”... Ну а как будто по большому счёту мы пишем для кого-то ещё. Для кого? Раз в год собирают нас здесь, потерянных, недооценённых, чтобы

как-то подбодрить, на недельку дать почувствовать, что хоть кому-то наша литература нужна. Вот, ребят, почитайте, погрызьте друг друга. Да и второй “мастер” тоже забавный: “Мы создаём литературу”. Ну, у вас в Москве, может, и найдутся любители словесности, а вы к нам приезжайте. В шесть смена закончилась — и что им делать, обычным работягам? Вышил, поел, до дома дотащился, а там жена нудит: опять денег с трудом на еду хватает, а у дочки учебный год начался, из туфелек она выросла, новые нужны, а ещё бы на физкультуру спортивный костюм новый... И вроде и не злая она, Верка, крутится, как может, сама работает, а от такой жизни заскрипишь. Но она хоть любит послушать вечерком, иногда даже что-то скажет про рифмы, про идеи. А ребятам на шахте даже и читать смешно, на что они им — писульки наши. Дорогие наши руководители, спасибо, что хоть время потратили, но что уж вы так эмоционально всё воспринимаете, второй вон совсем разошёлся!

— Обратили внимание: Наталья высказалась, похвалила, за ней ещё пять человек похвалили. А высказался Андрей — начал ругать, и за ним остальные начали ругать. Но что же это, хорошие мои! Ведь вы же писатели! У вас должно быть своё мнение, исключительно своё собственное! Если толпа идёт в одну сторону, то писатель должен идти в другую! Не обязательно против толпы, но обязательно в другую! Иначе какой же ты писатель?!

Ну да, сказал хорошо, в другую... а какая другая нам остаётся? Сейчас и не поймёшь, куда толпа: эти правые, те — оппозиция, другие — вообще неформалы, четвёртые — смотреть тошно. Куда ни пойдёшь, ты всё равно с толпой, только под разными лозунгами. А у нас на шахте всё просто. Утром туда, вечером обратно. И жизнь, брат, сама тебя возьмёт и понесёт.

КАРИНА СЕЙДАМЕТОВА



ПРЕДНАБАТНАЯ ТИШИНА

* * *

Новокуйбышев. Бабушка Анна.
Душный август... Прости-прощевай,
Край охранный мой, обетованный,
Вспоминай обо мне, вспоминай!..
Край наследный мой — мир соколиный,
Мой неожиданно-негаданный рай.
Домик в листьях отцветшей малины,
Блик остатнего солнца вбирай!
Может, мнится мне, как барабанят
По залатанной кровле дожди,
Иль меня окликает бабаня
Дробным сердцебиеньем в груди?..
Иль туман-атаман Стенька Разин
Снова губит княжну на реке?..
Край соколий, не чувствуешь разве,
То заря-кровяница в строке
Иль студёная Волга-водица
Всё целует заплаканный клён?..

СЕЙДАМЕТОВА Карина Константиновна родилась в 1984 году в Самарской области. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Стихи публиковались во многих всероссийских бумажных и электронных общественно-патриотических изданиях: журнале "Наш современник", "Роман-журнал XXI век", "Русское эхо" (Самара), "Родная Кубань" (Краснодар), "Волга XXI век" (Саратов), "Дон" ("Ростов-на-Дону), "Невский альманах" (СПб), "Свиток" (Дальний Восток), "Простор" (Казахстан), "ВЕЛИКОРОССЪ" и др. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

...Ночью что только нам ни приснится!
Тихий мой новорожденный сон...
Это чувство вины запоздалой
(Вспоминай меня, край, иногда!) —
Осознать ценность родины малой,
Покидая её навсегда.

* * *

Век мой китежный, отражение
Бела-облака в озерце...
От искристой воды свечение,
Отсвет радости на лице

Углядеть я пытаюсь истоиво.
Обмануться боюсь стократ.
Лишь вода золотится искрами...
Кто ты мне: ни отец, ни брат?..

На твой берег пришла смиренная,
Зорким солнцем всплыву со дна...
Будет истина сокровенная —
Преднабатная тишина.

Обниманья — рассветы ёмкие,
Целованья — денниц пожар:
Нам, земным, поднебесной кромкою
Улыбается Светлояр.

И сокрытый до дня заветного,
Предо мной — триедино свят! —
Ты откроешься, семиветровый,
Мил-сердечный мой Китеж-град.

Стон набатный, как сон, срывается,
С колоколен струит вода,
Когда с веком своим встречаются
И прощаются навсегда.

И на крыльях стрижей возносится
Зримый, видимый за версту
Свет от встречи до неба с проседью
Из отверстых вод в высоту.

* * *

...И пусть чашобный мир не так уж прост,
А прежний лес — давно не древостой...
Под небом из земли лесной подрост
Восходит сочной яростной листвой.

Он скоро сильным лесом зашумит —
Приют лисиц, волков, для песни кров...
Для сказки новой присказку растит,
Посыльную до крестных облаков.

Он скоро в полный голос, в полный рост
Так крону распрямит и запоёт,

Могучим лесом вызревший подрост...
Напрасно мир не брал его в расчёт!..

За каждой веткой деревцем дыша,
За каждой тропкой — таинством грибниц.
Ты только приглядишься и сделай шаг
В приют для песни, кров зверей и птиц.

И музыкой, и музой осиян,
Он “щит и меч”: цветы, шуми и пой!..
И превращай поэзию славян
В неукротимость поросли молодой.

* * *

“Это всё ничего...” Осторожной зимой
Пить в вагоне простуженный чай разговоров,
Если каждый глоток — возвращает домой,
В безвозвратно утраченный юности город.

Но его не нагнать в скоростных поездах,
И тогда упадёт, будто лоб на ладони,
Подорожное небушко на провода,
Покачнётся звезда в путеводном поклоне.

И на станции Н-ской под вскрик проводниц
Я взбегу на перрон и вдохну этот воздух,
Взбудораженный гомоном буженных птиц,
В понимающем небе, и слёзном, и звёздном...

ГЕННАДИЙ КАРПУНИН



СОЛОВУШКА

РАССКАЗ

1

С весенней устоявшейся теплынью Андрей Харюгин вытаскивал из-под кровати старый обшарпанный этюдник, вытирал его от пыли и аккуратно складывал туда всё необходимое для аппликационных работ. Заспанное, точно одеревеневшее после зимы лицо Андрея прояснилось, оттаивало, в глазах появлялась весёлость. В такие дни он бывал возбуждённым, суетился больше обычного и непременно что-нибудь насвистывал. Эта дурная привычка осталась у него ещё с юношеских лет. Да он, наверное, иначе и не мог выразить своего хорошего настроения; потрепала его порядком жизнь, поиздёргала, молчноум стал с годами.

Павла Шилова, проживающая с ним в одном доме и, казалось бы, давно притерпевшаяся к его слабостям, за последнее время, что называется, стала сама не своя. Словно подменили её: смотрела на Андрея с издёвкой, вроде как специально хотела досадить. Случалось, что нелепыми своими придирками доводила его до бешенства.

— Свистун. Ишь, растрезвонился, — цеплялась она. — В ушах звенит.

Андрей что-то бубнил себе под нос, дабы не ругаться, стучал кулаком по столу: мол, дура! Ещё чуть-чуть, ох, и выматерился бы... Но нет, сегодня он намеревался молчать, не обращать на Павлу внимания.

КАРПУНИН Геннадий Михайлович родился в 1958 году в посёлке Щербинка Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Автор четырёх сборников стихов, нескольких книг повестей и рассказов, романа “Часовых дел мастер”. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Он взял костыли и, волоча по полу атрофированную правую ногу, заковылял во двор.

Запах молодых лопнувших почек несколько успокоил его. Он присел на ступеньку, сложил возле себя костыли.

Надо же, злился он, свистун... Сама-то... квартирантка. Андрей частенько гадал, кто же всё-таки для него Павла Шилова. Не жена, не родня. Сожительница — так это с какого бока смотреть. Сколько лет под одной крышей, а ни разу не притронулся он к ней по-настоящему, с душой. Так, блажь когда найдёт. У них и детей-то нет. И не расписаны они вовсе. Ютились когда-то эти Шиловы через два дома от Харютиных в заброшенной хибарке, да от всех Шиловых, наверное, только Павла и осталась. Помнил её Андрей ещё подростком: конопатая, худощая, кожа на руках синюшная. То ли застенчивая, то ли запуганная — не поймёшь. Бегала к ним в дом по разным пустякам, вечно под ногами путалась.

Впрочем, что теперь прошлое ворошить: давняя история, забытая.

Андрей с наслаждением вдыхал весенний воздух, щурил от солнца глаза. Отзимовал — и ладно, теперь легче будет. Ох, и не любил же он зиму!

Можно было и покурить, но стерпел: слово себе дал — не притрагиваться к табаку. Одышка мучила последние годы: за день отмахнешь вёрст двадцать на костылях, да ещё с этюдником за спиной — до курева ли...

Есть у Андрея старенький “Москвич” со специальным ручным управлением, но с годами охладел к механике, отвык, пешим приноровился бродяжить. А машина так в сарае и стоит, ржавеет. Её, наверное, и не заведёшь теперь.

Он вернулся в дом. Павла явно была чем-то огорчена, встревожена больше обычного. Всё за что-то хваталась, да как-то невпопад.

Андрей надел резиновые сапоги, приспустил высокие голенища — чтоб не тёрло под коленом. Правую ступню не очень сильно затянул ремнём. Другим длинным его концом подтянул ступню к ягодице и, перебросив ремень через плечо, закрепил его в поясе, оставил ногу в согнутом положении. Так-то лучше, не будет мотаться туда-сюда. Затем надел прорезиненный на байковой подкладке плащ, воротник которого шнурком завязывался у шеи, и замшевый берет, когда-то стильный, но теперь уже потёртый и лоснящийся. Закинул за спину этюдник. Вот и всё снаряжение. Так Андрей ходил с весны до осенних холодов.

Порядком отойдя от дома, оглянулся, затылком чувствуя на себе взгляд Павлы. Так и есть: стояла на взлобке обочины, комкала руками фартук. Сутулая, располневшая женщина. Что-то очень знакомое напомнил ему её взгляд, и то, как комкала в руках фартук...

“...Дура!” — опять разозлился он: на смерть, что ли, провожает?.. Поправил удобней этюдник, костыли и, теперь не оглядываясь, уверенно зашагал вперёд.

2

Он ещё издали заметил старую заброшенную будку с ржавыми покосившимися буквами “ГАИ”. До перекрёстка оставалось идти не более четверти часа.

По другую сторону шоссе, на асфальтированном пяточке, стояло кафе со сказочным названием “Конёк-Горбунок”. На этом-то пяточке, возле кафе, и расположился Андрей Харютин.

На стоянке находилось несколько автофур. В стороне от них — две представительского класса иномарки.

Андрей взял оба костыля в руку, осторожно, удерживая равновесие, скинул этюдник с плеча и принялся устанавливать его на тренажник. Затем распечатал пачку ровно нарезанной чёрной бумаги. Вынул из кармашка этюдника ножницы и тюбик канцелярского клея. С внутренней стороны крышки уже были приколоты несколько образцов аппликаций, в коих угадывались знаменитые артисты и политики.

Обычно Андрея обступали местные зеваки и шоферня, пропахшая соляркой и машинным маслом. Многих он помнил по прошлым рейсам. Помнили и его. В основном, дальнобойщики — народ тёртый, колесивший по трассе не первый год. Встретив знакомого, Андрей улыбался, кивал в знак приветствия. Держа наготове чёрный квадратный лист, как парикмахер, пощёлкивал ножницами: подходи, не стесняйся...

Желающие были, и ждать долго не приходилось. Андрей пристально вглядывался в профиль “натуры” и быстро из бумаги начинал вырезать силуэт. Не проходило минуты, как “портрет” был готов. Андрей наклеивал его на белый лист с собственноручной подписью. За работу брал недорого, в зависимости “от инфляции”. Были и такие ценители, которые не впервые заказывали апликацию, объясняя это тем, что портреты получаются вроде бы разные, а сходство на том же уровне, удостаивая художника высокой похвалы и поощряя рублём.

В этот раз он простоял до обеда почти что без дела. Так, покрутится кое-кто да отойдёт. Не было настоящего клиента. Всего-то несколько человек и обслужил Андрей. Но он не отчаивался, знал — своё наверстает. Не сегодня — так завтра, а наверстает.

Отвыкнув долго стоять, Андрей чувствовал, как быстро отекает нога и скапливается усталость. Пальцы на руках поостыли, сделались непослушными, а пальцы в его работе — что поводь для слепого. Да и самого просквозило — всё-таки не лето.

3

Кафе “Конёк-Горбунок” было оформлено под русский старинный терем с деревянными узорчатыми ставнями и резными наличниками. На островерхую крышу бельведера взлетел и сам сказочный герой. Внутри кафе напоминало горницу. По стенам были развешаны конские хомуты. В дальнем правом углу стояла почерневшая крестьянская прялка, перевязанная пучком пеньки. Расписанная печь с большим чугунным горшком и ухватом. Деревянные столы с лавками.

Андрей знал всю эту бутафорию наизусть: многое сам здесь мастерил. Он прошёл к дальнему свободному столу, поставил костыли с этюдником в угол и сел на лавку, дожидаясь услуги. У соседних столов в белом накрахмаленном кокошнике на пышных волосах бабочкой порхала Рита Тимашова — давняя знакомая Андрея. Он знал Риту ещё девушкой, когда хаживал к Наталье Лучниковой — её подруге. Работала Рита в кафе с самого его открытия, а до этого — продавщицей в сельмаге.

Андрей ещё с улицы заметил Риту: мелькнула в окне да исчезла. Вот и сейчас она поглядывала в его сторону, явно намереваясь подойти.

Он развязал шнурок плаща, стягивающий кадыкастую шею, скинул на лавку берет. Взял в руки пластмассовую вазочку с салфетками и стал разглядывать. Ждать пришлось недолго.

— С почином тебя, — услышал он. Рита поставила перед ним горячие щи в глиняном горшке и такой же горшок кваса (в кафе всегда был квас).

— Со дня на день тебя жду. Когда же, думаю, наш Соловушка объявится, — то ли шутя, то ли серьёзно сказала она. Миловидная, с румянами на щеках, она ещё вызывала интерес. Одно лишь отталкивало в её натуре — чрезмерная болтливость. Если Рита в гости к кому зашла, так и знай, всех оповестит: у того-де занавески грязные, а у этого клопами пахнет. И сейчас — неспроста вертелась Рита возле Андрея, не иначе что-то сообщить хотела.

— На минутку, — присела она с краешка, — а то забегалась совсем.

Уставилась на него, смотрела, как он ест. Андрей привык к подобным взглядам, а потому не смущался, не торопясь хлебал горячие щи, тщательно прожёвывал. Выжидал, когда Рита первая начнёт разговор.

— Оплешивел-то как за зиму, — грустно вздохнула она. — Девки тебя, поди, за кудри любили.

Что правда — то правда, не королевичем выглядел Андрей: мясистый нос его вытянулся, лицо одрябло, посерело, покрылось сетью морщин. Весь он какой-то стал... точно высохший корень.

— Пить бросил или по-прежнему? У тебя ведь как — по сезонам. За-мучил, небось, Павлу-то.

Андрей поперхнулся, сердито взглянул на Риту.

— Второе-то забыла, — тут же спохватилась она. Он согласно кивнул: вот и ступай за вторым. Но через несколько минут она снова подседа.

— Мясо-то не жёстко?

В самый раз, дал понять он, запивая его прохладным кисловатым квасом.

— У нас неплохо готовят. Не то что в других кафешках.

Разожгла всё ж таки в нём любопытство, а сама тянет кота за хвост, болтает о разном...

— Про Наталью-то слышал что аль нет? — как бы между прочим спросила она.

Не сразу дошло до Андрея о какой Наталье речь, а когда уразумел, то не ощутил под собой опоры, как повело его куда... Давно не вспоминала Рита о подруге.

Андрей отложил хлеб, вилку, упёрся кулаками в край столешницы.

— Да жива Наталья, жива, — поспешила успокоить его, понимая, что переусердствовала. — В городе она теперь, у тётки живёт. Разве Павла ничего... — и осеклась.

Он даже привстал: не будь Рита бабой... Схватил её рукой за плечо. Для остротки пригрозил кулаком: мол, выкладывай сразу всё, что знаешь.

— Что сказывать-то, — заблестели у Риты глазки, — я всё уж сказала. В Златоусте они, значит, жили, а когда Николай умер — муж её, Наташка к тётке в наш райцентр перебралась. Не с отцом же ей жить. А тётка на-бобная, всё утешит. И что ей одной на стороне... Дети-то взрослые давно, у самих семьи с детьми, разъехались, кто где... Да пусти! — вырвалась она.

Он не стал её держать. Сидел хмурый. Рита унесла посуду, вернулась вытереть стол. Он вытащил из этюдника лист белой бумаги: хотел записать Натальин адрес. Но пока сидел — передумал: не надо пороть горячку, здесь ещё обмозговать всё надо. С адресом же всегда успеет.

Рита стояла в проходе, плечом привалившись к косяку, придерживая ногой пружинистую дверь.

— Ты Павле-то меня не выдавай, — заискивающе попросила она, — нехорошо как-то, вроде как сболтнула.

Андрей переступил через порог, в сердцах чуть не отдал Рите ногу.

4

С полей несло запахом свежеспаханной земли, перегноем. Вдали маленькими букашками ползали тракторы.

Андрей шёл без роздыха, словно хотел себя загнать. Грузовая попутка, сигналив, притормозила возле него, но он даже не отреагировал. Известие о Наталье прочно застряло в его мозгу, не давало покоя: начнёт вспоминать о ней — так душу наизнанку выворачивает, а не думать — и вовсе сил нет.

Запарившись и вконец себя измучив, Андрей остановился. Сошёл с грунто-товки по отлогому склону, направился к поваленной лесине. На ней и уст-роился передохнуть. Ослабил на правом сапоге ремень, разулся. Постарался вытянуть онемевшую, полусогнутую в колене ногу. Массируя её, пальцами прощупывал бедренную кость. Сохла нога, с каждым годом всё хуже стано-вилась. Оглоблина, а не нога. Но не это беспокоило Андрея: бог с ней — с сухотиной. Наталья вернулась — вот что. Если, конечно, Рита чего-нибудь не напутала. Хотя... как тут напутать. Всё вроде бы правильно: муж помер, дети взрослые, кто где... Вот и вернулась Наталья к тётке. Всё правильно.

Многое теперь объяснялось: и то, что Павла последнее время на него взъелась: слышала ненароком, что Наталья воротилась, и боялась, как бы он не узнал. Вот же глупая, неужто думает, что он к Наталье переметнётся. Ку-да же он такой — колченогий да плешивый.

Вспомнил Андрей, каким взглядом сегодня провожала его Павла, какими глазами смотрела ему вслед. Сколько в них всего было — в этих глазах.

“Да, всё правильно, — думал он, — всё на своих местах”. Но в то же время он ясно ощутил, что в нём произошла заметная перемена. Неужели все эти годы он, Андрей Харютин, подспудно хранил в своём сердце думы о Наталье? Да, значит, хранил: вон ведь как Риту давеча напугал. Что там Риту — сам чуть с лавки не свалился!

Но не смешно ли, что он и теперь способен на какие-то чувства? А если что-то и осталось в душе, так что из того... Наталья, верно, и сама к нему изменилась. Видела б она его со всей амуницией. И прожитое с Павлой не перечеркнёшь. Хоть и куражится он, хорохорится, а кабы не она — пропал бы совсем.

5

Андрей глядел в сторону бетонки. Когда-то здесь не то что дороги — и полей-то не было. Лишь болото да кустарник. И хоть бедно жили, но ладно и весело. Умели жить.

...Хозяйство у Лучника было крепкое, налаженное, пусть и небольшое, но под стать хозяину — коренастому, двурульному. Женился он перед самой войной. Взял в жёны такую же, как сам, — работающую да хозяйственную. Воевал. Вернувшись, зажил особняком, замкнуто. Но с женой ему не повезло: что уж с ней стряслось — неизвестно, а померла она, оставив на мужа маленькую девочку. После этого Лучник ещё больше обособился от людей, жил бобылём и с остервенением весь с головой ушёл в работу: надо было и в колхозе успеть, и на своём дворе, и дочь воспитывать.

Дочка этого Лучника и приглянулась тогда Андрею. А сколько до Натальи было у него девчат, сколько заставил он их сердцем томиться, но ни одна не запала так в душу, как эта. И чем она его взяла — трудно теперь сказать. Точно околдовала. Остудил совсем. Издевалась над ним Наталья, как хотела: не иначе за всех девчат, что ослабил Андрей, разом отомстить взялась: “Три ноченьки пропоешь соловушкой под окошком — пойду за тебя замуж”. Ни дать ни взять, как в той повести, где Оксана посылает Вакулу за черевичками...

Что скрывать, озорной был Андрей по молодости, подчас такие штуки выкидывал... Бывало, схоронится ночью в кустах под чьим-нибудь окном и соловьём запоёт. И так искусно запоёт — от настоящего не отличишь. Да только ли соловьём, по-разному мог Андрей: с налёта схватывал любую мелодию. Так вот, залётится соловьём, а девушка по неведению и распахнёт окно, размечтается, не зная, что не соловей это вовсе. Тут Андрей и выскочит из кустов. Да поцелует, если повезёт. А парни и хохочут.

Но так было до Натальи, неужели и перед ней шутком выставляться? Известно. И всё-таки раз ночью влез к ней во двор, да в то же утро пошла молва, как Андрей Харютин от лучниковых собак драпал. Другой на его месте плюнул бы, отступился, глядишь — и отлегло бы со временем, но такая досада и ярость охватили тогда Андрея... хоть головой в омут.

6

Спокойно шумел осинник. В поле, почти у горизонта, всё так же ползали тракторы.

Андрей осмотрелся. Вольготно было одному вот так, с кромки леса охватывать взором ширь вёсенних пашен. Никуда не надо торопиться, никто тебе не мешает. Хозяином себя чувствуешь.

Мысли снова унеслись к Наталье. Кто знает, чем бы всё кончилось, если б не случай.

Ферма, куда под вечер загоняли скот, находилась на отшибе села, возле дороги. Андрей только-только подпругу с седлом снял, чтоб своего мерина загнать, как издали разглядел Наталью. Домой откуда-то возвращалась.

С букетом цветов, нарядная. И что на него нашло — сам не знает. Не иначе ревность. Бешеным каким-то сделался. Вскочил на коня, ударил в бочину, так на одном потнике и понёсся за ней. Загадал: посторонится Наталья — его будет.

Но не думал он, что не услышит она конского топота; похоже, как в себя ушла, задумалась. Лишь когда в последний миг осадил он коня — оглянулась Наталья. Оглянулась, да так ошалелая и остолбенела. Даже рукой не заслонилась, только цветы выронила. И если б Андрей не завалил вздыбленную лошадь на круп — изувечил бы девушку. Никогда он ещё не слышал такого осатанелого ржанья. Он и сам тогда не на шутку струсил.

А Наталья медленно так опускаться начала; знать, нервы не выдержали. Так в обморок и упала. Он потом и сам плохо помнил, как всё произошло, как в полубомороке обняла она его, тихо так сказала: “Соловушка ты мой”. Думал тогда Андрей, что в бреду это она. Да нет, верно всё: Наталья и после так называла его. А с чего бы, кажется? Чуть жизни её не лишил, а тут нате вам... Знать бы — где найдёшь, где потеряешь...

За Андреем же так и повелось — Соловушка.

Но не пришлось им с Натальей судьбой распорядиться. Чем он прогневил её отца, чем не угодил? Подстерёг их Лучник на сеновале, дочку домой прогнал, а ему на-гора и выдал всё: сам, дескать, паскудник и девку опаскудил; не для такого свистуна он дочь растил. Точно в лицо плюнул.

Как Андрей мог объяснить, что нет жизни ему без Натальи! Ну, и сцепились: Андрей с голыми руками на Лучника прёт, а тот — с косовиной. В раже-то и подкосил он Андрея: так с размаха и полоснул ему жилу под правым коленом, чуть ногу не снёк. Иди, мол, теперь, заявляй. На всю жизнь по себе память оставил.

Может, и вовсе запорол бы его Лучник, если б не Павла. Откуда она взялась тогда — Андрей по сей день понять не мог (наверно, подглядывала за ними). Слышал он после, что и ей в тот раз досталось, но вроде как обошлось. Сама же Павла молчала, не признавалась.

Лучника судили. Но пока шло дело, пока выясняли — что да как, успел он Наталью куда-то к родственникам отправить.

Андрей сначала надеялся, что вылечит ногу, но когда встал, без костылей ходить не мог. Наталья так и не вернулась. А через год и он из села подался. Ранним утром, как вор, крался задками, увязая костылями в рыхлой земле. И чудилось ему, что всё время его кто-то преследует, тревожно глядит в спину. А когда вышел на просеку и невзначай оглянулся, мелькнул за огородами треугольник косынки. Не мог Андрей тогда обознаться: Павла это была.

Много чего произошло в его отсутствие. Когда же вернулся, не узнал село — посёлок вырос. Новых домов понастроили, люди новые появились. У себя, кроме матери и Павлы, никого не застал: кто съехал, а кто умер. Он и не удивился, встретив тогда Павлу в своём доме. Как будто так и должно было быть. А через некоторое время и мать схоронил.

Справлялся он и о Наталье, но ничего толком не узнал: не появлялась она. Лучник, отсидев неполный срок, жил теперь один. Как рассказала Павла, у него сахарный диабет. Случайно обнаружили. Натёр он палец на ноге, и образовался там нарыв. Сначала палец отняли, затем ступню, а потом и ногу пришлось отрезать. Так что они теперь с Андреем вроде как квиты. Вот и всё, что рассказала Павла.

Самого Андрея Харютина признали в посёлке не сразу. Ничего не осталось от прежнего Соловушки. В замшевом берете, в странном балахоне, с ящичком за спиной. То ли бродяга, то ли мелкий шабашник. Присматривались к Андрею, подшучивали: пусть занимается своим “фотографизмом”.

Андрей тогда бурную деятельность-то развернул, когда кооперативы разрешили. Зарабатывал неплохо, хотя и недорого за работу брал. Это сейчас стал прижизнист. А что делать? — дорожает жизнь (будь неладны эти демократы!).

Павла постирывала бельё. Посмотрела на Андрея пытливым, осторожно заглядывая в глаза. Он разделся, вытер костью или половую тряпку. Хотел пройти в комнату, но раздумал, полез в чулан: не смотри на него Павла собачьими глазами, возможно, и не рассердился бы Андрей.

— Что потерял там? — вырвалось у неё.

Перекладывая ворох пыльного картона, рулоны бумаг, деревянные рамки и холсты, роясь во всём этом хламе художественного инвентаря, он искал портрет Натальи, сработанный по памяти очень давно. Обнаружив то, что искал, он вылез из чулана и поковылял в комнату.

Вытирая руки о передник, Павла вошла почти следом. Андрей сидел за столом, рассматривал портрет. Покосился на Павлу: и куда подевалась её спесь? Он небрежно швырнул портрет на стол.

Павла как-то бочком присела на стул: руки повисли плетью, словно хотели коснуться пола.

— Я-то в чём виновата? — произнесла устало.

Понимал Андрей — тяжело ей. Может, во сто крат тяжелее, чем ему. Но не мог он на неё иначе смотреть.

Он стиснул зубы: лучше б запорол его тогда Лучник. Зачем только она вступилась за него?

Но и у Павлы наболело годами: в себе всё таила, да кончилось терпение.

— В чём меня-то винишь? — повторила она. — Что обстирываю тебя и за домом гляжу? Или я подлая какая? Ни стыда во мне, ни гордости?.. Нет, любый мой, есть стыд, не сомневайся. Есть. А гордость... Конечно, где уж мне гордости набраться: знай, баба, своё кривое веретено. — Павла горько усмехнулась: — А за меня, если хочешь знать, дружок твой — Семён Казачок — сватался. Это когда в отлучке ты был. Долго меня добивался. Да не пошла я за него. Я бы ни за кого не пошла, потому... — голос её дрогнул, — потому как причина на то была... Своих оставила, в твой дом пришла, твоей матери пособить. Верила — вернёшься, заживём. Да вот не подрассчитала, что о Наталье так долго убиваться будешь. Неужто за столько лет, кроме упрёков, я ничего не заслужила! А ты вот сюда глянь... — Дрожжащими пальцами она поспешно расстегнула блузку, обнажив левую грудь. Андрей отвернулся.

— Нет, ты лица-то не вороти. Сам же картонку эту на стол бросил. Что ж, теперь и ты полюбуйся — чем хуже?..

На дряблой груди Павлы поперёк сосца шёл еле заметный шрам: не взглядеться, так и не увидишь. Она застегнула кофту.

— Не знал ты. И не мог знать. Не до того тебе было. Чужие-то побои не болят. Слились тогда наши с тобой кровушки. Думала — на всю жизнь слились. Вот оно, думала, знаменье Христово. Никому этот шрамик не показывала, для тебя берегла. — Она отрешённо посмотрела в пространство, мимо Андрея. Было слышно, как бегут на стене ходики. — А потом поняла — крест это мой. И носить мне его — не сносить. Подле самого сердечка его храню, рядом с медненьким. Одно время крестик-то — в конвертике прятала, думала, у кого лоб чешется, тот пусть и... — она загнулась. — Грех-то какой, Господи... — перекрестилась Павла. — Будь проклята такая любовь! — надтреснутым голосом произнесла она. — Что я видела за ней — за любовью? Отцом проклята, мать в могилу свела. Люди по сей день глаза колот.

Андрей свёл скулы.

— Горько мне, ох, как горько! — сетовала Павла. — Но ты не переживай, не ополоумела я ещё. Чего доброго, думаешь, на Бога замахнулась, о любви к тебе заговорила. Какая уж теперь любовь! Жалко мне тебя, а так... — может, и бросила б давно. Правду люди говорят: душа не стерпит, так сердце возьмёт. Ты уж не кочевряжься, не смеши народ. Столько лет вместе... — и опять горько усмехнулась: — А то помру, и схоронить некому.

Весь остаток дня он просидел за портретом Натальи, так ничего и не надумав.

Осень в этом году выдалась сухая, тёплая. По будням Андрей приходил к кафе “Конёк-Горбунок” и раскладывал этюдник. О Наталье вспоминал часто, но спрашивать у Риты адреса не стал. Судьбу не переиграешь: пусть всё остаётся на своих местах.

В воскресные дни он старался выбраться в город, втайне всё-таки надеясь встретить Наталью. В городе останавливался у вокзалов, у рынка, там, где полудней.

В один такой день он расположился на площади, неподалёку от церкви. Церковь была старая, действующая, считалась памятником архитектуры. Вдоль высокой, из железа кованой решётки, опоясывающей её стены, тянулся ряд торгующих. Помимо цветов и венчиков, торговали разными безделушками и вязанием. На другом конце площади, возле овощной лавки, разгружали машину с картошкой. Андрей видел, как один мешок опрокинули, и картошка рассыпалась по тротуару, на проезжую часть улицы. Её не стали собирать, а продолжали скидывать остальные мешки.

Сверкая тонированными стёклами, к воротам церкви вырулил автобус. “Не наши”, — смекнул Андрей. И не ошибся: это были иностранные туристы. Человек двадцать — одна молодёжь — вышли из автобуса, и вся группа направилась к зданию церкви. Задержались они там ненадолго. Выходили — переговаривались, щёлкали фотоаппаратами. Им предлагали цветы, но они вежливо отказывались.

— Ты, соседка, им свои цветы не предлагай, — слышался голос торговки, — что им цветы? — завянут и выбросить... Ты им наш сувенир предложи, икону, это они любят.

Несколько туристов обступили Андрея, наблюдая за его работой. Один из них — высокий, в очках, с короткой стрижкой — похлопал его по плечу, снял очки, постучал себе в грудь.

Андрей оглядел парня, ткнул в трафарет, где указывалась цена.

— Гут-гут, — отозвался тот.

Сделанная аппликация сразу же пошла по рукам. Скоро у этюдника собралась вся группа. Внешнее сходство портрета и природы Андрей усиливал такими тонкими гротесковыми штрихами, что привёл иностранцев в восторг. В паузах он разговаривал с ними на каком-то странном наречии, коверкая слова и оживлённо жестикулируя. Он как будто нашёл с иностранцами общий язык, понимал их. И не предполагал, что именно сейчас, в эту минуту встретит Наталью. Верил, когда-нибудь это произойдёт, но не знал — как. Она смотрела на него спокойными, задумчивыми глазами, словно видела в нём что-то такое... особенное, её одно ведомое.

Он стал складывать этюдник. Не понимая, что же произошло, его упрасивали остаться. Он мотал головой, отказывался. Кто-то из туристов сунул ему деньги.

Она поджидала его в небольшом скверике, недалеко от площади. Сидела на скамейке, особым манером скрестив ноги в резиновых полусапожках. Вроде бы та... да не та: в чёрном платке и демисезонном, некогда модном пальто. На коленях — сумка с продуктами.

Он как-то замешкался, растерялся, не зная, как поступить.

— Ну, здравствуй, что ли, — выручила Наталья.

Его немного обескуражило, задело, что она вот так, с ходу, как-то уж очень обыденно произнесла это “здравствуй”. Но, представив себя со стороны во всей своей немудрёной экипировке, рассудил: не целоваться же им, в самом деле.

— Что, не нравлюсь? — как бы читая его мысли, спросила она. Из-под её платка чуть выбилась прядь седых волос. Губы сделались тоньше, с наметившимися надгубными складками. Кожа на щеках и подбородке провисла мешочками.

— В церковь вот хожу, — призналась она.

Им теперь открывалась вся юго-западная сторона церкви. В распалубках и лонетах ниш проглядывали строгие лики святых. Часть портала украшал живописный декор: Богоматерь с младенцем.

— Кто бы мог подумать, — говорила Наталья, — я и в Бога-то раньше никогда не верила. А тут, как Коленька помер, так сама не знаю... всё перевернулось во мне. Может, к старости все так-то...

Она, и впрямь, сидела как смиренная монашка.

— Коленьке моему скоро уж год будет.

Резанула слух последняя фраза: “Ведь это она про мужа”, — догадался Андрей.

— Батюшка здесь служит — молоденький, бородака реденькая, а сан держит — чуть ли не архиерей...

“...Эх, не про то говоришь, Наталья, не про то...” — Андрей не понимал, для чего она это рассказывает. Не в силах слышать подобное, отвернулся. С тяжёлым чувством поглядывал на купола церкви. Главный — из оцинкованного кровельного железа — был частично разобран и обложен лесами. В парусах его свода порхали голуби, залетали воробьи. Остальные луковки потускнели: их глянец почти не отражал солнца.

Каким-то необычным благолеием веяло от всего этого: и от порхающих голубей, и от древних, местами облупившихся фресок. От пожухлой листвы. От скамеек с их закрученными прогнутыми спинками. От старушек, чинно целующихся у ворот церкви. Благолеием и снотворным каким-то, потусторонним покоем.

Вот она — провинция, не жизнь, а резина! Андрей сам не знал, что его так раздражало. Может, вся эта умиротворённость, окружавшая его. Он вдруг явственно представил себя покойником, которого положили на белую скатерть и отпевают... Так и заживо помрёшь — не заметишь.

Он повернулся к Наталье, взял её за руку, сжал кисть так, что у самого побелели пальцы: “Довольно, хватит!” — словно просил он.

Подавшись туловищем вперёд, она слегка запрокинула голову, опустила веки: сейчас, да, именно сейчас скажет то, чего так ждал Андрей. Но, выдержав паузу, подавив в себе нахлынувшее чувство, она попыталась улыбнуться.

— Ты, я слышала, с Пашей живёшь, — с трудом выговорила она. — Рита мне сказывала. Если б не она, я бы тебя и не узнала.

Он отпустил её руку, отмахнулся: пустое, мол, всё. Она и не заметила, что на цевке её руки остались следы от его пальцев.

— Покойно здесь как. Век бы так сидела. Тепло и ветра нет. Давно не помню такой осени.

День и правда выдался славный. Небо было чистое, ясное, какое бывает в пору бабьего лета. Тихо, не шелухнувшись, стояли деревья. Слышно было, как над головой падает оторвавшийся сухой лист, как чирикают воробьи, скрипит ось детской коляски.

Они сидели на скамейке, прислушиваясь к каждому звуку. Всё-таки хорошо было сидеть просто так и ни о чём вроде бы не думать.

— Вот и поговорили, — стала собираться Наталья: скинула платок, поправила на затылке пучок волос, снова повязалась.

— Денёчки-то как летят, не хуже семечек: те тоже — лузгаешь, лузгаешь, пока язык не заболит... всё, кажется, не кончатся никогда. А глянешь — одни плевелы остались.

Он поднялся, начал подлаживать под себя костыли.

— Не провожай, не надо, — упредила она его. — Ни к чему.

Андрей весь как-то переменялся, застыл на месте. Мысль, что Наталья стыдится идти с ним рядом, буравчиком начинала подползать к сердцу: “Вот оно, значит, что!” — оторопело глядел он на неё.

Простенькие полусапожки, неновое уже пальто, сумка с продуктами. Ничего вроде бы особенного, пройдёшь мимо и внимания не обратишь — женщина, каких много. А нет, вон церковь, тоже ничего вроде бы особенного, а люди издалека приезжают, чтобы посмотреть на неё. Вот загадка-то...

Андрей тяжело задышал, даже в груди заболело: ах Наталья, Наталья... В монашенки подалась, в чёрный платок повязалась, траур по мужу носишь... А по нём, кто по нём — Андрею — траур носить будет?!

Он нервно, давясь, слатывал слюну. В сущности, кто он для неё? Бродяга, забытый бродяга. Как в той песне... На что рассчитывал? Что она вот так сразу бросится к нему в объятия? Нет, конечно. Что же тогда?.. Но... Ох, как обидно было Андрею! Так обидно, что режь его сейчас — он лишь спасибо скажет.

Лицо Натальи почему-то затуманилось, стало нечётким.

— Да ты, никак, плачешь. — Она опять хотела улыбнуться, но на этот раз улыбка не получилась. Чтобы не зареветь, она зажала трясущийся рот кулаком.

— Миленький... да что же это! — с надрывом вырвалось у неё. — Что люди-то подумают?..

...Было слышно, как падает оторвавшийся лист, как где-то поблизости воркуют голуби. А два пожилых человека стояли вплотную друг к другу и... молча плакали. Так, наверное, плачут перелётные птицы, с великой грустью покидая насиженные места, стремясь напоследок, хоть ненадолго, хоть на одно ещё мгновение отсрочить свой отлёт.

— ...Думала о тебе, Андрей, многие годочки думала. Как подумаю, что где-то ты... мой, родной... что теплом своим не тебя согреваю... Думала, не выдержу, руки на себя наложу. А потом детки у нас с Колей родились, забот прибавилось. Что забылось, а что пришлось забыть. Словом, притерпелось.

Одной рукой Андрей мог себе позволить обнять Наталью: гладил её голову, чувствуя под платком в пучке её волос острые концы шпилек. А она всё рассказывала и рассказывала.

Когда прощались, Наталья, точь-в-точь как тогда, при обмороке, слабой рукой обняла Андрея:

— Соловушка ты мой, — тихо произнесла она.

10

Возле кафе “Конёк-Горбунок” с вёдрами, полными яблок и картошки, со связками печатого лука всё ещё стояли бабы.

По бетонке проезжали машины. Всё обыденно, всё знакомо до мелочей. Но что-то тяготило Андрея. Это “что-то” сидело в нём, внутри, и мешало, но что — он никак не мог понять. И лишь незаметно для себя, восстанавливая в памяти весь минувший день, он, наконец, нашёл причину: Лучник — вот кто всему виной.

Странно, Андрей сегодня так и не вспомнил о нём. И Наталья тоже почему-то не вспоминала об отце. С того времени, как вернулся Андрей в посёлок после скитаний, он ни разу не сходил с Лучником близко, лицом к лицу. Примечать его издали — примечал, но не сходил. И как никогда вдруг захотелось поглядеть ему в глаза. Он понял, что этого не избежать, что непременно должен его увидеть. И если он — Андрей — этого не сделает сейчас, то никогда не сделает. Он ещё сам не знал, как это произойдёт. Возможно, старика вообще не будет дома.

Но всё случилось на удивление просто. Лучник был во дворе: под навесом сарая за верстаком рубанком строгал брус. При каждом рывке пристёпнутый к его ноге деревянный протез неприятно поскрипывал. Увлёкшись работой, старик не замечал стоящего за калиткой Андрея. Мирно, с каким-то вдохновением строгал. Изменился он сильно. Постарел. Только нос горбатый остался от прежнего мужика.

Вот он кончил строгать, отложил рубанок. Вскинув на взвод брус, как бы в кого целясь, стал проверять работу и только тогда заметил гостя. Но, заметив, не показал вида: спокойно продолжал разглядывать поделку с разных сторон. Лишь после этого повернул голову.

...Тот же отчуждённый взгляд, та же холодная надменность. Да, такой зарубит и со спокойной совестью скажет: “Иди, заявляй”. Враждебная,

словно скрытая под семью замками нечеловеческая сила духа. Собрать бы эту силу в один сгусток, не растрачивать по мелочам, не держать в себе, отдать людям для добрых целей — такое можно бы сотворить... Нет, лучше себя изведёт старик, чем на такое решится.

...Утешился, гадина, доволен! Добился своего! Каково на собственной-то шкуре?!.. — Ах, кабы во всю глотку-то Андрею: “Скачи, мол, теперь на своей деревяшке, так и подохнешь один...”

Выплеснуть бы всё, что накопилось за эти годы, а там... Язык рви — не жалко. Но чем дольше Андрей стоял, чем пристальнее вглядывался в Лучника, тем больше убеждался, что не сможет произнести этих слов. Нет, не сможет. Что-то удерживало его. Наверное, поостыл. И не всё ли равно теперь: две жизни он собирается, что ли, жить?..

II

Андрей возвращался подавленный, отягощённый чувством опустошённости. Вот увидел он Лучника, а что из того? Легче стало? Ничуть. Наоборот, лучше бы не ходил.

Андрей не мог понять: казалось бы, прожил человек большую жизнь, многое увидел, много пережил, а зачем? для кого? Непонятно. Он же до сих пор убеждён в своей правоте — этот твердолобый старик, будто Андрей Харютин повинен во всех его несчастьях.

Быстро вечерело. Дышалось почему-то вкусней, чем днём. Огибая водокачку, Андрей наткнулся на Павлу: в распахнутом ватнике, простоволосая, она ещё издали напустилась на него:

— Зачем туда ходил? Кой бес тебя понёс?

Доложили, ухмыльнулся он.

— А в городе что делал? У церкви, в скверике.

Вот народ... и это успел... В другой раз Андрей не спустил бы Павле: ведь самое что ни на есть сокровенное затронула, но весь её облик — растерянный, с потаённым робким страхом — остудил его.

Он шёл медленно. Как-то сразу навалилась усталость. Наверное, расслабился, а не надо бы.

— Дай-ка свою бандуру.

Павла помогла снять с его плеча этюдник, понесла сама. Андрей не противился. Так и шли через весь посёлок: Павла впереди, он чуть сзади.

После ужина он с трудом вылез из-за стола, нашёл давнишнюю нераспечатанную пачку “Беломора” и лёг на диван, уронив голову на жестковатый валик. Так и лежал, прижимая эту пачку к животу.

Время от времени, погромыхивая чем-то на кухне, Павла тянула свою любимую:

— Как хотела меня ма-ать да за первого отда-ать, а-я первый — человек неверный, ой, не отда-ай меня, ма-ать...

Андрей который раз слышал эту нехитрую песню, размышлял о жизни, искал какие-то новые слова, как бы он сказал. А Павла всё пела, куплет за куплетом. Скоро и песня кончится, а всё не хотелось выходить замуж, всё какие-то нерадивые женихи попадались: не пьяница — так горбатый, не скупой — так мот. Ну, как молодой девушке с таким жить?

Андрей лежал с закрытыми глазами. Нераспечатанная пачка папирос то вздымалась, то опускалась на животе. Андрея клонило в сон.

А с кухни неслась песня:

— ...Как хотела меня ма-ать да за сёмого отда-ать, а-я сё-омый — красивый, весё-ольый, ой, не хотел меня взять...

ЛЮДМИЛА КАЛИНИНА



ДАВНЕЕ ВИДИТСЯ

* * *

Тяжёлую дверь на засов заперла,
Хотела забыть всё, что было.
Метель подошла,
Под окном замерла,
Спросила тревожно:
— Простила?
Загукали ветры в холодной трубе,
Насупись низкое небо...
Да как же не сладко в дороге тебе!
Да взял ли с собою ты хлеба?

* * *

Наклонилась над омутом быстрым
Молодая цветущая верба.
Не ходила бы, верба, на берег,
Не студила бы ноги босые.

КАЛИНИНА Людмила Фёдоровна родилась в посёлке Керженец Нижегородской области. Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета, Высшие литературные курсы (семинар Ю. П. Кузнецова), аспирантуру на кафедре русской литературы XX века Литературного института имени М. Горького. Член Союза писателей России, автор нескольких книг стихов и очерков. Заслуженный работник культуры РФ, работает главным редактором газеты "Нижегородский университет". Живёт в Нижнем Новгороде.

Догоняет охотничий выстрел
Горло свадебной песни крылатой.
Не летал бы ты, селезень, к утке,
Не упал бы в апрельской дубраве.

И пропели весенние ветры,
Прошептали прибрежные травы:
“Что за счастье без омутов тайных,
Что за юность без песен сердечных...”

* * *

В ночной тишине
Порожняк прокричит, загрохочет.
Под окнами вдруг захрустит
Припорошенный лёд...
Во мраке
Крещенским морозом охваченной ночи
Медведь под корягой
Над раненой лапой ревёт.
Мне давнее видится.
Горькие детские всхлипы
Мне слышатся в пении
Высоковольтных столбов...
Медведь смастерил себе ногу
Из брёвнышка липы,
Бредёт по сугробам
Меж чёрных еловых стволов.
К нам в окна стучит!
Цепенящим ознобом объято,
Испуганно сердце клокочет
В ночной тишине:
Сейчас разглядит он
Когтистую шкуру собрата,
Охотничьи бродни,
Оленьи рога на стене!
Медвежья косматая морда
В застылом окошке,
Безумьем и мезтью пылает
Встревоженный взгляд.
С постели лечу!..
На полу умывается кошка.
Глазищи небесной Медведицы
Грозно горят.

МАМЕ

Ступенек и перил скрипучий бег
По косогору, сквозь густую вишню.
От пристани скорей наверх,
Наверх
Взлетает сердце к облакам
И выше...

А выше что?
А выше — тишина
У светлого раскрытого окна!

Здесь избы встали сами по себе,
Здесь времечко бежит само собою,
Не всколыхнув крутой волны в судьбе
Родительницы, прозванной святою.

Заступница бесстрашная моя,
Земная хлопотливая синица,
За счастьем не летала за моря,
Приняв всё то, чему дано случиться.

На сей земле с тобой я не одна,
Пред небесами вся насквозь видна.

* * *

Метель печали выплечет украдкой...
Перезимуем, станет клюква сладкой,
А ночи непроглядные короче,
Потянет в рост осоку что есть мочи.
В подлеске родниково, многогласо,
Стозвонно, слышу, оживает сказка.
Сверкая изумрудным опереньем,
Былинное заводит птица пенье:
— На мшистых кочках, в ягодах-рубинах
Таится кровь богатырей былинных.
Берите силу-ягоду горстями,
Не будьте дома у себя гостями!
Так тихо, недвижимо на болоте,
Лишь майский жук звенит крылом на взлёте.
И сердце растревоженное радо
Взойти тропю к тайне Китеж-града.

ОЛЕГ РЯБОВ



ТАКАЯ ЛЮБОВЬ

РАССКАЗ

Александр Васильевич вернулся доживать свой век в родной город. Именно его он решил считать родным. Ну, не военный же городок на Урале, где он появился на свет, а сейчас не может вспомнить даже его названия, считать родным! Или какой другой, где служил его отец-офицер. А потом и он мотался всю жизнь по родной стране и по заграницам, будучи главным инженером проектов “Газпрома” и осуществляя технический надзор за крупнейшими стройками века.

Конечно, родной город тот, где прошли лучшие годы жизни — детство и юность. Это время первой любви, первых самостоятельных решений, первых ошибок, обид и побед. Благо сыновей вырастил умных, сильных: один — банкир, другой — хозяин сети закусочных в Подмоскowie; сбросились сыновья и купили папке квартиру в центре этого города. Небольшая квартирка, двухкомнатная, в доме, который народ называл “китайской стеной”. А та, в столице, в Тёплом Стане, — да пусть она останется, как запасной аэродром!

Почти год уже живёт Александр Васильевич здесь со своей маленькой белой лайкой Норкой. Ни друзей, ни одноклассников, с кем можно было пообщаться душевно, он в городе не нашёл: либо спились безвозвратно, либо состарились до маразма, либо вели себя с ним пришибленно, как с московским начальником... Хотя грели воспоминания от прогулок по высокой

РЯБОВ Олег Алексеевич родился 1948 г. в городе Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова. Редактор-издатель альманаха “Земляки”, председатель Нижегородского отделения Литературного Фонда России. Автор нескольких поэтических сборников и книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

Волжской набережной, по старинному кремлю, по знакомым тихим купеческим улочкам. Грело и то, что он нашёл могилку мамы на старом кладбище. Вот маме, наверное, повезло: она и родилась здесь, и нашла свой последний приют. Только рано мама ушла.

Он разыскал на кладбище старую металлическую пирамидку, на которой увидел свою фамилию. Заплатив кому надо и сколько надо, уже через три недели на месте ржавого надгробия он поставил памятник из розового мрамора с портретом улыбающейся мамы.

Про того единственного человека, с которым Александр Васильевич хотел бы встретиться и кого хотел бы увидеть, он боялся даже думать. Он представлял, во что могла превратиться в шестьдесят лет та, которая переполняла его в молодости гормонами и эмоциями, заставляя делать глупости... Он понимал, что встречаться не надо, а прикладывать к этому усилия — тем более.

Во дворе он уже знал всех пенсионеров своего возраста, которые выходили гулять, но контакты не завязывались, и мешал не столичный снобизм, нет — его не было, а был железный партийный стержень, который всю жизнь позволял ему принимать решения и брать на себя ответственность. Ещё министр Динков говорил ему и Виктору Черномырдину: “Это — большевизм! Он мешает вам. Выбросьте его из головы!” Но ничего Александр Васильевич не мог с этим поделать, и все, общаясь с ним, чувствовали, что перед ними начальник, а с начальниками откровенными не бывают.

Только две дамочки из соседнего дома, его же лет, но молодящиеся, позволяли себе заигрывать с ним. Он даже уговорил их называть его Сашей, а сам их звал Ниной и Катей. Они трепали его Норку, а та виляла хвостом и не возражала, хотя на остальных если и не рычала, то шерсть на загривке все же предупредительно поднимала дыбом. Для разговоров у дамочек были две темы: здоровье всех, проживавших в соседних домах, и личная жизнь президентов Америки. Он с удовольствием поддерживал такие разговоры и делился с ними рассказами о том, чем болели его друзья во Вьетнаме или в Тюмени и как лечат самые простые болезни в Тюмени или Вьетнаме. Нина с Катей чувствовали некую иронию в таких рассказах, но очень мудро не подавали вида, и ему начинало казаться, что это и есть правильное отношение к жизни.

Очень хотелось Александру Васильевичу сделать какой-нибудь подарок этим дворовым дамочкам, но он не мог придумать — какой: не по паре же золотых серёжек... Подарки он делать любил: как-то внутренне возбуждался, видя, что людям приятно его внимание. Решил он однажды пригласить Нину с Катей к себе в гости на чай. Те, не раздумывая, согласились.

Александр Васильевич застелил белой скатертью стол в гостиной, расставил красивые чайные тонкие чашки, купил дорогие конфеты и пирожные, два букетика последних ландышей с пожелтевшими и уже облетающими фарфоровыми нижними колокольчиками и отыскал бутылку совершенно женского вина: массандровского муската Красного камня.

Дворовые дамочки появились вовремя. Но вместо радостных восклицаний и шуток произошло нечто совсем неожиданное. По чёрным шляпкам и строгим лицам Александр Васильевич понял, что у его знакомых траур. В их возрасте потеря друзей и близких — не такая уж редкая вещь.

— Что случилось, мои дорогие? По ком траур?

Дамочки, дополняя друг друга, но не перебивая, рассказали:

— В соседнем дворе... в точечном доме за стадионом... жила наша хорошая подруга... Ирина Ивановна Старикова... она была прекрасным врачом педиатром... Она вчера умерла... последний год она лежала парализованная... Социальный работник за ней ухаживал... Родителей своих, папу с мамой, она ещё пять лет назад похоронила... Они тоже прекрасные врачи были, профессора... Ни детей, ни родственников у неё больше нет... и хоронить её некому... Вот мы и думаем — как быть...

Ирина Ивановна Старикова... Вот уж не полагал, что так придётся с ней встретиться, — подумал Александр Васильевич.

— Дамочки мои милые, — сказал он решительно, — отведите меня к ней. Я её похороню. Я сам всё сделаю.

Было время, и Сашка его застал, когда в самом центре старинного большого города можно было встретить сады, заполнявшиеся в мае бушующим морем цветущих вишен. И клумбы под окнами деревянных домиков с тюльпанами и нарциссами. И одуванчики цвели вдоль всех тротуаров.

Он стоял на балконе второго этажа нового дома, в котором дали квартиру папе, военному, приехавшему служить в этот город с Урала. Мама была счастлива: она в этом городе родилась и прожила большую часть жизни. Они с папой сидели на вешах, сваленных в кучу в большой комнате, а Сашка стоял на балконе. Он смотрел сверху, как в соседнем дворе, за высоким сплошным забором, девочка в голубеньком платьице, с белыми капроновыми бантами, влетенными в коротенькие косички, играла с крупной белой лайкой. Девочка кричала: “Норка, ко мне!” Собака с разбегу прыгала на девочку, неуклюже зависала в воздухе, подогнув ноги и закидывая голову, и твёрдо садилась, прижав уши и свесив свой длинный и мокрый язык. Собака радовалась, а девочка брала её за уши и целовала в лоб. Похоже, они очень любили друг друга.

Мама с папой тоже вышли на балкон и встали рядом с Сашкой.

— По-моему, эту девочку зовут Ирой Стариковой, — сказала мама. — Мне подруга писала, что у Стариковых родилась девочка, но я её не видела. А девичья фамилия её мамы Гогина, Лида Гогина. И дом этот частный, “гогинский”. На этой улице почти все доходные дома когда-то были “гогинские”. Гогины такие богатеи были до революции. А когда в двадцатые годы, уже в советское время, собственность стали реквизируют, все Гогины разбежались от греха подальше: кто за границу, кто в Ленинград. И дома стали государственными. Только Лидочкиному папе, известному врачу, этот домик с палисадником оставили. После революции наркомом здравоохранения стал Семашко, замечательный человек, он-то и спас многих наших врачей, а может, и всю нашу медицину. Ввёл он тогда какое-то почётное звание, вроде “народного врача”, ну, прототип современного “почётного работника”, и оставили этим лучшим врачам частные дома, чтобы они могли принимать больных и в клиниках, и на дому. А так как Семашко ещё до революции некоторое время проработал у нас в городе, то первыми это звание и получили наши. Я знаю, что их было пять человек: Орнатский, Богуш, Ситников... И Лидин папа в этом списке был. Я его помню, чудный дядька...

В это время сквозь белые буруны цветущих вишен было видно, как открылась калитка, и в палисадник вошёл мужчина в светлых бежевых брюках, босоножках и белой рубашке-распашонке навыпуск. Девочка с криком: “Папка, я тебя люблю!” — бросилась к нему и повисла на шее. Мужчина прокрутил девочку вокруг себя и, держа на руках, зашагал к дому. Поднявшись по ступенькам крыльца, они скрылись на застеклённой веранде, а лайка несколько раз удивлённо гавкнула и уселась ждать.

Около подъезда стояли несколько любопытствующих старушек, по крайней мере, так хотелось их назвать Александру Васильевичу, и с ними беседовал уже не молодой капитан милиции. Александр Васильевич сразу сориентировался и подошёл к нему.

— Вы — участковый?

— Да, — небрежно ответил капитан.

— Я когда-то хорошо знал эту женщину, Ирину Ивановну. Можно сказать — я её первый муж.

— Ну и что? — сказал капитан.

Александр Васильевич достал из кармана пиджака старую визитку — благо сохранилась! — и протянул милиционеру. Тот прочитал её внимательно и, разглядев все должности и звания, совсем по-другому посмотрел на него.

— Капитан, её уже увезли?
— Да.
— А куда?
— Не знаю. В какой-то морг.
— Кто констатировал смерть? Участковый врач?
— Конечно. Она ведь давно болела.
— И кто её будет хоронить? И где?
— Не знаю. Наверное, социальные службы. На том кладбище, где место найдут.

— То есть как бомжа?

Милиционер пожал плечами.

— Капитан, я хочу похоронить её по-человечески. Помогите мне.

— Конечно, помогу, если смогу. Я ведь Ирину Ивановну тоже хорошо знал.

Александр Васильевич протянул капитану несколько пяти тысячных бумажек.

— Возьми деньги... Сначала заберёшь у участкового врача справку, заедешь в загс, купишь приличный гроб и привезёшь покойницу. Отсюда будем хоронить. Если не хватит денег — скажешь. Если надо — закажи на целый день такси. А сейчас пойдём в квартиру — надо, чтобы наши дамы поискали там смертное. Или что-то приличное, в чём можно в гроб положить. Ну, они сообразят.

— Так там же опечатано!

— Капитан, ты же участковый! Значит, ты имеешь право распечатать! Не бойся, если что — я всё разрулю.

В комнатах был полный кавардак: кучи какого-то старья, тряпок, книг, и угнетающе пахло лекарствами. Пахло не теми лекарствами, которые говорят о болезни: пахло так, что всё говорило о смерти. Пахло смертью, она ещё не ушла отсюда, и Александр Васильевич чувствовал это. Женщины быстро нашли то, что было надо.

— Милые мои, друзья, а вы хоть знаете, на котором кладбище у неё родители похоронены?

— Конечно, — хором ответили дамочки. — Мы же были на похоронах.

— Тогда я поехал.

— А как же без свидетельства о смерти?

— Я договорюсь. Я там всех знаю. У меня на том же кладбище мама похоронена.

* * *

Они уже целовались. С десятого класса. Они гуляли по вечерам в сквере под фонарями, между сугробами, и целовались, а большая белая Норка разрешала им и даже немножко смущалась, отворачиваясь. Она зарывалась мордой в снег и делала вид, что там что-то ищет: то ли мышей, то ли замёрзшую косточку.

— Завтра мы идём с тобой на новогодний школьный бал в Дом офицеров. Папа нам билеты достал.

— Нет, Сашенька, я не смогу.

— Как? Почему?

— Мы с папой и мамой идём на концерт. Это уже решено.

— Но ведь мы же тоже с тобой решили, что пойдём на этот новогодний бал старшеклассников. Мы же с тобой говорили об этом две недели назад.

— Да, говорили. А вот теперь оказалось, что я не смогу.

— А как же я?

— Сашенька, я не хочу тебя обидеть. Просто я должна пойти с папой и мамой. Они так любят меня, и я их так люблю... Мы всегда должны быть вместе. Это наша семья.

Кладбище было старым, заросшим — прямо лес какой-то: липы, клёны, берёзы. На могилах — только мох да лесные ландыши. Маленькая церковь, скорее, даже часовня, аккуратная такая, праздничная. Никакой скорби в ней. Александр Васильевич всегда заходил в неё и покупал свечку, когда приходил к маме. Ставил свечку он по наитию, к той иконе, которая больше понравится. Он не разбирался в церковных правилах, но всегда поступал так, как положено. С детства усвоил, что необходимо выполнять общепринятые правила, если хочешь быть свободным.

Сейчас он отправился в контору кладбища, небольшой одноэтажный домик, стоящий рядом с храмом.

Мужики, сидевшие на лавочке у входа, курили. Они его узнали — мужики всегда помнят тех, кто им платил деньги. Вот в мужиках была и скорбь, и усталость. Несмотря на припекавшее уже солнце, сапоги их были покрыты рыжей влажной глиной, и лопаты, лежащие рядом, тоже были в глине.

— Здорово, мужики!

— Здорово, коли не шутишь!

— Поможете мне?

— А чего же не помочь доброму человеку.

— Тогда я загляну к вашему начальству, а потом пойдём работать.

В конторе, когда узнали его проблему, замахали руками: без справки из морга, без права на могилу?! И где её искать, эту могилу Стариковых, которые похоронены пять лет назад? Но деньги делали своё дело исправно, и через полчаса он с мужиками стоял у массивной ограды, за которой стояли два памятника из мраморной крошки. Ирина Ивановна позаботилась и о себе — место для третьей могилы было рядом с матерью.

Распрощались они навсегда в сквере, где часто целовались. Но оба они тогда не верили, точнее, не знали, что это навсегда. У каждого из них была в тот день своя правда, и каждому казалась, что его правда — правильнее... А заявление в загс было между тем было уже подано.

Дурманящий запах черёмухи. Ира стояла с веткой черёмухи в руке.

— Но я не могу с тобой уехать! — говорила она.

— Почему? Ведь мы же любим друг друга? Пойми: я мужчина, я должен работать с полной отдачей, я должен самореализоваться. А такая возможность у меня вряд ли когда ещё появится. В двадцать пять лет стать инспектором, заниматься техническим надзором за строительством крупнейшего в Европе газопровода!

— Понимаю. А я — что?

— Ты женщина. Ты должна рожать детей. Мы вместе будем их воспитывать, растить, любить. И это будет наша семья.

— Я — женщина? Должна рожать?

— Да. Я, к сожалению, при всём желании не смогу рожать детей.

— Но у меня ещё есть папа и мама. Они меня любят, и я их люблю. И я не могу их так бросить! Что — они останутся здесь одни, а мы уедем?! Мы можем и здесь жить, любить друг друга, иметь семью. У тебя ведь интересная профессия, хорошая работа. По крайней мере, ты так всегда говорил мне...

— Это не работа, это — служба... А раз в жизни мужчина должен рискнуть! Поставить высокую планку и попытаться её взять.

Обида за непонимание — до боли в груди.

Они и в тот день не верили, что видятся в последний раз.

Они тогда думали, что всё утрясётся.

Они же любили друг друга...

* * *

Александр Васильевич всё успел сделать.

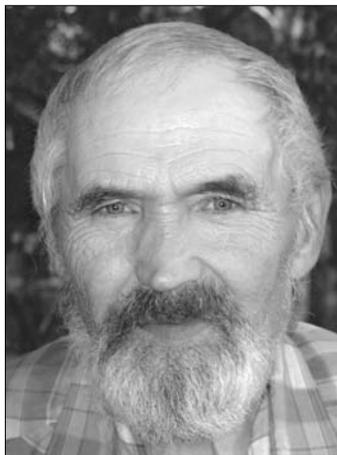
И белый гроб стоял в большой комнате. И бегущую строку со словами соблезнования заказал на телевидении. И врачи-сослуживцы пришли. Гора цветов. И с отпеванием договорился, и с поминальным обедом в ближайшей столовой.

Сейчас, когда все пошли к автобусам, а он один на минуту остался перед холмиком жёлтой влажной глины, в нём не было ни капли скорби. Откуда-то нахлынули усталость, разочарование и обида. Это чувство было знакомо ему: так бывало, когда он заканчивал большую ответственную работу.

Первые снежинки облетающего черёмухового цвета, неспешно кружась, ложились на свежую могилку.

“Вот вы и навсегда вместе. Вот и любите друг друга...”

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ



СТАРАЯ ЗАИМКА

ОСНЕЖЬЕ

Легли снега матёрые,
На волю радость просится!
Над струйчатой Ичёрою
Азартный лай разносится.
Знакома песня давняя,
Но ранен ею снова я:
То близкая, то дальняя,
Она всегда, как новая.
То белая, то синяя,
Та песня немудрёная
С ветвей пушистым инеем
Слегка посеребрённая.
Возьму ружьё гремучее,
На лыжи встану каткие,
Уйду в хребты дремучие
Еловыми распадками.
Не надо мне ни соболя,
Ни птицу, ни сохатого,
А плыл бы над сугробами
Дым от костра мохнатого!

ГОРБУНОВ Анатолий Константинович родился в деревне Мутино Киренского района Прибайкалья в 1942 году. Стихи стал писать ещё школьником. Рано приобщился к труду: пастишил, пилил лес, плавал на пароходе кочегаром, несколько лет проработал в авиации. Первые стихи А. Горбунова были опубликованы в альманахе "Сибирь", в газете "Литературная Россия", в сибирских журналах. В 1977 году он был принят в Союз писателей СССР. Сегодня А. Горбунов — автор почти двух десятков книг стихов и прозы для взрослых и детей.

Мне счастье — лайки верные,
Ичёры струны длинные
И облака вечерние,
Как лежбища звериные.

ПРОВОДЫ ЛЕТА

Угольками стрелял костерок.
Сивый пепел осел на осоку.
В поднебесье метался дымок,
Как за лапку привязанный сокол.
Безнадёжно рассыпался плот,
Ни к чему его, милая, ладить —
Вон пошли крохали на улёт,
Разбежавшись по зыбчатой глади.
Всё смотреть бы на них, всё смотреть,
До конца своих дней любоваться
И, обнявшись с тобой, умереть,
А весной молодыми подняться!
Листопадом истекшая даль
Обнажила проточные воды,
И легла мировая печаль
На лицо обречённой природы.

СТАРАЯ ЗАИМКА

Здесь чья-то старость, молодость и детство
С лица земли исчезли навсегда,
С неприбранным погостом по соседству
Остались бор и поле для труда.
Берестяная простенькая утварь
Ещё хранит хозяйское тепло.
Как девочка, смеющееся утро
Уставилось в оконное стекло,
А ржавые сосновые иголки
Втыкаются в ладони лопухам,
Вакают за пряслом перепёлки,
И вторит им пустой небесный храм.
Развёл костёр... и тут же зоркий ворон
Откуда-то примчался на дымок:
Кто, дескать, здесь, указу непокорен,
Разжёт без спросу русский огонёк?
Пропахшее смородишником лето
Любуется собой в речную гладь...
На этой обезлюдевшей планете
Всё сызнава придётся начинать.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Тихо скажешь: “Не зови. —
Тихо скрипнешь дверью... —
Были крылья у любви,
Да остались перья...”

И уйдёшь к другой судьбе,
К новому крылечку.
Даже память о себе
Заметёшь в припечку.

РОССТАНЬ

Иль-пророк озёра остудил,
Примял овсы гремучей колесницей.
И не ходить за сладкой полуницей,
И не топтать потрескавшийся ил.

Ещё вчера, когда пылал закат,
И плавилась разбойно шуки в Лене,
И грозно колыхались наши тени,
Молила ты, в руках терзая плат:

“Прошу, обратно в город отпусти,
Но лучше бы, пойми, уехать вместе,
Нас обмануло счастье из бересты,
С непойманной малиновкой в горсти...”

Зачем бездарно молодость губить
В забытой Богом северной деревне?
Сплошная грязь, её осилить где мне!
Зерно да скот, а хочется пожить...”

Не изнывай по каменным домам,
Лети, сказал, и вей гнездо на старость,
Пусть не сбылось, о чём с тобой мечталось,
Я — хлебосей и землю не предаю.

Живёшь теперь в желанном далеке,
А здесь, где ты цветам дарила тело,
Твоё лицо тайга запечатлела
На каждом увядающем листке.

ДЕТИ ПРИРОДЫ

Милая с милым — гусь да гагара.
Все говорили: “Дружная пара!”
Крепко слюбились, здорово спелись.
Свадьбу сыграли и разлетелись.
Быстро забылись жаркие клятвы
И золотые праздники жатвы.
Радость чужая очи слепила.
Для солнцеликих город — могила.
Сказочный аист в тёмную ночь
Им не подбросил сына и дочку.
Предали землю дети природы —
Вот и напасти, вот и невзгоды.
Стали седыми, словно проснулись.
Рано умчались... Поздно вернулись...
Глянут налево, глянут направо:
Дикое поле, сорные травы,
Сыплется иней с веток, блистая.
— Ой, ты, деревня наша пустая!
Родина всё им нынче простила.
Вот оно, счастье... Было, да сплыло...
Не докричаться, не дотянуться.
Ивы от ветра, ойкая, гнутся.

ТРУДНАЯ МУЗА ВАЛЕНТИНЫ АНТИПЬЕВОЙ

В начале октября прошлого года пришла печальная весть из Тюмени: на 78-м году жизни скончалась поэтесса Валентина Андреевна Антипьева. Валентина Андреевна принадлежала к тому кругу поэтов, музой которых стала эпоха. Эпоха смуты и мятежа, эпоха перемен. И потому поэзия её нелегка, строки словно выкованы из горящего железа, они, словно мятежный колокол, будят наше сознание, заставляют сопереживать и сострадать поэту, за ними – вся боль, вся тяжесть времени, когда ломались привычные устои, когда приходилось пересматривать, передумывать, переосознавать многое, что казалось незыблемым, вечным. Жизнь Валентины Антипьевой (в девичестве Колесовой) складывалась по лекалам эпохи, и жизненный путь её был похож на жизненный путь многих и многих советских людей. Родилась она в семье раскулаченных крестьян с Алтая, которые в поисках лучшей доли подались в Среднюю Азию. Затем семья вернулась на свою родину. А тут – война... Отец Валентины Андреевны сгинул где-то в фашистском плену, и можно представить себе голодное и холодное детство этой сибирской девочки, которая рано узнала лишения и труд, но это только закалило её характер. Пришла Победа, и жизнь начала налаживаться. Вернулся в 1946 году пропавший, казалось, безвозвратно, отец, Валентина закончила железнодорожную школу на станции Тягун Алтайского края и переехала в Томск. Работала на заводе, поступила в Томский университет на физический факультет и закончила его в 1964 году. Затем замужество, переезд в Тюмень, работа в Тюменском индустриальном институте, рождение дочерей... Обычная жизнь советского человека, который сделал себя сам, пользуясь теми возможностями, что дало ему Советское государство.

*Потомки скажут обо мне:
Жила в советскую эпоху,
Жила ни хорошо, ни плохо,
Жила, как, в общем, жили все...*

Конечно, жизнь была непростой, во многом трудной, но понятной и ясной. А вот в конце восьмидесятых годов наступили совсем другие времена, время словно потеряло само себя, пришла эпоха перемен, которая сломала многих, но в некоторых людях пробудила энергию сопротивления, которая вылилась в стихи. Сама Валентина Андреевна признавалась, что когда после пятидесятилетнего рубежа своей жизни она начала писать стихи, то её не воспринимали всерьёз, над ней смеялись. А она словно выливала весь нерастраченный жар души в нелёгкие, обжигающие строки, в которых жило время:

*Угорев от дымящейся стали,
Захлебнувшись в прудах новостей,
Мы от хаоса жизни устали,
От скользящих случайных властей...*

Как здесь точно подмечена вся причина бед, порождающих “хаос жизни”, – это “скользящие случайные власти”, от которых, действительно, устала страна. Это из стихотворения 1997 года. Смутная эпоха, смутное время... Но поэт не был бы поэтом, если бы не искал в своём творчестве чего-то вечного, незыблемого, прекрасного. И такие стихи есть у Валентины Андреевны, и мы с теплом в душе и с печалью об ушедшем таланте предлагаем их вниманию наших читателей. Стихи покойной поэтессы предоставлены её мужем Владимиром Наумовичем Антипьевым.

Станислав ЗОТОВ

ВАЛЕНТИНА АНТИПЬЕВА



МЯТЕЖНЫЙ КОЛОКОЛ

*В часовенку Тобольского кремля
Был заточён особенный изгнанник*.
Кнутом был бит, лишённый языка,
И без одной проушины тот странник.*

*Две тыщи вёрст из Углича в санях
Везли его не лошади, а люди, —
Похоронить ослушника в снегах:
“Пускай-ка горло холодом остудит!”*

*Таков был Колоколу судный приговор
За то, что звал народ на смуту.
По меркам нынешним то наказание — вздор.
Как может колокол вредить кому-то?*

*Казнённых — двести. Тысячи — в острог,
А Колокол, как соучастник, — в ссылку.
И чтоб звонить мятежник тот не мог,
Язык его отправили в плавилку.*

*По ком звонят в веках колокола?
Звонят они по нам, звонят по тронам.
Кому ж платить за грешные дела?
Колоколам и — на кострах — иконам.*

2000

* По преданию, мятежный колокол Углича, поднявший народ на восстание после убийства царевича Димитрия (1591), был показательно наказан: бит кнутом и отвезён в Тобольск, в “ссылку”.

* * *

*Отцы остались на Великой...
А те, кто дожил до седин,
В ту даль всё смотрят скорбным ликом,
Всё путь сверяют на свой Берлин.*

*Афганистан сынам достался,
А внукам выпала Чечня.
За что погиб? За что сражался?
Кого и чья же здесь вина...*

*Остались матери и дети,
А им — расти, чтоб снова — в бой.
А матерям успеть отпеть их
И — со святыми упокой.*

*Едва рождён — уже зачислен
В такой-то год, в такой-то ад...
Покойнику — по здоровой мысли —
Не нужно славы и наград.*

6.04.2000

* * *

*В том краю, краю далёком,
То ли белые метели,
То ли лебеди летели,
Песни пели птичьим клёком.*

*На просторе на великом
Вьюги землю сторожили,
Веретёнцами кружили,
Ворожили бабьим кликом.*

30.10.1997

* * *

*И покатился грозный двадцатый век
К своему последнему пристанищу.
И стала Земля — ристалищем
Для кованых игр на железных конях.
Застонала Земля от железных копыт,
Потемнело небо от железных птиц.
И наполнился воздух скрежетом.
Запылали дома в городах, деревнях,
И покрылась трава чёрной копотью.*

2.03.1996

* * *

*Благословляю хлеб — в чужой руке,
Благословляю рыб — в светлой реке,
Благословляю пир — в любом доме,
Благословляю жизнь — в любом году.*

*Благословляю плач, коль детский он,
Благословляю сладкий детский сон.
Благословляю молодой задорный смех.
Земных благословляю тварей всех.*

*Твоё благословляю имя, человек,
Двадцатый, уходящий в Лету век.
Благословляю всех, кто в нём рождён,
Кто победил в бою, кто побеждён,*

*И летний дождь, и всполохи зари,
И пляшущие в речке фонари.
Благословляю цвет и жест, и речь,
И Землю ту, в которую мне — лечь.*

27.06.2000

* * *

*Сухонькая, в ботиках суконных,
С сумкой в тощей маленькой руке,
Обочь толпы, у стеночки бетонной —
Бабушка, как щепка по реке,
К берегу прибитая волною,
Медленно плывёт, как по волне.*

*На лице — такая отстранённость,
Удалённость от сует толпы.
А в глазах — спокойная бездонность
Мудрой и глубокой чистоты.*

*Все дела земные отлетели
От неё в ушедшие года.
А толпа в суетной канители,
В злой гордыни удалю полна,
Обгоняя, прытко мчится к цели,
От которой бабушка... ушла.*

25.02.1993

* * *

*Апрель. Дорога по степи
Набухшим снегом раскисает.
Отец с Великой той войны
В немецких сапогах шагает.
Он долго шёл с войны домой —
Четыре с половиной года.
Катилась по щеке слезой
Его Победа и Свобода.
Я помню день тот, как сейчас.
Как бабушка моя седая
Глядит в окно: “Никак... Андрей?” —
И пошатнулась, приседая.*

11.12.1992

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ



НЕ ЗАБЫВАЙ ЯЛТУ!

РАССКАЗ

Василий Комаров* на войне командовал взводом. Летом он получил ранение под Мариуполем, а лечиться его отправили в Крым. Врачи велели ему ходить, чтобы разрабатывать больную ногу, и он подолгу гулял по Ялте. В этот сырой осенний день Комаров шёл по горбатой выщербленной дороге из Ялты в Аутку. Слева, словно обрываясь из-под его ног, уходили вниз разномастные кровли, между которыми недружелюбно поблёскивало алюминиевое море, справа того же цвета небо подпирала отвесная гора, служившая как бы стеной дороги.

Туман стучался. Внизу, наконец, Комаров увидел подходящий по описанию дом — цель своего сегодняшнего путешествия. Здесь когда-то жил знаменитый писатель. Так вышло, что Комаров до тридцати лет не прочитал всерьёз ни одной его вещи, кроме коротких рассказов. Когда он был студентом, то прозу этого писателя молодёжь считала занудной и устаревшей. Потом пошла такая жизнь, что стало вообще не до чтения. А в симферопольском госпитале Комаров нашёл в тумбочке оставленную прежним хозяином потрёпанную книгу писателя “Повести и рассказы” и прочитал от корки и до корки. Эти повести и рассказы обладали бесценным качеством старой доброй

* Большинство героев рассказа носят подлинные фамилии и имена прототипов. — Прим. авт.

ВОРОНЦОВ Андрей Венедиктович родился в 1961 году в Подмоскowie. Доцент Литературного института им. А. М. Горького, секретарь Правления Союза писателей России. Все годы “незалежности” Украины активно выступал в печати за возвращение Крыма в состав России, с 2001 года постоянно живёт летом в крымском Симеизе. В 2014 году стал одним из учредителей Крымской региональной организации Союза писателей России, избран её председателем.

прозы — помогали, когда трудно. Не то чтобы они пробуждали надежды и звали неведомо куда, напротив, с тихим мужеством говорили, что жизнь человека — это страдание. Счастье в ней так мимолётно, так редко. Оно гость в этой жизни, а не постоялец. Постоялец — это страдание. Всё, всё, что происходит с этой когда-то огромной страной, — тоже страдание. Огромный театр, а в нём — бесконечная драма. Вот-вот, казалось бы, наступит очищение, катарсис. Шли годы — не наступало.

Комаров смотрел сверху на окутанный туманом белый двухэтажный особняк с башенкой. Неясно, как в полусне, вспоминалось недавно прочитанное: "...мелькали внизу огни... казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть... им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то... они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз всё-таки надо..."

— Всё-таки надо, — повторил вслух Комаров. Где-то там, на северо-востоке, в степях Приазовья, шла война, на которую ему предстояло вернуться. Комаров был добровольцем, но в победу уже не верил. Если бы весной или хотя бы в августе... После ранения он почувствовал какое-то безразличие к происходящему. На больничной койке у него появилось время, чтобы поразмышлять над своей жизнью. Всё чаще он приходил к выводу, что он никакой не солдат, и на этой войне вполне могли бы обойтись и без него. Быстро смеркалось. Комаров, хромая, пошёл назад.

Когда он вернулся в центр города, уже совсем стемнело. Дом, в котором Комаров снял комнату, был у самого моря. Окна во втором этаже померанцево светились. Он открыл дверь выданным хозяйкой ключом, вошёл в прихожую. Когда он зажгёт свет, из таинственной глубины зеркала напротив на него посмотрело длинное утомлённое лицо с сильно обозначившимися под глазами. Комаров недовольно отвёл глаза, пригладил волосы. На лестнице показалась хозяйка. Они поздоровались.

— Будете пить чай? — улыбаясь, спросила она.

— Не откажусь.

Поднялись в гостиную. Комаров отвык от общения с женщинами и смущался, ловя на себе её взгляд. Анна Лаврентьевна несколько лет назад потеряла мужа, но была ещё довольно свежей и милой женщиной. Они сидели друг против друга за круглым столом и пили заваренный хозяйкой чай. Анна Лаврентьевна спрашивала Комарова про войну, он скупо отвечал, потому что всерьёз ничего вспоминать не хотелось, а в шутку было вспомнить нечего. Тогда она поведала ему о покойном муже; он внимательно слушал, но впоследствии обнаружил, что в памяти об её муже не осталось почти ничего.

Потом замолчали. *Тихий Ангел пролетел.* Чай был допит, следовало, вероятно, откланяться. Но Комаров отчего-то всё сидел, считая чаинки на дне чашки. Он немного разговорился, и оставаться одному не хотелось.

— Вы странный человек, Василий Матвеевич, — ласково сказала Анна Лаврентьевна. — Внешне похожи на военного, а по характеру — нет. Военный человек готов ответить на все вопросы жизни, не задумываясь, правильно или неправильно. А вы как бы всем своим видом говорите: может быть, так, а может, этак.

— Что ж, — пожал плечами Комаров, — не буду скрывать, Анна Лаврентьевна, я не знаю ответов ни на один вопрос жизни.

— Так ли? — засмеялась она. — А как же вы живёте?

— Так и живу.

— Ну, на войне-то, наверное, вы знаете, что делать?

— Наверное. Поэтому-то я на войне.

— А страшно убивать людей? — неожиданно спросила она.

Комаров поднял глаза от пустой чашки. Анна Лаврентьевна сидела, удобно откинувшись на спинку стула, округлые колени едва проступали под мягкой материей платья.

— Первый раз убить человека страшно, ежели ты с ним лицом к лицу, — наконец ответил он, растягивая слова, как на экзамене. — Но вообще это не самое страшное на войне. Страшно, когда тебя убивают. — Он под-

нялся. — Вы знаете, в обществе такой приятной женщины, как вы, как-то не хочется об убийствах. Спасибо за чай.

Комаров спустился к себе, разулся, лёг на диван. Он знал, что уснуть долго не удастся. Смежив веки, глядел на проплывающих под ними прозрачных амёб. Густой туман, белый, как молоко... скрывает бездонную пропасть... в числе бесконечного ряда жизней... его... этой женщины с круглыми коленями... Колени вдруг приблизились, и он положил на них голову. В точно таком же положении Комаров проснулся три дня спустя вечером. В темноте он видел над собой лицо Анны Лаврентьевны, влажный блеск её глаз. Она склонилась над ним, гладкие груди коснулись его лица. Мимолётное это прикосновение оставило ощущение радости. Так, словно вспоминаешь о ней... Он прижался небритой щекой к её животу. Анна прерывисто вздохнула. Тикали часы. Море одышливо било в набережную. Сквозь зашторенные окна веером проникал, скользя по полу, зелёный свет маяка с оконечности мола.

— Знаешь, — сказала Анна, — а ведь с мужем у меня не было так... ты понимаешь? Я даже тяготилась нашими отношениями. Хотя по-своему и любила его.

— А разве после мужа ты ни с кем не встречалась?

— Встречалась... Да всё как-то не так. Как-то просто. Точно по необходимости. Да и кому сейчас до любви? Встретились — и разошлись.

— А что значит — просто? Одинокие постояльцы вроде меня?

Анна усмехнулась.

— Может быть, ты и не знаешь ответов на вопросы жизни, но сам, как всякий военный, задаёшь прямые вопросы. Слишком прямые.

Комаров поморщился.

— Прости, Аня. Как-то очерствел душой, незаметно. Дело уже не в войне. Просто жизнь стала, как бездна в тумане. Это один писатель сказал. И куда ни пойдёшь — всё вроде бы стоишь на краю пропасти. Назад пути нет, а впереди туман, бездна.

— Зачем ты так? Мир не бездна, в нём люди живут. И у тебя, наверное, есть кто-то, родные, близкие... любимая.

— Никого у меня нет. Я уже и забыл, когда с людьми по-человечески разговаривал, ну, вот как теперь с тобой.

— Ну, и говори, Васенька, говори.

Он засмеялся, провёл пальцем по её ключице.

— А разве тебе интересно?

Она не ответила, поцеловала его в глаза. Он приподнялся, сел рядом, обнял её за плечи. Проектор на мгновение осветил их загорелые плечи, блестящие лодыжки Анны Лаврентьевны и бледную грудь Комарова.

Назавтра выдался прекрасный, солнечный день. Туман испарился, воздух подох и остекленел. Южный ветерок промыл его. Море из алюминиевого сделалось сиреневым, тёплым на вид. Оно, может быть, и вправду было тёплым: по нему прыгали, как детские мячи, головы купальщиков. Одурающе пахли кипарисы. Анна Лаврентьевна и Комаров шли по набережной. Комаров кормил чаек, бросая им куски булки.

— Отвратительные птицы, — говорил он, шурясь на солнце. — Раньше, когда я не видел их, то, как и многие, полагал, что в них есть что-то поэтическое. Ничего подобного. Во всяком случае, вблизи. Они вечно что-то клюют на помойках своими длинными развратными клювами. “Чайка” у Чехова — страшное название. Читателю с “большой земли” это не понять.

— Ты говоришь, как крымские рыбаки. Они называют чаек летающими свиньями, а дельфинов — плавающими свиньями. А, по-моему, чайки — красивые птицы. Такой излом крыльев...

— Ещё немного, и ты убедишь меня, что эта подсиненная лужа — Понт Эвксинский — тоже красива.

— Ты шутишь? Я никогда не поверю, что кому-то может не нравиться Чёрное море.

— Нравится, нравится! Только для северянина немного конфетно. Прямые линии Балтики, адмиралтейская игла, шлем Исаакия, ростральные ко-

лонны — вот наша красота. Дух Петра Великого. “Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия”. Военный корабль так же уместен на Балтике, как заколка в твоих волосах. А посмотри на этот сторожевик: смотришься, как задник декорации в оперетте. Уж балтийцы не дали бы дважды утопить свой флот.

— На севере холодно, — она передёрнула плечами. — А я не люблю холода. Где холод, там и смерть. И мне не нравятся прямые линии.

Море искрилось лучами, как будто в нём плавали зеркала. Воздух подёрнулся ленточками шашлычного дыма. Из гостиницы “Россия” высыпали на набережную и мол по-летнему одетые мужчины и женщины. Были даже иностранцы с фотоаппаратами. Комаров и сам чувствовал себя иностранцем. Казалось, с того момента, когда он стоял над плавающим в тумане домом писателя, прошло лет девяносто. Неужели где-то есть война? Зачем?

В открытом кафе на набережной они заказали вина. Комаров пил много, чтобы подольше ощущать себя не слишком обременённым заботами путешественником. Анна курила, отставив блестящий локоть. Была она сегодня удивительно хороша. Жаркая ночь с короткими перерывами на сон, без остатка вымотавшая Комарова, казалось, лишь освежила её. Подошёл уличный фотограф, предложил снимок на память. Анна отрицательно покачала головой.

— Отчего же ты не хочешь, Аня? — удивился Комаров. — Что плохого, если у меня на войне, как и у моих товарищей, будет в бумажнике фотография, которой я могу похвастаться? Вот моя любимая женщина. Наступит мир, обязательно поеду к ней.

— Я всё не пойму, когда ты шутишь, а когда говоришь серьёзно. В нашей семье было принято считать, что фотографироваться на память — дурная примета.

— И оттого у тебя дома нет никаких фотографий?

— Может быть. Мы однажды вот так снялись с мужем, а потом его не стало. А я ведь его тоже просила не сниматься.

— По этой логике все эти здоровые и упитанные люди вокруг никогда не должны были фотографироваться. Аня, что ты придумываешь? Я хочу иметь наше фото. Давай-ка я подсяду к тебе. Снимайте, маэстро. Прямо за столиком. На фоне пальмы. Привет из солнечного Крыма!

Анна пожалала плечами, отпила вина. Маэстро установил треногу, навёл на них сверкнувшую в лучах солнца оптику объектива.

— Бликует, как снайперский прицел. На войне, если блеснёт вдаль такая штука, то сейчас же надо падать на землю, а то прилетит птичка, — острил оживлённый вином Комаров.

— Птичка? — шепелявя, переспросил лысый маэстро. — Мозет быть, зелаеае снятсеа с попугаема? — Большой какаду, косивший на них круглым глазом, сидел у него на плече, как у пирата.

— У вашего попугая наверняка блохи, — заявила Анна Лаврентьевна. — С ним я точно не буду сниматься.

— Цо вы такое говорите за блох? — возмутился фотограф. — Никогда у него их не было! Это благородная птица! Я за ней ухаживаю! Впрочем, как знаете. Мое дело — предложить.

— Аня, ты хмуришься? — спросил Комаров, когда маэстро удалился. — Ты чем-то недовольна? Это всё мои дурацкие шутки?

Анна покачала головой. Солнце горело на белой поверхности стола, подсвечивало снизу смуглую руку Анны, и она стала почти прозрачной, переплетённой в глубине, в нежной тени лучевой кости, сетью тоненьких голубых жилок. Глаза её блуждали далеко.

— Скажи, — спросила она, по-прежнему не глядя на Комарова, — кто-нибудь знает, что ты здесь... у меня?

— Нет, я никому не говорил.

— А у кого ты узнал, что можно у меня остановиться?

— Ни у кого. Я погулял по набережной и постучался в первый попавшийся дом. А почему ты спрашиваешь?

Она не ответила. Лицо её показалось ему вдруг усталым. В театральном саду заиграл оркестр. Набережная постепенно пустела. Комаров допил вино, оглянулся — не заказать ли ещё?

— Вася, — сказала, наконец, Анна, — ты бы мог не возвращаться... в эту свою часть?

Комаров вздрогнул. Некоторое время назад, шутя о фотографии в бумажнике, он поймал себя на мысли, что думает о войне как о чём-то таком, что уже не имеет к нему никакого отношения.

— Что ты, Аня? — проговорил он, сам уже не глядя ей в глаза. — Как это — не возвращаться? А что обо мне люди подумают? Я ж командир взвода, присягу принимал.

— Я в этом мало что понимаю... — медленно сказала она. — В присяге особенно. Сейчас каждой новой власти присягают. В Крыму есть офицеры, которые присягали по пять раз. Но ты ведь доброволец, не так ли? Волен прийти, волен уйти?

— Это было бы слишком просто, — усмехнулся он. — Война такая штука, что человек волен на неё прийти, но не совсем волен уйти.

— Но ведь она скоро может кончиться? И тогда твой уход будет означать не то, о чём ты думаешь сейчас.

— А что он будет означать?

— Ну, то, что война кончилась, и надо начинать новую жизнь.

— А ты убеждена, что она скоро кончится?

— Так говорят.

— Да? Но только почему-то не на фронте. Хорошо, допустим, я дезертировал. И как мне после этого людям в глаза смотреть?

— Каким людям? Никто же не узнает.

— Ты не поняла. Здесь много людей с войны — лечатся, отдыхают. Я их по глазам узнаю.

— Но ведь это не твои знакомые?

— Какая разница? Могут встретиться и мои. Ты пойми...

— Я понимаю. Всякий мужчина стоит перед выбором: женщина или война... женщина или мужская дружба... женщина или карьера... женщина или водка... Но выбирает всё-таки что-то одно. Между своей жизнью и чужой. Я предлагаю тебе выбрать свою. А потом: зачем тебе здесь с кем-то встречаться? Поживёшь до заключения мира у меня, без нужды не выходя на улицу. Ведь и вправду все говорят о мирных переговорах. Главное — решиться, поверь. А выход обязательно найдётся.

— Аня, а ты представляешь, что будет, если все уедут с войны? Мы что — на неё пошли просто так, пострелять? Ты знаешь, что эти сволочи творили в Киеве, в Одессе, в Мариуполе?

— Все знают. Это страшно. Но ведь война в любом случае кончится. Те, кому посчастливилось выжить, разойдутся в разные стороны и снова будут каждый за себя. Я вот увидела тебя в первый раз — меня даже в сердце что-то толкнуло. Такой ты был одинокий. Разве ты был кому-нибудь нужен, кроме меня?

— Как человек — едва ли.

— Ну, вот, зачем же тебе беспокоиться о других? У них своя жизнь, свои представления о долге. Ты свой выполнил, был близок к смерти. Тебя могло уже не быть! Война на исходе. Если ты счастлив сейчас со мной, то там тебя обязательно убьют. Таков подлый закон жизни.

— Станный у нас выходит разговор, — заметил Комаров. — Ты же любила меня воином, а не дезертиром! Но теперь хочешь, чтобы я стал дезертиром. Это так называемая женская логика?

— Я знаю одно, — с мрачной уверенностью тихо сказала Анна. — Если ты вернёшься на войну, тебя точно убьют. Так говорит мне сердце. А сердце меня редко обманывает.

Они замолчали. Скулы у Анны Лаврентьевны зарозовелись. Комаров прислушался к себе и чувствовал некоторое недоумение: тема разговора оставила его равнодушным. На глазах у Анны показались слёзы. Комаров пожал её локоть.

— Не обижайся, Аня. Я не могу тебе сейчас ответить. Может быть... потом.

Он подошел официанта, расплатился. Давешняя лёгкость исчезла. Море раздражало. Они бесцельно пошли вверх по улице, не глядя друг на друга. Через некоторое время в просвете домов выросла нарядная церковь Александра Невского, стилизованная под суздальский период. Говорили, что её посещали когда-то члены императорской фамилии.

— Зайдём? — предложила вдруг Анна.

Комаров безразлично кивнул, хотя что-то внутри него противилось этому, какая-то тяжесть на сердце. Они вошли. В храме было не протолкнуться. Служили вечером. Паникадило не горело, только жарко потрескивали в сумраке свечи. Дышать было нечем. Анна исчезла. Комаров поискал её глазами и нашёл у образа Богородицы, со свечкой в руке. Он чувствовал себя всё хуже. В сознании проплывали обрывки фраз, неведомо зачем отпечатавшихся в памяти: "...из кадила струился синеватый дымок... И столько грехов уже было наворочено в прошлом, столько грехов, так всё невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания... Струйки дыма, похожие на кудри ребёнка, кружатся, несутся вверх к окну... В числе бесконечного ряда жизней..." Огоньки свечей и лампад поплыли куда-то в сторону, вытянулись тонкими лучами. Комаров ощущал, что глаза его влажны, но это были словно чужие глаза. "Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну, и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков..." Анна появилась за спиной, тронула его за локоть. Они вышли из храма.

Комаров так и не вернулся в свою часть. Он отпустил бороду, выходил из дома Анны Лаврентьевны только в сумерках. Дни тянулись однообразные, длинные. Однако Комаров не скучал. К нему пришёл великий покой, оцепенение. Днём он лежал на диване, глядел в полудрёме, как текла его прошлая жизнь, неспешная, словно мутная река. Анна уходила на службу в Ялтинский морской порт, приносила новости. Точнее, никаких особых новостей ни о войне, ни о мирной жизни не было. Менялись лишь слухи. Рубль с каждым днём всё больше обесценивался, но к этому люди уже привыкли. А ночью они лежали на супружеской кровати Анны и её покойного мужа, вольно переплетаясь телами, как осьминоги щупальцами, и подолгу скрипели боковинами под Анины стоны, стучали спинкой о стену — размеренно вначале и всё нетерпеливей к концу, под зелёные вспышки маячного огня, сменявшиеся вспышками оргазма. Этот настойчивый стук не остался без ответа: однажды Анна призналась, что беременна. Она говорила, что счастлива, потому что ей ни разу не удалось понести за все годы жизни с мужем. Комаров не знал, счастлив ли он. Он испытал нечто похожее на счастье тогда, в первый раз, когда лежал головой на коленях у Анны, и её груди мягко коснулись его лица. Теперь же он ощущал лишь великий покой. Великим покоем была и Анна, её рассудительность, тёплые плечи, тяжёлые гладкие груди, нежный живот, лоно, сильные руки. Комаров дремал.

Он очнулся лишь спустя полтора месяца после их знакомства. Анна была, как всегда, на службе. Комаров вышел подышать свежим воздухом, купить папирос. Обычно перед этим, чтобы не встретить знакомых, он выжидал у окна за шторой момент, когда улица опустеет. Но сейчас не пришлось ждать: ни одного прохожего он не увидел. Комаров скользил по улице, как тень, держась стен домов. Со стороны пристани доносился какой-то шум. Вдруг из-за угла вышел на Комарова человек, похожий на него самого: шляпа, надвинутая на глаза, чёрное пальто, клочковатая борода. Увидев Комарова, он остановился и взял его за рукав.

— Вы слышали? — свистящим шёпотом сказал он. — Они уже в Крыму, прорвали фронт.

В голове у Комарова раздался дребезжащий звон, точно в треснувшем колоколе. Он очнулся. Улица показалась ему бесконечной.

— Как? — пролепетал он. — А как же укрепления?

— Укрепления! — горько усмехнулся незнакомец. — Они прошли гнилым морем. Говорят, вот-вот возьмут Джанкой или уже взяли. Через несколько дней будут здесь. Спешите попасть на пароход.

Незнакомец исчез, будто растворился в воздухе, а Комаров всё стоял на углу под колочим северо-восточным ветром. Прошли гнилым морем? Что это? Значит, за то время, что он дремал днём, а ночью делал Ане ребёнка, сдали Приазовье и Северную Таврию? Гнилым морем, в этакую-то пору?.. Ведь на Перекопе, должно быть, уже настоящая зима. Что заставило красных лезть в ледяную воду? Комаров даже не представлял, смог ли бы его взвод выполнить такой приказ. Он вспомнил портрет Троцкого в захваченной штабной теплушке красных: нечеловеческие глаза за стеклышками пенсне, стоящая точком борода. И ещё агитационный плакат “А ТЫ записался добровольцем?”, где в виде красноармейца, тычущего в тебя корявым перстом, тоже, по-видимому, был изображён Троцкий. А ты? А ты поселился у одинокой ялтинской женщины в потайной комнатке, вход в которую перекрыт высоким шкафом с раздвижной задней стенкой из фанеры. Откуда и зачем у Анны такой тайник, Комаров почему-то не спрашивал. Он входил в эту свою келью через дверцы шкафа, отодвигая в сторону плечики с платьями Анны Лаврентьевны и пиджаками её покойного мужа, словно герой авантюрного романа, — только его не ждали здесь ни ящики с сокровищами, ни лаборатория ядов. Диван, столик, лампа, графин с водой, узкое окошечко наверху для вентиляции, судно для нужды — всё, что требуется джентльмену. А когда возвращалась домой Анна, он вылезал из своего зашкафья, чтобы после короткого ужина дождаться, когда она придёт к нему в постель нагая, обнимет, прижавшись всем телом, как жена, и они, слившись в одно гибкое существо с четырьмя руками и ногами, будут доламывать кровать под её прерывистые стоны. А утром — рраз! — и снова в шкаф. Такие вот командиры взводов в Белой армии. Понятное дело, их не заставишь лезть в гнилое море, и они сами никого не сумеют заставить это сделать.

Комаров поплёлся по бесконечной улице. “Красуйся, град Петров, и стой, непоколебимо, как Россия...” Ясный погожий день стоял перед глазами, войсковой смотр в Феодосии перед высадкой десанта в Приазовье. Вдоль строя блестящих на солнце штыков ехал на породистом жеребце курносый Слащов. Сиял золотом его широкие генеральские погоны, в складках флагштыка белая венгерки таилась прохлада. Бился по ветру полковой флаг, пели высокие трубы. “Здорово, ребята!” “Здрав-ав-ав ваше-ство!” — закричала соседняя рота. В числе бесконечного ряда жизней. Теперь уже не бесконечного. И не жизней. Ряда мёртвых русских землепашцев, лежащих в поганных солончаках. Его братьев, что стояли с ним в Феодосии плечом к плечу. “Рады стараться, ваше-ство!” Нужно ехать на фронт. На фронт? А где он теперь, фронт? Везде. *Везде*, где найдёт тебя разъярённая контрразведка и поставит к стенке. Или красные особы. Но кому от этого будет легче? Ане? Неродившемуся ребёнку? Мёртвым землепашцам? “Так всё невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении...”

Комаров стоял перед нарядной церковью Александра Невского. “Ты бы мог не возвращаться... в эту свою часть?” — “А присяга?” Он хрипло засмеялся и пошёл назад. Спрятался, укрылся от лавины попоной. “Струйки дыма, похожие на кудри ребёнка... И столько грехов уже наворочено в прошлом... Но он просил о прощении и даже всхлипнул громко...” Не скрываясь, он вошёл в дом. В передней его встретила Анна.

— Собирайся, Аня, — сказал он. — Красные прорвали фронт.

Ресницы у Анны дрогнули. Она прислонилась к лестнице.

— Вот и прекрасно. Зачем же собираться?

— Как это — зачем? Ты хочешь остаться?

— А почему нет?

Комаров засмеялся.

— Аня, я понимаю, что вас в вашей курортной Ялте всю войну не очень беспокоили. А тем временем в пятидесяти верстах отсюда, в Севастополе, матросня жгла живьём в корабельных топках офицеров. Теперь и здесь так будет, слишком много буржуев понаехало с материка. Нас уничтожают как

класс, не пулей, так измором. Мой отец умер от голода, мать с сестрой — от сыпняка. А сколько ещё таких!

— Я знаю. И, тем не менее, это шанс.

— Какой шанс?

— Выжить. Допустим, мы пойдём сейчас в порт, купим билеты. Я, наверное, смогу это устроить. Но тебя могут узнать ещё на пароходе. Не на пароходе, так где-нибудь в Константинополе или Варне. Но обязательно рано или поздно узнают. Ты хочешь уехать, чтобы увезти туда эту жизнь с оглядкой? Я специально не рассказывала тебе о положении на фронте. Неужели ты не понимаешь, что красные теперь — наша единственная надежда? Отсюда уедут те, кто знал, что ты белый офицер. Ты станешь студентом, скрывающимся от врангелевской мобилизации. С прогрессивными убеждениями. Ты можешь служить в каком-нибудь их культпросвете или наркомпросе. И получать паёк. Они тоже не могут без интеллигенции. Их вожди сами интеллигенты, понимают это. Их цель не уничтожить нас, а заставить служить себе. Так отчего бы не послужить? Разве ты не мечтал никогда служить народу?

— Аня, очнись! Какому народу? Десять миллионов дезертиров ушли с фронта с оружием в руках и три года терроризируют страну! А мне прикажешь им служить? Ты что, Чернышевского на ночь читалась? Не будет тебе алюминиевых дворцов и даже дома этого не будет! Здесь разместят штаб этого самого культпросвета. А тебя босой пустят на все четыре стороны. Вслед за недоучившимся студентом сомнительных прогрессивных убеждений.

— Выгнать не выгонят, а подселить каких-нибудь комиссаров могут, — рассудительно сказала Анна. — Да если и выгонят, беда небольшая. В Ялте мы не пропадём, я знаю здесь многих хороших людей. Но главное, Вася, мы будем вместе. И ребёночек, понимаешь?

Комаров смотрел на Анну Лаврентьевну, как на диковинную рыбку за стеклом аквариума. Она раскраснелась, прядки выбились из высокой причёски. Только рука, сжимающая перила, была белая-белая.

— Ты бы видела истерзанные трупы, которые откопали во дворе киевской чрезвычайки, когда мы заняли город! Ты что, думаешь, они остановятся, войдя во вкус террора? Нет! Вот они одну проблему решили расстрелом, другую, третью. Это развращает. Ведь ничего не надо, только патронов побольше. И захочешь без расстрелов, да не сможешь! Кончат резать контру, начнут стрелять своих Мирабо и Дантонов. А где лес рубят, там щепки летят. Сказать тебе, кто эти щепки? Или сама догадаешься?

— Не знаю... — она отвернулась. — Уезжай, если хочешь. Мне незачем, все равно я там останусь одна. Уж лучше здесь.

Комаров не ответил. Что он мог ответить? Глаза будущего были пусты. Он стоял на пороге и мял шляпу в руках. Назад пути нет, а впереди туман, бездна. Из непритворённой двери сквозило ветром. “Культпросвет, культпросвет”, — бессмысленно повторял он про себя. Анна не двигалась. Плечи её поникли.

— Ладно, попробуем, — сказал Комаров. — Что нам ещё остается?

И он прошёл мимо неё в комнату, где стоял шкаф, открыл дверцу.

Через несколько дней в кабинете исполняющего обязанности начальника ялтинской ЧК Буревого заверещал телефон. Он взял тяжёлую трубку. Звонил дежурный из караулки.

— Товариш Бурэвий! Тут до вас який-то жид прыйшов з пытаннем. Призвыще — Панафидин. — В трубке послышался протестующий голос, видимо, упомянутого Панафидина. — Чого? А-а... Вибачьте: вин кажэ, шо не жид, а пиндос. З особыстым пытаннем до вас.

— Ты что? — гаркнул Бурево. — Сгною за антисемитизм! Что это за слово — жид? Какой ещё пиндос? С каким таким особенным пытаньем? Педераст, что ли? — не без опасения осведомился он.

— Та ни. Шо ж я, нэ знаю, шо такэ пидорас? Цэ чоловик, якого замисть жинкы выкорыстують. А цэ — грэк. Грэков в нас так клычуть — пиндосамы. А пытанья — цэ по-нашэму вопрос. Звычайно, товариш Бурэвий, можэ, вин и пидорас, алэ ж я нэ бачыв, колы його...

— Заткнись! Я из тебя выблю великорусский шовинизм!

— Шо вы?! — испугался словоохотливый караульный. — Шо вы? Сказылыся? Який вэлькоруський жопынизм? Я ж хохол! Мы, товариш Бурэвий, нэ кацапы...

— Ладно, ладно! Впусти. Как устал я от этих махновцев!.. — вздохнул Буревой, опуская трубку. — Все у них жида, пиндосы, кацапы... “Выбачьте”... “пытання”... “жопынизм”... Тьфу! Дикие люди! А ты изволь, делай с ними мировую революцию...

Вскоре, деликатно постучав, в кабинет бочком вошёл “пиндос” — пожилой маленький грек в чёрном пальто с траченным молью воротником. Ещё от порога начал он кланяться. Буревой насмешливо за ним наблюдал.

— Ну, что ты кланяешься, как Петрушка? — спросил он. — Я тебе что — частный пристав? Выкладывай, с чем пришёл, или убирайся. Нет у меня времени со всякими клоунами разговаривать. Мне здесь надо с контрреволюцией бороться, а не на твой цирк смотреть.

— Так вот, гразданин товариш нацяльник, посмотрите, будьте ласковы, сию картоцку. — Он протянул чекисту какую-то фотографию.

Тот взглянул на нее, потом быстро на грека, потом снова на фотографию. На открытом челе Буревой появилась вертикальная складка.

— Та-ак, — наконец сказал он. — Ты зачем это снимал?

— Я во всякий час и во всякое время снимаю, гразданин комиссар, когда клиенты просят, ибо имею многих деток, коих надо кормить. И господина офицера с мадам Касьяновой снял, есё в октябре, при Врангеле. Эта мадам Касьянова тогда сказала, цо у моего поугая блохи. Гнусная лозь! Он теперь умер, бедолага, но не от блох, а оттого, цо корма не стало... — На глаза Панафидина навернулись слёзы. — Ему ведь не всякий корм полезен...

— Да неузели? — передразнил его Буревой. — Ты ещё расплачься! Здесь скоро люди начнут от голода пухнуть, а он жалуется, что корма для поугая нет! Врангель-то ваш весь хлебушек вывез на французских судах! И корм, наверное, тоже — для французских поугаев. Ты давай ближе к делу, Панафигин или как тебя там.

— Панафидин, господин товариш нацяльник. — Грек вздохнул и продолжил: — Ну, вот-ц. Запечатлел, стало быть, я эту пароцку, а за фотокардиями никто не присол. А вцера иду по улице и визу, как этот господин заходит в дом к гразданке Касьяновой. И по сторонам так есё оглядывается. Я его сразу узнал, хотя на нём, извините, ни кокарды, ни погон, как на этой фотокардии, а, напротив, всё цивильное да есё борода. Только редкая, всё равно узнать можно. Я заинтриговался и встал от дома тоцно наискосок, цтобы меня из окна не увидели, наблюдаю. Мне это просто: поставил аппарат и стою, будто клиентов озыдаю. Мозет, думаю, на минутоцку засол господин бывсый офицер, по делу какому? Только до ноци, гразданин нацяльник, из дому никто не выходил. А дальсе я узе не стал здать, замерз. А потом ресыл на всякий случай принести црезвычайной канцелярии картоцки и негатив.

— Та-ак, — двигал скульптурными желваками Буревой. — Что же, Парафидин, послужил мировому пролетариату. Избавляешься от мелкобуржуазных иллюзий. Молодец. Давай сюда свой пропуск.

— Я, гразданин нацяльник, хотел бы есё насцёт ателье узнать...

— Ладно, — махнул рукой Буревой, — сымай пока. До освоения пролетариатом фотографической техники в полном объёме. А там мы вас к ногтю, мелких собственников.

— Хоросо бы бумазецку какую, гразданин комиссар, а то ведь без бумазки как?

— Вот привязался! — Буревой взял лист бумаги, черкнул на нём несколько слов, расписался и бросил через стол Панафидину. — Зайди в канцелярию и поставь печать. Давай пропуск. Никому ни слова, понял?

— Понял, как не понять, гразданин нацяльник, не извольте беспокоитьсь! Могила! Премного, премного вам благодарен! — Грек пятаился к двери с бумажкой, кланяясь, как и давеча, точно его появление показали в кино, а теперь открывали плёнку назад.

Проводив его мрачным взглядом, Буревой взялся за рукоятку телефона, спросил в трубку:

— Товарищ Папанин уже приехал из Севастополя? Ага. Пригласи его ко мне. — И стал вертеть “козью ножку”, не спуская глаз со снимка.

Через несколько минут в кабинет вошёл вразвалку крепко сбитый усатый матрос с красными от недосыпа глазами, в бескозырке с надписью “Катерный причаль”. От обычного матроса-черноморца его отличала хрустящая новенькая кожаная куртка на плечах и командирский маузер в лакированной кобуре. Буревой пожал Папанину руку.

— Садись, Иван. У меня вопрос насчёт Касьяновой. Скажи мне, с кем она сейчас работает?

— По агентурной линии — ни с кем. Мы её сейчас привлекаем к опознаниям, она здесь много офицерья и пособников знает.

— А вот этого она опознала? — Буревой перебрал Папанину фотографию. — Или это твой человек?

Матрос некоторое время изучал карточку.

— Нет, не видел такого. Надо проверить, конечно. Контриков в одной Ялте сотни, всех не упомнишь. Но что не мой — точно.

— А он, между прочим, живёт у неё, по имеющимся у нас сведениям.

— Как?

— А так! Ты вот что, Иван. Подготовь-ка к вечеру из своих людей оперативную группу на задержание. А пока установи наблюдение за её домом, пусть “хвосты” за всеми, кто оттуда вышел.

— Ясно, — задумчиво кивнул Папанин.

Буревой откинулся на спинку стула. Самокрутка погасла, но он забыл о ней.

— Эх, Аня, Анюта... — сквозь зубы сказал он. — В двойные игры играешь? Или полюбился тебе офицерик? Вот мы и поставим вас рядышком к стенке, а комендантский взвод вас сфотографирует. На вечную память.

Он снова взял фотографию. На него посмотрела большеглазая миловидная женщина в лёгком холстинковом декольтированном платье. Округлое лицо в тени шляпки, точёные смуглые плечи. В обнаженной по локоть полноватой руке дымится длинная папироса. Рядом развалился на плетёном стуле безусый офицер с нервным лицом. Лихо заломленный картуз с кокардой, выгоревший на солнце френч, мятые прапорщичьи погоны. В правом углу наискосок бежала кокетливая надпись с завитушками: “Не забывай Ялту. 1920-й год”.

ТАТЬЯНА ШОРОХОВА



“ЧЕМ СТАРШЕ СЛОВО,
ТЕМ ОНО СВОБОДНЕЙ...”

ОДЕССА

И школьник, и опытный витязь,
Умывшись слезами, мужайтесь!
Кто может молиться — молитесь!
Кто может сражаться — сражайтесь!

Над братской Одесской могилой
Покой обретёте едва ли.
Добудьте оружие силой —
Так деды всегда поступали!

Нахлынули горе и беды...
За правду, гордились которой,
Пусть в этой борьбе до Победы
Вам матери станут опорой.

ШОРОХОВА (Чичкина) Татьяна Сергеевна — поэт, прозаик, независимый исследователь, член Союза писателей России, лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым (2013). Родилась в 1956 году в г. Люботин Харьковской области. 35 лет жила в Крыму, где окончила исторический факультет Симферопольского государственного университета (1982). В 2001–2013 годы проживала в г. Тосно Ленинградской области. После воссоединения Крыма с Россией живёт в Севастополе.

МЫ ВМЕСТЕ

В бессилье постигая силу,
В огне майданов и в чаду,
Я выучила гимн России,
Когда мой Крым попал в беду.

Со всеми, кто любовью мерил
Великой Родины слова,
С надеждой признаюсь и верой:
— Я так ждала тебя, Москва!

Сердца в едином чувстве слиты —
Всей мощью распростёртых крыл
Над Херсонесом, над Тавридой
Орёл двуглавый воспарил!

СИЛА ЛЮБВИ

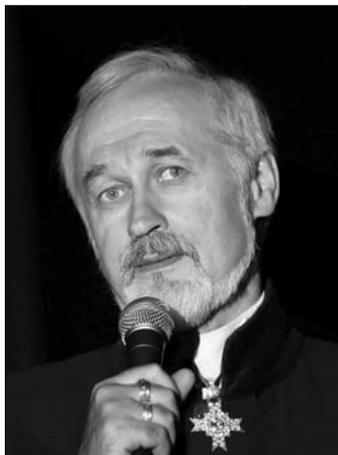
А. Б.

Чем смирить разъярившихся львов,
Если все ограждения прорваны?..

Человека меняет любовь
И — замечено — в лучшую сторону.
Затухающий дух чем возжечь?
Как душе уберечься от ветхости? —
Светлой силой владеет не меч,
А любовь, неразлучная с верностью.
Неземная надёжная твердь
Сердцу каждому в мире завещана.

...Могут многое преодолеть —
Если любят — мужчина и женщина.

КОНСТАНТИН ФРОЛОВ



НЕ БУДИТЕ РУССКОГО МЕДВЕДЯ

* * *

Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге.

Не мешайте царствовать и править,
Есть и пить, покуда сердце бьётся.
Вы себе не можете представить,
Чем для вас всё это обернётся!

Что ж вам, братцы, дома не сидится?
Так и тянет, прилетев на запахах,
Щедрую российскую землю
Взять и отобрать у косолапых!

Сколько лет мыслишкою лукавой
Ваши переполнены газеты,
Мол, "какое мы имеем право
На одну шестую часть планеты!?"

ФРОЛОВ Константин Юрьевич родился в 1956 году. Крымский поэт, музыкант, актер театра и кино, видеооператор, сценарист, летчик-спортсмен, парапланерист, радиолюбитель-коротковолновик, путешественник. Заслуженный артист АРК. Кавалер Креста "За мужество и гуманизм" Союза ветеранов локальных конфликтов. Автор 6 поэтических сборников и песен к кинофильмам. Член Союза писателей России.

Наши нерушимые основы —
Паруса, полозья да подковы,
Беринги, Хабаровы, Дежнёвы,
Ермаки, Поярковы, Зайковы.

Дамы, господа, синьоры, леди,
За черту ступая ненароком,
Не дразните русского медведя:
Ваше баловство вам выйдет боком.

Жаждающие новых территорий
Для бейсбола, регби или гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.

Поумерьте пыл парадной меди!
Отвечать за глупости — придётся!
Не будите русского медведя.
Может быть, тогда и обойдётся.

* * *

Украина, ты сошла с ума!
Ты теперь не нэнька, а тюрьма.
Ты теперь — Гоморра и Содом,
То ли психбольница, то ль дурдом.

Собирайся! За тобой пришли
Западные дяди-упыри!
Собирайся и не прекословь!
Им нужна твоя живая кровь!

Сколько лет в тебе будили прыть,
Чтобы на Россию натравить!
Мол, друзья тебе — и лях, и швед.
Лишь Она — виновница всех бед.

Скачут над осколками святынь
Внуки тех, кто поджигал Хатынь,
Тех, кто гнал евреев в Бабий Яр,
Тех, кому неважно — млад иль стар.

Почему ты веришь этим псам?
Этим оселедцам и усам?
Ну, тогда пошире рот оскаль,
Прыгай! “Кто не скачет, тот — москаль!”

Ты всё где-то числишься страной,
В клочья раздираема войной,
Но земля, что под тобой дрожит,
Не тебе уже принадлежит.

За землю щедро заплатил
Кто-то из заморских воротил.
“Sorry, если кто из вас убит.
Only business. Никаких обид”.

Ты однажды выползешь на свет,
Обернёшься... А тебя уж нет.

СЕРГЕЙ ГОРБАЧЁВ

капитан 1 ранга

ТРЕТЬЯ ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ

Получилось так, что события, начавшиеся в Севастополе 23 февраля 2014 года, с чьей-то лёгкой руки окрестили “Третьей обороной Севастополя”. Это словосочетание прочно вошло в лексикон и даже увековечено в надписях на различных наградах, связанных с произошедшими событиями и появившихся уже в немалом количестве (их продолжают учреждать и вручать в Крыму, Севастополе, Москве, Ростове-на-Дону...). Между тем, “Третья оборона” началась не в феврале минувшего года, а задолго до этого действительно судьбоносного для всех нас дня. И факт этот непреложен – он не подлежит сомнению или ревизии, с чем мы сегодня сталкиваемся.

“Третья оборона” началась в конце 1991 года и длилась до начала 2014-го. В нынешнем году оборона, как это и положено в любом противостоянии, завершилась наступлением и Победой. Наступление было стремительным, а Победа – ошеломительной и впечатляющей. И плацдармом для наступления стал Севастополь – место исторического базирования Черноморского флота России. Этот фактор стал определяющим и решающим в очень непростом деле достижения общего успеха.

Твёрдо убеждён в том, что этот успех был бы невозможен без решения геостратегической задачи сохранения основных сил Черноморского флота на территории, находившейся в 1991–2014 годах под юрисдикцией ставшей “незалежной” Украины.

Увы, но об этом сегодня особо не говорится в силу различных причин. Обозначу лишь одну, применив, возможно, не совсем подходящую для данного случая цитату, но вполне характеризующую суть ситуации: “У победы – много родителей. Поражение – всегда сирота”. Эти слова, приписываемые Джону Кеннеди, на мой взгляд, подходят к оценочной характеристике результатов борьбы за флот и Севастополь в 90-е и “нулевые” годы, когда очевидных успехов не наблюдалось. Наоборот, нарастало ощущение: Россия упускает Крым из сферы своего влияния, порой возникало даже чувство безысходности. Соответственно, и не было в предшествующий период “победителей”. Потому об этом сегодня на разных уровнях предпочитают не вспоминать. А надо бы...

С распадом Советского Союза и переподчинением Киеву всей мощнейшей группировки, дислоцированной на украинской территории (три военных округа, ракетная армия, силы стратегической авиации и др.), был создан

ГОРБАЧЁВ Сергей Павлович — лауреат Национальной литературной премии “Щит и меч Отечества”, член Союза писателей России, председатель Союза журналистов Севастополя. Автор ряда книг об истории Черноморского флота, в 90-е годы пережившего флотораздел, а также по проблематике статуса Крыма и Севастополя.

прецедент, который, наверное, повторить никому и никогда уже не удастся. Его феномен заключается в отказе Черноморского флота подчиняться киевским властям, в верности черноморцев единожды данной присяге и, в конечном счете, решении сохранить флот для России. Это решение было практически единодушным – за всё время флотораздела (а этот период проходил почти шесть лет – до 1997 года) на службу в Военно-морские силы Украины перешло 7 процентов от общего числа флотских офицеров.

Особо отмечу: это происходило в непростое во всех отношениях время. Несмотря на политическую неразбериху тех лет, возникновение независимых государств, появление границ и новых “гражданств”, тяжёлое материальное положение, жёсткий моральный и информационный прессинг, казавшиеся непреодолимыми бытовые трудности, отсутствие перспектив в службе, офицерский корпус флота не только сохранил свою монолитность, но и стал цементирующей, мобилизующей силой. Именно офицеры флота обеспечили как управляемость воинских коллективов, так и решение соединениями и частями, всем флотом своих задач в полном объёме в соответствии с предназначением, планами боевой и оперативной деятельности, в том числе в дальней морской и океанской зонах. И делалось это не благодаря, а зачастую вопреки решениям, принимаемым в Москве. Или при полном отсутствии таковых. В сущности, тогда, в начале 90-х, флотская проблема легла в основу становления и развития российско-украинских отношений (газовая и прочие проблемы проявили себя значительно позже).

Говоря об этом феномене, следует подчеркнуть: количественно силы Черноморского флота того времени превышали нынешний их состав примерно в 5 раз; флот, являясь оперативно-стратегическим объединением, имел на вооружении ядерное оружие различных типов; моряки, сохранив верность присяге, несмотря на мощнейшее давление, угрозы, провокации, силовые акции, не спустили свой флаг (Военно-морской флаг СССР – флаг несуществующего государства!), под которым решали задачи до 12 июня 1997 года – до подписания и фактического начала действия “Большого” российско-украинского договора и “Базовых” соглашений по флоту.

Об этом непростом периоде истории Черноморского флота России в своё время довольно подробно рассказывалось СМИ, но об этом мало помнится – жизнь не стоит на месте: происходили другие значимые события, а человеческая память несовершенна. К тому же на смену одним пришли другие поколения и моряков, и “гражданских” соотечественников. И хотя происходившее тогда проанализировано и описано в ряде военно-научных трудов и публицистических книг, но они, к сожалению, мало известны даже действующим ныне военным теоретикам и практикам. В этой связи вновь подчеркну: тот период истории должен быть тщательно изучен, а опыт – творчески использован. Это тем более важно, что, по сути, только благодаря сохранению Черноморского флота для России в начале 90-х годов уже прошлого века, дислокации его сил в своих родных, построенных им же базах в Крыму, был обусловлен сегодняшний молниеносный успех. Его основу своим мужеством, профессионализмом, самоотверженным трудом, а порой и самопожертвованием обеспечили черноморцы, 23 года находившиеся под жёстким прессингом антироссийских властных, силовых, специальных и общественных структур Украины.

Эти годы новейшей истории Черноморского флота – целая эпоха. В течение тех почти двух с половиной десятилетий произошло множество примечательных, заслуживающих внимания и памяти событий. Каждый прожитый год был особенным. Но их объединяло одно: вера моряков в торжество Справедливости и Правды. В то же время следует подчеркнуть: эта вера постоянно подвергалась испытанию на прочность (это важно подчеркнуть именно в сегодняшние победные дни). К сожалению, руководство России в течение долгих лет проводило непоследовательную, невнятную, а порой беззубую политику в отношении разрешения неуклонно нараставшего вокруг ЧФ вала проблем, неоправданно шло на уступки, проявляя то ли отсутствие державного интереса, то ли государево недомыслие. Тем временем Киев действовал целеустремленно, массированно и даже агрессивно, перманентно дезавуируя или ревизуя практически все соглашения по флоту, достигавшиеся с 1991 по 1997 год. Эта практика не менялась и в последующем, достигнув пика с приходом к власти в 2004 году “оранжевых” во главе с В. Ющенко – противостояние стало практически открытым. Впрочем, с разной степенью интенсивности оно

осуществлялось в течение всех этих лет, то повышая, то снижая градус политической риторики, предъявляемых претензий и очередных “внезапно” возникающих проблем.

Это время хронологически можно разбить на несколько этапов, которые зачастую имели существенные отличия по характеру решаемых флотом задач и накалу общественно-политических страстей вокруг него. Но, независимо от их содержания и хода развития событий, все же была решена главная задача: плацдарм для будущего успеха был сохранён, этот фактор обеспечения исторической Справедливости и торжества человеческой Правды и стал решающим.

Как говорят иные борзописцы и утверждают политические шулеры, Крым нынешней весной был оккупирован российскими военными. Это – откровенная ложь, рассчитанная на людей неосведомлённых. Российские военные моряки-черноморцы здесь находились постоянно. Они были здесь всегда (!), за исключением короткого исторического периода – оккупации Крыма германо-румунскими войсками в 1942–1944 годах. Сохранение сил флота в Севастополе и Крыму обеспечило и сохранение “российского стержня” города русской славы и всего полуострова в общественно-политическом, культурно-гуманитарном аспектах. Без флота процесс украинизации, вытеснения России из региона уже давно принял бы необратимый характер, о чём свидетельствует состояние дел и развитие ситуации на Юге и Востоке Украины. Пример этому – та же Одесса, население которой по своим взглядам и жизненным ориентирам близко к населению Крыма.

Анализируя события тех лет и сравнивая с произошедшим в наши дни, прихожу к такому выводу: сегодня сделанное черноморцами и поддерживавшими их крымчанами и севастопольцами в 1991–2014 годах по достоинству не оценено. По крайней мере, публично эта тема и сейчас не звучит. И речь в данном случае не только о деятельности средств массовой информации, которые “заточены” на современность, часто – заангажированы под кого-то или попросту недостаточно профессиональны. Речь о тех, кто сегодня, подобравшись к пьедесталу, стал бронзоветь. Между тем, эта тема должна звучать, подробный, глубокий анализ периода новейшей истории Черноморского флота (1991–2014) должен быть обязательно сделан. И заинтересованность в этом должна исходить, как говорится “с самого верха”. Это очень важно как для понимания и должной оценки происшедшего тогда, так и для реализации перспективных задач.

Безусловно, сделать это непросто, но чрезвычайно необходимо. Здесь многое важно. И оценка деятельности различных государственных структур – военных, дипломатических, ведомственных. И оценка роли людей, волею судьбы, обстоятельств, по чьему-то распоряжению, а также по душевным, сердечным привязанностям в течение многих лет борющихся за возвращение Крыма и Севастополя России. Прежде всего, это командующие Черноморским флотом адмиралы И. Касатонов (1991–1992), Э. Балтин (1993–1996), В. Кравченко (1996–1998), В. Комоедов (1998–2002), В. Масорин (2002–2005), А. Татаринов (2005–2007), А. Клецков (2007–2010), В. Королёв (2010–2011), А. Федотенков (2011–2013), А. Витко (с мая 2013 – по настоящее время). Во многом они лично на себя возложили ответственность не только за флот, но и в целом за процесс отстаивания интересов России в регионе. Командующие были не только военачальниками и администраторами-управленцами, но и дипломатами, они инициировали и организовывали реализацию комплекса мер, в конечном счёте, обеспечивших боеготовность флота и эффективность действий его структур в условиях, когда статус флота даже после подписания “Большого” договора в полной мере так и не был до конца определён.

Командующие в своих действиях опирались на Военный совет, офицерский корпус, на всех моряков-черноморцев, поддерживавших их членов семей, ветеранов флота. Они опирались на российских политиков, сумевших не остаться равнодушными в условиях пассивности или многозначительного молчания Кремля. Это, конечно, Ю. Лужков, а также К. Затулин, С. Бабурин, С. Марков, Г. Тихонов и ряд других, шаг за шагом возвращавших Крым в Россию. К сожалению, тех, кто делал это последовательно в течение всех 23 лет, не так уж много, хотя периодически свой интерес к проблеме обозначали многие.

Черноморцев поддерживали и различные общественно-политические силы. Но тут, скорее, возможность их действия в регионе была обеспечена как раз присутствием флота в Севастополе и Крыму – без флота их бы разогнали

и раздавили. В общем, все помогали друг другу. Здесь стоит вспомнить тех общественников, кто начинал борьбу за флот, – Александра и Геня Кругловых, Ю. Бастрикова, Ю. Супруненко, умершего “при странных обстоятельствах” вновь избранного депутата Верховной Рады Г. Шевченко... И журналистов, умело и смело действовавших в правовом поле Украины. Работали они в сложных условиях, зачастую рискуя не по несколько дней или месяцев, а в течение многих лет и даже десятилетий. Считаю, что всем этим людям нужно воздать должное. В какой форме – это дело инициативы и возможностей. Но сделать это нужно.

В этом деле нужно постараться абстрагироваться от конъюнктуры, подойти к нему взвешенно. Тем более, что у нас уже есть примеры того, как не нужно поступать, спеша и угождая. Чего, например, стоит присвоение Л. Кучме звания Почетного гражданина города-героя Севастополя! Или, например, установка, а затем демонтаж памятника гетману Сагайдачному или памятного знака “круглому” (десятилетнему) юбилею ВМС Украины. А об “эпопее” с “памятной доской” “жовто-блакитному флоту” на севастопольской Графской пристани и говорить нечего...

Третья оборона Севастополя, длившаяся до 23 февраля 2014 года, завершилась победным наступлением, о чём однозначно свидетельствуют хронологические рамки событий, чьи даты отчеканены на медали Министерства обороны РФ “За возвращение Крыма”. Эйфория весенних победных дней, эмоции сегодня снизили свой накал. Начался период плановой созидательной работы. Осуществляется она на непрестом фоне событий в Донбассе и в других регионах Украины. Чем они завершатся, сегодня не скажет никто.

Вместе с тем, каждому из нас понятно: проблем в нашей жизни более чем достаточно. Важно оперативно реагировать на возникновение новых, устраняя уже существующие. И в этом смысле опыт всех лет существования Крыма и Севастополя под юрисдикцией Украины, деятельности Черноморского флота, сил, поддерживавших моряков, может сработать на перспективу. Если, конечно, об этом опыте знать, его изучать и его применять. При этом обязательно необходимо учесть: многое из разряда важного быстро забывается. Но в строю, рядом с нами находится немало носителей и опыта, и памяти. Это важно накануне предвыборной кампании, по результатам которой Севастополь впервые получит своего губернатора и новое Законодательное собрание.

ПАМЯТЬ

ГОД ПОБЕДЫ

“Служил Советскому Союзу. Сокровенное” – так называется книга Ивана Петровича Вертелко, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, ныне живущего в центре Москвы на Патриарших прудах. Он встречает 70-летие нашей Победы на 88-м году своей жизни.

В 1944 году семнадцатилетний крестьянский сын Иван, уроженец брянской деревни Стригово, проведший 2 года в оккупации, после освобождения Брянщины и короткого обучения в запасном стрелковом полку влился в действующую армию, когда война гремела на берегах Балтийского моря и в Кёнигсберге. После Победы его ждала жизнь профессионального военного, и в отставку он вышел лишь в 1991 году в звании генерал-полковника пограничных войск КГБ СССР. Предисловие к книге написал его земляк Пётр Проскурин. Это была одна из последних публикаций Петра Лукича.

“Его выгоняли из школы, а он снова оказывался за партией. Его учёбу обрывала война, а он, будучи уже в офицерском чине, вопреки существующим официальным запретам, тайно посещал вечернюю школу, чтобы получить среднее образование. Судьба готовила ему участь “закладной скотинки” в немецком “раю”, а он переиначивал всё по-своему, уходя от неё сквозь колючую проволоку и треск винтовочных выстрелов.

Он считал, что навеки зарыл свой штык в Кёнигсберге, а тут, когда виски уже убелила седина, ему пришлось отправляться на новую войну – в Афганистан. Там Иван Петрович отвоевал ни много ни мало – почти девять лет, как говорил он сам – два срока Великой Отечественной. И здесь тоже случилось всякое: и в логове душманов был, сопровождаемый одним лишь офицером-переводчиком, и на чужих самолётах и вертолётах, как на воздушных “попутках”, летал, рискуя оказаться на враждебной территории. Его жизненный путь был путём простого русского солдата. Его кредо заключалось в служении родной земле, своему народу и Отечеству. Сколько раз ему приходилось произносить эту крылатую фразу: “Служу Советскому Союзу!” Она слетала с его губ тогда, когда первые танки, сломавшие оборону гитлеровцев, мчались по улицам Минска, и тогда, когда он, командуя уже сотней танков, делал “погоду” на учениях “Днепр”. Когда, являясь беспристрастным арбитром в споре министерств обороны и оборонной промышленности, испытывал новую боевую машину – танк Т-72, и, не оглядываясь на сильные мира сего, вынес вердикт: это – лучший танк за всю отечественную историю!

Он всегда оставался солдатом Советского Союза – краеугольного “материка”, хранившего равновесие мира, несказанно обогатившего духовную среду человечества, указующего ему истинный выход в будущее, – до последних дней великой державы, уже чувствуя начавшийся необратимый распад партийных и государственных верхов, замешанных в неслыханном национальном предательстве.

Государственное мышление, ясный стратегический ум и масштаб отличают книгу крупного военачальника – Ивана Вертелко. Близость к солдату, понимание его трудного ратного долга перед Отечеством и долга государства перед своими сыновьями и защитниками, государства, которое ныне нередко остаётся отстранённо-равнодушным к нуждам наших ветеранов, разгромивших величайшее зло – фашизм, – все эти и многие другие вопросы встают в книге Вертелко перед читателем.

Всё это – уроки суворовской и кутузовской “Науки побеждать”, к которой необходимо вернуться в государственном масштабе, чтобы сохранить Россию, вернуть ей славу великой ратной Державы.

Пётр Проскурин

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ*

Поезд мчал нас мимо украинских хат и пирамидальных тополей. Земля, уже прогретая весенним солнцем, торопилась сбросить с себя белый покров, залечить раны, оставленные на её теле войной. В эти благословенные края уже пришёл мир. Но там, куда двигался наш эшелон и откуда шли навстречу поезда с ранеными, продолжалась ожесточённая схватка с врагом.

После войны, просматривая путь резервных частей, в состав которых входило и наше пополнение, я понял, что нас планировали использовать на завершающем этапе Яско-Кишинёвской операции. Но, похоже, обошлись старыми силами, и с румынских предгорий нас перебросили в смоленские леса. Столь загадочные маневры для меня тогда были необъяснимы. На самом же деле за всем происходящим стояла жесткая логика событий. Закрепившись на достигнутых в Яско-Кишинёвской операции рубежах, 5-я гвардейская танковая армия скрытно переформировывалась и выводилась под Смоленск, где накапливались силы для операции «Багратион».

Не только мы с товарищами, но и бдительная немецкая разведка были сбиты с толку странными «манипуляциями» наших частей. По данным гитлеровцев, выходило, что 5-я армия осталась в Румынии. Действительно, и танки, и артиллерия, и другая техника, принадлежавшие объединению Ротмистрова, оставались на тех позициях, где они были остановлены после завершения операции. Но штабы уже действовали в Белоруссии. Именно там части армии доукомплектовывались по штату, получали новую технику и вооружение, готовясь к новой решительной схватке с врагом. Здесь, на импровизированных учебных полях, почти с фотографической точностью воспроизводились укрепления и оборонительные рубежи противника, с которым предстояло вступить в единоборство. На этом в считанные дни остроенном полигоне отработывались задачи наступления, производилось сколачивание взводов, рот, батальонов.

Меня вместе с двумя земляками, Шурой Лезговко и Борей Комковым, определили в 75-й отдельный мотоциклетный разведывательный батальон, входивший в состав 29-го Знаменского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова гвардейского танкового корпуса, который являлся составной частью знаменитой 5-й гвардейской танковой армии. И здесь наши пути разошлись. Нет, дружить мы, конечно, не перестали. Но по неписаным законам того времени новичков старались помещать рядом с опытными бойцами. Моими наставниками оказались молчаливый солдат Василий, фамилии которого я, к сожалению, не запомнил, и сибиряк Алексей Фролов.

Меня как молодого частенько посылали на кухню с тремя котелками. Но, как я скоро понял, делали это не из желания показать своё превосходство, а чтобы хоть немного меня подкормить. Если пищи было вдоволь – ели все. Ну, а если щи или каша только-только покрывали дно котелка, мои наставники почти всегда отдавали мне свои порции: «Наворачивай, Ваня, мы найдём, где перекусить».

Навсегда осталась в моём сердце благодарность к этим суровым, но добрым людям, вынесшим на своих плечах тяготы трудных лет войны. Их мудрость, дружелюбие, их наука помогли мне выжить и состояться как солдату.

– Не торопись, Ванюша, – сдерживал мой наступательный пыл старый фронтовик, водитель мотоцикла Сорокин. – Ты этой дорогой впервые идёшь, а я её второй раз, родимую, подмётками меряю. В сорок первом прошагал по

* Глава из книги Ивана Вертелко «Служил Советскому Союзу. Сокровенное» М., Граница, 1996.

ней аж до Волги! Теперь – обратно. Дома меня, Ваня, жена ждёт и трое ребятшек! Представь, сколько слез прольётся, если меня невзначай убьют. Да и у тебя, чай, лишней головы нет...

По фатальной случайности другой мой старший товарищ и почти земляк – сумчанин Иван Кравченко – погиб от осколков снаряда, который был предназначен мне. Случилось это в Прибалтике, когда мы в ожидании контратаки немцев спешно окапывались на опушке леса. Так получилось, что, отрывая окоп, я попал на корни и не смог его углубить. А сидеть, ожидая врага, в положении, когда колени упираются в подбородок, весьма неудобно. Видя мои страдания, Кравченко, отрывший окоп по полной форме, сказал:

– Давай, Ваня, окопами махнёмся. Мне, с моим ростом, твой вполне сгодится. А ты в моём разместишься с комфортом.

Так и сделали. Едва расселились, начался артобстрел. Мина разорвалась прямо у моего бывшего окопа. Когда дым рассеялся, я бросился к Ивану. Он ещё стонал.

– Потерпи, браток! – кричал я, пытаюсь вытащить его из окопа.

Изуродованный осколками, Иван Кравченко умер у меня на руках...

Нелепой, случайной, досадной показалась мне гибель товарища. Но война с её безжалостной логикой всё чаще и чаще доказывала, что на полях Марса смерть ведёт свою страшную жатву, не разбирая правых и виноватых, хороших и плохих...

О разведчике Алексее Урбаханове в корпусе ходили легенды. Был он по национальности монгол и, говорили, якобы – потомок Чингисхана. Впрочем, все монголы считают себя потомками “покорителя Вселенной”. Однако Алексей пошёл в своего далекого пращура не только раскосыми глазами. Косая сажень в плечах, под два метра ростом, он выносил “языков”, складывая их пополам, в наволочке из-под матраца. Участвовал в самых дерзких рейдах группы захвата и ни разу не был ранен.

Погожим деньком в лесу у Шауляя, где мы стояли лагерем за пять – семь километров от фронта, один наш солдат-художник, усадив Урбаханова на пеньк, рисовал его портрет. Наблюдая издали за работой живописца, мы видели, как проявляется на белом листе ватмана скуластое Лёшкино лицо, и завидовали такой чести.

Вдруг, раздался заунывный звук приближающегося снаряда. “Ложись!” – крикнул кто-то. Ударившись в ствол дерева, снаряд разорвался прямо над нашей поляной... Один за другим бойцы поднялись с земли, отряхивая приставшие травинки. И только Лёша Урбаханов остался лежать у пенька, на котором только что сидел. Маленький осколок попал ему точно в висок...

Но первой потерей, потрясшей меня и ставшей для меня первым суровым уроком войны, стала смерть нашего командира отделения, сержанта Сеницына. Произошло это вскоре после того, как части армии, закончив подготовку к операции “Багратион”, перешли к решительным действиям. Ломая оборону гитлеровцев, они неудержимо рвались к Березине.

Наше отделение, высланное от батальона в качестве головного разведывательного дозора, попало в засаду. На узкой лесной дороге, окутанной предрассветным туманом, очень трудно было понять, откуда по нам лупят.

– Назад! – успел крикнуть сержант Сеницын и упал, подкошенный автоматной очередью.

Отступив, мы обошли место засады и, зайдя с тыла, обнаружили в окопе одного-единственного фашиста, который вдобавок оказался ещё и раненым. Тут его и схватили.

– Сволочь! – сказал кто-то из солдат. – Это он убил нашего сержанта.

Отчаяние и горечь, вызванные потерей товарища, переполняли нас. То, что немец должен умереть, ни у кого не вызывало сомнений. Кто-то передёрнул затвор, намереваясь шлёпнуть его на месте.

– Слишком почётно для фашиста. Лучше повесить, – остановил его товарищ.

Облюбовав накренившийся телеграфный столб с обрывками проводов, мы тут же сделали необходимые приготовления и подвели немца к петле. О том, что поступаем незаконно, в тот момент никто не думал: горе, причинённое завоевателями нашему народу и каждому из нас, было безмерно. Об отмщении молили сожжённые сёла и города, осиротевшие дети и их убитые и замученные отцы и матери, об отмщении кричала истерзанная и поруганная белорусская земля. Во мне тоже клокотала ненависть к врагу. Два года, находясь в ок-

купации, я молил Бога, чтобы в нашу, стоящую особняком деревню зашли немцы. Мне жутко хотелось собственноручно угробить хотя бы одного фашиста, закопать его у нас в погреб и таким образом приблизить конец войны. А потому я бестрепетно смотрел на приготовления к казни. И только сердце на мгновение захолонуло, когда кто-то вышиб из-под ног фашиста обрубок бревна. Но то ли верёвка оказалась непрочной, то ли немец слишком тяжёлым, то ли Всевышний уберёт нас от греха, но фриц рухнул на землю.

Наиболее решительные наладились было повторить процедуру, но немец знаками стал умолять нас, объясняя, что во все времена существовал закон — не вешать повторно... Тут и мы малость поостыли.

— Чёрт с ним, братцы. Синицына всё равно не воскресить. Сдадим гада в плен...

К концу июня вышли к Березине.

Сколько завоевателей помнит эта река! Шведы, поляки, литовцы... Кто-то из офицеров сказал, что именно в этом месте, к которому подошёл наш корпус, в 1812 году полчища Наполеона переправлялись в Россию. Рассказывали, что вековые сосны на берегу реки ещё хранят в себе ржавые осколки ядер, кусочки шрапнели. Не знаю, правда это или нет, но то, что мы в сорок четвёртом, повторяя путь кутузовских солдат, вышибали басурман за пределы Отечества, — факт несомненный. И так же, как сто с лишним лет назад, над волнами Березины гнулись под тяжестью солдатских сапог дощатые настилы мостов, слышались крики команд и разухабистые русские словечки, без которых на войне никак не обойтись.

Кстати, гатить болота, которыми так изобилует пойма Березины, и выстилать брёвнами подходы к переправе нам помогали местные крестьяне. Они без сожаления отдавали на разбор свои хозяйственные постройки.

— Берите, братушки! Мы потом обустроимся. Главное, чтоб вы немцев скорее прогнали!

На реке мы увидели маршала А. М. Василевского. Стоя рядом с комендантом, он давал распоряжения об очередности прохождения переправы.

— Десять танков! Десять пушек! Десять машин с боеприпасами! Кухни — в сторону! В сторону, я сказал! Потом переправятся...

Второго июля разведчики нашего батальона, в числе которых был и я, уже шагали по Минску. Фронтной "киношник" в этот день даже заснял нас на плёнку у Дома Правительства, над которым уже развевался красный флаг. "Ты там, Ваня, как живой!" — рассказывал потом кто-то из знакомых, видевших этот документальный фильм.

После освобождения Минска меня наградили медалью "За отвагу". Это была первая по-настоящему боевая награда. Она мне и сейчас кажется дороже иных орденов.

О дальнейшем пути нашей части говорит моя красноармейская книжка, где вписаны благодарности за освобождение Молодечно, Вильнюса, Каунаса...

Нет слов, путь нашей части славный, победный. Но в жизни подчас не всё оказывается так красиво, как в сводках штабных донесений и реляциях больших начальников. Всякое бывало. Порой совершенно непостижимым образом уживалось комичное и трагичное, высокое и низменное, благородство и подлость, отвага и трусость. Война испытывала людей на прочность, обнажая их подлинную сущность.

На место погибшего Синицына был назначен сержант Акиншин. Замена оказалась неравноценной. И в этом мне вскоре пришлось убедиться.

Немцы контратаковали, как бешеные, и пехота вынуждена была зарыться в землю по самые уши. Однако наше командование всё же планировало перейти к активным действиям, и нас с сержантом Акиншиным послали на передний край для сбора разведанных о противнике. На первый взгляд задача казалась несложной: передвигаясь по траншеям, а там, где они прерывались, от ячейки к ячейке, нанести на карту всё замеченное пехотинцами на немецкой стороне. А также собрать сведения о характере передвижений противника, о порядке освещения местности в тёмное время суток, сигналах и т. п. Но наш передний край достаточно хорошо простреливался, и маячить под носом немецких снайперов было занятием не из приятных.

По мере продвижения к переднему краю, лицо моего сержанта становилось всё более озабоченным. А когда до ближайшей траншеи осталось рукой подать, Акиншин приказал остановиться.

— Знаешь, Вертелко, у меня что-то живот прихватило. Я отсижусь под тем вот мостиком через ручей, а ты пока начинай работу. Двигайся вправо — догоню. А нет — увидимся вечером на этом же месте. — С этими словами он сунул мне карту — и был таков.

Конечно, случается и так, что в разведку ходят в одиночку. Но куда как лучше идти на опасное дело, когда чувствуешь рядом надёжное плечо товарища. Я этого плеча внезапно лишился, и у меня тревожно засосало под ложечкой. Однако задачу никто не снимал, нужно было её выполнить, и я пополз. Вернулся на место, где расстался с Акиншиным, только часов через пять или шесть, когда карта была уже густо испещрена условными знаками. И сержант тут как тут.

— Вернулся, Вертелко! Вот и ладненько. А я думаю, куда запропастился? Пора уж обратно двигать, темнеет.

У мостика я его тормознул:

— Слышь, сержант, погоди маленько. Я по нужде схожу, — и обратно.

Какая нужда заставила спуститься под мостик, думаю, понятно. “Вещественных доказательств” расстройства желудка сержанта я там не обнаружил и больше в разведку с ним не ходил.

Несмотря на ожесточенное сопротивление немцев, наше продвижение к Балтийскому морю было упорным и поступательным. Ломая рубеж за рубежом оборону гитлеровцев, части 5-й гвардейской танковой армии преодолевали по 50–60 километров в сутки.

Особенно яростные бои велись за прибрежные города Мемель (нынешняя Клайпеда) и Палангу. С их утратой мощнейшая группа армий “Север”, дислоцирующаяся в Курляндии, оказывалась отрезанной от восточной Пруссии. Первым вышедшим на побережье были обещаны награды, и наиболее дерзкие удалыцы из разведчиков всеми правдами и неправдами стремились выполнить эту задачу. Нашёлся даже один чудак, который пошёл на подлог.

Принесенная им во фляге вода и вправду была солёной. Но незадачливо-го “мюнхгаузена” подвело то, что соль, которую он бросил для воспроизведения “морского эффекта”, до конца не растворилась. Авантюрист был изобличён и посрамлён.

Как бы там ни было, в конце октября мы всё же увидели Балтийское море. Его холодные, стальные волны с шипением набегали на песчаный берег. Но кроме холода, море несло и опасность. Части 5-й гвардейской танковой армии, вышедшие на побережье, подвергались массированному обстрелу с немецких кораблей, это было ужасно. От бомбёжки с воздуха можно спрятаться, от ударов наземной артиллерии и миномётов, при желании, тоже удавалось уберечься. Но от залпа из трёх-четырёх снарядов, выпущенных 203-мм или 310-мм корабельным калибром, не спасёт ни окоп, ни землянка в три наката. После попадания таких снарядов оставались только огромные воронки, и больше ничего. Наша дальнобойная артиллерия, способная отгонять корабли от берега, ещё не подошла, и мы чувствовали себя чертями на сковородке, в которую кто-то огромный и сильный плюхал огненную яичницу.

В такие жуткие моменты, вслушиваясь в тягуче-протяжный звук летящего с немецкого корабля “подарка”, мы нарочито бодрились, вспоминая что-нибудь забавное из фронтовой жизни.

— А помнишь, Вань, как нам “мессеры” помогали бельё сушить? — спрашивал мой товарищ, в паре с которым мы отрывали цель.

— Как не помнить! — откликнулся я.

Мы тогда стояли лагерем километрах в пяти-шести от передовой. Новых вводных не ожидалось, и старшина роты Михаил Батлин решил устроить банно-прачечный день. “Завшивели мои орлы, — сказал он комбату, — пора провести санитарную обработку”.

Комбат дал “добро”, и скоро на лесной поляне запылали костры, на которых в бочках из-под бензина кипятилась наша одежда. Бойцы в наряде Адама в живописных позах загорали на поляне. И вдруг — нарастающий гул самолётных двигателей. А вот и кресты на крыльях. Сделав боевой разворот, “мессеры” стали пикировать на наш Эдем. Пришлось уносить ноги в чём мать родила. Потом мы снимали нашу одежду с ближайших кустов и деревьев. Правда, после немецкой “просушки” трудно было определить, где гимнастерка, а где штаны. Иные бойцы из необстрелянных, проплутав по лесу целый день, возвратились к месту события только вечером, продрогшие, голодные,

исцарапанные, в импровизированных набедренных повязках. Ну, и смеху же было!

Теперь налёт “мессершмиттов” казался в сравнении с ударами корабельной артиллерии комариным укусом. И какое же облегчение вызвало у нас появление “ястребков”, которые смогли расстроить боевой порядок немецкой эскадры и отогнали её от берега. А потом, наконец, и наша артиллерия подошла.

Немцы, конечно, тоже времени даром не теряли. Пытаясь воспрепятствовать блокированию курляндской группировки, они перешли к активным контр-наступательным действиям. Основные усилия сосредоточили в направлении Шауляя. Ежедневно гитлеровцы совершали по пять – восемь контратак с использованием большого числа танков. Полукольцо окружения, упирающееся своими дугами в балтийский берег, порой истончалось настолько, что снаряды противника, перелетая наши позиции, разрывались в боевых порядках немцев, атакующих с другой стороны. Чтобы удержаться на занятых рубежах, наши танкисты зарывали свои “тридцатьчетвёрки” в землю по самую башню. А поскольку пехота ещё не подошла, экипажи делились надвое. Наводчик и заряжающий вели огонь из башни, а командир с механиком-водителем отрывали рядом ячейки и боролись с фаустпатронниками, для которых зарытые танки были отличными мишенями.

Все боевые машины Прибалтийского фронта, способные по запасам моторесурса совершить длительный марш, были брошены в район Шауляя. Бронетехника с ограниченным запасом хода доставлялась на трейлерах.

Несмотря на упорное сопротивление гитлеровцев, мы всё же смогли надеть намордник на пасть ощерившегося курляндского зверя. Но он по-прежнему оставался опасным. И пока часть сил I Прибалтийского фронта теснила на запад группу армий “Центр”, ещё недавно пытавшуюся соединиться с курляндцами, другие его части и соединения, в том числе и наша 5-я армия, железным заслоном встали на пути отрезанной группировки противника. Война в Прибалтике приобрела позиционный характер.

Я уже писал о том, что на фронте мальчишки взрослеют быстро. Действительно, они становятся более расчётливыми, собранными, смекалистыми, более зрелыми в делах и поступках. Но при этом всё равно остаются мальчишками, что особенно заметно в период затишья на фронте, на отдыхе, в моменты вынужденного безделья, когда проказы и шалости рождаются как бы сами собой.

Была в нашем батальоне рыжая немецкая кобыла – любимый трофей старшины Батлина. Он её берёг и лелеял, числил в своём хозяйстве единцей номер один. Солдаты из деревенских тоже были к ней неравнодушны – за счастье считали проехаться верхом, хоть на минуту ощутив себя босоногими пацанами, отправляющимися в ночное. А однажды, когда старшины не было в расположении батальона, мы устроили настоящий цирк. Затея состояла в том, чтобы, усевшись верхом на неоседланную лошадь, пустить её в галлоп, на полном скаку встать на колени, а затем и на ноги, балансируя босыми ступнями на холке кобылы! Один за другим мои сослуживцы терпели фиаско, срываясь вниз. У меня же номер этот вышел лучше всех. Но когда я мчался, стоя на спине у лошади, нежданно-негаданно прозвучал голос старшины.

– Ну, ты, жердь! Полно над животным издеваться!

Последовали громы и молнии, которые в мгновение ока смели меня со спины кобылы. Правда, в тоне старшины я уловил и нечто похожее на восхищение моим ездовым искусством:

– Ишь ты... казак выискался! Чтоб это было в первый и последний раз. Лошадь использовать только по назначению!

И мы оставили нашу Рыжую в покое. Но тут же нашли новую забаву. Теперь это, кажется, называется автородео. А тогда это было, по выражению старшины Батлина, злостным хулиганством и порчей государственного имущества. Забава же наша состояла в том, что мы решили поупражняться в прыжках с трамплина на мотоцикле. Выстроив из подручного материала стенку высотой около метра и уложив на неё ворота, принесённые с заброшенного хутора, мы отцепили от мотоцикла коляску и устроили настоящие состязания, где делались ставки и заключались пари на сахар, на чай, на фронтовые “сто граммов”. Азарт соревнующихся и зрителей достиг апогея, когда, как всегда неожиданно, возник старшина Батлин. Обведя гневным взором притихших разведчиков, он задал вполне логичный вопрос:

– Чей мотоцикл?

Потупив голову, я невнятно пробормотал, что мотоцикл мой.

– Т-а-а-к! Командир отделения – пример для подчинённых. Что, война уже кончилась? Или мы больше наступать не будем – можно технику гробить? – припечатывал меня убийственными фразами старшина. Наконец, он сделал резюме:

– Мотоцикла тебя лишаю. Будешь, как Утёсов поёт, водителем кобылы. Дружный хохот моих товарищей был обиднее всех высказанных старшиною слов.

Тут же Батлин отдал приказ:

– Запрягай Рыжую, поедешь за провиантом на корпусной склад.

И поплёлся я под колкие шпильки сослуживцев на хозяйственный двор выполнять поручение старшины.

До склада было около пятнадцати километров. Между тем день катился к вечеру. Земляк Батлина, заведовавший корпусным продовольствием, не ропился меня отпускать. Заглядывая под брезент, которым были укрыты штабеля продуктов, он не спеша выискивал какие-то коробки и коробочки, ящики и ящички, которые я относил на телегу. Когда тронулся в обратный путь, на землю уже опустились быстрые ноябрьские сумерки. Впрочем, дорога была хорошая, и я не слишком опасался заблудиться. Под мерный стук копыт хорошо думалось, наплывали картины прошлого...

Вот я сижу в родной хате, качаю люльку с сестрёнкой. Мать гремит чугунами у печки. А за окном – лихой посвист ребят, уходящих в ночное, и крик: “Ванька! Догоняй!” У меня внутри всё кипит от нетерпения, а сестричка всё плачет. Я тихонечко просовываю руку под пелёнки и легко щипаю сестричку за бочок. Она ревет ещё громче. Мать не выдерживает, подходит и начинает укачивать её сама. А мне того и надо: шашть за порог – и был таков.

Ходить в ночное – излюбленное занятие деревенской ребятни. Ведь только тёплыми летними вечерами и удавалось поскакать на необъезженных молодых стригунках, которых выдерживали в табуне до двух-трёхлетнего возраста, когда их можно будет использовать в хозяйстве как полноценных рабочих лошадей. До этого же молодняк гулял вольно, и только пацаны досаждали жеребятна своими играми в лихих кавалеристов. Сколько редкого в ту пору и страшно дорогого сахара было извезено, сколько подушек, использованных на манер седла, испорчено! Но какое это ни с чем не сравнимое удовольствие поскакать на необъезженном жеребце!

Мерно трясясь на облучке, за мечтами и размышлениями я не заметил, как совсем стемнело, а с неба стал сыпать противный полудождь-полуснег. И совсем упустил из виду, что в одном месте по пути на склад мне пришлось свернуть с грунтовки в сторону, переехать через мосток, а затем вновь возвратиться на столбовую дорогу. За эту забывчивость я и поплатился. Трофейная лошадь, видать, была не крестьянских кровей – наши обычно осторожнее хозяйина. А эта как шла, так и шла, не учуяв обрыва там, где, должно быть, всего несколько месяцев назад находился мосток. Рыжая почувствовала опасность слишком поздно. Глиняный грунт под её передними копытами обвалился, и она, увлекая за собой и меня, и телегу, полетела в воду. В считанные секунды я, как был, в сапогах, телогрейке и ушанке, оказался в ледяной воде.

Телега, упершись в одну из обгорелых свай бывшего моста, стала на попа, а лошадь, скованная упряжью, подпираемая сзади телегой, билась, напрасно стараясь высвободить погружённую в воду голову. Может, кто другой и растерялся бы в подобной ситуации, только не я! Печальный опыт утопленной коровы, а также случай, когда мы однажды чуть не утонули с отцом, провалившись с санями на тонком весеннем льду, научили меня действовать решительно. Не выпуская из рук вожжей, я пробрался, держась за глоблю, к голове лошади и в мгновение ока перерезал финкой гужи и чересседельник. Освободившись, Рыжая подняла морду, и стала с шумом отфыркиваться: видать, успела нахлебаться студёной водицы. По-прежнему удерживая лошадь в поводу, нашёл пологое место и выбрался на берег. Кобыла послушно следовала за мной. Отряхнулась как ни в чём не бывало – хоть снова запрягай. Моё положение было несколько хуже. Снял сапоги, я вылил из каждого по пол-литра воды, отбросил в сторону портянки и надел кирзачи на босу ногу. Вернулся к месту происшествия, осмотрелся. Всё, что лежало в телеге, оказалось в воде. Тяжёлые ящики пошли ко дну, а то, что плавало, унесло тече-

нием реки. Спасать груз сил не было. Гораздо больше меня волновало, а где я вообще нахожусь? В какую сторону идти? Как добраться до своих? Рыжая тихо фыркнула, и у меня сразу же потеплело на душе: хорошо хоть не один... Словом, побрели мы с Рыжей по дороге в надежде выйти на какое-нибудь жильё. Вскоре я заметил огонёк. Наконец, из мрака выступили очертания хутора. Постучал в окно. Через минуту скрипнула дверь, и на пороге появилась женщина с мальчиком лет семи. Видно, он, старший мужчина в доме, выступал в роли её телохранителя. Женщина выглядела испуганной, и я сбивчиво поспешил рассказать о своих злоключениях. Но мой вид мокрого петушка и понурая лошадь с хомутом на шее и обрывками упряжи были, видимо, красноречивее слов. Привязав кобылу к изгороди, крестьянка пригласила меня в избу.

Переступив порог, я увидел на печке ещё одну обитательницу хутора – девушку лет пяти. Она испуганно таращила на меня глазёнки. Между тем хозяйка принесла пару самодканого льняного белья – штаны и сорочку, предложил немедленно переодеться за ширмой, вытащила из печки дрова, приготовленные для завтрашней растопки, устелила низ соломой и велела мне лезть в печь. С трудом просовывая своё длинное тело в это прокрустово ложе, я невольно подумал о том, что мне грозит участь братца Иванушки, которого Баба-Яга намеревалась изжарить на ужин. Тем более, в последнее время ходили упорные слухи, о “лесных братьях”, скрывающихся в глухих хуторах и при каждом удобном случае наносящих вред нашей армии. Сама хозяйка с трудом понимала по-русски, и мы объяснялись больше жестами. Но пока ничего страшного не произошло. По телу разливалось блаженное тепло. А потом с меня градом начал катиться пот. Я всё лежал и лежал в печи, а пот всё лился и лился, мне даже стало казаться, что я состою из одной воды. Потом совершенно неожиданно я начал просыхать и телом, и одеждой. Я вспомнил о лошади и спросил хозяйку, как там, мол, моя животина. Она жестами показала мне, что дала ей сена и покрыла попоной. Затем хозяйка пригласила меня за стол, о котором можно было только мечтать в военное время: и хлеб, и сало, и домашний сыр, и даже чарка самогона...

На рассвете, поблагодарив хозяйку за гостеприимство, я двинулся в путь. От одной мысли о предстоящей, встрече со старшиной мне становилось тошно. Однако первыми словами старшины были: “Вертелко! Жив! Ну, слава Богу!” А потом, конечно, начался “разбор полётов”, и влетело мне по первое число. На место происшествия старшина поехал сам, меня с собой не взял, чтоб не нервировал своим присутствием. А я, сидя на хоздворе и ожидая его возвращения, мучился угрызениями совести: испортил Батлину праздник. Ведь ему исполнилось тридцать лет, и продукты, которые я не довёз, предназначались в том числе и для того, чтобы отметить эту дату в батальонном масштабе. Впрочем, командование представило старшину к боевому ордену, и я утешал себя тем, что мой промах с лихвой компенсирован.

Война между тем продолжалась, мы, разведчики, занимались своей обычной работой – добывали информацию о противнике, брали “языков”, слушали и наблюдали. Правда, в условиях стабилизации фронта делать это становилось всё труднее, и мы пускались на всякие хитрости и ухищрения. Нейтральная линия между нами и немцами составляла триста-четырееста, а иногда и более метров. Разумеется, ни одной человеческой души на этом хорошо простреливаемом пространстве не было, зато стояли полуразрушенные крестьянские избы, хутора, где иногда попадалась одичавшая домашняя живность. Этот фактор мы и решили использовать, чтобы добыть очередного “языка”. Отловив трёх-четырёх гусей, мы проникли с ними под покровом темноты на заброшенный хутор на нейтральной полосе. Привязали гусака, а остальных птиц отпустили, зная, что от жоака они всё равно далеко не уйдут. Сами укрылись в засаде и стали наблюдать. На рассвете немцы заметили гусей, и несколько из них, особенно охочих до свежей гусятины, двинулись за добычей. Тут мы их и сгребли. Не знаю, чему мы тогда больше радовались: тому, что выполнили боевую задачу, или тому, что при этом сумели вернуть себе жаркое, которое было поставлено на карту. С продуктами бывали перебои, особенно в обороне, и потому самостоятельная добыча пропитания занимала в нашей жизни немаловажное место.

Помню, был период, когда с харчами стало особенно туго. Ходили мы луголодные и злые. Осенняя распутица и затяжные дожди затрудняли подвоз продовольствия, а приоритет на разбитых просёлочных дорогах отдавался ма-

шинам, везущим боеприпасы и горюче-смазочные материалы. В то время на освобождённые земли стали возвращаться крестьяне, покинувшие свои дома во время боевых действий. В одном из таких домов мы приметили худющую пегую корову, которая, видать, вместе со своими хозяевами хлебнула немало лиха. Мы строили планы, как бы её умыкнуть, и при этом не быть разоблачёнными. Наконец, созрел великолепный план: увести корову, не оставляя следов, можно, обув её в солдатские сапоги. Так и поступили. Нарядив бурёнку в свои сапоги, мы отвели её в ближайший лесок, зарезали, изжарили и съели. Представитель особого отдела раскрыл преступление по горячим, а вернее, по слишком уж глубоким следам, оставленным нашей коровой. Но, принимая во внимание особые обстоятельства, дела заводить не стал. А главным обстоятельством, как мне кажется, было уж слишком долгое наше сидение на одном месте. Ведь при ведении активных боевых действий на подобные глупости просто времени не остаётся. Тут только думаешь, как бы урвать немного времени для сна. Только забудешься, а труба уже зовёт!

Наконец, дождались перемен. Из Курляндии часть перебросили в Восточную Пруссию, где наступление развивалось полным ходом. О его стремительности говорит хотя бы такой факт. Когда мы вторглись в город Эльбинг, в нём ещё продолжалась обычная жизнь: по улицам шли трамваи, на плацу военного училища строились на вечернюю поверку юнкера, на привокзальной площади репродуктор вещал на немецком языке.

— О чём базарят, товарищ младший лейтенант? — спросил я у своего командира взвода Валентина Панасюка, который неплохо понимал немецкий язык.

— Говорят, что русские вероломно перешли границу Германии и ведут наступление. . .

— Ишь ты, вероломно. . . — ругнулся кто-то из солдат. — Что они в Берлине запоют? . .

Шёл январь сорок пятого года. Мы воевали на чужой земле. И немецкая речь звучала повсюду. Слышать-то мы слышали, но ничего не понимали. Один Панасюк, понятно, всю разведку спасти не мог, и мы решили обзавестись переводчиком. Скольких прекрасных “языков” безвозмездно передали мы в высокие штабы! А вот сами по-настоящему воспользоваться услугами пленного немца так и не сумели. Главное, убедить какого-либо отловленного фрица пойти с нами на сотрудничество, это было весьма непросто: иногда попадались такие несговорчивые экземпляры, что с ними можно было вести диалог только при помощи автомата.

У одного из населённых пунктов на подступах к Кёнигсбергу наш дозор попал под обстрел. Осколком снаряда убило водителя мотоцикла, другим осколком искорёжило блок цилиндров. Мы с младшим лейтенантом Панасюком были вынуждены отходить пешком. Свернули на ближайшую улицу, и — вот так встреча! — по дороге шагает пьяный немец с карабином. “Сейчас узнаем, кто это по нас осколочными лупит”, — сказал Панасюк. Повязали мы немца, стали расспрашивать, а он отвечать категорически отказывается. Между тем, до нас всё явственней доносится гул моторов. Кто: свои, чужие? . .

Вытащив парабеллум, Панасюк подтолкнул им немца: “Ком шнеллер!” — А тот идти не хочет, упирается, как говорится, всеми копытами. Сам здоровый, под два метра ростом, на себе такого тоже не понесёшь. А тут ещё снег плотный повалил — в десяти метрах ничего не видно.

— Давай шлёпнем его, — предложил я младшему лейтенанту. — Всё равно толку от этого “языка”, что от козла молока, только лишние хлопоты.

— Не могу, — отвечает Панасюк. — У меня в пистолете только один патрон остался, для себя берегу.

Я передёрнул затвор ППС и нажал на спусковой крючок. Раздался глухой щелчок, но выстрела не последовало. Пистолет-пулемёт, смазанный летней смазкой, отказался стрелять. А гул танковых (теперь мы отчётливо слышали это) двигателей раздавался уже совсем рядом. Отчаявшись, я толкнул немца в спину, заставляя идти вперёд. И когда он в очередной раз встал, как вкопанный, треснул его прикладом по голове. Фриц медленно осел на снег, а мы с Панасюком рванули в сторону от дороги. Ещё немного, и неизвестно, кто бы у кого оказался в качестве “языка”.

А вот со следующим экземпляром нам положительно повезло. Он сразу заявил, что “Гитлер капут!”, и выразил полную готовность к сотрудничеству.

Утаив своего “языка” от командования, мы закамуфлировали его под члена экипажа и использовали при переговорах с местным населением и захваченными в плен солдатами и офицерами противника. С помощью нашего “ганса” мы смогли добыть немало интересных и ценных сведений о противнике и характере его действий.

Я уже считал себя законченным разведчиком, когда судьба неожиданно заставила меня сменить боевую специальность. В марте 1945 года в танковой роте нашего разведбата выбыл из строя один из заряжающих танка. А поскольку я хорошо знал пулемёт, который и на Т-34, и на наших мотоциклах был одинаковым, меня назначили на место того парня. Так я стал танкистом. И хотя громыхание мощной танковой пушки пришлось мне по душе, я не перестал испытывать страсть к стрелковому оружию. Найдя на поле боя немецкий пулемет MG-34, я радовался, как ребёнок, и с удовольствием испытал его качества, стреляя по пустым бутылкам, выставленным на бруствере окопа. Правда, взяв трофей в башню танка командир мне запретил. И так, мол, места не хватает. Тогда я приноровил свою находку на броне, между башней и запасным топливным баком. Авось на что-нибудь и сгодится. И сгодился!

Как-то во время очередной контратаки немцев под Шауляем, — а они, пытаясь деблокировать наше кольцо, предпринимали их по несколько раз на дню, — я вспомнил о трофейном пулемёте. Приладив его на бруствер окопа, в котором стоял наш танк, снарядил ленту несколькими сотнями патронов и с нетерпением стал дожидаться очередной атаки гитлеровцев.

И вот они появились снова. За тёмными силуэтами танков шли в полный рост высокие парни с закатанными рукавами мундиров, со “шмайсерами” в руках. Подбадривая себя выкриками, они стреляли от живота длинными захлёбывающимися очередями, от звука которых мурашки пробегали по телу. Передёрнув затвор, я выхватил в прицел первую цепь. Подходи поближе, мать вашу! Пулемёт вздрогнул и пошёл косить, перебивая треск их автоматов. Всё продолжалось не более нескольких минут. Мы сумели отсечь пехоту от танков, атака немцев захлебнулась.

— Ну, ты даёшь, Вертелко! — с восхищением говорили потом товарищи, хлопая меня по плечу. — В твоём секторе обстрела насчитали тридцать четыре убитых фрица. Командир сказал, что к ордену тебя представит.

Позже меня, действительно, наградили орденом Красной Звезды и направили на учёбу в военное училище. Однако это случилось уже перед самым концом войны. А пока мне ещё предстояло вкусить немало прелестей танкистской жизни: поучаствовать в новых боях, испытать на броне своего танка мощь фаустпатрона, эвакуироваться из объётой пламенем машины. Почему-то я не столько радовался тогда за свою спасённую жизнь, сколько печалился о сгоревшей в танке телогрейке. Моё отчаяние было так велико, что один из товарищей широким жестом одарил меня телогрейкой со своего плеча.

— Но предупреждаю, — сказал он, — хоть это и царский подарок, “автоматчиков” в нём — пруд пруди (“автоматчиками” мы называли вшей). Так что ты её, Ваня, прежде покопти хорошенько в камине, погоняй их, подлых.

Было это в то время, когда мы, расположившись на отдых в одной из богатых немецких усадеб, по-гусарски играли в карты, ставя на кон трофейные часы (денег на фронте не платили), пили вино, выставленное посреди залы в серебристом ведре, и слушали граммофон. Последовав совету товарища, я засунул телогрейку в духовку камина и присоединился к картёжникам.

Мы были в полном азарте, когда в зале совершенно неожиданно прогремели выстрелы. Хватая оружие, все повалились на пол. Но беспорядочная пальба стала ещё сильнее. Прошитоое пулями, расколослось зеркало напротив камина. Сержант Иван Подлесный вдруг застонал, схватившись за голову.

— Ваня, живой? — крикнул я ему.

— Вроде живой, — отозвался он. — Неизвестно откуда, залетела гильза, да прямо ему по лбу.

И тут мой приятель, подаривший мне телогрейку, приснул со смеху:

— Это твои “автоматчики”, Вертелко, стреляют.

— Что за шуточки? — огрызнулся я.

— Патроны, — давясь от смеха, сказал он. — Патроны в карманах. Выложить забыл...

Метнувшись к камину, я выхватил из духовки дымящуюся и стреляющую телогрейку, швырнул на пол и принялся топтать ногами. Затем, схватив со

стола ведро с вином, принялся тушить пожар подручными средствами, за что мои товарищи меня чуть не убили: “Ты что, Ванька, очумел? Вином патроны охлаждать?!”

Когда выстрелил последний патрон, я поднял “расстрелянную” телогрейку и попытался подсчитать ущерб. На неё было жалко смотреть. Изрешеченная пулями, она напоминала мишень после стрельбы батальона.

— Ничего, Ваня, — утешали меня товарищи, — подлатаешь — сгодится. А то и так ходи. Всё ж вентиляция...

К счастью, кроме Подлесного, в тот день никто не пострадал. Но разбитое зеркало было скверной приметой, которая вскоре сказалась. Во время артобстрела, когда я залезал в танк, меня легко ранило в голову. Правда, из медсанбата я сбежал буквально на следующий день, чтобы, не дай Бог, не отстать от своего подразделения. Командир похвалил за верность боевому товариществу и вручил мне предписание о направлении в Казанское танкотехническое училище. Так что День Победы, который я мечтал встретить под стенами рейхстага, застал меня в Казани. Мы, новоиспеченные курсанты, в сотню глоток кричали “ура”. Над городом взлетали ракеты, и повсюду стояла пальба, которая казалась мне похоронным салютом по всем войнам, когда-либо гремевшим на земле.

ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ

СПАСЁННЫЕ ПТИЦЫ ХРИСТА

ЭССЕ

Я люблю одну маленькую притчу из “Апокрифа Фомы” о детстве Христа. Всякий раз, когда я вспоминаю её, она представляется мне живо, ярко, с подробной и отчётливой фактурой, с чёткой, почти осязаемой картиной происходящего, вплоть до серой гальки на берегу ручья, перемешанной с овечьим горохом, с верблужьими следами на пыльной дороге, с жёлтой травой на плоских крышах Назарета, сухой и унылой, как остановившееся время.

Этот маленький приземистый посёлок среди выжженных холмов Галилеи, так похожий на какой-нибудь современный посёлок, затерянный в степях моего родного Оренбуржья, в тот жаркий летний день казался вымершим. Не слышно было ни пастухов, забившихся в тень редких деревьев вдоль ручья, ни гончаров и торговцев на кривых улочках посёлка: текла медленная и ленивая суббота, день всеобщей молитвы и отдыха. Только овцы, сгрудившись на берегу, всхрапывали время от времени и бестолково прятали головы в тень друг друга, да там, вдаль, стайка мальчишек, окружённых собаками, посвистывая, носилась по знойным холмам, играя в неистребимую игру “купцы-разбойники”.

А на берегу реки сидел одинокий мальчик. Худощавый, смуглый, кудрявый — обыкновенный мальчуган безвестного пастушеского племени, осевшего когда-то на этой скудной земле, ставшей навеки родной, обетованной. Мальчику неизвестно ещё, что человечество скоро начнёт жить по времени, отсчитываемому от Его рождения, что каждое слово Его, произнесённое вскользь и проходя, станет священным и эхом будет отзываться в течение тысяч лет в миллионах человеческих душ. Откуда Ему было знать об этом, даже несмотря на то, что Его рождение было ознаменовано когда-то странными и необычными явлениями?..

День продолжался, длился, горяч, тягуч, бесконечен, он словно бы застыл сам в себе, в вековом этом задыхающемся полдне. Мальчик лепил птиц из глины и изредка посматривал на играющих сверстников, которые почему-то никогда не брали Его в свои игры. Он всё чаще начинал себя ощущать изгоем, в Нём была та едва заметная необычность, отмеченность, которую мальчишки всегда чувствуют своим безошибочным стайным чутьём, а по закону всякой стаи любое отличие — порок... .

Но мальчик никогда не обижался на это, Он только грустил, как и сейчас, и почему-то жалел и мальчишек этих, и весёлых псов рядом с ними, и этих овец, хрипящих от жары, и вон того старика, который брёл, опираясь на посох, прямо к Нему. Старика опять плохо отдыхалось в этот обязательный строгий молитвенный день, и вообще его уже давно что-то мучило, жгло сильнее этого солнца, этого знойного дня, раскалившего землю, как жаровню. Мальчик лепил своих птиц, отделявая тщательно крылышки и головки, и вдавли-

вал им вместо глаз тёмные камушки, которые придавали птицам живой и осмысленный вид.

Птиц было двенадцать, так получилось. Он расставил их полукругом, и они, высыхая, светлели прямо на глазах. Мальчик не знал, конечно, что они как две капли воды похожи на ржанных весенних жаворонков скифов-пахарей, живущих бесконечно далеко отсюда, что они ещё больше похожи на деревянных шаманских птиц вообще никому не известных финнов-гипербореев, находящихся по ту сторону света. Да, мир единоисходен, но рассыпан давно и надолго, и время собирать его камни, его слова и знаки, его разлетевшихся птиц ещё не пришло...

Посверкивая почти живыми глазёнками, глиняные птицы светло и невинно восседали вокруг зачарованного ими мальчика, но уже нависал над ними дребезжащий и высокий голос сердитого старика, как-то уж слишком споро и незаметно возникшего рядом.

Сердце мальчика как бы остановилось в ужасе, и не столько от избыточной брани старика, возмущённого тем, что маленький негодяй оскверняет работой святой день субботы, а оттого, что самораспавшийся старик яростно взмахнул своим тяжёлым посохом, намереваясь разбить его птиц.

За мгновение до несчастья вся боль за ещё несвершившееся и весь ужас перед свершаемым собрались внутри в одно страстное желание, и мальчик закричал иступлённо:

– Летите!!!

Птицы, вспорхнув, улетели, а посох старика, разбрызгивая грязь и глину, бил уже по пустому. То, что птицы исчезли, унеся с собою, собственно, и причину для гнева, старик даже и не заметил, а мальчик, потрясённый ещё и опасностью быть побитым, выскользнул из-под палки и поспешил скрыться с глаз. Да Он и сам едва ли понял, что произошло, слишком тяжко было всё это, а помнить и нести в себе страсть и боль, собранные в единое слово в миг смертельной для родного опасности, было невозможно.

Но птицы были спасены...

Эта апокрифическая новелла¹, не вошедшая в христианский канон, всегда меня странно волновала и озадачивала. Мне казалось, что автор, задавшийся целью рассказать лишь о первых чудотворных деяниях Иисуса (сущность которого и без того была ярко озаменована ещё до его рождения), вопреки приземлённой сути вообще всех апокрифов, обозначил совсем иное: великую духовность и скрытые возможности человеческого Слова, первый, полубессознательный шаг юного мессии к статусу Христа, к своей будущей Нагорной проповеди – величайшей из проповедей, которые знало человечество. Но прежде всего, автор невольно выявил качества Божественного Слова, способ владения Словом, а через него – людьми, способ предельной духовной концентрации с мгновенным внутренним подчинением всего – единому, с абсолютной убеждённостию в том, что сказанное – истина, и – свершится...

Апокриф предполагает, что Сам мальчик Иисус после случая с птицами глубоко задумался над происшедшим. Да, Он неожиданно ощутил свою силу, вернее, силу найденного способа, но вначале едва ли был уверен, удастся ли Ему повторить подобное. Апокрифы запутанны в свидетельствах, но косвенно можно предположить, что будущий Христос, в конце концов, убедился, что в определённых обстоятельствах Его способ безотказен. Вот Он пугает учителя каббалистическими фокусами. Вот Он умерщвляет обидчика, правда, опомнившись, тут же воскрешает его. Судя по всему, Он применяет способ стихийно, упиваясь собственной силой, но очень-то размышляя, на что направить его, – и в родном Назарете становится со временем как бы носителем зла. Его начинают бояться. И близкие, удручённые Его опасной непредсказу-

¹ Дело в том, что апокрифы чаще всего ревизовались церковью из-за их так называемой "обмирщённости", "плотскости", из-за того, что богословие именуется сейчас "ренанизмом", по имени французского учёного и философа Эрнеста Ренана (1823–1892), написавшего известную книгу "Жизнь Иисуса". В ней Иисус представлен в виде плотского земного человека, порою невоздержанного и избыточно страстного. Этим грешили и грешат многие писатели-неофиты (Михаил Булгаков, Чингиз Айтматов и пр.) и некоторые псевдоправославные проповедники, например, небыизвестный Александр Мень. Наше эссе как раз предоставляет возможность увидеть разницу между духовным и плотским в отношении к христианским святыням и, кроме того, разглядеть апокрифический "механизм" самого "обмирщения".

емостью, решают наложить на Него руки, то есть попросту – убить, считая, что Он вышел из ума...

Позже с Ним происходит то, что этнографы называют инициацией, то есть посвящением, а каноническая христианская традиция – крещением. Посвящённый Иисус отправляется в пустыню и за сорок дней непрерывного поста и размышлений приходит к определению призвания, то есть, прежде всего, к внутреннему упорядочению открытого им способа владения Словом, направленною его исключительно на Добро...

Но это происходило уже за пределами апокрифа, который, повествуя о детстве Христа, случайно задел одну из неразгаданных тайн человечества: речь, язык, Слово. Тайна человеческого Слова, кроющаяся в его собственных внутренних свойствах, до конца ещё совершенно не выясненных, – это тайна не только Христа, христианства, предшествующих и последующих религий, это ещё и тайна поэзии, искусства вообще, это тайна прошлого и будущего человечества.

Слово-мысль, возникая между общающимися, создаёт ту особую сферу, которая зовётся духовностью, или, как её называли русские христианские просветители, – благодатью. Не имея видимой, осязаемой физической субстанции, слово, тем не менее, обладает огромной силой, и не только в собственных внутренних пределах, но и вовне. На первый взгляд, эта сила индифферентна, то есть безразлична к тому, на что она направлена, на добро или зло. Но это только на первый взгляд.

Уже то, что Слово, то есть само человечество в Слове, существует много тысячелетий и, мало того, сравнительно благополучно, говорит о том, что Слово, духовность имеет особые внутренние свойства, которые, в сущности, созидательны.

Но очевидна и начальная двунаправленность Служения (чёрная магия, чёрный шаманизм, современный сатанизм и манипуляции со Словом случайных проповедников разнообразных сект и пр.), которая возникает, когда носители способа лишены иницирующего, направляющего обряда...

Так что же такое Слово человечье? В чём кроются его удивительные свойства, как возникли эти свойства, почему не всякому дано выйти к тайнам их, к способу владения ими?

Можно ли различить Способ при современном состоянии Слова в высших его проявлениях, то есть в поэзии?

Что такое поэт вообще? Почему поэт, бывший когда-то носителем высокого пророческого статуса, ныне низведён не только до носителя статуса гражданского декларатора, но и просто зингрейтера, то есть сочинителя и продавца текстов?

Почему особое состояние носителей тайны Слова, то, которое когда-то называлось поэтическим безумием, а позже – более лояльно – вдохновением, стало для поэтов синонимом чего-то постыдного?

И не потерял ли статус поэта-пророка навсегда, за ненадобностью, и не качество ли новой изменившейся среды – причина тому? Кстати, Иисус, по контексту того же апокрифа, став уже признанным Мессией, в своём родном Назарете так и не смог больше ни произнести пророчества, ни произвести чуда. Это очень любопытный момент: способ действителен лишь в среде ожидающей, а среда Назарета была накалена отторжением...

Что такое Слово сегодня?

Почему оно выхолостилось и опростилось до мелких нужд любителей посудачить, до сплетни и клеветы?

Почему говорится о свободе и равноправии в то время, когда главная свобода человека свобода его словоизъявления и слововосприятия – подавлена и подменена тем, что почему-то называется *средствами массовой информации*?

Почему не Слово Добра, а грязное, растлевающее слово дённо и ночью вдалбливается в уши “свободных” граждан, а резонное желание заставить замолчать это чужое и враждебное слово, чтобы оно не сеяло ложь, не растлевало детей и не мучило стариков, считается едва ли не преступлением?

Почему процветает вопиющее непонимание, что истинная, скрытая сила Слова таится не во внешних его проявлениях, но во внутренних, и что, в конце концов, растлители, лжецы и поборники зла сами пожнут то, что посеяли, о чём буквально вопиёт вся мировая история?..

Маленькая новелла из “Апокрифа Фомы”, навеявшая так много и так сразу, конечно не содержала в себе ни вопросов, ни ответов. Но она не содержала и ничего лишнего, так как по законам мифологизации всё, даже самая незначительная деталь, служит целому и находится в полной гармонии с ним. В новелле же присутствовал момент, который, на первый взгляд, не помещался в особую мифологическую необходимость: ожившие птицы Христа (ведь мальчик мог лепить и не птиц). Их таинственная связь с произнесённым словом, внутренняя совмещённость с ним, синкретность взаимодействия — всё несло некий предмифический субстрат, какое-то изначальное понимание единоисходности, которое было то ли позабыто уже, то ли, как общеизвестный факт, ещё не требовало тогда особых пояснений.

Слабая догадка, неожиданная, но не случайная, постепенно переросла в размышления, которые долго не ложились на бумагу. Мешало многое, но больше всего смущала необходимость вторжения в чужие, как мне казалось, пределы, нет, не запретные, но давно и крепко освоенные теми, кто так и не сумел внятно ответить ни на один из витающих над ними вопросов...

Но однажды осенью, когда над Иртышом, легко скользящим в золотом обрамлении тополей и черёмух, потянулись на юг сибирские птицы, эти огромные, беспрерывно накатывающиеся стаи, станицы, армады грачей, галок, скворцов вперемежку с провожающими их воронами, когда медленный шелест неисчислимых крыл переполнил воздух и слился словно бы в единый гул, в звук печального прощающегося предупреждения, мне показалось, что в нём слышится не только это.

И пока первое беглое ощущение выражалось, как это часто бывает, поспешными стихами, я уже, кажется, знал, что предсказывали птицы, вся эта воистину тварь Божья. И если и я, никогда не учившийся их языку, вдруг на мгновение понял его, то наверняка подобное происходило с людьми тысячекратно, — и в этих забытых беседах с горным, летящим, заповеданным, возможно, и произошло таинственное сперва предвосхищение Слова, а затем и выход к Способу овладения им, на что и намекал удивительный апокриф, бессознательно запечатлевший, быть может, самый первый завет Христа — взлетающую и самоспасительную суть человеческого Слова...

А стихи, как след того мгновения, запечатлели только начало даже и не прозрения, а слабого предощущения и собственной малой, но нерасторжимой связи с миром Божьим, осуществлённой для нас завещанным на века Словом:

*Ветер взовьётся, и птицы взлетят,
И потемнеет, на миг обессилев,
Воздух, промешанный сотнями крыльев,
Перетекающих в дальний закат...*

*Я ничего не хочу от тебя,
Жизнь, ты дана мне, и этого хватит —
Этих взлетающих птиц на закате,
Этого ветра, чтоб жить, не скорбя.*

*Этих отмеренных случаев дней
Хватит, чтоб ими сочечь свою участь,
Лишь бы любимых суметь не измучить
Неугомонною жизнью своей...*

*Вот и опять поднялись, поднялись
Тёмные тени без снов и пристанищ.
В этих взлетаниях разве не станешь
Сам полутенью, взметнувшейся ввысь?..*

*Ветреной птицей, сквозь и трубя,
Перечеркнуть бы вечерние тучи!..
Жизнь, золотой мой закат неминуемый,
Я ничего не хочу от тебя.*

ЕКАТЕРИНА КУРДАКОВА

ИЗ ЗАПИСОК РЕСТАВРАТОРА

История создания стихотворений “Кадь” и “Пряха”

В 1981 году в Этнографическом музее, находящемся в селе Бутаково Восточно-Казахстанской области, была создана уникальная экспозиция парковой скульптуры под открытым небом “Сад корней”. Автором деревянных скульптур был усть-каменогорский мастер-флорист Евгений Курдаков.

Экспозиция вызвала широчайший интерес и резонанс не только в Казахстане, но и в Союзе, и запомнилась на многие годы.

А в 1983 году музей переехал в Усть-Каменогорск. Евгений Васильевич пишет об этом: “Вот открыли музей, получился он уютным, радостным, в меру современным, – и даже наше сердитое и всегда недовольное начальство перестало брюзжать, оно воочию убедилось, что музей не блеф, не фикция, но живая реальность, что всё вещественно, материально, зримо, что всё можно руками потрогать.

А насколько всё это материально и вещественно, я ощутил, наверное, больше всех: за сто дней отреставрировал 112 вещей: хомуты, чаши, кросна, вилы, ступы, лохани, скамьи, грабли, дуги, вилы, швейки, серпы, сёдла, челноки, косы, околясики, сани, скальни, корзины, ружья, жбаны, кебеже, сундуки, туески – и т. д. и т. п., не говоря о разбитой мебели, которую Зайцев привёз из Ленинграда.

Каждую вещь приходилось обегать дважды: сначала полностью разбирать, а потом после чистки, доделок, ремонта, – собирать, спланировать, укреплять, и лишь затем отделывать.

Такие двойные путешествия вглубь вещей по следам старых мастеров, конечно, не прошли даром. Я увлёкся и стал по-иному смотреть на такие простые вещи, как прялки или там бадейки, коромысла или хомуты. В работе до меня постепенно дошло, что эти предметы быта и обихода настолько давно устоялись в форме своей и функциях, что не могли не превратиться в символы, которые ныне совершенно забыты и не ощущаются. И что при должной сосредоточенности можно заглянуть очень глубоко”. Так думал Е. В. Курдаков в то время. И думал поэтически.

Мне кажется, что стихотворение “Пряха”, написанное примерно в ту же пору, служит наиболее ярким тому подтверждением:

*Пряха за прялкой сидит у окна,
Топится печь, и темнеет оконце,
Веретено всё скребётся о донце,
С лопасти солнце горит дотемна.*

*Заметена под застреху изба.
Зиму прядут вековые метели,
Тащится ветхая нить из кудели
Ровно и медленно, будто судьба.*

*Спас позабыто темнеет в углу.
Пряха прядёт, словно молится Богу,
Древнему Солнцу, Яриле, Сварогу,
Свету, глядящему с прялки во мглу.*

*И семипалой короною пласть
В лунные четверти век отмеряя,
Благославляет её, помогая
Прясть эту пряжу, как жизнь перепрясть.*

*Где это было, в каком полусне,
Ты из какого восстала напева,
Мокошь, праматерь волхва, Параскева,
Воспоминанье о давней родне?*

*Кто заповедал мне помнить душой
Это камланье, язычество это,
Солнцепряденье, кручение света,
Переполнение жизнью самой?*

*Переполняется веретено,
Скручено, смотано, ссучено, свито,
Отворожилось, пропало, забыто,
Было ли, не было — знать не дано.*

Я вспоминаю, как папа рассказывал о трепетном восторге критика В. В. Кожина при чтении этого стихотворения. Вадим Валерьянович был поражён не только глубиной смысла, но и символикой и изощрённой стихотворной техникой. Знание это вызывало недоверие и внимательно-вопросительный взгляд Кожина на Евгения Васильевича, отчего Е. Курдакову оставалось лишь улыбнуться. Но это будет несколько позже.

“Работая, я всё думал, что возвратить вещам осязаемость, плотную видимость, объём, образ в действии, в жизни, в гармонии с другими подобными вещами — трудно, но, в конце концов, выполнимо, но вот возвратить дух этих старых предметов, раскрыть их символическую и неслучайную наполненность, — это чрезвычайно трудно... Зайцев так разохотился, он увидел работу и уже дёргает меня на новые подвиги... И жаль этих пропащих ста дней...”

Однако эти “пропащие сто дней” не отпускали, и появились следующие записи: “Реставрация — не ремонт, это возвращение потерянного духа и смысла вещи.

Всю зиму я работал в реставрационной мастерской, наспех оборудованной в старом подсосном доме в центре города. Он стоял, заброшенный, среди высоких многоэтажных учреждений. Тяжёлые морозы стояли всю зиму, а с улицы доносились визгливые, хрустящие шаги быстро идущих людей. Окна мастерской покрылись необычайно толстой наледью с махрами инея и почти не пропускали света.

В мастерской было постоянно холодно. Ветхие батареи только булькали и щёлкали, и дед-истопник, приходивший по утрам подкинуть угля в кочегарку, только разводил руками — всё обветшало: батареи, трубы, и дом давно не держал тепла.

Чтобы не замёрзнуть, приходилось непрерывно двигаться, работать. Каждый стук музыкально отзывался в струнном чреве старого рояля, ждущего своей очереди, — и сначала это действовало на нервы, но потом притерпелось и даже обрело свой смысл.

Удар молотка не обрывался сразу, но продолжался странным гудением, которое витало в плотном воздухе мастерской и создавало какой-то странный музыкальный фон, ощущение некой непрекращаемости действия.

Хомуты, чаши, бадьи, прялки, коромысла, ступы, лохани, скамьи, грабли, вилы, серпы, косы, сани, дуги, швейки, скальни, корзины, туюски, бурочки, сёдла, ружья, жбаны – множество деревянного и железного этнографического скарба, собранного в экспедициях, ждало моих рук. Предметы были настолько сработаны, что уже не держали форму. Всё рассыпалось, разваливалось. Это были оболочки, тени вещей, прах забытого быта. Даже название их уже потеряло смысл.

Вместе с вещью умирает и имя. Сначала нужно было возвращать осмысленность, плотную видимость, объём, цвет, образ вещи в действии, в жизни, в гармонии с другими вещами, – и всё это было нелегко, но возможно.

Невозможно было только вернуть им дух, ведь каждая устоявшаяся вещь, из тех, чьи формы доведены до абсолютного завершения, не могла не превратиться в символ. Хотя бы для мастера. Ведь истинный мастер одухотворяет вещь и свою работу уже просто потому, что работать ему нужно радостно, а радость не может возникнуть из бездуховного.

Имя каждой вещи возникало не случайно, оно исходило из более древнего времени.

Вещи дробились, имена их множилось, веером расходились из вещи-праматери, но каждое название в своей глубине хранило её символ и её дух.

Я разбираю, чищу, надставляю, клею, сплавиваю, шлифую, пропитываю этот хлам, этот зыбкий прах и реставрирую для себя имена и символы этих вещей.

Вещи как бы отряхиваются от текстов сопроводительных экскурсий, надменно звучащих днём, отряхиваются от шелухи случайных, неточных и приблизительных сведений. О, они хранят в себе гораздо больше, чем знаем о них мы, младшие и старшие научные сотрудники, самонадеянно регламентирующие их содержание.

Музей – музей – обитель муз, он только в эти часы становится именно обителью.

Я смотрю на предметы русского крестьянского быта и вновь бормочу имена вещей: лагушок, кросны, челнок, веретено, бутылы...

По фронтону кросен, на набилках вырезано геометрическое солнце и две стилизованные конские головы по концам. Колесница Солнца? – Почему? – Кросны, кросны, да не Хорс ли это солнцевеликий на небесных конях? Но почему этот станок древнейшего ремесла украшен именно знаком Солнечной колесницы? Не модель ли тогдашнего мироздания напоминает он своей простой и гениально-необратимой конструкцией, которая и должна остаться, в принципе, той же.

Почему челнок – челнок, а бердо – бердо? Уток – уток, а ткать – тк-ать – именно ткать? Уток на основе, а челнок снуёт. Пряла и топала, весь дом одевала. Сукно, но ткань. Сукно – скали, а ткань – ткали. Рубель – в рубцах, а гладкий – кичига. Ткать, мять, скать, пряссть, шить, бить, есть, пить, брать, драть, мыть.

По названию, по имени почти всегда можно докопаться и до сущности, первоосновы вещи”.

Через много лет эта тема “путешествия в суть и вглубь вещей” нашла своё завершение в “Пушкинском дворике”, который был написан Евгением Васильевичем незадолго до 200-летия А. С. Пушкина: “Самый мой ранний Пушкин – “Сказка о царе Салтане”, помню до сих пор свои первые впечатления о сказке, внутренние образы. Сватья баба Бабариха... Таинственная и невероятная бочка-дом, в которой вырастал царевич. Бочка – пространство – дорога – мир... Ветер по морю гуляет... “Вышиб дно – и вышел вон”... Помню внутреннее возмущение тем, что <князь> Гвидон всем простил... Но самое впечатляющее – это захватывающая музыка слова, этот быстрый ритм, какая-то складная прочность и внутренняя логичность стиха, запоминающаяся сразу и на всю жизнь.

Удивительно, но через многие годы, во время моей работы в этнографическом музее реставратором, эта пушкинская складная кадь – бочка – вдруг всплыла в сознании, именно когда я реставрировал разную крестьянскую деревянную утварь, среди которой было много бондарной замысловатой посуды. Раскладывая развалы клёпки, которые, после того как сдёрнешь обруч, раскладывалась подобием лучей вокруг донышка – солнца, я вдруг обнаружил и сакральный смысл этой удивительной посуды и стал догадываться об

истинной сути сказки и о том, что Пушкин вполне владел и этим скрытым свойством народной притчи, где всё не просто так.

И тогда же, кажется, прямо за верстаком я написал стихотворение, вполне и до конца понятное мне самому, но, как посетовал один мой редактор, оказавшееся малопонятным ему и рецензенту. Может, они в детстве не удосужились прочесть “Сказки” Пушкина?

КАДЬ

Бочка по морю плывёт...

А. С. Пушкин

*Плоских досок хоровод
Тёсан, скоблен и приструган,
Склёпан в лад и сомкнут кругом,
И сведён в единый свод.*

*Дно в уторах на распор
Норовит раздвинуть клёпку,
Но замкнул в глухую стопку
Обруч бочку на запор.*

*Кадка, кладка, колыбель,
Складень, лад, сосуд, посуда...
Кто придумал это чудо —
Домовину и купель?*

*Деревянный небосвод,
Взлёт лучей над солнцем донца —
Мир замкнут, копи и полнься,
И плыви по лону вод!*

ПРИМЕЧАНИЯ

Кросна — ткацкий станок.

Челнок — колодочка в виде челна, с носками в оба конца, с гнездом посередине, куда вставляется цевка с утком.

Околясики — деталь ткацкого станка.

Скальня — деталь, на которой скут цевки, для утока, две сошки на дощечке, в которую вставляется веретено с кружком на пятке и с цевкой на носке.

Кебеже (каз.) — шкафчик для посуды.

Застреха — нижний край кровли, свес кровли, жёлоб под этим свесом, в который упираются концы драни, тёса.

Пласть — плоская толщина чего-либо.

Бурачок — туес, берестяной стоячок с крышкой.

Бёрдо — деталь ткацкого станка, род гребня, для приборя утока, для чего каждая нить основы продета в набор или зубья берда, вложенного в набилку.

Уток — нитка, которую ткут, она намотана на цевку, вставлена в челнок, идёт поперёк основы и перебором образует ткань.

Рубель — рубчатый каток, валёк для катки белья в поперечных рубцах, зарубках.

Утор — нарезка в ладах или клёпках обручной посуды для вставки дна.

Набилки — две грядки, в которые вставляются бёрдо.

Бутылы — сапоги.

Лагушок — бочонок, кадь, дуплянка.

Кичига — молотило, заменяющее цеп: выгнутая палка с плосковатым концом, кочерга.

ЮРИЙ САВЧЕНКО

“НЕ СЛОВО ПОРОДИЛО РЕЧЬ, РЕЧЬ ПОРОДИЛА СЛОВО...”

Опыт обзора творчества и судьбы Евгения Курдакова

27 марта 2015 года исполнилось бы 75 лет Евгению Васильевичу Курдакову – поэту, эссеисту, переводчику, скульптору-флористу, лауреату Пушкинской (юбилейной) премии, премии “Капитанская дочка” (Оренбург), премий нескольких центральных литературных журналов, члену-корреспонденту Петровской академии наук и искусств, автору более десяти книг.

В одной из своих книг прозы он представился так: “Поэт, автономно работающий в стороне от галдящей рати резонёрствующих догматиков, в стороне от издательств, критики, в стороне от т<ак> н<азываемого> литературного процесса – фигура почти невыносимая в наше время... И всё же – представимая...”

Его родина – Оренбург. Восьми лет от роду родители извлекли его из-под обломков их ашхабадского дома: его спас текинский ковёр ручной работы. Кочевая судьба бросает семью военврачей то во Владимир, то в послевоенную Германию, то снова в Оренбуржье, в Бузулук, где он заканчивает школу, где печатает первые стихи.

Легенда Бузулука конца 50-х – БОМП – Бузулукское объединение молодых поэтов. Идеалы, фрондёрство (не диссидентство, а молодая жажда понимания и справедливости), конечно, самоутверждение. Рыцарство. Любовь. Provocatorская подлость властей, в первую очередь, литературных, – и даже застеноч, ибо Курдаков был организатором, душой и мотором БОМПа – “Боевого отряда...”, как именовали его со страхом некоторые блюстители чистоты рядов... В конце жизни был у Курдакова замысел включить в свою последнюю книгу “Дождь золотой” эссе “Сука из Бузулука” (был такой неуловимый знаменитый стукач в воровском мире) – эссе об одной партийной сволочи женского рода, преследовавшей одарённую молодёжь. Замысел был оставлен.

*Есть та правда, что тягостней лжи,
Та, что душу ввергает в смятенье, —
И безмолвно стоишь у межи
Чьей-то глупости и самоменья.
И молчишь, состраданьем томим,
Перед бездарью или пороком,
Чтобы словом нелёгким своим
Не умножить бы зло ненароком,*

*Чтоб в непрошеной правде скупой
И своё не узреть поражение...
Сокол птицу не бьёт над водой,
Чтоб не видеть своё отраженье.*

Мы привыкли считать, что самолюбие – это добродетель, но, если разобратся “по гамбургскому счёту”, всё зло мира проистекает из уязвлённого самолюбия. Курдаков очень тонким внутренним зрением смог оценить себя как возможного автора задуманного эссе – и отказался от него.

Всё в его жизни было серьёзно, поэтому до конца в нём не вызывали усмешки (той, что часто проскальзывает у “стариков”) наивность и горячность тех самозабвенных лет. Он жил и этим, хотя и неохотно делился памятью с нами; он жил драмой своих расставшихся родителей, долгими мучениями парализованной матери и её смертью. Я был рядом с ним и его сестрой Людмилой у дома их матери в Бузулуке в 1999 году. Там жили чужие люди. Я видел, что всё то живо было в них, было неизбывно близко и – тягостно по прошествии стольких лет.

Его отец тяжело умирал, много позднее матери, в Катаве, в одиночестве душевном, понятый, но, видимо, до конца не прощённый...

*Я отца помяну золотистым портвейном,
Ах, отец, мой отец, как ты в нас наследил —
Этой вечной тоской, наказаньем семейным,
Да стаканом хмельным, чтоб наотмашь пьянил...*

Семейный разлад глубоко ранил душу, но и научил состраданию. В зрелые годы он горько заметил,

*Что можно жизнь прожить без состраданья,
А умереть без этого нельзя...*

Самые пронзительные строки у Курдакова как бы сотканы образом Метели, сопровождавшей всё его творчество и осенившей его последнее пристанище (он умер 28 декабря 2002).

*...И казалось, в круженье метели
То не снег трепетал без конца —
Это матери тень повителью
Завивалась на тени отца.*

В этих зрелых стихах сбывалось детское чаяние:

*...Это там, в запредельной судьбе,
Наконец-то сошлись дорогие,
И чем дальше, тем ближе себе...*

и рождалась истинная мудрость:

*...Мы живей и добрее, чем тени,
Если тени счастливее нас.*

Он признавался, что смысл последних строк пришёл к нему много позднее...

Страдание, конечно же, не может быть смыслом существования, тем более, что оно по-разному воздействует на души страждущих, возвышая одни и очерствляя другие. Видимо, не в самом страдании суть, а в отношении к нему, в том, как преобразиться, оттолкнувшись от него. Недаром тема преобразования, *пересотворения себя* так занимала Курдакова – и не только в творчестве. Он был всегда нов, он не был рабом привычек души, он всегда искал за человеком или явлением что-то иное сверх тех качеств, которыми они обладают явно. Горько сетуя по поводу “привычного русского ужаса”, забвения уроков истории, он, всё же и здесь находит зерно смысла:

*Беспамятство — едва ли оправданье.
И только за одно ему воздашь,
Что в нём сокрыт опять, как назиданье,
Всё тот же богоносный жребий наш,
Чья суть — не возвращенье на дорогу,
Но — пересотворенье бытия...*

А в стихотворении, которое так и называется “Преображенье”, поэт уже выходит на вершину понимания сути человеческой жизни (как понимал её, к примеру, Преподобный Серафим):

*Что же не впрок ни вчера, ни сегодня
Правда Небес, что скупа, но проста:
Свято — лишь Преображенье Господне,
Преображенья людские — тщета.*

*...Преображение — это слиянье,
Перетеканье под Божий Покров...*

Преподобный так и определял главную цель жизни — “стяжание Духа Святаго Божьего”, что, по сути, то же самое. Здесь, может быть, Курдаков всё же не совсем точен. Преображение в Господе — свято и по отношению к человеку, это, наверное, и имелось в виду, а тщета — суть “преображения” мирские.

Слияние, растворение — ещё одна трепетная, любимая тема и творчества, и жизни поэта. Он очень остро и просто любил жизнь как Божественное проявление, “по-язычески” стремясь в ней раствориться.

*И опять я шепчу, как во сне:
Просто жить — разве этого мало?
Разве мало, пусть даже устало,
Всякий раз удивляться весне?*

Растворением в сущем дышат все стихи Курдакова, и причина тому — их органичность. Он не мог расчленять действительность словом — он её увязывал.

Вот Осень в его стихах:

*...С дымком, с паутиной, с пустым многогласьем
Сорок в облетающих кущах берёз...*

Это “пустое многогласье” на самом деле так ёмко и так органично и точно среди осеннего облетания листвы с берёз. Его “видишь”, оно не может быть названо иначе.

Или:

*...Где пыльно сплелись паутин арабески
Меж строгими фресками тёмных стволов...*

Органичен не только смысл его стихов, органична почти всегда и форма их.

*Есть состоянье полусна
Предзимних дней, когда
Сныть осыпает семена
И дремлет лебеда.*

*Павлиний глаз перепорхнёт
С кипрея на осот,
И день в мерцании тенёт
Течёт, течёт, течёт...*

Монотонная рифма (осот – тенёт – течёт...), мужские окончания сами по себе создают скупой полусонный ритм последних ощущений уже не летнего тепла, полного прелести и обречённости...

Он очень любил поэзию Бунина, ценил её выше его прозы. Именно за простоту, органичность и точность, за умение передать состояние через прямой взгляд на всё, что его останавливает. Считал, что Бунин “страшно недооценён как поэт”. Вот как Курдаков размышлял о “безнравственности всякой претенциозности”, относя её к “неприродности”, то есть неорганичности:

“...отсутствие привычки ставить поэзию в подобные категории (природности или неприродности. – Ю. С.) таково, что сейчас любая поза, неестественность, “вумничанье”, старческое кверулянство, юношеская кверопупия – оцениваются, в худшем случае, как творческий поиск, но не как безнравственное убежание от необходимости сочетать правду жизни с правдой выражения...”. Природность поэта “...означает и его нравственность в своём времени”. И ещё: “Ненасильственная мысль, как бы сама собой вытекающая из состояний, – высший предел, к которому в лучшем случае можно только приблизиться”.

А вот и прямое обозначение любимого состояния, которое, увы, большую часть оставлялось для него лишь чаемым... Хотя?..

*Камень ли, ветку ли тронешь рукой,
И, на мгновение сблизившись с малым,
Вдруг ощутишь подсознаньем усталым —
Если не смысл, то хотя бы покой.
Тайный покой узнаванья того,
В чём, растворённый, пребудешь безвечно,
Этой трепещущей веткою встречной,
Камнем, живое таящим родство.*

Это стихотворение – одно из его любимых, как он однажды признавался. Оно обнажает тот нерв души, что протянут через всё его творчество. Вот ещё об этом:

*Будь прозрачен, прозрачен, прозрачен,
Будь навеки для всех растворён,
Будь душою едва обозначен,
Весь, как лес, как ребёнок, как сон...*

Его “растворение” созвучно и состоянию древних иконописцев, не оставивших своих имён, и растворённости Бога в сущем, так же явно не проявляющего себя. Курдаков чувствовал это определённо, но без обращения к Богу невозможно реально и без страдания раствориться в бытии (“Я есмь путь и истина, и жизнь”, говорит Христос, то есть пример истинной жизни – в этом всё Евангелие!). Отсюда проистекает тоска поэта, щемящая печаль по уходящему (вернее, по тому, от чего уходишь), стремление обозначить всё, к чему он прикасался “невозвышенной душой”, бесконечное его прощание с миром. Однажды, в конце 80-х, он записал: “Иногда кажется, что собственноручно поэзия, её внутренняя суть – это прощание с жизнью, непрерывное, нарастающее и к концу всё более бессильно-лихорадочное...” Но “дело в том, что мысль о ней (о Смерти. – Ю. С.) ...обесмысливает саму жизнь”. Поэта “нельзя застать врасплох: в каждое данное мгновение его окончательное прощальное стихотворение уже написано. Даже если оно и не кажется “прощальным”. Почти все “осенне-зимние” его стихи полны горькими прощальными интонациями.

*Нечаянный цветок озоровато
Мелькнёт в траве... И вспыхнет лишь на миг
Уже неощутимую утратой
Всё, от чего в тоске своей отвык...*

И ещё, ещё...

*И запоздало вдруг поймёшь с щемящею тоскою
Незамечаемость всего, что сделалось судьбой...*

...
*Прощай же, век, который знать пришлось, —
Перо и лист — прожитые насквозь...*

Увидев чайчье перо, лежащее на кленовом листе на берегу Волхова, он воспринял его как знак, ставший его экслибрисом.

Курдаков находил свет и в самой безнадежности, обречённости, беспросветности. Недаром его последними словами жене и сестре было: “Чего вы испугались? Ничего не бойтесь”. Он ведь знал, что

*...Жизнь... по сусекам метя и скребя,
Из этого праха слагает себя,
Как жадно по ягоде лепится гроздь,
По нити — рубаха, по щепоти — горсть,
По вздоху — молитва, по взгляду — любовь,
По таинству — вера, по возгласу — молвь,
По радости — свет, — от него, от тебя,
Где то торжествует, что множит себя.*

Он смиренно принимал невозможность постичь тайну бытия — этот крест русской поэзии — силами самой лишь поэзии. Неожиданно я наткнулся у Пришвина на строки, во многом объясняющие присутствие в творчестве чутких поэтических натур темы прощания с миром: “Я хочу оставить след любви своей к прекрасному, заинтересованный в длительном его существовании, но не в личном своём писательстве. Конечно, всякий, оставивший след на земле человек, непременно забывался, непременно выходил из себя (то есть бывал во вне. — Ю. С.), но ведь это нелегко, и никто из великих людей не оставил нам секрета к такому бескорыстному творчеству, и большинство из них сами об этом не знали. Но мне кажется, отчасти можно достигнуть этого сознательно, если только предстать себе, что наступила твоя последняя весна и надо со всем любимым проститься...”

И ещё: “Я буду рассказывать о великом богатстве жизни на каждом месте, о счастье непомерном, которое каждый может достичь себе и создать из ничего”.

Как и Пришвин, с творчеством которого, насколько я знаю, он не пересекался, Курдаков всегда считал, что детство человека — самая главная пора его жизни и пространства его возвращения, и тот естествен в творчестве, чьё детство не прервалось к зрелости; то детство,

*Где, легко дыша во мраке, вечно молятся в тиши
Звёзды, птицы и собаки о продлении души.
Не мудрей, не спи, не старься, не устань хранить его, —
Это царство-благодарство возвращенья своего.
Различи в напоминанях его оклик, его весть, —
Если есть тоска по тайне, значит, тайна тоже есть, —
Тайна дальнего порога, где томится золотой
Неопознанного Бога понимающий покой.*

К сожалению, неопознанность Бога уже почти никого не беспокоит.

*Захлебнулось Божье Слово
И не слышно никому...*

Светом, счастьем для Курдакова, как и для Пришвина, всегда была сама жизнь. Зимой он иногда приносил с прогулки ветку тополя, ставил её в стакан и ждал весны, понимая, что распутившийся пахучий листок —

Обречённый порыв без надежды успеть...

Но, обращаясь к нему, видел в нём напоминание для себя:

*Ты не сам для себя, твоя тайна в ином:
Стать живой хоть на миг тех снегов за окном,
Что свистят, обрекая порыв твой на смерть...*

Курдаков сам порой не понимал, чего в нём больше – тоски или жизнелюбия. Вот голубь “алым глазом” заглядывает в его зимнее окно:

*Что ты там увидел, голубь,
В вековом моём окне:
Золотого света прорубь
Или ту же мглу на дне?..*

Да, порою ему казалось, что “ни мглы, ни света нет...”. Почему он не обратился к Богу всем своим существом? Может, искажённо видел в самоспасении уход, отведение взгляда от судьбы народа, к которому был полон сострадания и судьбу которого он полностью разделял?

Курдаков, конечно, понимал некоторую уязвимость позиции полного отождествления себя с народом, несущим в себе не только отзывчивость и самопожертвование, но и безбожную порочность.

*В кругу хмельных друзей,
Похожих на врагов,*

можно пропить и отчий кров, и любовь, и себя,

*Чтоб на изводе сил
Шепнуть пропитьм ртом:
Я тоже русским был,
Не плачьте о пустом.*

Это другая сторона медали патриотизма.

А может, он понимал и то, что, пребывая в Боге, перестанет нуждаться в поэзии, приносящей неизъяснимое наслаждение, ибо в Небесах о воле не поют? Так или иначе, он не видел себя на пути, где, спасаясь сам, спасал бы вокруг себя тысячи. Почему я затрагиваю эту тему? Да потому, что некоторые поэтические прозрения Курдакова указывают на то, что он имел откровения, но использовал их в “своём” русле, обходя или “материализуя” и поэтизируя Божественную суть мироздания вообще и человека в частности и в особенности. Интерес к теме бессмертия в нём был, хотя, возможно, его влекла сама парадоксальность предоставляемых ему случаев. В период его литконсультантства в Алма-Ате Курдакова посетил один казах, милиционер в чине майора. Он принёс рукопись, где излагались его многолетние (!) философские рассуждения о физическом бессмертии. Естественно, специального образования майор не имел, о Фёдорове не слышал и был очень удивлён и обрадован, что кто-то ещё этим вопросом занимался. Курдакова поразила не сама рукопись, достаточно наивная, – поразил факт серьёзного обращения к такой теме человека совершенно неожиданного. Обращения мучительного, ибо тот скрывал это от начальства и, порою, от самого себя.

В русской поэтической традиции очевидная невозможность найти покой и реализовать волю (свободу) рождает напряжение щемящее и таинственное, предельное для человека восприимчивого. Тут дело не столько в эмоциональной или ментальной (рассудочной) составляющей, хотя и этим полна русская поэзия. Смерть – как непонятная, неестественная, “несправедливая” реальность – неразрывно связана с Воскресением, а потому необходима. Вот стержень воздействия поэзии на душу. Смерть – врата в бессмертие. Очевидно, что только в Боге возможно это, и никак сугубо в мирской жизни, а тем более – в суеете механического существования. Поэт не может писать только для людей, он неизбежно становится популяризатором Слова, что, в конце концов, приводит к стяжанию популярности. *Метание бисера небезопасно.* Слово должно пройти через Бога, должно быть писано сердцем как бы для самого се-

бя, опалиться отчаянием — и только тогда оно может идти к людям, не искушая “малых сил”, а доставая их сердца. Но поэзия никого не спасёт. Думаю, во все времена было и есть такое:

захлебнулось Божье Слово...

Это, понятно, метафора, но воистину Божье Слово сказано и действует избирательно: “Много званых, но мало избранных”. Именно Оно, а не поэзия сама по себе есть путь в Бессмертие, который требует внутреннего и поведенческого соответствия тому высокому накалу, какой даётся не столько поэтическим состоянием, сколько тем, что его рождает.

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
Среди людей ничтожных света,
Быть может, всех ничтожней он, —*

писал Пушкин, и это не противоречит сказанному, ибо осознание своего ничтожества есть уже шаг к освобождению от него, оно подводит к истинному смирению, ибо “кроткие наследуют землю”.

Помню, как именно эти пушкинские строки процитировал мне Курдаков в ответ на мою подковырку вроде: “А сам-то?!” Я, несмотря на молодость, прислушался, хотя авторитетам до сих пор не очень доверяю (это отнюдь не означает, что я хорош; это означает, что процесс освобождения для меня — не просто слова).

А вот — судьба поэта, его суть и бремя — по Курдакову:

*Вначале казалось — словечки, забава,
Где слава — направо, налево — успех,
А жизнь из-под слова сочится кроваво,
И надо б не так, да увиливать грех...*

*...Тогда вдруг поймёшь, что и это изгойство
С глухой отчуждённостью этих и тех, —
Всё той же толпы первородное свойство,
И время принять на себя её грех...*

Курдаков вызывал при жизни чувство душевной привязанности у близких ему учеников. Он умел понять сердцем, как и писал — сердцем. Остальное — задиристость его, насмешливость, уязвляющую правду, сердечные заблуждения — как-то само собой хотелось простить, потому что всё это не могло перевесить. Другое дело — люди посторонние, особенно при полномочиях. Такого автора на руках не носят, завидуя и боясь его, хотя за рюмкой так приятно с ним пооткровенничать... Вот что произошло с ним в Казахстане.

Было это году в 91-м. Евгений Васильевич жил тогда в Алма-Ате и плотно занимался переводами из Абая. Надо сказать, что именно его переводы наиболее близки к оригиналу по духу: они глубоки, пронзительны и проникнуты абаявским мироощущением.

*...Я по холмам брожу, где веет ветер,
Где бегают некормленные псы,*

*Откуда виден весь наш быт убогий
В осенней мгле темнеющего дня,
Потёртый войлок юрт, тоска дороги,
И степи — без единого огня.*

Курдаков, как и Абай, поздно пришёл к истинной поэзии. Он буквально через себя пропустил жизнь гения, создав “Поэму перевода”:

*Переводить дыханье на дыханье,
Как жить, дыханья не переводя...*

Он ощутил и своё изгойство, как его, — ведь так мало понимающих эту тоску одиночества:

*Я трогаю струну, но то не лира,
И снежный ветер глушит песнь мою.
В пустынном азиатском центре мира
Воистину пустыне вопию.*

*И выкрикнуть бы этой вьюжной дали,
В глухой, всё принимающий провал:
“Стихи мои, зачем вы прозвучали?
Стихи мои, зачем я вас создал?..”*

Так вот. Алма-Ата. В Казахстане уже свой президент. Националистические “вихри враждебные” в самой силе. А Курдаков, что естественно для погружённого в переводы, параллельно пишет предельно правдивую — иначе он не умел — статью об Абая: “Род тобыкты. Сын умирает от наркомании. Безвоздушное пространство...” Из-за невозможности опубликовать её в Казахстане в то время он отсылает статью в Москву, в “Книжное обозрение”, где она и выходит.

После этого Курдаков фактически лишается средств к существованию, ибо с ним были расторгнуты все договоры в местных издательствах. В прессе начинается травля с использованием писем “трудящихся чабанов” из аулов, которые возмущены осквернением памяти величайшего из казахов (надо сказать, в статье Курдакова использовались давно известные ещё от Ауэзова факты биографии Абая). Позже волна спала, будто и не начиналась, договоры тихо восстановили.

По словам самого Курдакова, наиболее вероятной причиной такой реакции на статью был почти решённый вопрос о его секретарстве в Союзе писателей Казахстана (по русской литературе) — многие его бы поддержали. Но истинная причина, конечно, похоронена в лабиринте специфических взаимоотношений околовластных “творческих” особ. История тёмная.

Ещё одна сторона творческой жизни Курдакова требует особого рассмотрения. Речь идёт о флористике, “скульптуре корней”. Ещё в бытность свою фрезеровщиком на заводе он ходил в подмастерьях у старого мастера Ядрышников, который учился у самого Эрзи. Ядрышников дал Курдакову цельность взгляда на мир, природу, научил искусству выбирать должное и достаточное, отбрасывая лишнее.

Всё излишнее стружкой слетит в подверстачье...

Став мастером, Курдаков сам обрёл способность учить и написал книгу “Лес и мастерская”, переведённую даже на пару европейских языков. Его работы выставлялись в 70–80-е годы в Москве, в знаменитой церковке на Калининском (выставка “Природа и фантазия”). В те годы я бывал там и наверняка видел его работы (он делал в основном крупные вещи), но не знал, что через каких-то 7–10 лет в далёком Казахстане сам стану его учеником — только уже по словесной части (я до 30 лет и не помышлял о поэзии).

В 80-е годы Курдаков работал в Усть-Каменогорском краеведческом музее старшим научным сотрудником, создавал в д. Бутаково и других местах свои сады корней, полные сказки, с чертями и кикиморами — наподобие знаменитого парка под Ялтой, — только более органичные, внутренне увязанные. Это был период его поездок по всему предалтайскому краю, археологических находок, в результате чего явился подспудно замысел двинуться вглубь по языку.

*...Ширь воды и берега вдали,
Где хранятся, как предначертанья,
Знаки неба в памяти земли.*

Этими знаками он и занимался все последние годы. А в ту пору он характеризовал себя как “корней соглядатай”. Он удалялся в раскорчёванную при-

иртышскую согру, “распаханную насмерть”, становился участником “безмолвного вече исчервлённых пней”, с болью переживая гибель прибрежной защитной полосы. Не потому ли так трагичны его работы в своём большинстве, а образы – мученически-печальны?

Он часто озадачивался и другими корнями – истоками своей фамилии:

*То леший мой дурной, куртак курбатый
Всё, словно эхо, бродит за спиной..*

пугая своим присутствием до того, что

Не чересчур ли, прашур?..

В другое время в стихах проскакивает слово “куырдак” – “винегрет” из потрохов.

В бескормное время начала 90-х резьба по дереву часто поддерживала семейный бюджет. А последние его работы украшают донныне интерьеры Новгородского государственного университета, где он преподавал в последние годы, уже становясь незаметно легендой Новгорода.

А Сад?.. Сад, наверно, пропал, источенный временем и забвеньем. Страсть мастера, его детище. Его прошлое, невозвратное просто потому, что жить прошлым противоестественно. Остаётся нежность к прошлому своему состоянию – даже не к делам своих рук.

Вот и Сад опустел, весь запет и обсказан...

Запетость и обсказанность – уже достаточное условие невозвратности прошлого, и только желна порой

*Прокричит о глухом, погружённом в бесстрастье,
Странном Саде, чьё время уж мхом поросло,
Где его постаревший садовник и мастер
На пеньке позабыл золотое тесло.*

Но вернёмся к сути поэзии. Курдаков так чувствовал её: “Когда у поэта возникает выбор – судьба или поэзия, – можно сказать, что выбор сделан: не будет ни поэзии, ни судьбы. Потому что для поэта это едино”.

И ещё: “Поэзия, как ничто более, ощущает обращённую внутрь... связь смыслового родства между некоторыми словами, связь, которая является осколками ныне забытого, потерянного понимания сущности явлений. Поиск единозвучий, в том числе и рифмовка, – это безотчётный способ такого “вспоминания” о родстве слов. Но время с помощью грамматики довольно давно разбросало единство первоначальной смыслозвукгармонии, и сейчас можно только сожалеть, что, например, слова единокровные – “смерть”, “сумерки”, “мера” (жизни) – не рифмуются, а слова “любовь” и “кровь”... (...хвала-желание и мясо) – рифмуются напраполаю. Поэтому столь часто современная рифма не подкреплена необходимостью мысли.

Но нет худа без добра. Может быть, русская поэзия оттого и не впала в иссушающую заумь и назидательно-философское начётничество, что в русском языке почти невозможно отыскать точных рифм к словам “жизнь”, “сердце”, “солнце” (из книги “Золотое перо иволги”).

Да, Курдаков был всегда далёк от назидательности и иерархии чинопочитания. Он бежал от них из областного литобъединения в Восточном Казахстане и созвал в свою Студию людей свежих, незашоренных (да и немногих единомышленников из объединения), чтобы, открывшись, дать им бесплотную опору в творчестве и жизни.

У него есть одно из любимых им стихотворений – “Небесные лучи меж тёмных туч...”, где даётся ощущение того, как зыбка основа мира, но мир без неё невозможен.

*...Последний луч падёт, подрезан птицей...
Минутный храм...*

*Исчезнет, чтоб уже не возродиться...
Но чтоб потом, когда нахлынет стон,
Забрезжить вдруг в задёрнутом сознание
Виденьем давним солнечных колонн —
Опорою души и мирозданья.*

Курдаков, напомним, начал поздно. Нет, стихи он слагал и раньше, но постижение сути поэзии как служения пришло гораздо позже. У него был даже свой наставник — Андриан Розанов, от которого Курдаков со временем отдался.

*Топи меня, топи, пока я слеп,
Пока наивен я, смешон и молод,
Пока меня обуревают голод
Тщеславия, пока я так нелеп...
Иначе, под тобою возмужав,
Тебя я утоплю. И буду прав.*

Сам Курдаков не следовал этому правилу серьёзно в отношении нас, ему претило чувство мести, тем более перенесённой на следующих за ним (вспомним: “Сокол птицу не бьёт над водой”), хотя поводов для этого мы давали предостаточно. Бывали моменты, когда он играл с нами, но скоро советовал не принимать игру серьёзно и помнить всегда, какого наставника может подбросить судьба. Курдаков не столько учил нас, как писать, сколько заражал отношением к слову, к музыке стиха, прививал вкус к внутренней дисциплине слова. А размер, ритм, приёмы... — это, усвоенное, должно раствориться в сознании как само собой разумеющееся, чтоб уже не мешать собственно творчеству.

И всё же была у него одна привязанность — трёхсложники (дактиль, амфибрахий, анапест). Не то чтобы он старался ими писать (пожалуй, только в юности), но настолько проникся их музыкой и возможностями, что они порою сами, он признавался, возникали в сознании без предварительной заданности. Он настойчиво утверждал, что именно трёхсложники наиболее близки строю русской речи, да и большинство слов русских — трёхсложны. Писать этими размерами интереснее, они развивают широкое (длинное) дыхание, они распевны и ёмки. “А почему амфибрахичен (трёхсложен) сам русский язык? Почему трёхчастен орнамент, хоровод, деление мира?.. Всё трёхпоходно, трёхкратно, триедино...”

Вспоминается в связи с этим один безобидный спор, которому не я один свидетель, ведшийся между Т. Глушковой и Е. Курдаковым в Переделкино по поводу этих размеров. Глушкова твердила, что писать ими бессмысленно, все они ведут к невольному подражанию Пастернаку. Ей казалось, что Пастернак там везде наследил и отметился. Формально это, возможно, и так, ведь и Кюхельбеккер как-то заметил: “Люблю и уважаю талант Пушкина, но, признаться, мне бы не хотелось быть в числе его подражателей... Чуть ли не стихи четырёхстопные сбили меня: их столько на пушкинскую статью, что невольно заговоришь языком, который он и легион его последователей присвоили этому размеру”. И что же, разве поэтому только “Пушкин — наше всё”? Думается всё же, что сама поэзия, строй сердечной мысли, мироощущение, самоощущение в Боге — всё это, если оно есть в зрелом мастере, будет, конечно, индивидуальным. Так что размер тут — совершенно внешний, организуемый элемент, дело “лишь” в органичном его соответствии картине оригинального стиха:

*Так обживай же подполье своё
В русской привычной своей бессловесности,
Пережидая, пока на поверхности
Не отжирует родное жульё...*

*...Дактилем, дактилем, дактилем, дактилем
Бьют пулемёты — и музы молчат.
 (“Вечный октябрь над усталой страной...”)*

Были споры и с Кожинным, который как-то в разговоре заметил, что всякое творчество вытекает из игрового начала. Безусловно, игра – важный двигатель, и Сам Господь, возможно, играя, создаёт миры. И всё же...

*Есть игры и жизни. Однажды в игре
Высокой, нездешней, поймёшь безотчётно,
Что играми правит стихия расчёта,
А жизнь простодушна, как дождь во дворе...*

*...Где школа живого твердит издавна
О вечно бесплодной тщете своеволья,
Где в поводыре не нуждается доля
И цель не бесцельна, хотя не видна...*

Возможно, Кожиннов и Курдаков не поняли тогда друг друга – ведь игра игра рознь. Одно дело – играет циничный мастер, другое – дитя... Если б они виделись чаще, и не в “полусухой” обстановке – спорные углы, возможно, стали бы более обтекаемы... А возможно, что более близкому общению мешали, с одной стороны, несколько излишняя “интеллектуальность”, “книжность” Кожиннова и, с другой, неистощимое жизненное свободолобие Курдакова. Он не был однозначен и прост, и свой творческий “покой” охранял ревниво. Он и сам готовил “интеллектуальный штурм” доисторических глубин, во многом разрушавший устоявшиеся представления – кожинновские в том числе. Но интеллект, в силу объективных причин, всегда фрагментарен и не позволяет во многих случаях видеть целое, для чего потребно иное зрение. И потом, строгое следование фактуре явления не обязательно приводит к объективной оценке его, ибо случается так, что на одних и тех же фактах можно построить противоположные выводы. Другое дело, когда сама личность исследователя становится главным действующим лицом, одухотворяя “свою” модель явления. Это понимал Кожиннов, когда, по нашей с Ф. Черепановым просьбе, составил в своё время записку о творчестве Курдакова для упрощения путей опубликования главного труда его жизни – открытия полноценного мифологического свода наших далёких предков и вообще – истоков мирового мифотворчества (см. газету “Российский писатель”, № 1, январь 2003). В этой записке Кожиннов, в частности, отводил Курдакову место в десятке лучших русских поэтов “последнего десятилетия” (80–90-х).

В 1992 году Курдаков покидает Казахстан и возникает в Великом Новгороде.

На Мстинской улице моей метут метели...

Ах, эта метель!.. Вспоминается прежде:

*Приснилось мне, что смертною метелью
Я занесён в заснеженном краю...*

Это всё сбылось в 2002 году. Но пока Курдаков полон сил. Он давно уже подкрадывался к теме, занимавшей всё его существо, готовил площадку, от которой мог бы оттолкнуться (фактический материал, свои наработки, увязки неувязываемого и распутывание закаменевших узлов), искал место для воплощения замысла. Догадки о происхождении речи проскальзывали в его книгах – и в стихах, и в эссе, и в дневниках. В стихах полно птиц – как звёзд у Бунина. Он хорошо знал их повадки, у него в доме жили птицы.

*...Тридцать три моих птицы
Встрепенутся в стихах...*

Всё неспроста: человеческую вокальную речь, подобную птичьему пению, он выводил из необходимости обозначить узкую территорию вдоль Ледника, где распевы разных гласных обозначали степень комфортности проживания Тела вида Хомо Сапиенс. Божественность происхождения звуков он не рассматривает, а начинает с уже обожествленных звуковых модулей: а-а-а, о-о-о и т. д. (на это указывается в Ведах). Но понимание пришло позже, а пока – одни вопросы:

*И всё не пойму, для чего, отчего там...
...Поёт и свистит по заученным нотам
Пернатое племя себе и весне?..*

*Движеньем и жаром какого горнила
Всё это должно было сбыться и стать?
Сорока, ворона ли кашу варила,
И всё это, кажется, не расхлебать.*

Но расхлебать пришло время:

Может быть, на земле только два языка...

Их и оказалось два: один – ритуальный язык гипербореев, ариев, борельный, слоговое письмо – прямой предок русского, другой, подобный – в Южной Америке. Из их неизменённых частей ушлые американцы замахиваются вывести все языки мира, создав универсальные программы переводов...

*Кто заповедал мне помнить душой
Это камланье, язычество это,
Солнцепряденье, кручение света,
Переполнение жизнью самой?*

...Было ли, не было — знать не дано...

Тогда, в Казахстане, это ему ещё не открылось. Но были уже описаны им древнейшие “астрокомплексы” (оказалось, святилища, призванные следить за началом движения земной оси) – и в районе Курчума (у озера Зайсан), и в урочище Ак-Баур под Усть-Каменогорском (описан в очерке “Священная долина”, журнал “Братина”, № 1, 2002). По цельности, по охвату территории этот последний – уникальный памятник, модель мира, превосходящий по значению знаменитый Стоунхендж, от которого остались лишь камни и которому досталась вся мирская слава... Комплекс же Ак-Баур погибает в неизвестности.

Открытия начались в Новгороде. Строки из писем ко мне:

“... Я всё пишу книгу свою многострадальную, ушёл в какие-то неведомые глубины, – но понимаю, что Бог мне послал Нечто, в чём я сам, может быть, и не разберусь до конца. Сейчас, кстати, заканчиваю анализ “Влесовой книги” – страшно интересно и неожиданно” (1994).

“... За верстаком делаю иконы сейчас, Николу, Спаса, Богоматерь, – а за письменным столом – внешне прямо противоположное: мифостадиальный субстрат памяти Хомо Сапиенс, породивший все эти христианские символы. Впрочем, сам я в этом не вижу никакой беды – это уровень всего будущего мировоззрения нашего – и, по сути, он строже, трагичней, апокалипсичней даже любого религиозного духа, впрочем, и сам по-своему религиозен” (1995).

*...Прах неких вологов и прах навек забытой чуди...
...Земля забыла, кем жила, о ком слагала сказ...*

*...И в прахе и тлене исчезла дорога,
Андроновской бронзы загадочный путь.*

*...Три великих пути различи:
Слева — хлад под звездою Полярной,
Справа — жар под июньской звездой,
Прямо — путь твоих предков янтарный...*

Понемногу нащупывался этот путь предков – тропа Трояня из “Слова о полку Игореве...” Только со временем он стал обратным, с востока на запад, когда открылось сокрытое. Параллельно создаются стихи.

*Пять глав Пятиземелья — счёт познания,
Древнейшей сути пройденный урок.*

*Две тьмы по сторонам Тропы Трояней,
Апсидами текущей на восток... —*

то есть вспясть. “Море” — это смерть от жара в южных широтах.

Постепенно, привлекая в круг своего внимания всю “оприходованную” наукой и, особенно, “бесхозную” (коей тысячи единиц!) археографику, Курдаков приходит к тому, что Миф — это модель древнего Пространства — Времени.

А теперь я предоставляю слово самому Евгению Васильевичу. Привожу почти полностью его письмо от 1996 года к В. В. Кожинуву, которое он, может быть, и не отправил, но копия которого была прислана мне.

“Хочу поделиться с Вами планами своей книги о русской мифологии, которая сыграла со мной какую-то шутку, добрую, недобрую ли, пока и не знаю.

Задумав когда-то отыскать неопознанную ещё мифосистему, я понял, что вначале нужно определить вообще признаки подобных систем (как ни странно, они не определены, особенно границы между мифом и эпосом), и уже потом выйти к опознанию Русского Пантеона, скрытого, по моим предположениям, в том, что именуется “русским былинным эпосом”. Мне пришлось проштудировать несколько мировых мифосистем: китайскую, древнеегипетскую, ветхозаветную, ведическую, греко-римскую и т. д., вплоть до удивительных “медвежьих песен” ханты-манси.

Всё шло своим чередом, выявились отдельные традиции (по 3-4 в каждой из мифосистем), определилась строгая последовательность мифологических событий (семичастная), названная мною Мифостадиалом, определились функции богов-царей. Выявленная формула (семь небес, четыре солнца, пять земель, три хтонических толчка земли, две тьмы) заставила предположить, что это связано с какими-то реальными земными событиями, происходившими на глазах поколений мифоносителей.

Я зарылся в книги по геологии и гляциологии антропогена, построил климатические таблицы и когда сверил их с таблицами Мифостадиалов, то оказалось — это одно и то же. Т<о> е<сть> мифы — это память Вида Хомо Сапиенс начиная с Рисс-Вюрмского потепления (45000 лет) — глубже память ни одного мифа не простиралась. Видимо, это самое начало языка, т<о> е<сть> сознательного обременивания пространства. И лишь гораздо позже я обнаружил тексты, которые имеют несколько более глубокую память, вплоть до описания гибели мамонтовой фауны (сакрализованного, конечно).

Короче, всё это позволило уверенно приступить к анализу былин (точнее, старин) — и, конечно же, они оказались замечательной по своеобразной красоте и стройности мифологией с четырьмя традициями (древнейшая — цикл системы Дюка-Чурилы-Бермяты) — и т. д. И — в общем, исследование благополучно завершилось, оставалось всё это сбросить на машинку, пробелить, отрисовать бесконечные мифостадиальные схемы и пр.

Конечно, я был страшно рад, и не оттого, что сделал открытие и доказал его, а оттого, что мы все получали “даром” собственный мифосубстрат, опорную базу этнической памяти, которая ещё поработает и на культуру, и на национальное самосознание.

А сам я поспешил обкатать всё это в стихах, посмотреть, как это начинает выглядеть на деле, уже в слове. И написал цикл стихов “Русские сны” (опубликованы где-то в “Литучёбе”). Эти “Сны” никто не понял, естественно, они и впрямь кажутся ещё снами, которые простительны разве только поэту.

И вот это заставило меня задуматься. Не хотелось прослыть даже на время дилетантом, выскочкой. Читатель, конечно, всё проглотит, а наука? Она медлительна, недоверчива — и правильно делает, а “прозренческого” жанра в её номинации нет. И я решил подстраховаться. То есть ещё раз перепроверить всё наработанное, применив какой-то иной метод, не мифостадиальный. Неужели у человечества нет иных текстов, не столь сакрализованных и ритуальных?

И я стал искать тексты. (“Слово о полку Игореве” и “Велесову книгу” несчастную я отложил на потом.) В поисках текстов я зарылся в фонды богатейшей университетской библиотеки в Новгороде и стал просматривать завалы всяких исторических, археографических, археологических и прочих вестников, которые нетронуты пылятся здесь с 30-х годов целыми комплектами. И потихоньку стал выписывать, срисовывать, ксерокопировать малоизвестные и забытые археографические памятники. Это разнообразные граффити на стенах церквей (часть их издал когда-то В. Рыбаков), раннерусская археология,

в т<ом> ч<исле>, больше десятка непрочитанных берестяных грамот, надписи на пряслицах, дощечках, обломках горшков, на камнях, бронзовых подвесках-оберегах, записи на полях древних книг и рукописей и т. д. И всё это непонятными буквами, значками, порою похожими на орнаменты...

Собрав, таким образом, более 200 записей, я попытался прочитать их. Вначале мне помогла книга Гриневича “Праславянская письменность”, где он предлагал способ дешифровки некоторых подобных текстов. Немного погодя я отказался от его метода: главный принцип – слоговое письмо – Гриневич распознал, но ни одного текста перевести не смог. Долго рассказывать, как шла моя расшифровка. Выручило то, что в самом Новгороде издаётся хорошая археологическая литература (ещё бы, археологическая столица Евразии!), и я отыскал билингвы – и прямые, и косвенные.

Короче, когда я прочитал всё это (а есть тексты до 300 слов), то понял, что предо мною не русские тексты, не праславянские, а совершенно неведомая Евразийская субстратная культура, которая обозначилась как Бореальная (бореал – время её становления по некоторым признакам), а знаковая система этой культуры оказалась “трёхвидовой”: собственно буквенная, затем – витое письмо и т<ак> н<азываемый> лигатурно-кинетический способ <передачи> информации: предметы, орнаменты и пр. Но прочесть всё это я смог лишь через предварительное знание Мифостадиала, ибо эта культура вещала только об одном: о семейчатой структуре прошлого и Апокалипсисе в будущем, т<о> е<сть> несла всё ту же память вида. (Забегая вперёд, скажу, что “Велесова книга” – не фальсификат, а плохо переведённые тексты всё той же БЗС (бор<еальной> знаковой системы), которые правильнее бы назвать “Патриарси” = Иеве росе йерати Сени = Явь росная Яревой Сени).

Чрезвычайно интересно т<ак> н<азываемое> витое письмо: выкладывание смысловых круглолигатурных модулей вервью в своеобразный орнаментальный узор, называемый яблоком. Иногда витые знаки прочёркивались на земле при помощи перуновой палицы, которых в Новгороде найдено уже более 180 (впрочем, никто ещё не знает, что это такое). А в прошлом году рядом с моим домом на Фёдоровском раскопе нашли и “готовое” яблоко, вырезанное из дерева. Кстати на фоне бореальных яблок писались и некоторые ранние церковные фрески (например, в нишах “Владычных палат” в Новгороде). Любопытный момент для нового восприятия пресловутого “двоеверия” средневековой Руси...

Кстати, сведения о витом письме есть и в неисчерпаемом “Слове о полку Игореве” в контексте “Ни хытру, ни горазду, ни птицугоразду суда Божиа не минути”. Здесь птицугоразду = Веда жисе Ра-бога Вите йетени (это в системе БЗС расшифровка) несёт определение волхва-ведуна, ведающего про жизнь Бога Ра (раннего Солнца) и умеющего при этом “Вите йетени”, т<о> е<сть> повивать смертное. Ну, а “хытру” = ворите йене – обращающий пространство, воротей, ворожей, воротило... Вот откуда, наверное, фамилии Воротынских и Венивитиных...

Замечательные сведения о Бореальной знаковой культуре несёт и “Велесова книга” – “Патриарси”, но там речь идёт о “скатях” – знаках на гончарных изделиях (или “скотях”; поэтому Велес – “Скотий Бог” – хранитель знаков, а не скота. – Ю. С.).

Язык БЗС – видимо, изначальный, “общечеловеческий”, рано табуированный, затем табуированный ещё раз (есть отчётливые следы двойной табуировки) и ушедший в одинокое сакральное состояние в среде волхвов, жрецов, гаруспиков, шаманов и пр. Этот ностратический язык ничего общего не имеет с т<ак> н<азываемыми> реконструкциями В. Иванова и Гамкрелидзе, которые совершенно искусственны. Наиболее близки к нему из современных живых языков немецкий (сев. диалекты), русский, латинский. Чрезвычайно легко читаются старотюркские слова, но лишь из сакрального фонда: Тенгри, Умай – и такие понятия, связанные с искривлением пространства, как хромой, слепой, левый и пр.

Русское слово “человек” в системе БЗС видится так: хоже во биле жите, т. е. “ходящий во битой жизни” – да, печальная память о пережитом. Старотюркское “хоже”, персидское “ходжа” и русское “казак” ещё сохранили память о вечном “хождении”, а литературные “Хожения” – суть обязательный ритуал подтверждения богопосещения...

У меня есть уже достаточно большой словарь сакральных понятий, где-то порядка 1500 слов, общих в системе БЗС для немецкого, тюркского и рус-

ского языков. Это чрезвычайно важный объединяющий момент реального овеществления прекрасной в принципе идеи Евразийства, лишаящий её отвратительных черт национальной конъюнктуры и ложных приоритетов, которые мешают понять её до конца.

... Извините меня, дорогой Вадим Валерианович, за столь длинное письмо. Мне хотелось, кроме всего прочего, подтвердить чем-то вашу заочную щедрую оценку моего далеко не совершенного труда, подтвердить небольшим перечнем задач и идей книги, чем-то проиллюстрировать их. Ну, может быть тем ещё, что я свободно читаю т<ак> н<азываемые> этрусские, лигурийские, тартесские тексты, это тоже БЗС, потому так и бьются над ними, кстати, совершенно безуспешно. А сами эти народы (этруски тоже) говорили на цизальпийских диалектах венецкого языка. Эти тексты (а их больше 14000) – уже сами по себе, просто одним своим массивом, могут подтвердить идеи Мифостадиала, когда будут переведены.

Эх, мне на денёк-другой во Флоренцию бы, там находится музей этрусской культуры с огромным собранием текстов. Я бы мог прочитать итальянцам то, что им завещали борейгоны-этруски. А они завещали знать, что мы живём на больной планете, и давали рецепт выживания при очередной катастрофе. Впрочем, и “Велесова книга” рекомендует: “... чтобы выжить, надо быть на челе рати...”, т<о> е<сть> нужно находиться на терминаторе. Но об этом говорит и граффити на алтаре Софийского собора в Киеве, нанесённое в XI веке, ещё до росписи собора (!). Кстати, надпись нанесена витым письмом: Пойеле зьно небесе бити: не жити. Что означает: пятыми зноем небеса будут: не жить...

К сожалению, новым “проверочным” исследованием я отодвинул “Русский Пантеон”, так и не завершив его. Увиделось, что прежний путь можно преодолеть иным, гораздо более продуктивным методом. А, откровенно, просто нет и времени. Работаю в художественных мастерских университета, что-то там делаю “для поддержки штанов”, м<ожет> б<ыть>, даже что-то и интересное, но всё это пожирает время драгоценное, которого так мало для души. Господи, ну почему так трудно всё-таки в единственной и дорогой Родине человеческих рос...

Книгу свою я мог бы теперь назвать ТАИНА, – этим словом начинается один из самых больших этрусских текстов на знаменитом камне из Перуджии (Перыни тож). Обозначает это слово “сурейе сети”, т<о> е<сть> Сети Солнца, письмена. В русском языке сохранились ещё три “жанровых” обозначения “сетей сури”: старина, былина и ходына (година). Да, та самая из “Слова...”: “рек Бояни ходына”, т<о> е<сть> “произнёс Бояни “суре давоне” – давние сури, в которых речь шла и о таком: ОЛГОВАКОГАНЯХОТИ, что обозначает “Йети быне Суресе губя, госева Бога любя”, вполне рифмованный стих, достойный Бояна: *Брани были, Солнце погубив, – гостевого же Бога любя*... Формула о гибели и явлении гостевого Бога-новосолнца, которого, хочешь не хочешь, а полюбишь. Это и смысл концовки “Слова...”: князь, хоть и битый, но князь. Потому и слава ему, а дружине – аминь, что на БЗС означает Райе щасе – время рая...

Вот, весна, а на дворе снежок порхает, холодно, хотя чайки уже прилетели, кружат над церквями... Смотрю и думаю, а ведь я единственный пока (или уже) человек, знающий, что СНЕГ (правильнее СНЕГИ) – это на самом деле “Йего жерове”, т<о> е<сть> *сжираемые огнём*, а если прочтати СНЕГИ, миновав и первую табуировку, то возникнет самая ранняя агглютинативная формула снега: Живе боре йези бого жите – живой убор (покров) – Язи-боговой жизни. (Первозык был имясловным, без прилагательных и глаголов, он склеивал начальные понятия, этим создавая новые)...

Мне не известно, повторюсь, отправлено ли это письмо, и, если было отправлено, получен ли ответ на него. Но не об этом речь, а о том, что и мы имеем “свою” мифосистему, которая не только адекватна общепризнанным, но и ближе всех стоит к исходной мифосистеме – просто потому, что носители её – племена, сложившие много позднее русский и некоторые другие народы – остались на месте разрушения Мать-горы (Ледника), тогда как отделившиеся от них, придя в движение и “отрываясь” от Прародины, вынуждены были “смешивать” общую когда-то речь с новыми реалиями открывающихся пространств, затопленных частично водой (это зафиксировано в мифе о Вавилонском столпотворении, смешении языков).

В этой стихотворной формуле подчёркивается первичность речи, которая была не более, чем Ритуалом, хоть и наиважнейшим. То есть она не была опредмечена и обиходна, а служила способом фиксирования изменений пригляциальной обстановки и памяти вида. Ледниковое время характеризовалось обезвоживанием атмосферы от экватора до льдов (“море” — смерть, радиация) — анаквизисом, плотнейшим облачным покровом приледниковых зон, где концентрировалась жизнь с образованием “культурного слоя”, чернозёмов, “Грязей Чёрных” (их было две, в северном и южном полушариях), и наличием собственно приполярных льдов. Вот суть пресловутого Пятиземелия. Древние наши предки прекрасно знали, что Земля — шар. Это подтверждает и знаменитая новгородская находка — шар, сжатый кистью руки, — “Держава”. Никто, кроме Курдакова, не смог понять, что это. Символ Пятиземелия. А что касается изменений пригляциальной обстановки, то они носили катастрофический характер (явление “новосолнца” в результате смещения земной оси — в мифах за это ответственны хтонические существа, “толкатели” земли, — с частичным таянием и разрушением Мать-горы), они вызывали инверсию Речи (ритуальное говорение с конца на начало, подобными “приёмами” полны кинетические ритуалы — движение вспять; отсюда палиндромичность нашего языка) и её герметизацию (в основном жертва, табуирование гласных в слогах с заменой последних соответствующими согласными или другими знаками: “ТЕ” заменялось “Т”, “БО” — “О”, “РА” превращалось в “Н” и т. д.; табуировались и целые группы смысловых — так называемый “матерный язык”, например). Реконструкция же древней обрядовой речи идёт путём реинверсий (от одной до трёх, последовательных, так как инверсий, читай — катастроф, было 2–3), причём подвергаться этому могут только те слова, что остались мало затронутыми языковыми флуктуациями в течение уже исторического времени. Кропотливая работа по вычленению таких слов ждёт исследователей.

Нужно понимать, что Человек как Тело вида ощущал себя единым организмом (неперсонифицированным сознанием обладают и животные), и современные “личностные” представления совершенно не годятся для характеристики древнего человечества. Распадение Человека на личности происходило в результате кенозиса — рассыпания всего и вся, в том числе и смыслов. Слово явилось уже как продукт дробления, усложнения формы Речи и упрощения её смыслов, распада её на понятия, что уже более привычно нам (в вышеприведённой поэтической формуле говорится именно об этом Слове, об “языке”, наследнике Речи, а не о том Слове-Идее, которое “было у Бога”). Собственно, именно дробление Речи привело к персонификации сознания и переводу всех мифологических модулей в сакральное состояние (возникновение религий), а затем — в “предметное”. В сравнении с Речью это была, безусловно, деградация, и уже современная нам речь продолжает этот процесс по инерции и, как ни странно, с ускорением. Язык не поворачивается назвать это Эволюцией. Курдакову, например, было совершенно ясно, что речь в своей сути не эволюционна, а инверсионна.

Исследование Курдакова истинно научно, потому что религиозно (хотя и не в должной мере) и цельно. По цельности оно превосходит все без исключения реконструкции подобного рода, не способные выйти за рамки языка и исторических построений. Но оно и беспредельно поэтично, что только прибавляет ему цельности. Но надо сказать, что оно только пунктиром наметило пути дальнейших многотрудных разработок, переводов всей известной археографии, составления словарей, и главной трудностью, на мой взгляд, будет сохранение духа тех открытий, который владел их автором.

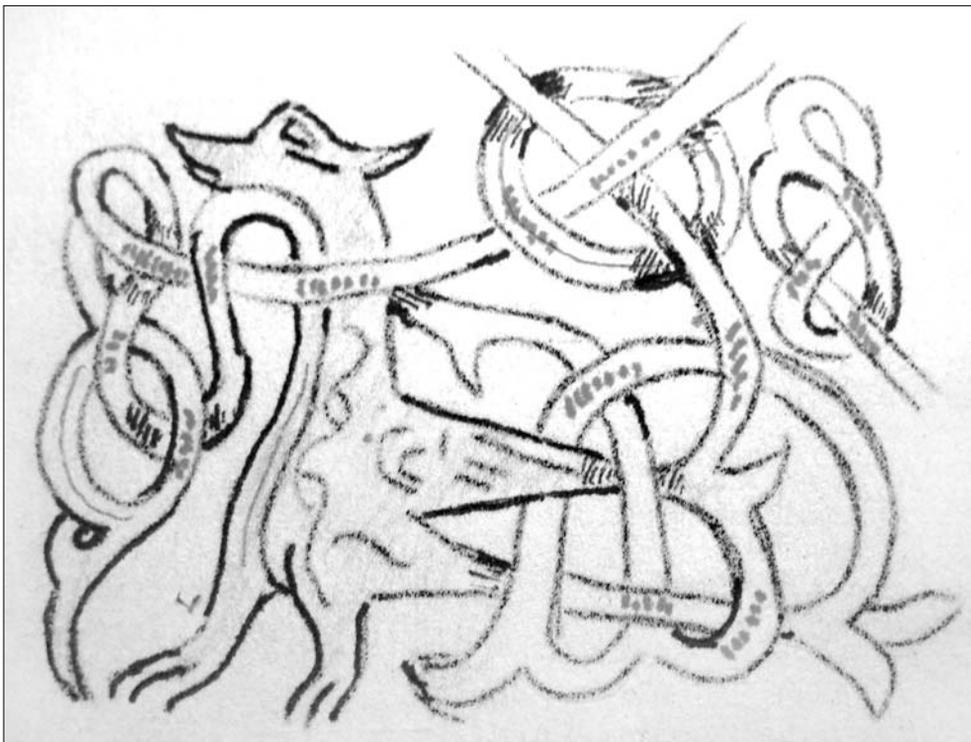
Изданию трудов Курдакова мешали порой необъяснимые препятствия. Наконец, уже был анонс в “Молодой гвардии”, но не поддающаяся уразумению смерть Александра Кротова перечеркнула и эти планы. В 2009 году, спустя почти семь лет после смерти самого Курдакова, наконец, издана часть трудов его — силами спутницы последних лет поэта Гинтер Н. М. и Новгородского университета. Издана как пособие для студентов, ибо иного статуса университет, видимо, не мог им присвоить по своему — учебному — статусу. Крупные издания подобные вещи не замечают, им нужен предварительный шум. Но изданное — уже потрясающий прорыв. Новгородская земля отблагодарила своего тайнознатца, своего “птицугоразда”, человека, превратившего географию

края в модель мироустройства с центром в Ключ-Городе. Там каждое имя (селения ли, реки ли, камня – таких, как Шаглец или Медведица) – это знак былой Цельности, знак памяти и предупреждения живущим.

Когда-то, вспоминая свой любимый Зайсан, полное необыкновенного света озеро с почти совершенно безлюдным полупустынным северным берегом, где и я порою жил месяцами, Курдаков написал строки, которые, несмотря на сегодняшний прорыв, во многом ещё, увы, дышат правотою:

*Спи, залив, спи, миф, высоко, в золотой дали,
Спи Плутоновым потоком на краю земли,
На границе тьмы и света, сна и бытия,
Где остались без ответа жизнь и смерть моя.*

Он нашёл и разбудил Миф, но уснул сам, навеки став его душою.



Расплетённый “Переплут”

“Это один из археографических модулей плетового письма. Он состоит из четырёх лигатур и читается в системе Мифостадиала. Здесь: ПЕРЫНИЦЕ – ПЕЩЕ – ДВА ТОРЕ (удара), – крылом и хвостом, после чего рушится ЖИВО и БОЗЕ + ЧАДА. Знак сзади – несвязанный, знак времени = ЧАСО. Оно, как видишь, безучастно... При движении хвоста или крыла плетёнка сжимается в знак скованной воды...”

Из письма от 29 августа 1995 года.
г. Новгород

НИКОЛАЙ ПИРОГОВ

д.э.н., профессор

РАБОЧИЕ — ХОЗЯЕВА ПРЕДПРИЯТИЙ

Акционерные общества работников

Отношения между Россией и Украиной ухудшились настолько, что уже большинство граждан этой совсем недавно братской республики считают Россию враждебным государством. В новой Раде, избранной 26 октября, политологи определяют количество русофобов в 90 процентов. Уже никто не оспаривает утверждение, что “Украину мы потеряли”, и на возврат дружеских отношений с ней потребуются уже не годы, а десятилетия.

Причина такого положения как будто бы ясна: захлестнувшая эту страну волна национализма и фашизма, умело инициированная США и Европой, геополитической задачей которых всегда был отрыв Украины от России. В средствах массовой информации отмечалось, что только США в постсоветский период затратили на идеологическую работу с гражданами Украины не менее 5 млрд долларов.

Российский идеологический корпус подвергается критике за малоэффективную пропаганду общих для нас, славян, культурных ценностей, за недостаточную поддержку русскоязычной литературы и т. д. Эти упреки справедливы. Действительно, у нас преобладало мнение, что мы с украинцами настолько “братские” и настолько крепко связаны узами и родственными, и хозяйственными, что, дескать, никуда они от нас не денутся. Помогали Украине материально. Было подсчитано, что за 20 с лишним лет её “незалежности” эта безвозмездная помощь составила огромную сумму — порядка 100 млрд долларов.

И вывод делается такой, что потратили мы эти средства не на то, на что нужно, и Запад оказался умнее нас. Эти доводы имеют резон, но они, как бы убедительно ни выглядели, на мой взгляд, далеко не главные причины дрейфа Украины от России. Давно замечено, что в конкурентной борьбе нередко побеждает не тот, кто превосходит противника в силе, богатстве, уме, а тот, чьё дело выглядит мечтой, к которой нужно стремиться несмотря ни на что. И в этой борьбе американцы нас переиграли.

Все расчёты наших *vip*-экономистов о невыгодности и даже катастрофичности вхождения Украины в Евросоюз и обоснование целесообразности тесного объединения с Россией в рамках Таможенного союза — большинством её народа не воспринимались. Всё дело в том, что организация нашего российского общества не стала привлекательным примером для этой страны. Кому может понравиться дикий капитализм марковского периода, “улучшенный” господством монополий, с ограниченными правами наёмных работников,

экономика, целиком зависящая от экспорта сырья, разгул коррупции, суверенная, то есть существенно урезанная демократия, нередко избирательное судопроизводство и другие характеристики нашего российского общества, многократно и обсуждаемые, и осуждаемые на многих наших форумах. И тот факт, что в самой Украине все эти позиции имеют подчас более негативный оттенок, чем в России, не сближает наши страны, а, наоборот, отталкивает их друг от друга.

Если всего лишь год назад научная общественность могла позволить себе неспешно заниматься анализом наших болячек, предлагая разнообразные рецепты их решения, а управленческая элита – снисходительно выслушивать их и, как правило, или лениво на них реагировать, или вообще оставлять без внимания, то теперь положение изменилось кардинально. После чётко обозначенной позиции России на международной арене по вопросам Крыма и Новороссии западный мир практически объявил нашей стране холодную войну. Экономические санкции, наложенные США и Евросоюзом, больно ударили по российской экономике.

Сложившееся положение заставляет ускоренно выбирать оптимальные варианты развития и без промедления реализовывать их. Напряжённость ситуации усиливается угрозой полного разрыва прежних добрососедских экономических связей с Украиной, ограничением контактов с западными фирмами и банками, а также начавшейся международной изоляцией страны. Уже сегодняшняя реальность – это ускорение инфляции, рост потребительских цен, дефицитность государственного бюджета, замедление и без того еле заметного развития, сокращение возможностей для решения социальных задач и т. д. При этом ведущие экономисты уверенно утверждают, что экономические санкции Запада создали не более 5% трудностей для нашего хозяйственного организма, а остальные 95% – внутреннего происхождения.

Предлагаются разные меры для выхода из кризиса, в котором мы находимся: снизить учётную ставку Центрального банка, средства резервного фонда направить на инвестирование отечественной промышленности, существенно увеличить денежную массу, не опасаясь инфляции, снизить налоги на бизнес, ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц и т. д. Все эти и ряд других мер достойны обсуждения и, вероятно, внедрения. Но у них есть общий недостаток: они, практически, не консолидируют энергию граждан на решение общей задачи, стоящей перед страной. Они не увязаны в систему и не обозначают вектор движения общества к прогрессу.

Представляется, что с учётом наших российских традиций, проверенных историей, нам следует решить главный вопрос – вопрос о выборе эффективного направления движения общества. Или мы следуем по пути углубления индивидуализма со всеми вытекающими из этого последствиями, или же наш путь – широкое внедрение коллективистских начал во всех сферах жизни общества.

Развитие по первому варианту уже привело к тому, что мы имеем, и рассчитывать на существенное повышение эффективности в его рамках нет оснований. Коллективистский путь более свойственен российскому менталитету, и, следуя им, страна добивалась в недалёком прошлом (в советский период) выдающихся успехов, став второй экономикой мира.

Нелишне вспомнить о наших традициях кооперативной организации хозяйства в дореволюционной, царской России. Кооперативное движение в то время отличалось большим размахом. Удивительно, но факт: по числу кооперативов различных типов – потребительских, производственных, кредитных (всего около 50 тысяч), и их членов (14 млн человек) Российская империя в начале XX века занимала первое место в мире. И что особенно важно для наших последующих рассуждений – основным принципом их работы было правило, что все кооператоры равноправны, и каждый при принятии решений имеет один голос.

В советский период уделялось огромное внимание разработке проблем развития социалистического производственного коллектива. Этой проблемой занимались многие десятки институтов. Менталитету нашего народа коллективные формы хозяйствования соответствуют в значительно большей степени, чем индивидуализм. Однако поворот на путь капиталистического развития, произошедший после событий 1991–1993 годов, называемых или революцией (либералы), или контрреволюцией (левые силы и центристы), привёл к движению в сторону индивидуализма. В этом “заслуга” нашей либерально-демо-

кратической элиты, активно и напористо внедрившей капиталистические ценности в сознание абсолютного большинства населения и сумевшей убедить многих, что сама реализация рыночных идей является гарантом благосостояния каждого человека, если он способен и не ленив.

Отрезвление от этого заблуждения постепенно наступает, но этому не способствует, а вернее – препятствует система управления, построенная для обслуживания частнокапиталистических предприятий, которая активно влияет на менталитет народа и препятствует развитию коллективистских отношений, которые шельмуются в угоду индивидуализму.

Некоторые авторы вопреки здравому смыслу доказывают, что, по их словам, “приписываемый” нашему народу коллективизм – это миф. Так, бывший марксист А. Ципко пишет: “Если бы русский крестьянин не был предельно рациональным, предельно расчётливым, если бы он был коммунистом “по инстинкту”, то он не выжил бы в своём противостоянии с русским Севером” [1]. А. Ципко допускает здесь подмену понятий: “коммунизм” и “коллективизм” у него – синонимы. Истина же заключается в том, что вся история русского народа является иллюстрацией наших коллективистских достижений. Возражая А. Ципко, следует напомнить, что кроме русского Севера (говоря так, обычно имеют в виду Европейский Север) есть ещё бескрайние просторы Сибири и Востока, а там климат посуровей, чем в Европе. И осваивать эти земли должны были люди и предельно рациональные, и предельно расчётливые, кто же с этим спорит, но, и это очевидно всем мало-мальски знакомым с обстановкой в этих регионах, осваивать их они могли только артельно, коллективно. С Севером шутки плохи, отдельному человеку, индивидуалисту там делать нечего.

В 1998 году был принят федеральный закон “Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятиях)”. Основные положения этого закона дают представление о кардинальных отличиях организационного построения трудовых отношений в коллективных предприятиях по сравнению с частнокапиталистическими:

- рабочие-акционеры при увольнении обязаны продавать акции своему предприятию, а не “на сторону” (таким образом полностью ликвидируется опасность рейдерских захватов);

- решения на собрании акционеров принимаются по принципу “один человек – один голос” вне зависимости от количества акций;

- один работник не может владеть более 5% стоимости акций от уставного капитала;

- размер оплаты труда генерального директора не может более чем в 10 раз превышать средний размер оплаты труда одного работника.

Так называемый децильный коэффициент у нас в стране по официальным подсчётам равен 16:1. Независимые эксперты определяют его как 45:1 или даже 50:1. На предприятиях это соотношение нередко выглядит просто катастрофически. В начале ноября 2014 года в СМИ появились сообщения о волнениях в коллективе “АвтоВАЗа”. Причина – недовольство уровнем зарплаты. На этом предприятии оплата менеджмента – 2,2–2,5 млн рублей в месяц, а у рядовых рабочих – 15–20 тысяч рублей. Разница – более 100 раз. Рассуждать о единстве таких коллективов было бы профанацией.

В обществе и бизнесе по отношению к предприятиям с собственностью работников создана недружественная среда, информация об их работе отсутствует, нет органа управления, который бы занимался даже не координацией, а хотя бы анализом деятельности этих предприятий. Неудивительно, что, несмотря на их повышенную эффективность по сравнению с частными предприятиями, их число сократилось и составляет в настоящее время всего несколько десятков. Накоплен, однако, солидный опыт успешной работы предприятий работников в разных отраслях народного хозяйства и промышленности: целлюлозно-бумажной, пищевой, лёгкой, топливной, в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, деревообработке, автотранспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Наиболее впечатляющих успехов добился картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах, первое народное предприятие в нашей стране, учреждённое в этом статусе в 1998 году буквально через несколько дней после принятия указанного федерального закона. Это современное высокоэффективное предприятие, лидер в целлюлозно-бумажной отрасли, занимает 7% рынка го-

фротары и 18% туалетной бумаги. Пятнадцатилетний опыт работы по модели народного предприятия демонстрирует его впечатляющие успехи.

Численность работающих — 1800 человек. Непрерывный рост объёмов производства (не менее 7% в год). Развитие, в том числе и крупная модернизация, осуществлялись без кредитов за счёт собственных накоплений. Комбинат — второй в Татарстане по объёму налогоплательщиков после гиганта “КамаЗа”. Средняя зарплата — 40 тысяч рублей в месяц, что выше, чем среднеотраслевая и средняя по республике. Текучести кадров практически нет. По закону у работника, выходящего на пенсию, предприятие обязано выкупить принадлежащие ему акции. И чем выше капитализация комбината, тем дороже акции, а это значит, что каждый работник имеет прямой интерес в увеличении основных фондов, а не в стремлении проесть заработанные деньги. Таким образом, при выходе на пенсию работнику-акционеру выплачивается немалая сумма, которая равняется государственной пенсии за 10 лет. Напомню, в России срок так называемого дожития, то есть средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию у мужчин — 6 лет, у женщин — 11.

Предприятия с собственностью работников имеют лучшие показатели, чем аналогичные частнокапиталистические и государственные. Но их успехи замалчиваются. Для СМИ остался незамеченным факт удвоения объёмов производства всеми этими предприятиями в нулевые годы, то есть выполнение ими задачи, поставленной президентом страны перед всем народным хозяйством.

Реальная жизненная практика убеждает, что коллективизм — это столбовой путь развития человечества. Принципы коллективизма и экономической демократии активно внедряются в фирмах капиталистических стран. Непосвящённые с удивлением узнают, что начало их массового распространения было положено в США ещё в 70-е годы прошлого века. Были приняты соответствующие законы, облегчающие передачу предприятий в собственность коллективов. Опыт США был поддержан многими странами. Так, Европейская федерация работников-собственников объединяет более 50 стран. В самих Соединённых Штатах подобных предприятий не менее 10 тысяч, трудятся на них более 12 млн человек. Среди них немало крупных и всемирно известных, таких как “Макдонелл — Дуглас”, “Маккормик”, “Проктер энд Гэмбл”, “Пабликс”. В последней, бизнесом которой является розничная торговля, 80% акций стоимостью 16,6 млрд долларов принадлежат 160 тысячам работников, при этом генеральный директор владеет всего 1,1% акций [2].

Однако следует заметить, что принцип коллективной формы собственности наиболее эффективно “работает” на предприятиях с компактным размещением производства. А. Сергеев на основе анализа деятельности 316 фирм США доказал, что предел эффективности предприятий с собственностью работников соответствует численности примерно в 4,5 тысячи человек, то есть при меньшей численности они по эффективности побивают своих частнокапиталистических конкурентов, а при большей — проигрывают [3]. Это объясняется тем, что в более крупных фирмах труднее построить линии взаимодействия между сотрудниками и менеджментом и труднее развить эффект обладания собственностью у работников-акционеров.

Развитие тенденции передачи предприятий в собственность коллективов и принципа стимулирования работников путём наделения их акциями компаний, характерное для всех экономически развитых стран, вызвано, конечно, не любовью к трудящимся. В основе этих действий — твёрдый расчёт. Программа ИСОП (Employee Stock Ownership Plans — План создания акционерной собственности работников) была принята в середине 70-х годов Конгрессом США в значительной степени вынужденно. В то время капиталистические страны поразил экономический кризис. Коллективы рабочих и служащих стали выкупать предприятия, на которых они работали, у разоряющихся хозяев, прежде всего для того, чтобы не потерять работу. И государственные, федеральные и местные власти начали помогать им ссудами и иным образом с целью затормозить рост безработицы.

С самого зарождения программа ИСОП преследовала и идеологические цели как противопоставление и вызов советскому социализму. Но уже первые годы внедрения доказали её особую общественную значимость. Выборочное обследование показало, что у предприятий, перешедших в собственность работников, в первые же годы наблюдался существенный рост и объёмов производства, и прибыли. Конгресс США признал, что в стране слишком велика

концентрация собственности в руках одного процента населения, а это, в принципе, опасно для самого капитализма. Таким образом, акционерные общества работников призваны выполнять и важную социальную функцию, сглаживая противоречия в обществе и укрепляя социальный мир. Но самый главный довод в пользу роста числа этих предприятий заключается в их выгоде для всех — для государства, для капиталистов и для самих работников.

Следует заметить, что внедрение принципа коллективной формы собственности происходит не без серьёзного сопротивления. Например, в Соединённых Штатах владельцы предприятий в большинстве случаев не допускают перехода контрольного пакета акций в руки трудового коллектива. Они продают работникам чаще всего от 20 до 40% общего числа акций и стараются не допустить представителей коллективов в советы директоров, не давать им права на какое-либо участие в руководстве компаниями. От власти, особенно абсолютной (не ограниченной демократическими механизмами), какая и существует внутри большинства капиталистических хозяйств, отказаться ещё труднее, чем от присвоения доходов от чужого труда. Как результат этих противоборствующих тенденций, в США полностью владеют предприятиями не более 20% коллективов от числа компаний, применяющих ИСОП.

Но важно отметить, что новые прогрессивные тенденции в экономике США с трудом, но всё же пробивают себе дорогу. В мире продолжает развиваться как практика, так и теория коллективной формы собственности. В 2009 году Нобелевский комитет присудил премию по экономике американскому экономисту Элинор Остром, которая доказала, что коллективная собственность может успешно управляться и она, как минимум, не менее эффективна, чем государственная или частная.

В 2003 году президент России В. В. Путин в приветствии, направленном IV отчётно-выборной конференция Российского союза народных предприятий, писал: “Появившиеся в нашей стране сравнительно недавно народные предприятия действуют сегодня во многих российских регионах, они востребованы в различных отраслях производства и переработки, в условиях современной рыночной экономики стремятся укреплять свои позиции” [4]. Естественно задать вопрос: “А в чём же дело, почему таких предприятий в нашей стране так мало?” Ответ дать несложно. Добросовестно заблуждающихся в этой проблеме в руководстве страны мало, может быть, и совсем нет. Признать очевидные преимущества народных предприятий не желают те многие чиновники и политики, которые не хотят, чтобы в России были акционерные общества, где невозможно без согласия работников-акционеров перекупить контрольный пакет акций. Они не хотят понять, что без смягчения социального неравенства, без постановки преграды для безудержного обогащения узкого круга лиц, без создания среднего класса страна будет двигаться к социальной катастрофе, и уж точно не будет иметь высоких темпов экономического развития.

Моя статья в “Литературной газете” “Хозяева и работники” [5], в которой поднималась проблема коллективной формы собственности и её связи с выбором социально-экономического курса страны, вызвала отклики, которые продемонстрировали различные точки зрения на эту проблему.

Те авторы, которые хорошо знакомы не только с самой проблемой, но и с деятельностью конкретных предприятий с собственностью работников, единодушно поддерживают развитие принципа участия работников во владении и управлении предприятиями. Доктор экономических наук Т. Зимина особо отметила высокий градус психологического климата на предприятиях, принадлежащих работникам-акционерам, ощущающих себя коллективом единомышленников. А это, как говорится, по определению невозможно в частнокапиталистических организациях.

Удивило мнение доктора экономических наук, профессора В. Иноземцева [6]. Вопреки известным фактам, он вдруг решил утверждать, что коллективистские системы собственности на Западе “были и остаются маргинальными”. Кроме того, он пытается доказать, что обсуждаемая проблема вообще не актуальна, так как обсуждать в наше время следует не темы, связанные с частной и коллективной формами собственности, а с личной. Он отмечает, что носители этой собственности, никого не эксплуатируя, зарабатывают огромные деньги, в отличие от рядовых исполнителей — токарей, пекарей, водителей и др. Он признаёт, что в этом случае возникает неравенство, которое может привести к социальному взрыву. Но при этом В. Иноземцев отмечает,

что такое неравенство сложно назвать несправедливым, так как оно не основано на присвоении чужой собственности и эксплуатации.

Говоря о “виновниках” неравенства, он ссылается, в основном, на людей творческих профессий – поп-исполнителей, режиссёров, дизайнеров, архитекторов, юристов, футболистов, теннисистов. Много ли их, работающих автономно и высокооплачиваемых? Желющие могут порыться в справочниках и в интернете и убедиться, что в России от общей численности работающих этих специалистов наберётся хорошо, если один-два процента. Уместно вспомнить, что Ф. Энгельс, кратко определяя значение К. Маркса, сказал, что он “открыл закон развития человеческой истории: тот, до последнего времени скрытый под идеологическими наслоениями, простой факт, что люди, в первую очередь, должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.”.

И в наше время не футболисты, юристы и певцы, а предприятия и их работники, производящие материальные блага, являются основой благосостояния любого государства, в том числе и США, которые, как считается, одной ногой вступили в общество знаний. Какие бы новые технологии ни придумывали (3D и другие), а делать самолёты, автомобили, выращивать зерно, скот, печь хлеб, строить дома, дороги и мосты и сейчас, и в обозримом будущем будут трудовые коллективы. А вот схема их внутренней организации – забота управленческой элиты каждой страны.

Для России это проблема особой важности, поскольку в результате рестроечно-либерального разгрома за последние 30 лет мы потеряли ряд отраслей народного хозяйства и промышленности. И рады бы мы рвануть в общество знаний, да невозможно, нет на это никаких оснований. Совсем недавно Д. Медведев, будучи президентом РФ, провозгласил курс на модернизацию, резкое усиление научных исследований (вспомним бум вокруг Сколково!). Разобрались сравнительно быстро: чтобы что-то модернизировать, нужно это что-то иметь, а научные исследования тогда хорошо развивать, когда их есть где применять. В России же область их внедрения уж очень мала.

Негативное отношение к самой проблеме работников-акционеров высказала Т. Воеводина [7]. Она почему-то считает, что я отстаиваю мнение, что если трудящихся наделить акциями, то “всё пойдёт не в пример лучше”. Это не так. Во-первых, далеко не все люди желают брать на себя ответственность за собственность предприятия и управление им. Во-вторых, не на каждом предприятии возможно эффективное применение этих принципов. Например, в торговом предприятии Т. Воеводиной, по моему разумению, нужна строгая, даже диктаторская централизация управления, что, конечно, должно сопровождаться и справедливой оплатой, и поощрением хорошо работающих, и созданием условий для инициатив работников.

Но делать вывод о нецелесообразности организации коллективных предприятий на основе опыта деятельности специфической торговой компании так же неправильно, как базируясь на результатах собственного дачного участка, давать заключение о перспективах и задачах развития сельского хозяйства в стране.

Особенно удивил вывод Т. Воеводиной о рамках распространения производственной демократии. Она сделала его опять же на основе опыта работы своей торговой компании. Её мнение: демократия на производстве нужна, но в пределах компетентности его участников: “Они подлинно должны “судить не выше сапога”. Но в этих пределах предложения и отображения трудящихся полезны, желательны и благотворны”.

На Петербургском экономическом форуме в 2012 года председатель “Сбербанка” Г. Греф, будучи модератором дискуссии “Выход из управленческого тупика: мудрость толпы или авторитарный гений?”, с присущим ему апломбом убеждал, как это неправильно – привлекать народ к управлению (они уж науправляют!) и как глупо сообщать народу лишнюю информацию, из-за чего станет труднее им манипулировать. При этом ссылаясь на Будду, Конфуция и каббалу. Оказалось, что “дядя шутит”, и нужно ему это было для оживления дискуссии. Но словам Г. Грефа не удивились, ему поверили. Поверили именно потому, что правящая элита так не только думает, но и действует. Ну, а Т. Воеводина уже без шуток изложила то же мнение.

Не хотелось бы дискутировать на тему о том, нужно ли допускать к управлению “простой народ”, поскольку этот вопрос решён в государственном мас-

штабе и не только в нашей стране. Люди выбирают президента, депутатов Государственной Думы, множество других руководителей разных уровней, даже голосованием принимают текст Конституции, хотя последнее, по моему мнению, и не совсем правильно. Управляющей элите это нужно для собственной легитимности, и поэтому она не против этого порядка. Но вот выбирать руководителя предприятия *плебсу доверять нельзя!* “Кого изберёт коллектив – совершенно ясно: того, кто красно говорит и меньше заставляет работать”, – пишет Т. Воеводина. Далее она ссылается на опыт конца 80-х годов, когда трудовым коллективам предоставили право выбирать руководителей, и правильно отмечает, что это дело закончилось конфузом. Однако причина конфуза легко объяснима: выборщики не были собственниками, поэтому не чувствовали ответственности за результаты своих решений. Я это время хорошо помню. Ничем другим такие выборы и не должны были завершиться.

Интересный факт: если наша элита явно или скрытно выступает против экономической демократии на производстве, то чем объяснить настойчивое протаскивание идеи выборности в сфере ЖКХ руководителей ТСЖ, а также компаний, управляющих жилыми домами? Ведь жители обладают меньшей информацией и знаниями в части эксплуатации домов, чем о проблемах собственного предприятия? Ответ, на мой взгляд, простой: на предприятиях дело имеют с прибылью, а в ЖКХ – сплошные убытки, вот там пускай народ и резвится со своей демократией.

Для обычного нормального человека, обывателя демократия, как форма государственного устройства общества, предстаёт в виде двух составляющих. Условно назовем их внешней и внутренней. Первая – внешняя – проявляется во взаимоотношениях человека с представителями государства, органами федерального, муниципального и местного подчинения. Она является объектом постоянного обсуждения на всех форумах и олицетворяет демократию как таковую в представлении политиков, учёных, руководителей государства, граждан. Её стараются совершенствовать, ей дают названия, определения.

Уровень этой демократии такой, что наш человек чувствует себя беззащитным перед полицией, судом, прокуратурой. Конституционные нормы в части бесплатного медицинского обслуживания и бесплатного образования не соблюдаются. Принятые в последний период законы в отношении проведения референдумов, протестных акций, изменение выборного законодательства, коррупция, проникшая во все поры общества, – заставляют задуматься: а какое же это народовластие?

Вторая составляющая – внутренняя – реализуется внутри предприятия, организации, где трудится человек, где он зарабатывает средства для себя и своей семьи. Вот она-то и является самым ярким показателем уровня развития демократии в обществе. Бесправие человека на предприятии, проявляющееся в его зависимости от воли хозяина, в низкой зарплате, в неуверенности в завтрашнем дне, нельзя компенсировать возможностью покричать на митинге, пройти в рядах демонстрантов и т. д. Уровень нашей демократии на производстве соответствует временам капитализма в Европе и США конца XIX века, когда зарождалось профсоюзное движение и политические партии, отстаивающие интересы трудящихся.

Наши профсоюзы слабы, их всерьёз не принимает ни власть, ни хозяева предприятий. Об авторитете профсоюзов красноречиво говорит тот факт, что количество их членов в стране не растёт, а уменьшается. Широкомасштабная приватизация государственной собственности, проведённая в 90-е годы, привела к тому, что общество разделилось на хозяев (собственников) и наёмных работников. Приватизаторы внушили людям, что это и есть самая эффективная форма организации производства в обществе, идущем по пути демократии. Этому же учили и многочисленные иностранные советчики.

В Конституции РФ записано, что все граждане имеют равные права перед законом и судом, но повседневная жизнь даёт массу примеров, когда этот принцип корректируется величиной материальной обеспеченности граждан, то есть имеешь меньше денег – получишь и меньше благ демократии. У нас в одном и том же номере газеты можно прочитать о миллионных тратах на развлечения миллиардеров и о слёзной просьбе матери помочь деньгами на операцию умирающей дочери.

В странах Запада давно поняли, что настоящая демократия, демократия для всех возможна при условии наделения всех членов общества собственно-

стью. Акционерные общества работников создают условия для эффективного решения этой задачи.

Коллективная собственность – не панацея от всех бед, но достаточно мощное средство гармонизации интересов личности, общества и государства, а следовательно, и ускорения экономического развития, что в условиях усложнения международной обстановки нам особенно необходимо. Но при этом мы должны понимать, что успеха на этом пути можно добиться только при условии, если коллективизм как принцип организации общественной жизни и производства займёт подобающее ему место в сознании большинства населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Наука и жизнь, № 5, 2011.
2. Литературная газета, № 19, 2014.
3. Сергеев А. С. Особенности регулирования социально-трудовых отношений в организациях коллективной формы собственности. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук, М., 2013.
4. Время эффективных собственников. М., 2013.
5. Литературная газета, № 25-26, 2013.
6. Литературная газета, № 28, 2013.
7. Литературная газета, № 32, 2013.

НИНА ЯГОДИНЦЕВА

ТЕХНОЛОГИИ ХАОСА

1. Прорва

Трудно, почти физически больно писать: как бы ни повернулись события, время речей закончилось, наступило время формул, в которых каждое слово обретает иной, безмерно тяжёлый вес. И в каждое слово начинаешь вглядываться с тревогой и надеждой, ведь оно было и остаётся — в начале всего, и теперь это ощущается более чем реально.

В детстве я слышала от бабушки, неграмотной поволжской крестьянки, страшное слово “прорва”. В русском языке оно имеет ряд простых бытовых толкований, зафиксированных в словарях. Однако у бабушки, в глубокой крестьянской традиции, оно восходило по смыслу к необъятному, тёмному метафизическому значению, в противопоставление которому я впервые увидела зримые очертания могучего русского Космоса.

Это слово — *прорва* — собрало вокруг себя огромное количество сакральных понятий с противоположным знаком и сделало происходящее в духовной сфере зримым, осязаемым, очевидно понятным. Так возник противопоставленный *прорве* образ — образ многослойной и многоцветной ткани бытия, нити, переплетения и скрепляющие узлы которой держат нас над бездной хаоса (надо бы писать здесь слово “хаос” с большой буквы, отделяя его от бытового беспорядка, но не поднимается на это рука). Так возникло понимание долга человека перед жизнью: беречь эту ткань, ткать её из нитей бытия и штопать прорехи, через которые дышит пламя.

Ткани жизни духотворны и рукотворны. Над ними — непостижимые горниле пространства, под ними — та страшная, дышащая огнём и тьмой бездна, куда в последнее время человек заглядывается всё чаще и пристальней, постепенно теряя себя. Ткань бытия ткётся, уплотняется, вышивается цветами и орнаментами, но и истончается, ветшает, рвётся — и в *прорву* начинает дышать хаос.

Это ведь о ней, о *прорве*, о завораживающем и увлекающем на погибель зрелище нечеловеческого мира писал Пушкин многократно перетолкованное литературоведами: “Есть упоение в бою, // И бездны мрачной на краю, // И в разъярённом океане, // Среди грозных волн и бурной тьмы, // И в аравийском урагане, // И в дуновении Чумы. // Всё, всё, что гибелью грозит, // Для сердца смертного таит // Незыблемы наслажденья — // Бессмертья, может быть, залог!..”

ЯГОДИНЦЕВА Нина Александровна родилась в Магнитогорске. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Кандидат культурологии. Автор восьми поэтических книг. Живёт в Челябинске.

Мы взяли из его никак не маленькой трагедии только уже ставшее общим местом название “Пир во время чумы”, а Пушкин видел много глубже и предрейджение дал на все времена, в том числе и на нынешние.

В чём же Вальсингам наивно увидел “бессмертья, может быть, залог”? В той самой энергии хаоса, которая зачаровывает и на короткое время дарит иллюзию могущества, а на самом деле обрушивает, сжигает дотла и рассеивает по ветру пепел, но перед этим непременно обольщает всевластием, разрывает все живые нити, соединяющие человека с миром людей, туманит разум, чувства и даже нормальные ощущения: вместо тепла человеку вдруг становится нужно пламя, вместо солнечного света – яростные вспышки, вместо речи и музыки – рёв и грохот. Она очень притягательна, эта энергия, потому что обольщение ослепляет и оглушает, минутное могущество завораживает, а плата за неё “на входе” никак не обозначена, хотя известно от века: в итоге у человека отнимается всё.

И беда в том, что завораживает хаос не только разрушителей! Он завораживает всех, кто хотя бы в малой мере лишён опыта самостояния. Я не говорю о тех, кто сегодня то и дело срывается на истерический крик в бесконечных спорах “за” и “против” – они уже на краю прорвы, – но о тех, кто молча заторопенно следит за развитием событий, истончая и ослабляя свою собственную душу бесконечными переживаниями, понимая (или желая думать именно так), что от его участия-неучастия в принципе не зависит ничего. Или наоборот (другая крайность) – начинает рассыпать словеса, полагая, что это и есть неременная его обязанность участия в происходящих событиях. И тоже растрачивается душевно, и на эту массовую, трудно восполняемую растрату как раз и делается ставка!

Ведь информационные войны рассчитаны не столько на переубеждение, сколько на банальное истощение человеческого ресурса самостояния и культуры. Не случайно ведь общественное сознание целенаправленно расшатывают именно осенью и весной, когда массовая его составляющая наиболее уязвима в силу объективных причин: обольщают открытием желтушных “тайн”, подпитывают грядущими ужасами, внушают полуправду и, наконец, только в финале взывают к разуму – перегруженному, сбитому с толку, растерянному... Как тут не потянуться к стихийной силе, как не поддаться ураганной ненависти и желанию самолично навести в мире свой собственный порядок...

Пушкин оставляет финал открытым. Романтики вслед за Вальсингамом дружно затягивают гимн чуме, то есть в простоте душевной воспевают стихию хаоса, восторгаясь его могучей слепой энергией; моралисты толкуют о неуместности пира в условиях социокультурного и геополитического кризиса, прагматики ловят рыбку, пока вода мутна, и чем мутнее, тем лучше; но кто осмелится воочию увидеть и сознательно осмыслить бездну, уже очевидно огнём дышащую в распахнувшейся прорве?

Кто посмеет понять открыто и прямо, сколько безмерного труда потребуются, чтобы закрыть эту бездну, протянуть через неё спасительные нити человеческих чувств, слов и дел, скольким людям придётся пожертвовать личным, чтобы исцелить общую ткань жизни, сделать её спасительно прочной – для других теперь уже поколений?

Помните, Вальсингам в последний момент, после слов Священника, остаётся “погружённым в глубокую задумчивость”? А ведь и правда: так ли просто опомниться и сделать выбор между могучей энергией хаоса, рвущейся в прорехи бытия, и очевидной слабостью одинокого личного противостояния безумству стихии?

Но дело не только в этом. Вопреки всем сомнениям, бывает достаточно поступка, жеста, слова – самостоятельного, человеческого, – чтобы хаос начал отступать. И как бы ни казалась чудовищно могущественной его сила, именно человек выпускает её на свободу или заточает обратно в бездну. В этом смысле каждый из нас – ключ и замок для хаоса.

Не обольщаясь ни ужасом, ни восторгом, не вовлекаясь в водовороты гибельной стихии, образовавшуюся прорву предстоит закрывать каждому – всей мерой своих человеческих сил. Да, душа надрывается на непосильном. И намеренно надрывают её – непосильным. И опять я обращаюсь к опыту своего рода – я, горожанка во втором поколении, вспоминаю спасительную крестьянскую мудрость: делай перед Богом то, что ты можешь сделать, и оставь на волю Божью то, что тебе неподвластно. И кланяюсь роду и народу своему за эту мудрость.

Это ключ и замок для хаоса. Здесь побеждает именно самостояние. Неважно, какой мерой духовной силы ты наделён – большой или малой, – важно другое: ты её чувствуешь и понимаешь, что можешь сделать именно ты.

Ведь хаос всегда присутствует в нормальной жизни. И всегда начинает прорываться точечно. И всегда стремится нарушить необходимую для нормальной жизни меру своего присутствия – в свою же пользу. И оправдать себя жизненной необходимостью. Но когда мера хаоса приближается к опасной черте – каждая, даже самая тонкая нить в ткани бытия становится главной, несущей человеческое над адской прорвой.

Этот подвиг никогда не бывает одиночным. Он под силу только целому народу, имеющему волю к жизни, хранящему не просто культуру и хозяйственный уклад, но цельный, неделимый Космос своего бытия. О героях лживых американских киномифов, о тех, кто лихо спасает мир в одиночку, пора прочно забыть – нет у этой молодой культуры совокупного метафизического опыта бытия, а есть авантюризм исторический и мистический, дерзко рвущий и жгущий сотканное другими за века и тысячелетия.

Есть и достаточно старые культуры, отягощённые не только опытом, но и жадной всевластия, и неизбежной оборотной его стороной – тайной волей к смерти. Их метафизический опыт обременён вирусом самоуничтожения, но они способны легко вовлечь в свои гибельные коллизии всё человеческое сообщество.

То, что технологии хаоса сегодня взяты на вооружение устроителями нового миропорядка, – чудовищная гибельная авантюра, и даже не потому, что кем-то присваивается право решать судьбы народов и культур (хотя и это, конечно, тот ещё вопрос!), а потому, что хаос неуправляем в принципе.

Уже и сами экспериментаторы видят, что его не удаётся контролировать. Там, где ткань жизни достаточно прочна, её приходится взрывать и жечь, но чаемый новый порядок установить не удаётся: в конце концов, волей-неволей приходится и самим включаться в борьбу со всепожирающим хаосом. Там, где процессы разлада и распада долго и тщательно готовятся и целенаправленно запускаются, они идут опережающими темпами, и всё стремительно выходит из-под контроля и приводит в непредсказуемые тупики и на край непредсказуемой пропасти.

Управляемый хаос – смертельная иллюзия, расчёт беглый и поверхностный, с последствиями неизбежными и скорыми.

Но снова возвращаемся к главному: мере душевных сил каждого, кто хочет жить и служить жизни. Не надо заглядывать в пылающие прорвы – там нет ничего человеческого, там всё многократно превышает человеческую меру сил и потому может погубить человека стремительно и безвозвратно.

Те, кому дано провидеть эти бездны, испытывают не истерический восторг пушкинского Вальсингама, а глубокую скорбь Священника, взывающего к самому дорогому – родственным кровным узам, священному образу матери: *“Иль думаешь, она теперь не плачет, // Не плачет горько в самых небесах, // Взирая на пирующего сына, // В пиру разврата, слыша голос твой, // Поющий бешеные песни, между // Мольбы святой и тяжких вздыханий? // Ступай за мной!..”*

Вот это, кровное – мать, Родина – не даёт заблудиться и пропасть, это нужно беречь в себе и защищать. Потому что это – человеческое, а не сверхчеловеческое или выхолощено-демагогическое. Потому что по этим нитям рода, народа, Родины течёт чистая энергия нашей жизни, из них ткётся ткань, отделяющая нас от тёмной бездны, и в соотношении с личным чувством возникает понимание чувств другого человека – так прорва медленно затягивается, и жизнь возвращается на круги своя.

Всё это относится не только к мучительной ситуации на Украине, где живут мои равно родные украинские и русские близкие люди, но и к общему состоянию пространства, к чудовищной смуте, которую уже давно и целенаправленно сеют в душах и головах, истончая ткань жизни до прозрачности... А где тонко – там и рвётся.

И не дай Бог на слова пушкинского Священника *“Пойдём, пойдём...”* – услышать ответ: *“Отец мой, ради Бога, // Оставь меня!..”* Тогда останется только скорбно повторять: *“Спаси тебя Господь! Прости, мой сын...”*

2. Соблазн хаоса

Стремясь в меру своих скромных сил осмыслить тревожные события глобального масштаба, обращаешь внимание, прежде всего, на то, что в подавляющем большинстве кризисных ситуаций ставка делается на хаос: на создание дисбаланса, рассогласованности, на запуск процессов рассыпания организующих нормальную жизнь структур государства, общества, культуры.

Причём хаос подаётся уже далеко не в привычном нам качестве временной издержки, неизбежной при переходе от одной организующей структуры к другой, а в качестве состояния базового, естественного и даже желанного уже хотя бы потому, что оно не обременяет индивидуума или сообщество даже минимальными ограничениями – не говоря о самых глубоких, нравственных. То есть традиционное противостояние хаоса и порядка в нашей жизни постепенно и неуклонно восходит к своей изначальной, философской, космической сущности.

Чем же хаос стал вдруг привлекателен настолько, что даже явная угроза самоуничтожения воспринимается сегодня как нечто несущественное? Почему ему шаг за шагом уступает территорию культура, сдаются искусство, образование, наука? Почему становятся нежизнеспособными и рассыпаются формы, в которые вложено столько сил и жизни? Почему мы, казалось бы, благодаря культуре способные предвидеть элементарные последствия своих поступков, ежедневно, по мелочам, прельщаемся его соблазнами? В поиске ответа на этот вопрос, прежде всего, следовало бы обратить внимание на энергичную сторону происходящих процессов, – возможно, точки опоры и основы для понимания происходящего обнаружатся именно здесь.

Наша жизненная энергия изначально структурирована слабо, в ней достаточно чётко намечены только базовые смыслы: выживания, продолжения рода и примитивной самоорганизации. Вне границ культуры эта энергия, по сути, проявляется как агрессия. И именно культура, подхватывая и упорядочивая, связывая в жизнестроительные формы неструктурированный поток энергии, уменьшает и в идеале стремится свести на нет разрушительный потенциал и превратить его в потенциал строительный. А это процесс действительно космического порядка, прямо восходящий к духовной сущности человека, предназначенному человеческого сознания.

Связанная энергия при этом как бы раздваивается: частью удерживает, обслуживает уже имеющиеся культурные формы, частью направляется на их развитие – локальное разрушение, переформирование, строительство новых форм. И в идеале её должно хватать и на то, и на другое.

Тонкий баланс между свободой и организацией невозможно сохранять неизменным в принципе, установив его раз и навсегда, как невозможно удерживать раз и навсегда равновесие в движении. Каждый новый шаг требует нового согласования сил, поддержания баланса, нарушение которого неизбежно чревато либо ужесточением форм и подавлением энергии (угасанием жизни), либо разрушением форм и соскальзыванием в хаос.

Центральным, ключевым здесь является ныне выведенное из обращения – хочется надеяться, временно! – золотое понятие “мера”. Оно изъято практически отовсюду, и потому почти любое действие доводится до крайности, то есть до обретения прямо противоположного смысла, а потом наступает пора удивляться, почему *хотели как лучше, а получилось...* В общем, не получилось. Чувство меры, приоритет меры, наука меры, степень её тонкости и высота (глубина) – атрибуты гармонии, особенно в динамике, а их забвением или отсутствием точно маркируется хаос.

В периоды активного жизнестроительства хаос постоянно возникает то там, то здесь, но он всегда локален, мало того – необходим как строительный материал, как источник энергии, он является признаком нагнетания жизненной силы, её радостного избытка. Но если по какой-то, часто не известной нам причине жизненная энергия начинает уменьшаться, угасать, иссякать – сначала ужесточаются, костенеют формы, потом не под силу становится их поддержание, и из локального строительного хаос постепенно превращается в губительный и глобальный.

Следуя этой логике, можно сделать закономерный вывод, что хаос двулик: будучи соразмерным, он даёт материал и энергию для обновления, когда же его сверх меры, он становится спутником и атрибутом слабости.

И сегодня мы имеем дело со второй его ипостасью. Важно понять, почему он набирает силу, почему столь привлекательными для многих становятся его технологии, откуда возникает иллюзия, что им можно управлять и, — мало того! — возможно управлять миром с его помощью?

Ответ тоже нужно искать в энергийной плоскости. Хаос высвобождает связанную культурными формами энергию и тем самым создаёт иллюзию её избытка, иллюзию полноценной жизни, а его разрушительный смысл отодвигается на второй, третий, последний план: какая разница, потом упорядочим, потом выстроим, потом обуздаем... Но лавинообразное разрушение делает это “потом” всё более далёким и в итоге практически невозможным.

Хуже и беспомощней упования на “потом” могут быть только наивные мечты о том, что всё “само собой устроится” или “было ведь уже нечто подобное, но как-то же нормализовалось...” Хочется спросить: какой ценой? Но понятно, что вопрос это чисто риторический. Есть ещё прямо преступное “на наш век хватит”, но сейчас не об этом.

Опьянение энергией хаоса особенно заразительно для тех, кто прозябает в обыденности, движется в надёжной “колее” повседневности, кто не создаёт, а с трудом поддерживает или только эксплуатирует культурные формы в их общепринятом понимании и осознаёт — или не осознаёт, что в принципе даже неважно, всё равно так или иначе переживает — дефицит именно этой, энергийной, созидательной, творческой стороны своего бытия.

Но запускается лавинообразное разрушение всё-таки сверху, с верхних этажей культурной иерархии. Из тех культурных слоёв, где, по идее, как раз и должно происходить смысло- и формотворение. Соблазн хаоса срабатывает, в первую очередь, там и приходит оттуда — и на это тоже есть свои веские причины.

В периоды относительного (а много чаще — мнимого) благополучия, когда спасительная жизнетворящая необходимость культуры перестаёт быть очевидно насущной, соблазну хаоса не поддаться трудно. Он — новизна, он — свобода от форм и обязательств, наконец, он — дешёвая избыточная, бьющая через край энергия. Ну, как от всего этого отказаться? Зачем связывать драгоценного себя культурными и нравственными обязательствами, тратить силы на изучение, освоение, поддержание и развитие того, что уже есть, что наработано, а вдруг и отработано, вдруг уже не годится, и есть шанс открыть или сотворить что-то доселе не известное? Ну, и остаться в истории, культуре, литературе... Да, вот это — остаться, отметиться, запечатлеть своё имя...

И личный хаос, например, художника, услужливо растиражированный столь же падкими на новизну и “энергийность” различными средствами информации, захватывает новые и новые пространства жизни, становится соблазном для мирных обывателей, допуском и аргументом “за” при расшатывании норм, отказе от того, что выработано культурой за долгое время ценой многих жизней. И очень трудно, практически невозможно доказать такому “художнику” целесообразность, прикладной смысл культурных критериев и оценок, потому что практическая их значимость в периоды благополучия или просто “затишья” становится неочевидна.

А поскольку энергийная сторона бытия, во-первых, первична и, во-вторых, сугубо индивидуальна, только общественные и культурные институты и могут в таких случаях ставить заслоны разрушению — в общих интересах. И это — живая повседневность культуры, система отбора, утверждения, тиражирования форм, коммуникации по поводу новых смыслов... Или наоборот — постепенное снятие спасительных ограничений, умножение хаоса на гибель всем и себе под пламенные речи о полной свободе творческого поиска и самовыражения. Природа, особенно духовная, растрачена не терпит — и того, что сейчас рассыпается в хаос, потом, когда станет жизненно необходимо, уже не собрать.

Но сегодня мы имеем дело с процессами уже иной степени глубины и опасности. Ставка на хаос делается в глобальном масштабе. С одной стороны, это верный знак прекрасной осведомлённости тех, кто сознательно запускает процессы распада, о лавинообразном характере разрушения, о непреодолимом для массового обывателя энергийном соблазне, о кратковременной эйфории вседозволенности и её губительных последствиях. С другой — очевидный признак явной витальной слабости и ущербности деструктивных сил...

Впрочем, поскольку рассуждения о субъекте воздействия не входят в задачи этой статьи, остановимся на этом и перейдём к объекту – традиционной культуре и её нормам, которые так или иначе обеспечивают до сего дня выживание и развитие человеческих сообществ. Именно ей брошен вызов – её целесообразности, практической значимости, реальной ценности. Вызов брошен давно: ставка на хаос возможна только в том случае, если традиционные структуры в определённой степени уже расшатаны. Она требует длительной предварительной подготовки – постепенного размывания норм, принципов, разрушения институтов. И этот “подготовительный” период, так называемое “слабое влияние”, должен приходиться на относительно “беззаботное” существование, когда, как мы уже сказали выше, жизненная насущность норм, духовной традиции и культуры представляется неочевидной. В другие, трудные времена – не одолеть, не внедриться, но в “тучные” или просто спокойные – запросто, хотя и не быстро, исподволь. А после “слабого влияния” достаточно одного резкого толчка, не обязательно даже сильного – просто резкого, чтобы лавинообразно запустить хаос.

Если в этом ракурсе посмотреть на историю России определённых периодов (конец XIX – начало XX века, 1960-е – 1990-е), а потом на нашу современность, начало века XXI, станет понятно многое. Ну, во-первых, очевидная сила нации и устойчивости культуры. Это в плюсе, и немалом. Во-вторых, столь же очевидно проступают опасные периоды и точки запуска хаотических процессов. А в-третьих – явно обозначается вектор сегодняшних перемен в культуре, науке, искусстве и образовании, настораживает и само нынешнее затишье, в котором вполне обоснованно нарастают напряжённость и тревога.

Что мы сегодня противопоставляем хаосу? Что можно в принципе ему противопоставить? И надо ли противопоставлять вообще, имея в виду глобальный характер и лавинообразность происходящего? Не смешно ли стоять на пути этой лавины с какими-то принципами, нормами, правилами?

Не смешно. Может быть, конечно, и страшно, но далеко не бессмысленно. Мало того: если ещё сохранены и действуют преимущественно традиционные ценности и нормы, культурные институты, всё нормально. Дело в нюансах – в особенностях сопротивления хаосу.

Соблазн хаоса – из соблазнов немалых. Культура, порядок – это всегда самоограничение и бремя, удел сильных и ответственных, их не так много, а должно быть достаточно, чтобы выстоять всем. Хаос делает ставку на рассыпание форм, но сам в состоянии воспроизводить только ремейки, симулякры, жалкие пародии смыслов. Это его следы, маркировка его территории. *Технологии хаоса* просты, не оригинальны и паразитируют на технологиях культуры, и поэтому о них надо говорить, называя вещи своими именами.

Хаос охотно вклинивается там, где в процессе развития традиции новая форма сталкивается со старой, и если они непримиримо противостоят друг другу, то обе теряют в этом противостоянии собственную суть. В любом случае, хаос следует ограничивать “строительной площадкой”, иначе он непременно выйдет победителем и начнёт захватывать новые пространства.

Если хаос противостоит организованному порядку – он, безусловно, победит. Потому что порядок – это и есть прямой объект его атаки. Логика проста. Чем разрушается форма? Энергией. Хаос зайдёт именно с этой стороны: высвободит связанную энергию, избавит от запретов и обязательств, подарит пьянящую эйфорию свободы самовыражения и вседозволенности действий. Эту энергию уже не запереть в готовые формы. В этом смысле готовые формы всегда проигрывают, держаться за них – значит, прямо подставляться под удар. Хаосу реально способен противостоять не порядок, но – порядочность как свойство духа и упорядочивание как принцип организации действий, умение создавать жизнеспособные формы для обуздания энергии, для разворота её от самоуничтожения к со-творению.

Возможно, стоит активнее осмысливать довольно простые технологии хаоса, и конкретно – в сфере литературы, потому что вот это “тревожное затишье”, в котором мы сегодня пребываем, на самом деле и есть настоящее сражение. Именно сейчас определяется, устоит ли жизнетворящая традиция и её культура. Именно сейчас хаос внедряется в базовые смыслы и несущие конструкции общества. Ни обличение его, ни открытие противостояние ему не принесут желаемого результата, потому что технологиям разрушения должны противостоять технологии упорядочивания.

3. Генератор хаоса

Предмет, о котором пойдёт речь, прекрасно известен профессиональным манипуляторам, и в первую очередь, конечно же, тем, кто напрямую причастен к перестановке фигур на Великой Шахматной Доске. Однако не мешало бы и всем, кто помимо воли вовлечён в эти игры, и особенно тем, кому в этих играх предназначена роль послушных марионеток или безвольных жертв, иметь представление о *генераторе хаоса*. Это позволит противостоять распаду или провокациям сознательно – ровно настолько, насколько возможно и посылно каждому в каждой конкретной экстремальной или бытовой ситуации.

В конце концов, исход любой глобальной “шахматной партии” зависит далеко не от самих “игроков” – в этих процессах есть ряд составляющих, которые возможно анализировать только постфактум, а есть и такие, которые анализу просто не поддаются. Итак, начнём. Едва ли мы откроем что-то новое – скорее, сфокусируем хорошо известное и, на наш взгляд, чрезвычайно актуальное в прикладном аспекте.

Смертоносному цинизму игроков, позволяющему ради победы, а иногда и просто ради игры “списывать в расход” десятки, сотни и тысячи человеческих жертв, всегда противостоит одно: животворящее сочувствие. И то, и другое свойство относятся к чувственной сфере личности. Чтобы далее не было терминологической путаницы, в пределах данной статьи условимся, что чувства – это долгосрочные, глубокие эмоции, а эмоции – короткоживущие, более поверхностные чувства.

Цинизм – следствие либо изначальной неразвитости, либо атрофированности чувственной сферы. Иногда, конечно, он может быть и защитной реакцией очень чувствительного человека, но в таком случае цинизм работает как маска или щит – и его легко “пробить”, достучаться до души и совести.

Способность к со-чувствию может быть результатом воспитания или природным свойством личности с развитой чувственной сферой – в этом случае человек способен не только к переживанию, но и к со-переживанию, то есть к восприятию и проживанию чужих чувств, как своих собственных, ну, или почти как своих. Человек, способный на со-чувствие, несомненно, по степени своего эволюционного развития находится намного выше того, кто вовсе не ощущает чужую боль или радость. Он способен к пониманию, общению, восприятию иного и сотрудничеству с ним, и значит, у такой личности больше возможностей мирного сосуществования с себе подобными и всем разнообразным окружающим миром. Но у этого прекрасного свойства человеческой природы есть и своя роковая слабость, о которой нужно знать и помнить.

В сложной структуре человеческой психофизики чувства – одна из самых сильных и в то же время самых уязвимых сфер. Спектр ощущений достаточно чётко определён для нас природой и привязан к конкретным органам чувств. В сфере мыслей мы либо пользуемся уже известными формулами (в конечном итоге, словесными, речевыми), или же создаём новые – тоже достаточно чётко фиксированные. То есть и ощущения, и мысли имеют определённую форму, и эти области психофизики можно условно отнести к корпускулярным. Чувства же имеют иную – волновую – природу и охватывают всего человека целиком. Сильное глубокое переживание способно изменить и даже “отменить”, “выключить” ощущения, а уж о способности чётко и последовательно мыслить тут и говорить не приходится. Чувства заставляют нас стремительно действовать или беззаботно расслабляться, они могут блокировать высокие общечеловеческие ориентиры и включать низкие животные инстинкты.

Так что расслабьтесь, любители закулисных тайн: миром правит вовсе не информация. Её легко скомпилировать, подменить, исказить, выдать открытую вранью дезу. Миром правят чувства, а чаще даже эмоции. Они подлинны. Они являются главным капиталом, регулятором и катализатором жизненной энергии, они придают жизни ритм, яркость, остроту вкуса (при желании список можно продолжить). Их ищут, пробуждают, растрачивают... Они мощный резерв стремительной мобилизации и активизации – и возможность столь же стремительного, взрывного самоуничтожения.

Эмоциональная природа людей различна: есть те, кто непоколебим, куда “гром не грянет”, а есть и те, кому для крайней степени волнения достаточно ничтожного повода, даже собственной неосторожной мысли. У кого-то

чувственная сфера хорошо развита, и он способен переживать тончайшие чувства, а кому-то доступны только примитивные и грубые. Кто-то проникается чувством медленно, но глубоко – а кто-то стремительно и поверхностно. Кроме того, существенно различаются эмоциональные сферы мужчин и женщин... Мир чувств можно описывать бесконечно, но в данном случае нас интересует прикладной аспект, поэтому будем говорить о наиболее общих и в данный момент наиболее значимых вещах.

Именно чувственная сфера является зоной наибольшей уязвимости, объектом агрессии и предметом манипуляций. При помощи грамотного воздействия извне именно на чувственную сферу возможно существенно перестраивать психофизику целиком, генерировать психозы, истерии и депрессии, в том числе массовые. И эта возможность активно используется теоретиками и практиками рукотворного хаоса. Достаточно посмотреть, как создают неизгладимые впечатления при помощи многократного тиражирования шокирующих кадров и роликов.

В основе манипуляции массами лежит глубокое понимание волновой природы чувств. Эмоция, грамотно направленная в массу людей, в силу своей волновой природы, во-первых, резко усиливается, приобретает совершенно иной масштаб, а во-вторых, тут же становится коллективным переживанием, то есть объединяет совершенно разных, зачастую вовсе не знакомых друг другу людей в единое целое, нивелируя психические особенности каждой личности. И этой разрушительной волне уже очень сложно, а зачастую и просто невозможно противопоставить индивидуальную осмысленную волю.

Именно поэтому в арсенале современных “цветных” революций так много театральности, откровенной театрализации, умелых постановок и вполне примитивных “культмассовых” приёмов – театрализируются (ритуализируются) даже реальные убийства, в том числе и массовые, что для нормального, способного к со-чувствию человека выходит за пределы понимания очень далеко, тогда как для “игрока” это всего лишь грамотный ход в очередной партии.

И возможно подобное только потому, что в большинстве своём люди призывают “Ну, давайте всё-таки над этим серьёзно подумаем!” предпочитают “праведный гнев” или “безудержное ликование” по любому поводу и профессионально предоставляемому поводу. Ведь мыслить – это, в общем-то, нелёгкий труд, а чувствовать – см. выше. К тому же информацию для осмысления можно тасовать сколь угодно, прятать в рукав, подкладывать в нужный эмоциональный момент, – ну, в общем, вести себя в этой игре, как подбавляет порядочному карточному шулеру. Да и в соревновании мысли и чувства мысль, как ни горько это признавать, проигрывает. Эмоциональное впечатление всегда сильнее логического убеждения, эмоциональная волна способна разбить изнутри практически любую мысльформу.

Чувство, как волна, существует в рамках определённого цикла. То есть проходит подъём, пик, спад – и, значит, соответственно, волну можно пере хватывать и гасить “на взлёте”, можно подхватывать и усиливать или ослаблять, можно давать ей угаснуть естественным образом. У манипуляций могут быть две стратегические цели: “слить” накопившиеся чувства, эмоции (“выпустить пар”), чтобы они не нашли реальный выход вовне, либо возбудить их сверх меры и направить в нужное русло. Соответственно, на разных этапах агрессии хаоса технологии используются разные.

Если эмоциональная энергия сама по себе накапливается и чувство не находит выхода, разрядки, идёт в разлад с реальностью, вариантов может быть два: либо эмоциональный взрыв, либо фрустрация – и оба варианта одинаково разрушительны. Естественно, манипуляторам выгоднее фрустрация – “выгорание” эмоций внутри психофизики ослабляет или вовсе разрушает личность, повергает её в хаос. Вспомните, когда по ТВ шли бесконечные массовые разоблачения всего и вся без малейшей возможности как-то исправить ситуацию – для какого периода это было характерно? Да, правильно, именно тогда, когда массовое самосознание начало медленно “выздоровливать” от психологической чумы 90-х.

Для нежелательного “взрывного” варианта, когда накопленное недовольство готово вырваться наружу, предусмотрена, как говорят психологи, “канализация” – возможность безопасно “выпустить пар” в бесконечных бесплодных дебатах и в специально отведённых для этого местах. Ну, и так далее. Вообще, если с данной точки зрения попробовать глубоко осмыслить последние

два десятилетия прошлого века, можно увидеть массу интересного! Это, конечно, далеко не новый тип войны, но ведь она ещё не закончена, и для победы уроки её нужно учить обязательно.

Если эмоций недостаточно для повышенной активности, как следует “подогревается” реальное чувство, направляется в нужную сторону и доводится до “кипения”. Так появляются “майданы” (речь далеко не только об Украине). В основе этого затяжного кошмара лежат два абсолютно реальных, подлинных переживания: недовольство происходящим в обществе и одинокое бессилие перед навязанными обстоятельствами. Просто эти чувства искусственно подняты на такую высоту, где осмысленный диалог невозможен, где пожары, взрывы и убийства не считаются запредельными способами решения проблем, где снесены все культурные и нравственные запреты, где мир личности рассыпан и погружён в хаос. И попробуйте объяснить людям, что они действуют по воле сил хаоса! Нет: они действительно реально чувствуют подлинную общность и искренне стремятся к восстановлению справедливости! И потому пойдут до конца...

Вот только подобная искусственно поднятая волна всегда и неизбежно обрушивается в хаос, потому что подобная *возгонка* разрушает личность, срывает культурные скрепы, сносит нравственные запреты. То же напрямую относится и к обществу: выздоравливает оно после подобного эмоционального шторма очень долго, и, в общем-то, не факт, что у него это обязательно получится...

Усиленное формирование массового сознания путём снижения уровня образования и откровенной агрессии СМИ, канализация эмоций, искусственная фрустрация, целенаправленное создание массовой истерии, театрализация политики и её ТВ-тиражирование – весь этот военный арсенал XXI века направлен на подавление и смертельную растрату высших человеческих чувств, драгоценной жизненной энергии. *Генератор хаоса* работает на полную мощность – и что может противопоставить ему общество, которое способно к развитию, хочет быть, умеет со-чувствовать, со-переживать и со-трудничать?

Естественно, *генератор хаоса* – не какой-то конкретный прибор с проводами и микросхемами. Это комплекс мер воздействия на чувственную сферу, направленный на создание управляемого коллективного переживания, в процессе которого наиболее эмоционально уязвимые личности создадут такой резонанс, что и мыслящие люди утратят способность мыслить здраво и принимать взвешенные решения. В этот комплекс входят и всем известные примитивные “кликучи”, и система СМИ, уже давно и откровенно паразитирующая на эмоциях, и современные интернет-пространства безграничного сетевого общения... И если уж для “игроков” человеческие жизни не значат ничего, то о разрушении личности можно даже не упоминать: кому это интересно, когда на кону такие ставки?

Реальные шансы победить в противостоянии есть у того сообщества, культура которого постоянно укрепляет связь между чувственной и мыслительной сферами. Это даёт возможность без разрушения выдерживать длительные эмоциональные нагрузки, “гасить” гипертрофированные эмоции, противостоять внешним манипуляциям и двигаться к собственным целям.

По большому счёту, воспитанием и гармонизацией чувств всегда занимается искусство, а чувствознанием – гармоничным неразрывным союзом чувства и мысли – конкретно литература. Союз чувства и мысли, реализуемый в словесной форме, имеет колоссальную силу и прочность. А знание и понимание собственной чувственной сферы делает человека практически неуязвимым для манипуляций. И вот что интересно и показательно: сложившаяся система образования практически не даёт вступающему в жизнь человеку представления о чувственной сфере, её особенностях и закономерностях. Не учит переживать, соединять чувства и мысли, противостоять эмоциональной агрессии, определять момент, когда эмоциональная волна перерастает в разрушительное цунами.

К числу наиболее беззащитных перед эмоциональной манипуляцией относятся личности маргинальные, социально не защищённые или не состоявшие – в их почти уже утратившей смысл жизни вдруг вспыхивают новые яркие чувства, буквально из ниоткуда появляются надежды, а уж ощущение собственной востребованности и значимости и вовсе заставляет безоглядно ринуться в пучину событий. Они, как спички, которыми зажигают костёр, и сгорают они, кстати, так же быстро, как спички.

Совершенно беззащитны подростки и молодёжь, чувственная сфера которых находится в процессе формирования, а ценностная иерархия, определяющая границы личной свободы, ещё не окрепла. Они тоже первыми безоглядно бросаются в костёр событий и либо гибнут, либо живут дальше с обугленными, атрофированными чувствами.

Слабо защищённая группа – это интеллигенция, особенно творческая. А здесь причиной уязвимости как раз является развитая эмоциональная сфера, живая и драгоценная способность к со-чувствию и со-переживанию прежде и более, чем к осмыслению. Сильное впечатление вызывает мощный дисбаланс, а дальше – ловкость манипуляторов, играющих на чувстве справедливости, жажде новизны, обманутых ожиданиях, эгоизме, стремлении к духовной власти... Интеллигенцию принято ругать или превозносить, но поскольку именно она занимается сложнейшим и очень рискованным по сути процессом – осмыслением чувств, – её следовало бы как раз с точки зрения прагматики беречь и защищать как духовную производительную силу.

Впереди нелёгкие времена – времена перемен и испытаний. Крепость культуры в этой ситуации определяется многими факторами, в частности, **состоянием традиции**, воспроизводящей ценностные основы и нравственные ориентиры; **эмоциональным состоянием общества**, причём нужно чётко понимать, что подъёмы и спады объективны, но ими возможно управлять как изнутри, так и снаружи; **качеством образования**, от которого зависит, в конечном итоге, способность каждого человека противостоять манипуляциям и агрессии; **направленностью СМИ**, формирующих тот или иной уровень массового сознания; **вниманием к группам риска** – их защиту обществу следует обеспечивать в первую очередь. Не грех вспомнить советский опыт: все эти инструменты использовались очень успешно и определили, в частности, сохранение страны и культуры в последующие тяжёлые десятилетия.

Когда писались эти заметки, в поле зрения автора появились два примечательных документа: высказывание Александра Невзорова “У русской литературы закончился срок годности” (<http://www.politforums.ru/other/1401553086.html>) и статья в “Газете.RU” “Советские мультфильмы, которые нужно запретить” (http://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2014/05/a_6053425.shtml?fb_action_ids=321262918025583&fb_action_types=og.recommends) – просто замечательные иллюстрации агрессивного пренебрежения эмоциональной сферой, воспитанием чувств (сознательно или из полного непонимания – судить не берусь). Ну, и очередная новость о самоубийстве школьников после ЕГЭ (<http://www.vesti.ru/doc.html?id=1635026&1635026>)...

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

доктор философских наук, профессор

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТБОР

Историософская формула евразийства

*Русская эпоха всемирной истории
на пороге*

П. Н. Савицкий (1959)

Прошли времена, когда Запад мог без особых усилий удерживать Россию в модусе *бытия-для-другого*, используя нашу страну – этот *Континент-Океан* – в качестве своего инфантильного “союзника”, полигона для чудовищных социальных экспериментов или, на худой конец, “сырьевого придатка”. Стихают отголоски бессмысленных дискуссий о том, где наше будущее – на востоке или на западе. Отбросив марксистскую идеологию, как “соль, потерявшую силу”, открестившись от “легиона бесов” пошлейшего, мертвящего либерализма 1990-х годов, Россия приходит в себя, “сосредоточивается”, обретая то сознание своей неизбывной духовной мощи, выразителями которого без малого сто лет назад стали создатели “интегрального евразийства”. Возвращение к их “брошенному наследию”, о необходимости которого мы говорили ещё четверть века назад, стало в наши дни для вороватых “реформаторов” тревожным, многозначительным фактом.

Первым *неоевразийцем* в СССР стал Л. Н. Гумилёв, приобщившийся к идеологии “ортодоксального евразийства” в общении с одним из её создателей – П. Н. Савицким, считавшим его “самым близким себе человеком во всём мире”¹. Правда, сам Гумилёв называл себя “последним евразийцем”, видимо, полагая, что иных последователей запрещённой доктрины в условиях советской *идеократии* быть не может. А они были – как среди сотрудников ОГПУ/НКВД, работавших на развал евразийского движения и невольно проникшихся умонастроением *интегрального евразийства*, так и в среде советских интеллектуалов, получивших доступ к запятанному в спецхран белому архиву, что позволяло нам говорить о существовании “евразийского подполья в СССР”² и до Великой Отечественной войны, и в послевоенный период. Интересно, что декларируемая князем Н. С. Трубецким **противоположность евразийства марксизму** то и дело смазывалась с обеих сторон: “марксистские уклоны” обнаруживались в группе П. П. Сувчинского в Кламаре, а элементы “евразийского мировоззрения”, в том числе и установка на осуществление в СССР “идеократического правящего отбора”, проявлялись

¹ Савицкий П. Н. Избранное. М., 2010. С. 604.

² Водолагин А. В. Оливема. М., 2000. С. 156.

в политическом мышлении и практике русских марксистов. Осуждая П. П. Сувчинского (как и П. Н. Савицкий) за “апологетическое отношение к советской действительности”, Н. Н. Алексеев отмечал: “Вместо того чтобы превратить коммунистов в евразийцев (при крайнем предположении, что они смогут даже остаться коммунистами), кламарцы проделали противоположное движение – из евразийцев стали коммунистами, причем не ясно, что осталось у них от евразийства”¹.

Нужно сказать, что незадолго до начала Второй мировой войны Сталин своевременно отказался от дезориентирующей идеи “пролетарского интернационализма”, истребив заодно и её носителей – троцкистов, активно мешавших возвращению России–Евразии на путь имперского строительства, и начал работу по качественному обновлению властвующей элиты, нацеленную на вытеснение холуйствующей перед вождём партийной бюрократии (*проклятой касты*) слоем профессиональных управленцев. Реванш беспринципной партийной бюрократии после убийства Сталина в конечном счёте привёл к появлению таких отвратительных политических монстров, как Горбачёв и Ельцин, завершивших развал “империи Кремля”, начатый хрущевистами на XX съезде КПСС. Ставший свидетелем её стагнации и распада Гумилёв за год до своей смерти пророчески утверждал: “... Если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство”². Именно он положил начало реализации евразийского наследия в 1970–1980-е годы – при скрытой поддержке *андроповцев* и вопреки явному сопротивлению идеологов “склеротического марксизма”. Важной вехой на этом пути стала публикация его фундаментального исследования “Древняя Русь и Великая Степь” (1989) в издательстве “Мысль”, директор которого (В. М. Водолагин) защитил автора от редакторского произвола и способствовал присуждению ему премии Госкомпечати за “лучшую книгу года”. Факт примечательный, свидетельствовавший о том, что какая-то часть правящего слоя – *номенклатурного класса* – вполне осознанно обратилась в период горбачёвско-ельцинской Смуты к евразийской формуле русского самосознания. В то же время в условиях небывалого разгула самого банального *западничества*, олицетворением которого был в 1980–1990-е годы старый колумбийский крот А. Н. Яковлев, несколько исследователей независимо друг от друга приступили к рациональной реконструкции евразийской доктрины с учётом присущего ей мистицизма. Их статьи стали появляться в журналах “Знания – народу” и “Континент–Россия”, а также в газете “День”, которая издавалась при поддержке Генштаба и иных (весьма экзотических) спонсоров. В частности, в 1989 году вышла моя статья “Политический волюнтаризм в России”, в 1991-м в парижском издании “Мулета” опубликовали эссе “Евразийский проект”, а 22 августа того же года, когда сорвалась попытка введения спасительного для СССР чрезвычайного положения, в газете “День” появилась его расширенная версия – “Тени Великой Смуты”, вдохновившая одного сверхчуткого к политической конъюнктуре режиссёра на открытое письмо ельцинскому премьеру Ивану Силаеву с предложением пересмотреть стратегию развития страны в духе евразийства. Естественно, ельцинисты игнорировали такого рода идеи. Зато один из помощников Нурсултана Назарбаева, близкий к редакции газеты “День”, подготовил соответствующее предложение, и в марте 1994 года руководитель Казахстана выступил с инициативой создания на “постсоветском пространстве” Евразийского Союза, продемонстрировав, таким образом, на деле свою приверженность *политике большого стиля*.

Между тем, стимулируемые изнутри и извне процессы дезинтеграции поставили под вопрос существование Российской Федерации как переходной формы на пути России–Евразии к обретению *собственного бытия* и адекватной её исторической сущности “авторитарно-демократической” государственности. Пришедшая вместе с Ельциным к власти группа “либералов” инициировала процесс тотальной криминализации общества, положила начало разграблению национальных богатств страны, созданных усилиями нескольких поколений российско-евразийского суперэтноса (= *советского народа*). Ущерб, нанесённый стране горбачёвцами и ельцинистами, сопоставим с потерями СССР во Второй мировой войне. Скажем прямо, именно Горбачёв и Ельцин активно способствовали реализации сформулированного в “застольных беседах” Гит-

¹ Цит. по кн.: Трубецкой Н. С. Письма к П. П. Сувчинскому. М., 2008. С. 306.

² Начала. 1992, № 4. С. 16.

лера (1942) подрывного проекта Запада, предполагавшего демонтаж сталинской империи, захват её природных ресурсов, уничтожение значительной части населения и превращение оставшейся массы в тупое, послушное стадо. Парализованный брежневской геронтократией Центральный Комитет КПСС не смог противостоять идиотским инициативам этих двух умников, одержимых “манией великих реформ”, и Россия снова оказалась *во мгле* (интересно, что именно член Политбюро евразийского движения Н. С. Трубецкой подготовил предисловие к книге Г. Уэллса “Россия во мгле”, написанной под впечатлением от поездки в Советскую Россию и общения с “кремлёвским мечтателем” В. И. Лениным).

В романе “Ворох, или играющий с огнём” (2004)¹ описан один февральский эпизод 1997 года, когда в условиях обострившейся борьбы за власть между “наследниками” Ельцина – Б. Е. Немцовым и В. С. Черномырдиным – группа “евразийцев”, включая в свой состав сотрудников бывших советских спецслужб, принимает решение о проведении своего человека в Кремль – почти никому неизвестного в то время Владимира Путина, которому тогда, по его собственному признанию, и “в страшном сне не снилось” обладание президентской властью, тем более – властью евразийски ориентированной: ведь он, как и его друзья – питерские “либералы” – был закоребельным “западником”. Тем не менее, в 2011 году ему всё-таки пришлось стать “евразийцем” и подчиниться логике своей судьбы. Возможно, сигналом к радикальному изменению внешнеполитического курса Путина стала организованная Западом досудебная расправа с М. Каддафи – вскоре после того, как президент Д. А. Медведев, натянув курточку верховного главнокомандующего, грозно объявил лидера ливийской революции “персоной нон грата” в России (политическое действие, сопоставимое с горбачёвским предательством Э. Хонеккера). Путин, несмотря на злоешие комментарии ополумевшего от ненависти к России сенатора Маккейна, отреагировал на события в Ливии иначе. Шокировавший американцев крутой **поворот** в его политическом мышлении и действовании положил конец одной из самых постыдных эпох в историческом существовании России и означал обретение утраченной ею четверть века назад *субъектности*. Спасение Сирии от бомбовых ударов США и НАТО в 2013 году означало, что Россия самовольно вышла из-под внешнего управления. Это чудо – к ужасу либералов и глобалистов, для которых Россия – не более чем территория, – произошло на наших глазах: личный интерес правителя наконец-то совпал с “государственным интересом”, на что мы в условиях тотальной коррупции и олигархического беспредела последних двадцати лет уже и не надеялись. Заработал фактор политической воли, которой якобы до этого кому-то не хватало (а на деле она просто отсутствовала). Воля лица, осознавшего свою духовно-историческую миссию и следующего зову судьбы вопреки давлению реальности, полагает начало новому порядку вещей, ибо таит в себе колоссальную творческую мощь, являясь выражением непререкаемой “абсолютной воли”, что очень хорошо чувствуют созревшие для “основательного исторического действия” массы.

В условиях возрастающего политического, экономического и информационно-психологического давления Запада на Россию, заинтересованную в ускорении процессов евразийской интеграции, субъекту власти пора решиться на окончательный разрыв с наследием ельцинизма, уничтожить олигархат как класс-паразит, провести национализацию захваченных “приватизаторами” отраслей промышленности, осуществить “евразийский отбор” правящего слоя, полностью очистив его от либералов-западников и “просто воров”. Основной ориентир на этом пути – не случайный набор каких-то “общечеловеческих ценностей” (= “неизжитое западничество самого худшего рода”), а тот *духовно-эмпирический образ России*, который был сформирован за последние тысячелетие её исторического бытия нашими *лучшими людьми* – пневматиками-нестяжателями, к которым, безусловно, можно отнести и теоретиков аутентичного евразийства: Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Н. Н. Алексева и Л. Н. Гумилёва.

При этом важно дистанцироваться от двух форм “компрометации евразийских идей”: *левого псевдоевразийства*, которое с недавних пор стала исповедовать часть бывшей партукратии, оппортунистически приспособившаяся

¹ Водолагин А. В. Ворох, или играющий с огнем. М., 2004, 2010.

к выживанию в условиях олигархического капитализма, и от *правого псевдоевразийства*, смешанного с элементами политической мифологии национал-социализма и крайне активно навязываемого Кремлю нынешними поклонниками Гиммлера и Хаусхофера¹. В последнем случае мы имеем дело с тем, что Н. С. Трубецкой называл “надругательством над евразийской идеей” или “непрошенными ласками справа” — тем более отвратительными, что Трубецкого, по словам П. Н. Савицкого, “прикончили гитлеровцы”, сам же Савицкий был арестован в Чехословакии гестапо и подвергнут репрессиям со стороны оккупантов. Заметим, между прочим, что новоявленные **псевдоевразийцы** не потрудились освоить основы компрометируемой ими доктрины с её “преимущественным напором на историософию”² и, вынося на первый план проблематику геополитики, как правило, не замечают главного — её метафизического ядра, которое, как было показано ещё двадцать лет назад в работе “Метафизическая ось евразийства” (1994)³, состоит в понимании России-Евразии как “коллективной исторической индивидуальности”, или “симфонической личности”, рассматриваемой в единстве всех аспектов её исторического бытия: пространственно-материального (территория, население), временного (традиция и судьба), деятельностно-волевого (*общее дело*, выражающее “конденсацию волевой стихии” нации) и идеократического (идея-правительница, на основе которой осуществляется отбор правящего слоя). Именно в области историософии евразийцам удалось достичь “полного единомыслия”, тогда как в сфере политического проектирования таковое оказалось недостижимым.

Заметим, кстати, что даже в историософских построениях русских гегельянцев Россия предстаёт в образе только лишь исторической *субстанции*, как лишённая “заострённой субъективности” безликая *океанида*. Нивелирующее “личное начало” натуралистическое понимание истории, выработанное А. И. Герценом, было усвоено и Львом Толстым, видевшим в личности не более чем каплю “жидкого колеблющегося шара” мировой жизни, а позднее — и гениальным русским космистом А. Л. Чижевским. Сохранив субстанциалистское определение России как “Континента-Океана”, евразийцы в своей историософии сделали акцент на её субъектности в учении о *ведущем слое* и его “идеократическом отборе”. Таким образом, в своем философско-историческом мышлении они были ближе к гегельянам-западникам, чем к славянофилам, и сами не раз говорили о “призрачности связи евразийства со славянофильством”. В самом деле, сегодня из всех “братьев-славян” на стороне России в противостоянии с Западом психологически остались только сербы, так что все панславистские проекты давно выдохлись, евразийский же проект актуален как никогда.

В свете защищаемой нами базовой историософской концепции евразийцев первой волны Россия впервые в истории собственного самосознания предстала в качестве *субстанции-субъекта* и мыслилась как организуемое *ведущим слоем* континентальное жизненное пространство чрезвычайно сложного по своему составу *суперэтнуса*, вовлечённого в осуществление грандиозной духовно-космической миссии, в *общее дело* строительства *государства правды, империи Духа, универсальной ноосферной цивилизации*. Очевидно, в этой “евразийской идее” нет ничего узконационального, собственно “русского” (кроме её происхождения). Она универсальна, как и любая настоящая идея (= *универсалия*, или *духовная доминанта*, по Л. Н. Гумилёву)⁴, и только в этой своей универсальности способна воодушевлять российско-евразийский суперэтнос, ставший транснациональным субъектом мировой истории, на подлинно миротворческие *свершения*, включая и обуздание разжигаемого глобалистами-*люциферианцами* планетарного хаоса — нового мирового беспорядка (третьей — и последней в уходящем *Тёмном веке* — мировой войны).

Реализации “евразийской идеи” противодействует окончательно потерявшая лицо властвующая элита Запада (*гоминтерн*, по терминологии Г. П. Кли-

¹ Парвулеско Ж. Путин и евразийская империя. СПб, 2006.

² Трубецкой Н. С. Письма к П. П. Сувчинскому. С. 196. Одна из последних попыток беспристрастной реконструкции евразийской доктрины — в кн.: Ларюэль М. Идеология русского евразийства или Мысли о величии империи. М., 2004.

³ Водолагин А. В., Данилов С. И. Метафизическая ось евразийства. Тверь, 1994.

⁴ Водолагин А. В. Собирание духа. Пути и беспутство русской мысли. Саарбрюкен, 2013. С. 143–150.

мова), толкающая человечество на путь самоуничтожения, коллективного самоубийства, избравшая в последнее время для реализации своего нигилистического сценария Америку – эту социальную эфемериду, пасущую заблудшие народы Земли жезлом железным, соблазняющую предавшие их “национальные правительства” приманками губительного сверхпотребления и своего (будто бы гарантирующего безопасность) сверхмогущества. “Ведь всё же нельзя забывать того, что пока что Америка является самым типичным представителем всех отрицательных сторон романо-германской цивилизации, – напоминал Трубецкой в письме П. Н. Савицкому 30 декабря 1923 года. – В Европе такой же страной является Германия, но характерно, что когда хотят выразить это свойство новой Германии... , то говорят, что она “американизовалась”. Сейчас Америка хуже Европы, ибо в Европе есть хотя бы воспоминания Средневековья. Ваши надежды на то, что Америка преодолет воинствующий экономизм, мне представляются мало основательными...”¹ Трубецкой упрекал Савицкого в “чрезмерном расшаркивании перед американцами и даже перед “англосаксонской расой вообще”. Поразительно, что ещё 90 лет назад он говорил в эмиграции об американизации России как “грозной национальной опасности”. Последняя стала, как никогда, реальной в годы правления Ельцина, когда центр принятия политических решений относительно будущего России переместился из Москвы в Вашингтон, а кандидатуры на пост российского президента согласовывались в Лондоне. Более того, в подтверждение самых худших предположений и прогнозов евразийцев англосаксонская раса – “раса, откровенно говоря, прескверная и вреднейшая”² – сформировала в России некое подобие колониальной администрации, члены которой, переместив свои семьи и капиталы в Лондон или в США, всё ещё продолжают начатое два десятилетия назад разграбление страны, вполне осознанно следуя при этом “идеологии *россиепродавства*” (Трубецкой Н. С.). Острота переживаемого нами момента состоит в том, что Россия снова оказалась накануне “менеджеральной революции”, подобной петровской или сталинской. Если субъект власти не решится на проведение очистительной кадровой “революции сверху” в 2015 году, антиолигархическая “революция снизу” может начаться уже в 2018 году.

¹ Трубецкой Н. С. Письма к П. П. Сувчинскому. С. 72.

² Там же.

БОРИС КЛЮЧНИКОВ

доктор экономических наук

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ЖАННЫ Д'АРК

Жало бумеранга

Какие кренделя выписывает история! Кто мог предположить 30–35 лет тому назад, что Вашингтон и Москва поменяются местами, что США, Запад, атлантисты начнут возводить новый железный занавес! Как в 70-е годы на Западе торжествовали, что диссиденты бегут из СССР, в том числе дочь Сталина, писатель Солженицын, поэты и художники! Все это подавалось как бесспорное свидетельство превосходства, уверенности в победе в холодной войне против “империи зла”. Прошло всего четверть века, и настроения в США, и особенно в Европе и России стали меняться. Оказалось, что, хлебнув законов рынка и рыночной демократии, многие жители бывших социалистических стран не так критично, как некогда, стали вспоминать жизнь в социалистическом обществе. Поразительно: опрос в Германии накануне празднования 25-летия падения Берлинской стены показал, что каждый шестой житель хотел бы, чтобы её не сносили и, как многие высказались, сделали её “на три метра выше”.

Запад сам теперь возводит стены – на юге США, в Северной Африке, на Украине. Там появились свои диссиденты. И не только Ассанж и его сторонники в Викиликсе. Особенно серьёзный удар престижу Вашингтона нанёс своими разоблачениями Сноуден. Он показал, что США ныне – это империя агрессии и лицемерия, попирающая ценности, заложенные отцами-основателями. Он способствовал разрушению мифов об Америке как светоче демократии, справедливости и всемирном защитнике прав человека. И вот что, по-видимому, самое важное: американское общество разделилось в оценке личности и роли Сноудена. Для десятков миллионов американцев и для большинства европейцев – он подлинный патриот своей родины.

Последние 70 лет Вашингтон не только последовательно устранял независимых политиков, но и целенаправленно выращивал в Европе своих преданных сторонников-атлантистов. Для этого создавались особые фонды и клубы “молодых будущих лидеров”. Американцы продвигали их по службе, контролировали назначение наиболее влиятельных чиновников и общественных деятелей. Все еврокомиссары – члены Бильдербергского клуба. Особое внимание уделяется также министрам иностранных дел и финансов стран Евросоюза. Продвижение на генеральские посты в европейских армиях контролируется в НАТО и посольствах США. После того, как канцлер Германии Шрёдер

и президент Франции Ширак отказались в 2003 году принять участие во второй войне Вашингтона против Ирака, спецслужбы США предприняли чрезвычайные меры, чтобы убрать их и продвинуть на эти ключевые посты своих людей.

Не за горами тот день, когда европейцы узнают, кто и как приводит к власти личностей, которые так явно виляют, не хотят или не могут защищать национальные интересы своей страны. Может быть, поэтому в Европе нет и не было уже полвека личностей калибра де Голля или Аденауэра. У европейских лидеров нет собственных позиций, они всё время оглядываются на Вашингтон, а там предостаточно своих бездарей, своя сумятица в принятии решений. Нет лидеров с широким реалистичным видением будущего. Даже текущие финансовые, валютные и прочие экономические неурядицы устраняются плохо или запоздало. Уже заметно, как европейские атлантисты начали перекрашиваться в националистов, в популистов, в евроскептиков и т. д. Враждебные элиты отступают. При множащихся провалах и неудачах огрызаются на вашингтонских и брюссельских поводырей.

Особое внимание все послевоенные годы уделялось медиасфере. СМИ Европы почти полностью контролируются атлантистами. Они привыкли к монополии и не способны терпеть инакомыслия, иного освещения событий. И потому мы всё чаще слышим слезливые жалобы атлантистов на необъективность и предвзятость сообщений то из России, то из Китая, то из Бразилии, то из Аргентины и Венесуэлы. Незападные СМИ стали непокладисты. И как некогда в СССР, Запад начинает защищаться от инакомыслия. Как и в торговле, он и в СМИ за свободу, за *free flow of information* (доктрина свободного распространения информации), но только для себя, а оппонентов, критиков всеми средствами пытается устранить и подавить.

Вашингтонская дипломатия следует установкам Британской империи, сформулированным 150 лет назад: у Великобритании нет постоянных друзей и союзников; есть — и постоянно преследуются! — только собственные интересы. Это между прочим значит, что Вашингтон не может рассчитывать на верность даже Лондона. Там с тревогой наблюдают рост влияния Германии и пытаются перетянуть на свою сторону Францию. По мере того как слабеет империя доллара, всё чаще наблюдаются отклонения Банка Англии от все более авантюрного курса Вашингтона. У Виндзоров-Ротшильдов есть свои интересы, например, особая валютная зона фунта стерлингов. В Лондоне Америка всё в меньшей мере представляется англосаксонской страной. Это новый “Рим в огне” — многонациональное, мультикультурное, многорасовое общество, покрытое сетью расовых гетто и городов-призраков, сотрясаемое расовыми бунтами то в Фергюсоне, то в Сан-Луисе, а в ноябре 2014 года — в 37 штатах одновременно.

В конце октября 2014 года старинный рупор Виндзоров — газета *Gardian* — “пророчески” признала полезность и необходимость создать реальный противовес Америке! Для Вашингтона это чудовищная ересь. Будем надеяться, что в этот раз противовесом станет не Россия, что мы вместе со старой континенталистской, а не атлантистской Европой будем шаг за шагом реализовывать проект *Большой Европы от Лиссабона до Владивостока*. Грандиозное общее дело для нескольких поколений европейцев! Наш Дальний Восток, подобно Калифорнии в США, должен стать и уже становится вторым тихоокеанским лицом России и всей Большой Европы.

Судьбоносная демография

Что касается демографии в США, то ясно, что межрасовые разногласия будут быстро нарастать, что идёт взрывоопасное нагнетание расовых и социальных противоречий. Этот процесс ускоряется. Несмотря на предельные усилия правительственной пропаганды, чёрные, жёлтые и белые не питают друг к другу ни родственных, ни дружеских чувств. Пять лет назад афроамериканцы, латинос и азиаты составляли, согласно официальным данным, уже 41,5% трехсотмиллионного населения США. Фактически их доля много выше. Всего через 15 лет, к 2030 году белые будут уже в меньшинстве. А за демографией стоит судьба нации. Вспомним, что ещё сто лет назад, до Первой мировой войны, лица европейского происхождения составляли 25% населения планеты, а вместе с переселенцами — 36%. В наше время их доля упала до 10–12%. Некоторые демографы настаивают, что доля белых — не более 7%.

Напомню также, что всего век назад русские и немцы имели самую высокую в мире рождаемость. На великолепной выставке 400-летия дома Романовых многие с изумлением узнали, что за четверть века царствования “Николая II Кровавого” население России выросло со 120 до 180 млн человек!

Уже многие десятилетия наблюдается процесс вымирания европейцев. Рекордно быстро он идёт в Германии: здесь рождаемость составляет 1,3%, тогда как даже для простого воспроизводства поколения необходимы 2,2%. Причины, корни этой демографической трагедии европейцев, считают немецкие социологи, — в “либерализме — в этом коктейле из гуманистического, космополитического мессианизма и меркантилистского, утилитарного индивидуализма”. Если в Европе есть прирост населения, то в основном он происходит за счёт иммигрантов из Азии и Африки. Это люди других цивилизаций, других культур, других рас и им труднее ассимилироваться, чем “родичам по вере и расе”. В США более 60 миллионов граждан немецкого происхождения, но они уже давно и легко ассимилировались. Иначе обстоит дело с мексиканцами и прочими латинос, ещё сложнее — с китайцами. США этнически — лоскутное государство. Европейцы не хотят такой же участи.

Итак, перед нами осознанная грозная опасность цивилизационному воспроизводству европейцев, сохранению их идентичности и национального самосознания. Намечая пути развития будущих поколений, нельзя поэтому ставить, как это делают неолибералы, во главу угла экономику, ВВП и прочие “экономизмы”. Это не более чем средства, инструменты сбережения наций, их культуры. История учит, что демография, рост и качество народонаселения, его образованность являются ключом к будущим успехам и победам потомков.

Дух Шиллера

Сумерки в Вашингтоне сгущаются и потому, что плавильный котёл мультикультурализма всё чаще даёт сбои. Белые покидают “цветные” города. Футурологи рисуют все более мрачные сценарии. Г. Селенте (G. Celente), например, прогнозирует начало большой гражданской войны в США уже в ближайшие годы. В конце ноября 2014 года Соединенные Штаты в целом явились миру как “протестующий Фергюсон”. Селенте предсказал много свершившихся событий, и ему верят. Ему вторит известный учёный Г. Ковингтон (H. Covington): “Ввиду неизбежного взрыва (inevitable explosion) США, мы объявляем программу “Северо-Западный императив”. Что же это за программа? Оказывается, это подготовка массового исхода белых американцев, которые запрут в северо-западных штатах и на Аляске. “Мы создадим в тихоокеанском Северо-Западе новую Белую Родину”, — оповещает американцев Грег Джонсон, главный редактор журнала *Occidental Observer*. Его обвиняют в расизме. Да, пока это голоса радикального меньшинства, но это первые капли, сочащиеся из трещинок в мощной плотине американской государственности.

Готовясь к схватке с Китаем, Вашингтон вновь, как во времена холодной войны, впадает в “блокоманию”, сколачивает торгово-экономические зоны, пространства, партнёрства. Безуспешно пытается подорвать АТЕС, создать транстихоокеанское экономическое партнёрство. Но Китай уверенно вытесняет США из Африки и из Латинской Америки. Безуспешными оказались и титанические усилия американской дипломатии заставить Китай принять участие в санкциях против России. Это отказались сделать и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, даже такие близкие союзники США, как Южная Корея. Поддалась давлению только крайне зависимая Япония, но и она участвует в санкциях неохотно.

И здесь выявляется ещё один новый элемент метаполитики: Вашингтон психологически не способен примириться с тем, что всё больше государств ускользают из сферы его диктата. Это воспринимается как национальное унижение. “Звездная болезнь” ещё долго будет мешать Вашингтону примириться с более скромной ролью на мировой арене. В результате всё чаще приходится слышать от европейских дипломатов и бизнесменов раздражённые замечания о том, что американцы не способны к переговорам, к адекватной оценке ситуации. Иначе и быть не может, если сам президент США заявляет об “исключительности Америки”. В свете этого необходимо прогнозировать последствия украинского кризиса: удастся ли Вашингтону вырыть ров и устано-

вить железный занавес между Европой и Россией? Или, напротив, украинская катастрофа и выкручивание европейцам рук усилят сближение, взаимный дрейф Европы и России к более глубокому сотрудничеству, к строительству *Большой Европы от Лиссабона до Владивостока*.

Готовясь к столкновению с Китаем, Вашингтон будет делать всё, чтобы ещё прочнее привязать к себе Евросоюз, раздробить Россию и сделать русский народ, а вместе с ним и мусульман Востока *пушечным мясом* в предстоящей грандиозной схватке с *проснувшимся и взлетевшим драконом*. Англосаксонской дипломатии это много раз в истории удавалось, в том числе в двух мировых войнах. В Германии и во Франции помнят предостережение Бисмарка относительно Англии, которое ныне вполне относится к политике США: “Политика Англии всегда заключалась в том, чтобы найти такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы английские интересы”.

Разве не таким “дураком” выглядит ныне Евросоюз? Зачем Австрии, Германии, Италии с их штаммами фашизма фашиствующая бандеровская Украина? Ясно, что американцам нужен украинский крюк под ребро России. Но зачем европейцам старого каролингского ядра Европы конфронтация с Москвой? Не надо быть провидцем, чтобы уже сейчас предвидеть необходимость союза с Россией в отражении огненной лавы джихада, в преодолении разных кризисов и катастроф. И это неизбежное сотрудничество не должно отвергать участие США, если они, наконец, избавятся от неоконных и гегемонистских амбиций.

Помнят немцы и военные лозунги “Господи, накажи Англию!” — *Gott! Straffe England!* Помнят и речи Черчилля: в 1940 году он звал англосаксов воевать не только против Гитлера, но искоренять дух великого поэта-идеалиста Шиллера (1759–1805), то есть убить саму душу великого народа. Не нравятся атлантистам и дух Жанны д’Арк во Франции и дух Гарибальди в Италии. Не нужны им ни национальные государства и культура, ни особая европейская цивилизация. Они не против канадского и американского мультикультурализма, их мало волнуют последствия иммиграции с Юга.

Кого атлантисты выдвинули на пост специального представителя ООН по проблемам миграции? Саузерлэнда (Soutterland) — президента банка Гольдман и Сакс, влиятельного члена Бильдербергского клуба, бескомпромиссного борца против всех проявлений особой европейской идентичности. В Европе помнят его наказ: “Евросоюз должен стирать национальную однородность и идентичность”. То есть забудьте, что вы испанцы, французы, немцы, венгры и т. д., никакой деголлевской *Европы отечеств!*

Может быть, нации действительно представляют собой вредный консерватизм, реакционный атавизм? Нет, богатство человечества — в разнообразии, в особой идентичности, в неповторимости личности и этносов, как и отпечатков пальцев. Великий Гёте так и писал: в человечестве высшая ценность — личность (*die Persöenlichkeit*). Это не индивидуализм, не эгоизм. Смешение и однопобразия — это склероз и смерть и личности, и нации. Защита этнической и культурной идентичности — это императив выживания этносов. Душа есть не только у отдельной человеческой личности, но и у этносов, народностей и наций. Наш Пушкин писал: “Здесь русский дух, здесь Русью пахнет”. Это героический дух былинных богатырей, неуёмный дух поиска новгородских и псковских купцов и путешественников, это музыка Мусоргского и Прокофьева. Это похожий дух свободы, дух вечного поиска идеального, дух воли, достоинства, героизма, дух поэзии Шиллера, музыки Вагнера и Шуберта.

Этот дух — основа духовного суверенитета народов. Ценность не меньшая, чем свобода, демократия, права человека. Государственная идеология в России, например, должна отражать “русский дух”, дух Православия, способствовать в будущем формированию на основе русского космизма ноосферной матрицы российского суперэтноса. Дух Шиллера — это квинтэссенция духовно-нравственных основ народа Германии. Этот народ исторически идеальное тоже ставил выше материального. Свидетельством тому является великая немецкая философия, прекрасные поэзия и литература, несравненная музыка.

Дух Шиллера резко отличен от англосаксонского торгового духа, духа материализма, рационализма, меркантилизма. Знают в Европе и о духе превосходства, который издавна царит среди англосаксов. В головах у многих из них заложена иерархия народов и рас. Эта иерархия относится не только к “цвет-

ным” народам, но и к людям континентальной Европы. Эта по сути расовая иерархия ныне тщательно скрывается. О вирусе расизма среди “англоязычных покорителей морей” писал и великий англичанин, христианский мыслитель А. Тойнби. Так что Черчилль боролся не только с нацизмом и Гитлером. Он заглядывал глубже и дальше. Он опасался, что дух Шиллера станет основой для возрождения настоящей, исторической Германии, альтернативой англосаксонскому мировоззрению. В Германии и 70 лет спустя вспоминают ночь на 14 февраля 1945 года, когда сотни англо-американских самолётов подвергли Дрезден неслыханной бомбардировке. Прекрасный город, где не было военных объектов, сгорел в пламени, подобном атомному пожару в японских Хиросимы и Нагасаки. Немцы считают, что жгли в Дрездене не нацизм, а именно дух Шиллера, символ величия немецкого народа.

Дух Шиллера мог стать основой для континентальной геополитики школы Карла Хаусхофера (Karl Haushofer), для сближения немцев, французов и русских. После капитуляции Германии в 1945 году таинственно исчез архив К. Хаусхофера, он и его жена покончили жизнь самоубийством, их сын Альберт погиб при загадочных обстоятельствах. Геополитические концепции – весьма эффективное оружие. В геополитике отца и сына Хаусхоферов ключевой была доктрина “размежевания пространственно чуждых сил”, в основе которой были взгляды философа Карла Шмита. Суть её – “добиться от англосаксов отказа от вмешательства в дела Европы”. Разве не за это в XIV–XV веках в Столетней войне сражались против англичан французы?! Путеводная звезда Жанны д’Арк продвигает европейцев к той же цели. Хаусхоферы делали ставку на сильные европейские государства, на “каролинговское ядро” Германии, Франции и Северной Италии.

Иначе, чем Черчилль, смотрел на будущее Германии Сталин: “Гитлеры приходят и уходят, а Германия и народ немецкий остаются”. Проблема современной Германии и Европы отчасти в том, что атлантисты исправно, под диктовку Вашингтона, подавляют дух Шиллера, дух Декарта, дух де Голля.

Лики новой элиты в Европе

В дыму арьергардных боев атлантистов уже можно рассмотреть лики тех, кто должен составить новую элиту в Европе. Это лидеры, которые добьются независимости от США и будут последовательно отстаивать национальные интересы своих государств и народов. Для этого им придётся покончить с тиранией бюрократии Евросоюза. В них чувствуется преданность традициям своих народов, неподдельный патриотизм. У них чувствуется дух служения, и он побеждает дух стяжательства. Атлантисты им повсеместно проигрывают, и потому они третируют патриотов как “крайне правых”, “ультраправых”. Объявляют, что это “маргиналы”, отщепенцы на цветущем атлантическом древе свободы и демократии. В действительности в рядах патриотов, составляющих будущую правящую элиту Европы, мы встречаем молодых, активных, хорошо образованных людей, обоснованно критикующих проамериканские “враждебные элиты”.

В вихрях кризиса, на волнах массового протеста против мультикультурализма и гей-культуры они объединяются в массовые национал-патриотические партии и движения. Упорно и довольно успешно они прокладывают путь к власти. Их объединяет протест против глобализации-американизации, против “рыночного общества”, против приватизации и особенно – против исламизации Европы. Вот, например, выдержка из манифеста “Воззвание к молодым европейцам”, автором которого является широко известный политик и учёный Г. Фей (Faye): “Для нас общим и главным врагом является конкретная, осязаемая колонизация наших земель, которая ведётся под знаменем ислама. Что касается общего противника, который стремится ослабить и подавлять нас, то это США, которые объективно являются союзником [вышеназванного] врага”.

Изучение программ оппозиционных атлантизму партий выявляет общее неприятие неолиберального мирового порядка. Они понимают, чем он грозит. Это перспектива всемирной диктатуры. Уже полным ходом идёт перекодирование и манипуляция сознанием народов; слом понятий добра и зла; превращение граждан в “идеальных потребителей”, демонтаж национальных государств. Будет доведено до конца уничтожение семьи и традиционного брака; узаконивание десятков извращенческих браков и прочих атрибутов гей-куль-

туры; смешение народов и этносов в закрытых мегаполисах, вокруг которых буйствуют десятки миллионов новых варваров типа современных джихадистов. Этот новый порядок будет знаменоваться полным отказом от христианства. Патриоты различных стран Европы уже начали объединяться для борьбы против ювенальной юстиции, в защиту традиционной семьи.

В бурном потоке националистов, популистов, евроскептиков, антиатлантистов и т. д. уже можно провести разграничительную линию: многие из этих партий вовсе не правые, не экстремисты, а скорее патриоты, популисты, традиционалисты, консерваторы. В программе многих партий и движений находим чёткие установки против атлантического единства, которое является основой современной проамериканской геополитической конструкции мира. В программе Национального Фронта Франции (НФ), возглавляемого Марин Ле Пен, намечено создать тройственный альянс Парижа, Берлина и Москвы, который станет основой панъевропейского союза суверенных нейтральных государств. Среди 11 главных целей НФ – выход из НАТО, из Евросоюза, из зоны евро; военное и энергетическое партнёрство с Россией. Во внутренней политике НФ тоже очень близок России. Это возрождение духа исторической Франции, укрепление семьи и государства. Марин Ле Пен в массовом сознании уже стала наследницей идеи и проектов Шарля де Голля.

В апреле 2011 году она заявила французам, что когда она возглавит страну (она собирает уже треть голосов избирателей), “Франция сделает Россию своим привилегированным партнёром” (“La France ferait de la Russie un partenaire privilégié”). В ноябре 2014 года основатель и почётный председатель НФ Жан Мари Ле Пен вёл в Москве переговоры о расширении сотрудничества. НФ и близкие к нему партии в других странах Европы могут стать надёжными союзниками российских государственных органов.

В Европе уже сейчас действуют десятки партий и движений, родственных НФ Франции. Они объединяются в интернационал национал-патриотов и отказываются от сотрудничества с крайне правыми партиями, с расистами, ксенофобами, антисемитами, с фашистами и нацистами, такими, например, как Casa Pound в Италии, которая называет себя “партией фашизма третьего тысячелетия”.

Надо, конечно, иметь в виду, что границы между этими партиями весьма подвижны. Не случится ли с популистами-антиатлантистами то, что произошло с фашистами в 20–30-е годы? Не скатятся ли они под напором джихада к расизму? В XVII веке джихад османов был у ворот Вены! Теперь он у ворот всех европейских столиц. Опасность фашизации есть. Но до сих пор ни одна из крупных популистских партий не поддержала бандеровцев, “Правый сектор” и прочих украинских националистов. Многие, напротив, одобряют взвешенную политику России. Это означает, что в их идеологии берёт верх над расизмом христианское мировоззрение.

В Вашингтоне с тревогой наблюдают за тем, что в Европе среди правящих и деловых кругов начинают понимать бессмысленность и контрпродуктивность санкций против России. Мало кто в Берлине, Париже, Риме стремится углублять конфронтацию с Россией. Понимают, что американцы, организовав очередную цветную революцию в Киеве, переступили красную черту обороны России. России более некуда отступать. Санкциями такую самодостаточную страну не сломить. И потому в европейских правительствах – явные разногласия. В Германии об этом сообщают уже СМИ. Вот газета *Handelsblatt* писала, что “канцлерин Меркель за дальнейшую конфронтацию. Но министр иностранных дел Штайнмаер предупреждает, что это крайне опасно, и предлагает курс на единство Европы”, имея в виду и Россию. Ястребиная позиция Меркель непонятна, непоследовательна: 25 августа 2014 года пресс-центр канцлера заявил миру, что “Германии не нужна противоракетная оборона в Центральной и Восточной Европе”. Она нужна только Вашингтону.

Вашингтон покорно и бездумно поддерживают только Польша, Болгария, Румыния и прибалтийские государства. А в сильных и уважаемых государствах, таких как Франция, известные политики и учёные, например, Пьер Русселан (Pierre Rousselin), рассуждают так: “Зачем НАТО раздувает опасность, якобы исходящую из России? Может быть, для того, чтобы обосновать необходимость своего существования или чтобы скрыть отсутствие у НАТО стратегии, как действовать в борьбе с Исламским государством?! Решение проблем Украины тем более безотлагательно, что нашей безопасности намного боль-

ше угрожает другой фронт: дестабилизация на Среднем Востоке”*. Фактор радикального исламизма, грозная опасность джихада в Европе становится всё более влиятельным элементом метаполитики. Поражение Вашингтона на Украине вкупе с провалами на Ближнем Востоке способны ускорить взаимный дрейф главных европейских стран и России к сотрудничеству и к коллективной безопасности. Вот эта перспектива больше всего сгущает сумерки в Вашингтоне.

Европейцы прислушиваются к тому, что говорят и о чём широко оповещают СМИ такие мудрые политики, как Г. Д. Геншер, 18 лет возглавлявший министерство иностранных дел Германии. Он имеет высокую репутацию среди дипломатов всего мира как спокойный, рассудительный, объективный политик. Геншер внимательно следит за украинским кризисом и предупреждает европейцев об опасности войны. “Словесная уже идёт”, – пишет он. И вновь, как несколько лет назад, определяет константу внешней политики Европы: “Стабильность в и для Европы возможна только с Россией и невозможна без России, особенно против России”**. Геншер предлагает путь примирения: “Почему мы не создаём общее экономическое пространство, в которое включилась бы и Россия?” Это то, что уже давно предлагает В. Путин. Геншер так же, как его коллега, бывший канцлер Г. Коль, считает, что Запад должен бы вести себя умнее. Вот на этой удручающей ноте и закончу свой рассказ о всё более сгущающихся сумерках, которые из Вашингтона опускаются на весь мир. Но на горизонте уже сияет путеводная звезда Жанны д’Арк.

* Le Figaro, 14 Septembre 2014.

** Handelsblatt, 21 November 2014.

РОБЕРТ НИГМАТУЛИН

академик РАН

ЭТНОС, НАРОД, ИСТОРИЯ

У России своя ложь и своя истина, своё безобразие и своя красота, свой грех и своя святость.

Вадим Кожин

Этническая история или этнический процесс формирования нации и народа нашей страны – процесс биологического (генетического), культурного, экономического и военного взаимодействия разных этносов. Иногда это взаимодействие происходило мирно, а иногда и с боевыми столкновениями. Причём бои были не только между разными этносами, но и между группами одного этноса. Вспомните междоусобные войны между русскими князьями, где родные братья коварно и жестоко убивали друг друга! При этом противостоящие группы вступали в союзы с группами из других этносов, сопровождая их межэтническими браками.

Формирование русского, татарского, башкирского и других этносов средней России, помимо генетического перемешивания, сопровождалось взаимодействием угро-финской, славянской и тюркской культур.

Очень часто виновником наших бед (коррупции, бестолковости, хамства и др.) называют “татаро-монгольское иго”. Но предки нынешних татар, в том числе и мои предки, которые были воинами в армии Дмитрия Донского, Ивана III и Ивана IV, к этому “игу” не имели никакого отношения! Об исторической некорректности концепции “ига” убедительно писал выдающийся учёный Лев Гумилёв, а в последнее время – талантливый историк Рафаэль Хакимов.

Большинство аристократических фамилий России (Кутузовы, Аракчевы, Тургеневы, Державины и др.) имели в своих гербах знаки, свидетельствующие о предках из Золотой Орды, и гордились ими. Гаврила Державин писал:

*Татарские песни из-под спуда,
Как луч, потомству сообщу.*

Следуя логике “татаро-монгольского ига”, народы Средней Азии и Кавказа исторический период, когда они были частью Российской империи и Со-

НИГМАТУЛИН Роберт Искандерович родился в 1940 году в Москве. Окончил МВТУ им. Н. Баумана и мехмат МГУ им. М. Ломоносова. Автор более 200 книг и научных статей. Лауреат Государственной премии СССР, член Президиума РАН. Директор Института океанографии им. П. Ширшова. Живёт в Москве.

ветского Союза, должны называть “русским игом”. Собственно, идею “русского ига” и пытаются внедрить национальные экстремисты на Украине и в других бывших республиках СССР, пытаясь вытравить из памяти народов всё позитивное и акцентировать только негативное. Но в этом периоде тесного взаимодействия культур под “русским игом” у узбеков, казахов, украинцев, татар, грузин и других народов Российской империи и Советского Союза были как **выдающиеся достижения**, так и **социальные трагедии**. Было всё. Это наша история, и её не надо упрощать, эксплуатируя идеализацию и умиление “дружбой народов” или гнев на “иго” одного этноса над другим этносом народа России. Сейчас “иго” кончилось. И что, стало лучше “освободившимся” от этого “ига” народам? Что стало с их производительными силами, уровнем жизни, трудоустройством, образованием, здравоохранением, культурой, наукой? Ведь граждане новых бывших советских, а ныне суверенных республик разбрелись мигрантами по городам России в поисках малоквалифицированной работы и порой живут в ужасающих условиях.

Все упомянутые “умиления” и “гневы” относятся к тому, что М. Ю. Лермонтов незадолго до гибели назвал **“тёмной старины заветными преданьями”**. И эти преданья-мифы лишены здравого смысла.

Необходимость сбалансированной оценки роли личности

Каждая историческая личность противоречива и многомерна. При оценке исторической личности нельзя ограничиваться понятиями *злой – добрый*. Следует использовать набор показателей, достигнутых страной под его руководством (демография, производительные силы, уровень жизни, достижения в образовании, культуре и науке, обороноспособность и т. д.). У Великого Петра были как достижения, так и зверские преступные акции. В. И. Ленин, И. В. Сталин, как и Петр I, вздыбили Россию. Они уничтожали как своих врагов, так и невинных людей. Но Петра I признают Великим. Мы знаем о жесточайших акциях при завоевании европейцами Америки, но мы признаём достижения их при строительстве новой Америки. Сталин правил страной в эпоху, следовавшую после революционного подполья и братоубийственной гражданской войны, когда гуманность и святость человеческой жизни отошли на второй план, а на первый план вышла цель победить и преобразовать страну по своим “лекалам” во что бы то ни стало. А кто хотя бы чуть-чуть “не с нами, тот против нас”. Даже писатель Максим Горький одну из своих статей назвал так: “Если враг не сдаётся, его уничтожают”.

Примером односторонних оценок являются колебательные оценки Николая II и его премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. Крайне отрицательные оценки не только революционеров и советских историков, но и его выдающихся современников (назову только графа Сергея Витте, писателя Владимира Короленко, великого Льва Толстого, даже Московское хирургическое общество) сменились безапелляционно положительными и даже восторженными оценками в наше время. Психологически понятно, почему Пётр Аркадьевич многими так восторженно воспринимается на современном фоне, когда уже четверть века не делается серьёзных попыток решить коренные социальные проблемы страны: бедность десятков миллионов и аномальное богатство десятков тысяч, — что не позволяет обеспечить развитие производительных сил. Столыпин, человек сильной воли и ума, бесстрашно боролся с врагами, добился экономического роста страны, но он был одиночкой, ни один класс его не поддерживал, его реформы сопровождались скорыми (за два дня!) на расправу военно-полевыми судами и казнями. Вы что, поверите, что все эти двухдневные суды были справедливыми? Такого количества казней не было в России после Петра I! Это раскачивало и озлобляло разные классы России. Лев Толстой написал в своём обращении “Не могу молчать”, адресованном Петру Столыпину как сыну своего друга:

“И это делается в той России, в которой не было смертной казни, отсутствием которой так гордился я когда-то перед европейцами. И тут неперестающие казни, казни, казни...”

Обращаюсь ко всем участникам неперестанно совершающихся под ложным названием закона преступлений, ко всем вам, начиная от взводящих на виселицу и надевающих колпаки и петли на людей-братьев, на женщин,

на детей, и до вас, двух главных скрытных палачей, своим попустительством участвующих во всех этих преступлениях: Петру Столыпину и Николаю Романову.

Опомнитесь, одумайтесь. Вспомните, кто вы, и поймите, что вы делаете.

Разве вы можете верить в то, что, не удовлетворяя требованиям... **всего русского народа** и признанным уже большинством людей требованиям самой первобытной справедливости, требованиям уничтожения земельной собственности, не удовлетворяя даже и другим требованиям молодёжи, напротив того, раздражая народ и молодёжь, вы можете успокоить страну убийствами, тюрьмами, ссылками? Вы не можете не знать, что, поступая так, вы не только **не излечиваете болезнь**, а только **усиливаете её**, загоняя её внутрь”...

Вдумайтесь: это предупреждение великого Толстого, а не пропагандиста-революционера, и его предупреждение не было напрасным. Нынешние “гуру” из пропагандистов винят только революционеров, большевиков. Конечно, задним числом мы понимаем, что в той жестокой борьбе было бы лучше, если бы победил П. А. Столыпин. Но ко времени, когда он возглавил правительство России, из-за того что десятилетиями не решалась проблема безземелья крестьян на фоне огромных площадей, принадлежащих богатым помещикам, на фоне нежелания правящих кругов пойти навстречу “требованиям молодёжи”, в России сложилась “взрывчатая атмосфера”. И те искры, которые он “высекал”, привели к тому, что во “взрывчатой атмосфере” “из искры возгорелось пламя”, перешедшее в гигантский пожар и революционный взрыв. Разрушительная жестокость революционеров крепла и мужала в борьбе с жестокостью власти. Если число казней во времена Столыпина исчислялась тысячами, то после революции гибли миллионы в гражданской войне и сотни тысяч – во время большевистских реформ с репрессиями против классовых врагов и “врагов народа”. В этой войне, в которой жестокость только стремительно нарастала, погиб и сам П. Столыпин, зверски была уничтожена семья Николая II. Так действует закон эскалации жестокости: жестокость против жестокости имеет свойство нарастать, пока не победит один из самых жестоких, которому удастся уничтожить своих менее удачливых, хотя и не всегда менее жестоких соперников. После этого “пламя” начнёт ослабевать из-за того, что иссякает “топливо” – сходит “на нет” сопротивление.

Провидческие стихи Максимилиана Волошина:

*Тот, кто испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.*

Неправильно всю вину взваливать только на победившего. На каждом этапе были свои поджигатели жестокости. Я призываю не к оправданию преступлений, не к любви или ненависти к тем или иным личностям, а к всесторонней оценке прошлых эпох и исторических личностей с учётом условий, в которых они действовали, причём оценок с минимумом эмоций и негодований, неуместных в науке. Надо извлекать правильные исторические уроки, а не публично негодовать.

Как бы ни было неприятно, тем, кто ненавидит жестоких В. И. Ленина и И. В. Сталина, надо признать, что они решали многие проблемы страны лучше, чем они решаются сейчас. При них были и огромные достижения. Да, порой оплаченные кровью и страданиями миллионов, но порой спасавшие страну. Как у Петра I, как и у многих правителей, которых называют “великими”.

Не надо обманываться, что революция 1991 года, когда разрушился СССР и советская власть, далась малой кровью народу России. За неё заплачено 12 миллионами умерших с 1991-го по 2012 годы, может быть, раньше положенного им срока. В эти годы смертность в России стала выше смертности в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии, хотя до 1990 года она была ниже смертности в этих странах. Кроме того, в те же годы, когда в России нищали десятки миллионов и обогащались десятки тысяч, 7 миллионов детей не родились из-за катастрофического падения рождаемости. И этих не родившихся граждан будет ещё долго не хватать России!

Несмотря на гениальность русского народа, народа всей России, мы осознаем, что в области культуры мы шли за Европой, где природные условия

больше способствовали развитию цивилизации. Первый русский учёный Ломоносов получил образование в Германии. А всего через полтора века Россия стала великой научной державой. Русские, услышав итальянскую оперу, создали великую русскую оперу. Увидев французский балет, создали великий русский балет. Европа чтит русскую литературу и русскую живопись. Увидев европейский спорт, Россия стала спортивной державой. Россия создала великую авиацию и космонавтику. В эти достижения вовлекались представители всех республик СССР. Мы показываем, что можем достигать колоссальных высот. И всё это на фоне феодализма, крепостничества, унижений человеческих прав, цензуры и пр. и пр.

Поступательное развитие прерывалось революционными и разрушительными преобразованиями, бескомпромиссной борьбой с несправедливостью и гнётом самодержавия, борьбой за землю. А потом – удушающая борьба за коллективизацию села и изнуряющие усилия, предпринятые для индустриализации страны. Потом были репрессии против “вредителей”, далее – огромные ресурсы были брошены на милитаризацию экономики, и страшная война, и преодоление послевоенной разрухи. Но была и борьба с генетикой и кибернетикой, потрясшая коммунистическую веру борьба с культом личности, увлёкшая интеллигенцию борьба с привилегиями и партократией, борьба за демократию, гласность и пр., и пр. А сейчас – борьба чиновничества с деятелями образования и науки под флагом “модернизации”...

В. И. Ленин защитил Российскую академию наук от попыток её “модернизации” революционно настроенными большевиками. Институт географии РАН был создан постановлением правительства, подписанным им в тяжелейшем 1918 году. Институт океанологии, который я возглавляю, был организован постановлением правительства СССР, подписанным И. В. Сталиным в декабре 1945 года, через полгода после окончания войны, когда страна была в руинах. А что сейчас? А сейчас уровень обеспечения океанских экспедиций относительно 1980-х годов сократился в 20 раз! Таких примеров очень много. И всё это на фоне трат на роскошь, утечки капиталов, коррупции и т. д.

Для ныне живущих на первый план вышли не опасения государственных репрессий, а опасения отсутствия созидательной воли со стороны нынешнего правительства для решения ключевых проблем страны. Знаменитый русский поэт Виктор Боков, “за разговоры” во время войны проведший 4 года в сибирском ГУЛаге и 9 лет в ссылке, в 1998 году написал:

*Я Сталина ругать перестая!
В Сибирь из-за него я не поеду.
.....
Что теперь со мной — не пойму:
От ненависти пришёл я к лояльности.
Тянет и тянет меня к нему,
К его кавказской национальности.*

Как Лев Толстой в романе “Воскресение” показал гнусность тогдашнего российского суда, так Андрей Звягинцев в фильме “Левиафан” показал беззащитность простого человека перед мерзостью нынешней коррумпированной местной “демократически избранной” власти. Не видя во власти воли преодолеть нынешние мерзости, многие обращаются к образу Сталина с его железной волей, хотя мало кто хочет возврата тех жестоких времён. Характерной является поэтическая “Молитва сталиниста” ещё одного замечательного русского поэта – Валерия Алексеева, участника Великой Отечественной войны, отсидевшего в ГУЛаге с 1948 по 1954 годы:

*И я тебя, отца родного,
Прошу, как старый ветеран,
Устрой стране головоюйку
И разберись, кто друг, кто враг.*

Вы думаете, что Виктор Боков и Валерий Алексеев не знали, что Сталин несёт ответственность за разрушительную коллективизацию села, за репрессии, за провалы в начале Великой Отечественной войны? Они не только зна-

ли об этом, но и сами пострадали от репрессий. Но они видели больше, чем одномерные толкователи и интерпретаторы истории, которые из-за понятного чувства ненависти к Сталину утверждают, что народ победил вопреки Сталину. Они видели, что, несмотря на катастрофические и преступные провалы, в решающий момент Сталин, проявив несгибаемую волю и интеллект, сумел собрать самых мощных руководителей и полководцев, сплотить железной и порой беспощадной волей весь народ на защиту погибавшей страны. Именно такой способности они не видят у современных руководителей. Концепция “народ победил вопреки Сталину” нелепа и основана на эмоциях. Арабская пословица, которую повторял и Наполеон, гласит: “Стая львов во главе с овцой будет побеждена стадом овец во главе со львом”.

Ещё одна грань сталинских времён. От академика Н. П. Лаверова я узнал историю про дело “геологов-вредителей”, сфабрикованное по ложному доносу в 1949 году. Их обвинили в сокрытии урановых месторождений. В деле — 27 человек, среди них 4 академика и члена-корреспондента АН СССР и 10 профессоров. Они безвинно отбыли 5 лет наказания, а 6 человек погибли. Академик Н. П. Лаверов изучил архивы и обнаружил, что список “вредителей” был завизирован и некоторыми руководителями АН СССР. Над этим списком — вопрос И. Сталина: “А что Заварицкий?” На этот вопрос ответил 86-летний академик В. А. Обручев. Он написал: “А. Н. Заварицкий дал стране железную руду горы Магнитной. Такой человек не может быть вредителем”. А. Заварицкого не тронули. Что-то зависело и от академиков.

Не дай нам Бог испытать революционный взрыв, после которого власть могут захватить не только жестокие, но и ничтожные! Тогда не только меч, но и безумная толпа будут карать и виноватых, и невинных, а более удачливых — испытывать на мужество.

Сейчас ведётся много споров о том, каким должен быть учебник истории России для школы. На мой взгляд, нужно, чтобы в нём было стремление понять проблемы наших предков и сочувствовать им. Надо отказаться от одномерных оценок руководителей страны и их оппонентов. У каждого руководителя государства и у революционера нужно отмечать сильные и слабые стороны, провалы и достижения. В любом случае, нужно воспитывать ощущение причастности к своему Отечеству, к своим предкам, порой боровшимся друг с другом, чтобы на первый план выступали научный анализ “белых, красных и чёрных сторон”, сострадание невинно убиенным, уважение к достижениям исторических персон. Мере ответственности всех вовлечённых в исторические события, виновных в преступлениях, в безумных реформах, отсутствии созидательной воли и интеллекта надо отмечать, но не возвышаться над ними, не карать.

Моральные суждения лучше перенести в художественную литературу, театр и кино, где допустимо и часто интересно творческое воображение художника, которое позволяет домысливание своего варианта художественного образа исторической личности в рамках известных исторических событий.

Многоязычие — основа многоэтнической гармонии

В мире имеется около 7000 языков. 90% населения мира пользуются всего 25 языками. Большинство из оставшихся 10% понимают речь на этих “больших” языках. В мире ежегодно исчезают не только виды животного мира, но и 10 малых языков.

Я нерелигиозный человек, но когда начинаешь рассматривать живое и неживое, думаешь о способности языков народов выражать всё великое разнообразие жизни, то моя научная нерелигиозность ослабевает и даже стремится к нулю. Представьте себе всё разнообразие живого мира, тысячелетиями не только воспроизводящего себя, но и эволюционирующего. Представьте муравьёв и пчёл с их сложнейшими системами коллективной организации, птичек и огромных птиц, рыбок и огромных рыб, мышек и огромных тигров, львов, медведей, слонов и китов, разнообразие их инстинктов и, наконец, человека — *царя природы*. И всё это — результат стохастических молекулярных процессов, начавшихся с неорганической материей “всего” около милли-

арда лет тому назад. Мой научный атеизм не может победить “предрассудок”: кто-то неведомый, с неведомыми помыслами и *сверхразумом* запустил этот процесс.

Для меня язык любого народа — это нечто божественное. Нельзя придумать живой язык. Эсперанто, придуманный человеком, не приживается. Когда исчезает язык какого-то этноса, умирает часть цивилизации. Это невозвратимая потеря человечества, беда “интеллектуальной экологии”.

Удивительный факт. Среди людей, страдающих в конце своей жизни болезнью Альцгеймера (потерей памяти из-за дегенерации мозга), те, кто владел несколькими языками, сохраняют большую память, их болезнь менее критична.

В многоэтнической стране этническая гармония достигается через многоязычие народов, её населяющих. Это очень важно, потому что, если язык какого-то малого народа будет рассматриваться как ненужный, многие люди этого народа будут бунтовать даже после утери этого языка. Никто не согласится, если скажут, что его прадеды, которых мы никогда не видели, были хуже, чем прадеды другого. Что один язык лучше другого. Поэтому надо содействовать сохранению всех языков, несмотря на естественные процессы умирания этносов. Мы знаем, что все мы смертны, но, несмотря на это, мы стараемся продлить жизнь каждого, что является фундаментом гуманизма.

В Швейцарии четыре государственных языка: французский, немецкий, итальянский и ретороманский. На последнем говорят всего несколько процентов населения страны. И то, что язык меньшинства является государственным, — это нормально. Должно быть так, чтобы в государственных структурах каждый мог отстаивать свои интересы на родном языке.

Как можно понять руководителей Украины, которые говорят о *свободном использовании* русского языка (как будто какие-то языки должны получать разрешение на их использование!), но русский язык не должен быть государственным? Он *должен* иметь статус государственного, то есть находиться под защитой государства.

Каждый язык, которым пользуется некоторая, достаточно заметная часть населения, должен иметь такой статус. Это не значит, что все должны изучать этот язык. Это означает, что государство должно заботиться о его преподавании в соответствующих школах, не только о его сохранении, но и о его развитии, о возможности людей защищать себя на родном языке. Более того, общество должно поощрять многоязычие человека и понимать, что каждый дополнительный язык делает человека интеллектуально богаче и умнее.

У меня есть друг, профессор *George Yadigaroglu*, он живёт в Швейцарии. Он по происхождению этнический грек, родился в Турции, жена у него — франкоязычная швейцарка, у них двое сыновей. При мне сыновья по телефону со своим дедом-греком говорили по-гречески, с мамой — по-французски. Джордж был профессором в США, и его семья жила там. Его сыновья окончили там школу. Английский язык для них — как родной. Потом семья переехала в Швейцарию, и сыновья Джорджа учились в университете в Цюрихе, где обучение ведётся на немецком. Оба инженеры. У них четыре активных (практически родных) языка. Но они учили ещё и испанский, и турецкий. Сравните их интеллект с одноязычным большинством в России или в США?

В Финляндии 5% граждан являются шведскоязычными. Я их спрашивал: “Когда сборные Финляндии и Швеции играют в хоккей, вы за кого болеете?” Ответ: “За команду Финляндии”. То есть они — патриоты Финляндии, той страны, в которой живут. Но свой язык сохраняют, и финскоязычное большинство помогает им в этом, признав шведский язык вторым государственным языком.

А в Казани и Уфе в татарско-башкирских семьях владеют только русским языком. А когда ведут речь о введении татарского и башкирского языка в школах, большинство возмущается.

Нужно понимать, что ничего хорошего не получится без серьёзных усилий учиться, причём не только своей профессии. Появилась свобода: не хочешь учиться с усилием — не надо, это популярно в США. Там говорят: зачем ребятам учить синусы, если они будут таксистами или обслуживать отели? Я против такой свободы. Народ надо **заставлять** учиться и тренировать свой мозг.

В СССР, если ребёнок плохо учился, его *прорабатывали* учителя, комсомольцы, вызывали родителей. Если не помогало, писали папе в парторгани-

зацию, что он плохо воспитывает своё дитя. Если бы отец Паганини не заставлял своего сына играть на скрипке, не было бы великого Паганини!

Мы не должны говорить: “Нам не нужен твой осетинский или татарский язык”, – мы должны помочь сохранить его, раз представляем великую нацию. Это очень важно. Спокойная ассимиляция относительно небольшого этноса преобладающим этносом сопровождается накоплением скрытой пассионарности, которая может стать разрушительной.

То, что многие башкиры и татары, чуваша, удмурты, марийцы в городах не знают своего родного языка – очень плохой показатель.

Кстати, башкирский и татарский языки настолько близки (там, в основном, только фонетические различия), что я воспринимаю их как единый татарско-башкирский. В 1990-е годы некоторые возбуждённо говорили: “Надо заставить русских учить башкирский язык”. Я отвечал: “Вы свою жену и детей сначала обучите, а потом думайте о том, как обучить русских”. Но что надо делать в Башкортостане, как и в Татарстане, и в других республиках России, так это создавать условия для развития башкирского и соответственно остальных языков народов России и ни в коем случае не возмущаться развитием школ с национальными языками. Надо стимулировать людей изучать свой национальный язык. Основа межэтнического мира – понимание, что каждый язык – это духовный дар. Языкам меньших народов трудно выжить, но надо делать всё для того, чтобы они сохранялись. Вот это и есть государственность всех языков Российской Федерации и важная основа межэтнической гармонии и интеллектуальной силы страны.

Среди моих друзей и коллег много выходцев из республик России и СССР. Они с детства слышали и говорили на титульных языках этих республик – украинском, армянском, узбекском, татарско-башкирском, чеченском, бурятском, мордовском, марийском... Я заметил, что они не только обладают более активным умом, но очень часто лучше и грамотнее говорят и пишут по-русски, чем их коллеги, учившиеся только на русском языке.

Многие в республиках опасаются, что распыление сил школьника на два языка – русский и язык его малой родины – приведёт к ухудшению грамотности и проблемам при поступлении в вуз. Часто, но не всегда, это действительно так к моменту окончания школы. Но годам к 25-ти двуязычные (фактически носители двух родных языков) вырываются вперёд. Их знания более фундаментальны, и они шире смотрят на все обстоятельства. Среди них реже наблюдаются проявления химерного национализма. Дело в том, что, как и в физической культуре, большие усилия в молодости в занятиях спортом приводят к укреплению физической силы и здоровья, так и большие усилия, потраченные молодости на учёбу, всегда вознаграждаются развитием более сильного ума.

Мой друг, академик Ривнер Фазылович Ганиев, первые 7 классов учился в татарской школе в Башкортостане. А в 8-й класс перешёл в русскую школу. Он сначала мало что понимал на уроках и вынужден был все задания заучивать наизусть, а в 10-м классе его сочинения по русской литературе читали одноклассникам как образцовые.

Поэтому для поддержки выпускников национальных школ я предлагаю экзамен ЕГЭ по родному языку для поступления в вуз разрешать сдавать по двуязычному регламенту (русско-татарскому, русско-башкирскому, русско-чеченскому и т. д.), а именно: 60% вопросов по русскому и 40% – по национальному языку. Если они получат хорошие баллы, то к моменту окончания вузов их русский язык будет богаче и грамотнее, чем у тех, кто изучал и сдавал ЕГЭ только по одному родному языку – русскому. И это сделает нашу страну более сильной.

Многоязычность личности

Помимо многоязычия личности, я хотел бы обсудить не очень распространённое понятие – многоязычность личности. Объясню на собственном примере. Я татарин, родившийся в Москве, в детстве дома начавший говорить на татарском и русском языках, получивший образование и ставший профессором в Москве. И для меня русский и татарско-башкирский языки и культуры, все русские, татарские и башкирские национальные переживания являются

родными. Я считаю себя и татаринoм, и русским, и башкиром, и для меня это нормально. Это не значит, что все в татары и башкиры должны так себя осознавать, но возможность быть носителем духа нескольких этносов – это нормально, тем более что сейчас увеличивается количество Иванов Ахметовичей, Ахметов Петровичей и Владимиров Исааковичей: мама одной национальности, папа – другой. А ведь есть и такие люди, у кого бабушки и дедушки имеют разное этническое происхождение. Сейчас мы не указываем в паспорте национальность, не в этом дело. Важно, кем ты себя ощущаешь. Есть такие люди, которые могут про себя сказать: “Я и русский, и еврей, и украинец”. Это нормально.

НЕОБХОДИМОСТЬ АКТИВИЗАЦИИ НАУКИ

*Поймите лишь, каких носители вы сил,
И путь осветится, и упадут сомненья,
И дастся вам само, что жребий вам сулил.*

А. Н. Майков

И в заключение поговорим о порках и бедах общественной жизни. Первая беда заключается в том, что киноартисты, СМИ, шоумены гораздо сильнее влияют на общественное мнение, чем мы, учёные. В жизни общества тон задают легковесность, крикливость. Приведу слова Маргарет Тэтчер: “В наш век специалистов по воздействию на общественное мнение очень опасным становится увлечение лидеров модой, отказ от здравого смысла и твёрдых убеждений”.

В нынешних условиях побеждает не та партия и не тот лидер, кто лучше готов к принятию государственных решений, а тот, у кого больше денег на избирательную кампанию и у кого лучше актёрские данные.

Кто победит на теледебатах: маршал Жуков или артист Михаил Ульянов, играющий маршала Жукова? Ответ очевиден.

Принцип “один человек – один голос” становится порочным при принятии важных решений. Мнение специалиста порой важнее мнения сотен, далёких от понимания проблемы. Чтобы преодолеть эту тенденцию, в парламентах и правительствах, помимо политических партий, должны быть представлены профессиональные сообщества, например, сообщества медиков, работников образования, инженеров... Параллельно с общими выборами эти сообщества должны выбирать своих представителей в органы власти.

Следующая беда – во всём мире упало влияние инженеров и создателей. Производственными компаниями стали управлять так называемые менеджеры. Ещё одна беда – пассивность учёных, проистекающая от их невостребованности. Существенно сократилось число профессоров, способных руководить институтами и университетами.

Борьба с активным невежеством

Есть малообразованные, но активные люди, которые призывают бороться с ядерной энергетикой, хотя это одна из тех технологий, когда при выработке электроэнергии углекислый газ не выбрасывается в атмосферу. Много таких людей, кто призывает бороться с химической промышленностью, хотя надо бороться с несовершенством химических технологий, допускающих вредные выбросы!

Избыточная вера в рыночные механизмы регулирования экономики и потребления – это тоже наша беда. А уже стали говорить о рыночном обществе. Экономика – да, рыночная, но регулируемая планами и контролируемая для обеспечения безопасности населения страны. Общество не должно быть рыночным – оно должно быть просвещённым и культурным.

Сейчас, опираясь на непросвещённость основной массы населения, начинается борьба с генно-инженерными технологиями изготовления продуктов, ими нас пугают. Но им принадлежит будущее. Это мощнейший метод производства пищи и способ достижения её разнообразия. Такие технологии дают ресурс для жизни растущего населения планеты. Селекция всегда была,

да и без геной инженерии мы не проживём, потому что в 1900 году население Земли было 1,7 млрд; в школе я учился в 1950-е годы, тогда говорили, что нас 2,5 млрд; а сейчас – более 7,2 млрд. А посевные площади для сельскохозяйственных культур не увеличиваются – они уменьшаются. Как всякое новое изобретение, ГМО создаёт некоторые проблемы, но их можно решить с помощью науки.

Миру грозят невежественные и безответственные руководители

Я где-то прочитал, что человечеству грозят три вещи:

- * материализм учёных;
- * невежество священников;
- * неистовство демократов.

Но ещё миру угрожают безответственные и невежественные люди на ответственных постах. Несколько лет назад руководители японской атомной станции “Фукусима” допустили вопиющую аварию, хотя была очевидная возможность предотвратить катастрофу. Надо было всего лишь обеспечить охлаждение уже остановленного реактора с остаточным тепловыделением. А Чернобыль как сотворили?

Я был сторонником атомной энергетики, но когда в мире 100 директоров атомных станций, один из них может оказаться некомпетентным и может устроить огромную катастрофу. Это тоже важно иметь в виду.

Но только опираясь на науку, хотя и несовершенную, можно найти решение стратегических проблем современности.

ЗАРЯНА ЛУГОВАЯ

РУССКИЕ НА ЗЕМЛЕ РУСТАВЕЛИ

Я брела по прямой, как стрела, и длинной, как Шёлковый путь, улице Тбилиси. Для меня стало полной неожиданностью, что улица в центре старого города будет столь протяжённой. Я вышла из дома моих друзей, на правом берегу Мтквари, и направилась вглубь старого города, предположив, что рано или поздно я доберусь до известного мне ориентира. Если сравнить меня с теми из моих знакомых, кто считается, как и я, недавно прибывшими в Грузию, то я неплохо ориентируюсь в Тбилиси, в городе, в котором живу со своей семьёй несколько лет. После кипящего муравейника огромной Москвы Тбилиси показался мне спокойным, как колыбель ребёнка, городком, уличная толкотня – небольшой сутолокой, а шум городской жизни – негромкой грузинской песней многоголосья.

Сегодня был день скорби – Великая пятница, и настроение под стать Страстной седмице, а меня вдруг потянуло вперёд, в неизведанные закоулки города. Я свернула в один из них и пошла, ни у кого ничего не спрашивая и сама точно не зная, какой дорогой я иду, но в глубине души теплилась надежда, что она меня выведет туда, куда мне нужно. Весна наступила поздно, и я не заметила, как она за эту неделю, войдя во вкус, преобразила улицы Тбилиси. Почки раскрылись, ветви уже успели прикрыть наготу свою зелёной нежной листвой. Птицы звонко галдели, словно соседки в тбилисских дворишках, которые старожилы города называют “итальянскими”.

Я остановилась у арки одного из домов и заглянула в ещё не прогретый весенним теплом и бережно старающийся сохранить до знойного лета прохладу дворик. По сути, ни в нём, ни вблизи него за последний век ничего не изменилось, разве что обновились марки “самодвижущихся экипажей” – автомобилей. Я не хотела привлекать к себе внимания, поэтому вернулась на улицу. Но моя фантазия уже стала выдавать картинки давних лет: женщины в длинных чёрных платьях, платки на головах, завязанные на грузинский манер. Дети, гоноющие тряпичный мяч. Шашки или домино, разложенные на столике во дворе.

ЧЕБОТАРЬ Зоряна Олеговна (Заряна Луговая) — родилась в 1977 году во Львове. Окончила Кишинёвский медицинский институт, опубликовала ряд научных статей. Автор сборников повестей и рассказов и трёх романов. Лауреат IV Международного Славянского литературного форума. Член Пушкинского общества “Арион” в Грузии, автор-составитель и редактор интернет-издания альманаха “На холмах Грузии”. Живёт в Тбилиси.

Таких дворики и в Одессе полно, и в Кишинёве, но тбилисские отличаются от тех своеобразным говором жителей: русский язык с примесью грузинских и армянских слов, диалект, который со временем и я стала хорошо понимать.

Улица, по которой я шла, пока не получила нового облика и ожидала реконструкции: шершавый асфальт с паутиной трещин, весь в мелких ямках, двухэтажные дома с облупленной краской стен, с перекошенными балконами – чеканные кружева их требовали тщательной реставрации. Мне, безусловно, нравится новый облик Тбилиси, но на не тронутую малярной кистью улице я внезапно ощутила, как погружаюсь в другую эпоху... Эти окна домов, подобно глазам, сейчас провожают взглядами меня, а когда-то наблюдали за проходившим мимо них поэтом. Пушкин бывал тут, он, так же, как и я, прогуливался по этой улице, наслаждался особенным колоритом этого города и вслушивался в разговоры его обитателей.

Кто они – сегодняшние жители Тифлиса? Они такие же разные, как их дома, в каждом – своя особенность, но их объединяет некая общая черта... В чём же их различия и в чём – схожесть?

Я приехала с мужем-грузином, с шестилетним сыном и крошечной дочкой в Тбилиси суровым для нас летом 2009 года, предвидя, с какими препятствиями столкнусь. До этого я много путешествовала и была готова встретить трудности во всеоружии. Но, окунувшись в тбилисскую жизнь, я не заметила того унылого периода ассимиляции, которого ожидала. Меня окружили со всех сторон опекой, которая принята в грузинских семьях в отношении молодых невесток, заботой, иногда казавшейся мне даже чрезмерной, почти приторной, как загустевший виноградный сок, который наволакивают слоями на ореховое ожерелье чурчхелы – традиционного лакомства грузин всех возрастов. Я попала в непривычный для меня мир гармонии. Каюсь! Запланированное мною, обязательное и скорое изучение грузинского языка резко притормозило свой ход, когда я совершенно неосознанно свыклась с мыслью, что меня балуют и что я, следовательно, могу пользоваться особой вежливостью горожан. Моя внешность не скрывает моих славянских корней, и, где бы я ни была, мои попытки заговорить на грузинском обычно заканчивались переходом собеседника на русский язык. Знак уважения к гостю?!

Вначале меня удивляло, что русскими здесь называли не только моих соотечественников, но и украинцев, армян, евреев, азербайджанцев и многих других. Но потом поняла: русские – это все жители Тбилиси, говорящие на русском языке... Они считают русский язык своим, родным, они думают на нём. Русские – это весомая часть грузинского общества, в которую входят представители разных национальностей.

Со временем вокруг меня образовался круг друзей, которые говорят и на русском, и на грузинском, и вот что я про себя отметила: произношение ими слов русского языка – очень грамотное и чистое. Словно оно пришло откуда-то из прошлого, не испорченное и не запачканное по пути неологизмами и разными “олбанскими” жаргонами. С такими собеседниками, хочешь – не хочешь, а будешь стараться говорить на правильном языке, как можно более точно изъясняться на нём. И тем более – с теми грузинами, кто плохо понимает и говорит по-русски, что вполне извинительно: их словарный запас сложился из слов, полученных на уроках русского языка в школе, или из прочитанных книг.

С переездом в Грузию, находясь под впечатлением доброжелательного отношения ко мне, мне захотелось изложить свои впечатления на бумаге. Я начала писать, и с каждой строчкой у меня усиливалось рвение к грамотности, тяга крепкой любви к русскому языку. Если раньше я могла не задумываться над своей речью, то в Тбилиси это стало необходимым, это вошло в привычку – точно выражать свои мысли на родном языке.

Даже в социальной интернет-сети, в группе “русскоязычных жён”, я часто встречаю безукоризненное формирование русского предложения, гораздо более правильное, чем в общепринятом ныне в России псевдоанглийском языке компьютерного “чата”. Женщины, приехавшие или выросшие в Тбилиси, общаются между собой, делятся своими проблемами на русском языке. Даже словесные конфликты между ними – отнюдь не современная чатовская какофония. Я с любопытством смотрела недавно на команду “брейн-ринга”, на молодых людей, которые приехали из одного из сёл Кахетии, предки и родители которых – духоборцы. Своей речью они ничем не отличались от сред-

нестатистического русскоговорящего подростка в Тбилиси. Может быть, это хорошо, а может быть – и нет, но в Грузии, за последние годы возникшего принудительного “вакуума общения”, русский язык не изменился так, как изменился он в странах, где является основным языком общения. Здесь сохранилась традиционная школа филологии, и местные жители ревностно блюдут её чистоту. В этом есть своеобразная прелесть: грамотно и правильно изъясняться на русском, не замусоривать свой лексикон! Заменять некоторые русские слова грузинскими, конечно, не очень хорошо, но всё же это такая протитительная малость, и она придаёт даже милую пикантность беседе.

Александр Сергеевич Пушкин писал, что “физиономию народа определяют вера, климат и образ правления”. Как верно это замечено! Такой сложившийся своеобразный диалект – языковое “золотое сечение” для всех жителей Грузии... Для русских, которые “не вполне” русские, но которые гораздо аккуратнее относятся к родному языку, чем многие его “титовые” носители...

Я шла по улице, неся в руках несколько экземпляров последнего номера русскоязычного альманаха “На холмах Грузии”. В нём печатаются авторы из разных стран, те, кто являются представителями русских за границей, те, кто любит и дорожит русским языком, кто хочет, чтобы их дети и внуки знали язык великих писателей, и те, кто своим присутствием в журнале, издаваемом на русском, вносит посильную лепту в дело популяризации русского языка среди населения, не говорящего на нём.

...Я подняла взор вверх и взгляделась вдаль. Впереди возвышался купол русской православной церкви Александра Невского. Монотонный гул колокола извещал о начале литургии. Господь вывел меня туда, куда я и собиралась. Не чудо ли?!

Прихожан в храме было много, в основном тбилисцы. Где слышна была русская речь, а где – грузинская, но, находясь в обители Христа, мы все были Его последователями. Я продолжала держать в руках альманахи и вдруг заметила открытый интерес к ним. Вначале многие косились на обложки, читали название журнала из-за моего плеча. Потом один мужчина, уже на выходе из храма, попросил меня дать ему его в руки – посмотреть. Вот тогда на меня со всех сторон посыпался шквал вопросов: “Вы продаёте?”, “А где можно приобрести?”, “Калбатано, шейслеба внахо?”, “А вы священнику нашему оставите?”, “В Тбилиси можно напечататься?!”...

Я старалась дать исчерпывающие ответы, но моя, одного из молодых авторов журнала, недостаточная осведомлённость не могла вполне удовлетворить любопытство окружающих. Несколько журналов пошли по рукам.

После службы, уставшая и умиротворённая, я шла домой. Ко мне присоединилась армянка, и мы беседовали с ней на русском языке, а дома меня в интернете ждали мои грузинские подруги – украинки и молдаванки, еврейки и армянки, с которыми я тоже буду общаться на русском и которые, когда их спрашивают об этом, называют себя, как и я, русскими. Русскими, живущими на ставшей нам родной земле Руставели!

“ЕСТЬ ВАШ ЖУРНАЛ, ЕСТЬ ВЫ...”

В наше тревожное время, когда к границам России вплотную подступила война, когда экономические трудности и пресловутый кризис пагубно влияют на литературное дело в нашей стране, когда в пышно провозглашённый на самом вершине “Год литературы” реально падают тиражи всех периодических изданий, что помогает нам выжить, выстоять и продолжать с достоинством нести знамя великой русской культуры?.. Только действенная поддержка и отзывчивые сердца наших читателей. Потому рубрика “Слово читателя” является, без сомнения, важнейшей рубрикой журнала, что не характерно для других литературно-художественных изданий. Но мы не можем не согласовывать все наши внутренние духовные установки с мнением народным, чем “Наш современник” всегда и был силён, с достоинством перенося все трудности и кризисы постперестроечной эпохи. Мы живём только потому, что вы, наши читатели и друзья, — по существу, соавторы “Нашего современника”, — пишете нам: “Есть ваш журнал, есть вы, ваша редакция, кто не сдаёт ветеранов 2-й мировой, не предаёт свой народ, своих читателей. А сейчас это немало: быть честным, напоминать почаще, кто есть кто и на кого надеяться”. А мы надеемся только на вас, наши дорогие друзья, наши читатели и подписчики, с вами мы выстоим!

“НАШ СОВРЕМЕННОК” ОПЯТЬ НА ВЫСОТЕ”

Глубокоуважаемый Станислав Юрьевич!

Смотрю на Вашу фотографию в газете “Культура”, где опубликовано интервью с Вами, и пишу эти строки. Если бы Вы только знали, как много значат для меня Ваши слова в этом интервью. Всё, что Вами сказано, мне понятно. Позиция Ваша, изложенная в интервью, абсолютно совпадает с моими мыслями. И это большая редкость сегодня. В чём же дело?..

Со мной произошла простая история. Я историк по образованию (сейчас на пенсии) и очень многое читаю из того, что раньше прочитать не удалось. Читаю В. В. Кожина, нравятся книги Натальи Алексеевны Нарочницкой. Покупаю их, перечитываю вновь отдельные страницы. И так потянуло написать ей письмо!.. Решилась на это и отправила это письмо на адрес газеты “Завтра”. В письме было и уважение к её трудам, и вопросы. Прошло время. Ответа мне не было. Позвонила в газету. Мне ответили, что письмо это долго лежало, но так как за ним никто не пришёл, то его выбросили!..

Мне было очень обидно. Ведь так русские люди никогда не научатся дружить, если даже письма читателей, почитателей своих, выбрасывают. Я изложила свою точку зрения на роль читательских писем. Ведь это отклики людей! Мы, конечно, не крупные деятели, но тоже думаем, рассуждаем. Излагаем своё мнение. Всегда считала, что для газеты, журнала это самое дорогое. Именно около печатных изданий собираются “семёновцы” и “преображенцы”, в этом сила — в организованности и сплочённости единомышленников.

Но есть Бог! В “Культуре” № 42 на первой странице на всю страну читаю: “Застала автора крылатой строчки “добро должно быть с кулаками” за удивли-

тельным занятием: он разбирал письма читателей. Не электронные, а те самые, в бумажных конвертах, — все они попадают на стол к главному редактору...”.

Я прекрасно знала, что Ваш журнал работает с письмами читателей, но что этим занимается без всякого высокомерия сам главный редактор!.. Так вот, Станислав Юрьевич, я сама Ваша “семёновка” и “преображенка”. В нашей семье “Наш современник” выписывали почти всегда. Я сохраняю много номеров за разные годы. Именно в “Нашем современнике” сегодня живёт настоящая литература. Да разве забудешь “Великорецкую купель” В. Крупина, “Дмитриевскую субботу” И. Евсеенко, Ваши изумительные аналитические работы, статьи В. Бондаренко, романы Проханова и произведения многих других авторов! А как мы в семье читали роман И. Головкиной “Побеждённые”!.. Читали отдельные страницы вслух, как, впрочем, читала я и “Дмитриевскую субботу”.

Очень многие произведения из “Нашего современника” просятся на экран. Вот и к 70-летию Великой Победы экранизировать бы “Дмитриевскую субботу”. А “Побеждённых” под силу, пожалуй, будет экранизировать только В. Бортко или Н. Михалкову!.. И больше мне ничего не надо, только бы убеждаться всегда, что “Наш современник” опять на высоте!

Спасибо Вам за всё: за уважительное отношение к читательскому мнению, за чудесный журнал, за то что, открывая его, чувствуешь себя в русском мире, в своей русской России.

Здоровья Вам, всем, кто в редколлегии, всем сотрудникам журнала.

Ваша читательница и почитательница
Надежда Александровна Ланчикова
г. Москва

ВСПОМНИТЕ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ!

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Пишу Вам вот по какому поводу. Меня крайне возмущает тот факт, что преуспевающие “дяди” и “тёти” в Думе и Совете Федерации никак не могут найти пусть даже символические льготы для лишённых детства “детей войны”, к которым принадлежу и я. Помню, что когда началась война, в деревне не осталось ни одного мужчины и парня призывного возраста. В первую же неделю войны их собрали и отправили на ближайшую станцию, и больше мы их не видели, так как самые большие потери были именно в начале войны, в первые месяцы 1941 года. Также не осталось в деревне ни одной машины, ни трактора, и даже часть лошадей, годных “для строя”, мобилизовали для нужд фронта. В деревне остались лишь малые дети, старики, женщины и подростки, а фронту требовалось всё больше и больше сельхозпродукции, и, следовательно, должен был быть распахан и засеян каждый клочок земли. Поэтому старшие классы в школах были закрыты, и некрасовский “мужичок с ноготок” стал главной рабочей силой села. Приходилось нам рубить лес, и пахать пашню, сидя на лошади, а когда лошадь падала от усталости, то тащили плуг на себе. Когда война началась, мне было 7 лет, и я пошёл в первый класс. И уже осенью мы граблями и вручную собирали колоски на убранных полях для фронта! В последующие годы наша работа усложнялась, вплоть до того, что мы пахали пашню под картошку, часто волоча плуг на себе. И докладывали, помню, в райком комсомола, что “молодёжная бригада” план перевыполнила!

Но я не плачу, вспоминая те суровые годы. Не было у меня детства, в том не вижу трагедии, ведь всем, всей стране было тяжело. Более того, я горжусь, что и моя, пусть маленькая микрочастица, долька есть в общей нашей Великой Победе.

С искренним уважением
Борис Иванович Лобанов,
ветеран вооружённых сил СССР
г. Калуга

ДУША НАРОДА ЖИВЁТ В ПЕСНЕ

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Всегда с интересом читаю Ваши публикации в журнале. Я с удовольствием присоединяюсь и подписываюсь под такими письмами, какие опубликованы в № 5 “НС” за 2014 год. Чаще всего Ваши размышления и анализ текущих событий в нашей жизни полностью совпадают с моими представлениями. Не без хвастовства скажу, что это мне приятно. Каждый раз я хотела откликнуться, написать что-нибудь такое из жизни, которая меня окружает, но стеснялась, в таких делах “я не очень”. Но после того, как в 2012 году я решилась и написала в мой любимый журнал “Письмо к отцу”, и Вы его похвалили, я осмелела и написала ещё и ещё, но так и не отправила, потому что после прочтения тех удивительных писем, которые Вам, Станислав Юрьевич, пишут читатели, мои письма мне начинают казаться куда не годными. Но вот одно из них я всё-таки решилась сейчас отправить после того, как в редакторском сопровождении в рубрике “Слово читателя” я увидела, как читатели делятся с Вами самым насущным и что “Вы нам не чужой, а родной человек, с которым можно быть вполне откровенным и вести задушевную беседу”.

Это мой отклик на Вашу статью в “НС” (№ 11, 2013) “Из литературного дневника третьего тысячелетия”, она мне очень понравилась. Захотелось поделиться своими наблюдениями об изменении “воздуха времени и душ людских всего-то в течение двух поколений”. Много изменилось даже в мелочах. Я же решила в качестве примера посмотреть на отношение разных поколений к песне. Моей внучке 21 год, и сейчас она у меня на каникулах. Своё время она проводит ночами напролёт за компьютером – разве это не примета времени? Но я не об этом, об этом много написано. Я же хочу написать о том, как совсем недавно мы пели всем народом, старым и малым, одни и те же песни: наши народные, задушевные, напевные... Мои родные – бабушка, мама, брат, дети – все мы любили попеть и, собираясь вместе, пели эти наши прекрасные песни. Бабушкины романсы мы тоже любили. Я помню: “Накинув плащ, с гитарой под полою к ея окну приник в тиши ночной...”. Романс этот у нас дома так и назывался: “К ея окну”. Недавно внучке я рассказывала, какие песни мы пели. Она не поняла моего восторга, назвав меня “древним миром”, но зато поняла, почему так долго приходилось укладывать детей, когда, не замолкая, пелось: “В той степи глухой замерзал ямщик”, или “Он упал возле ног вороного коня...”, или “Под снегом-то, братцы, лежала она, закрылися карие очи...”. Я спросила внучку, какие ты песни будешь петь своим детям. В ответ: “Зачем? Но если уж очень приспичит, спою что-нибудь из “ДДТ” (!).

Как-то, находясь на кухне у включённого телевизора, слышу о праздновании взятия Бастилии во Франции. И знакомая мелодия. Так это же “Марсельеза”!.. “Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног...” Я не вспомнила про отношение “Марсельезы” к Бастилии, но вдруг запела её на французском языке. Через много-много лет она всплыла в моей памяти. В студенчестве я пыталась учить французский язык. В кухню заглядывает внучка и спрашивает “Кого поёшь?” Моя читающая, очень грамотная внучка, и такой нелепый вопрос! Говорю: “Не поняла”. Она начала перечислять: “Градский, Долина, Мирей Матье (слава Богу, знает!), Шарль Азнавур, ещё, ещё... Разве мог в моей юности прозвучать такой вопрос?!.. И вот тут я и начала размышлять на тему “новое поколение”. Вспомнила, что когда сыну было около 4-х лет, у нас в Академгородке появились энтузиасты по созданию детской хоровой студии. Сначала ходили по детсадикам, слушали детей, потом пошли по домам записывать “отобранных” детей. Пришли к нам. Спрашивают сынишку, что будет петь. Ребёнок берёт пластинку, ставит на проигрыватель, умело включает, и зазвучало: “Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов!..” При этом приплясывает и, картавя, напевает вместо “проклятьем” – “пакатьем”. Восторгам не было предела! Катушка с записью до сих пор хранится у нас. Муж потом, когда что-нибудь не получалось, говорил: “пакатье”. Связь времён... Ещё недавно была связь времён. Ещё недавно мы были единым народом. Это было недавно или это было давно... Я понимаю, что мой пример с песнями – мелкий, случайный, ничего не значащий для оценки и характеристики особенностей поколений. Но это тоже примета времени. Прочитала написанное в прошлом году и уди-

вилась, что отклонилась от темы, и получился у меня скорее гимн песне. Почти произвольно обозначился такой разворот, и я решила дальше воспеть песню. Сын жил в Доминиканской республике (тоже примета нового времени: у кого-то обязательно кто-то живёт где-то далеко от России!), общались мы довольно часто по скайпу, но всё равно я скучала и не могла смириться с его отъездом. И вот как-то захотелось попеть с ним, что мы часто делали под его гитару. И я запела: “Хоть та земля теплей, а родина милей, милей, запомни, журавлёнок, это слово”. Когда пропела всю песню от начала до конца, увидела на глазах моего взрослого журавлёнка слёзы. И вскоре он вернулся! Скорее всего, совпадение. Но хочется верить, что песня повлияла. В последнее время намечаются признаки возрождения наших прекрасных, задушевных, народных и патриотических советских песен. Всё чаще звучат песни Пахмутовой, Туманова, Рыбникова, Бабаджаняна, Таривердиева, и это радует.

Простите, Станислав Юрьевич, не сразу отправила Вам это письмо. Дописываю его уже в следующем году. Вообще-то я уже, было, решила не отправлять его. Но вот теперь, наткнувшись на него и перечитав, решила всё-таки отправить, тем более что сейчас ярко продолжается возрождение нашей песни. Запел народ! Наверное, это объяснимое вдохновение: победа на Олимпийских Играх, присоединение Крыма вдохновили народ. Запели ведь, почувствовав себя сильными! А грандиозное празднование Дня Победы с военными патриотическими песнями всей страной – разве это не радует?!

Конечно, наивно полагать, что, наконец, сполна пробудилось самосознание народа, обманутого и искалеченного перестройкой, что мы ощутили себя единым народом великой страны. Но проявление этой веры в величие нашей страны, в реальность возрождения, может быть, в первую очередь, сказалось в песне? Запели-то не попу!

Вот теперь уж точно отправляю это письмо. Очень вдохновил концерт на Красной площади в день Православной Словесности и культуры. Порадовало, что молодёжь и дети знают слова наших славных, нестареющих песен. Все так радостно пели! И какие счастливые лица! “Широка страна моя родная”, пой! После огромного для моего возраста перерыва я почувствовала себя в своей родной стране. Не с унынием, а с песней. Как не хочется опять потерять недавно возникший этот душевный подъём, веру в возрождение!

Позвольте Вас, Станислав Юрьевич, ещё раз поблагодарить за то, что опубликовали моё предыдущее письмо и за сообщение о хорошем отзыве на это письмо Рыжкова Николая Ивановича. Мне понравилось, что в этом сообщении Вы просто написали “Рыжков Николай Иванович”, без уточнения, кто он такой, не сомневаясь, что я из того, нашего общего советского прошлого и, конечно, пойму, кто такой Рыжков Н. И.! Дочь вспомнила, что бабушка (моя мама, Ольга Александровна Саблина, светлая память ей..) в своё время писала письмо Николаю Ивановичу, и он ей ответил. Через Ваш журнал я его поблагодарила и просила посоветовать, что надо или можно сделать дальше по увековечению памяти похороненных на станции Поповка защитников Ленинграда. К кому мне надо обратиться, чтобы взялись привести в порядок это заброшенное кладбище с тысячами павших бойцов?

Желаю Вам всего доброго!

С уважением
Клара Александровна Саблина
г. Красноярск, Академгородок

У НАС ОДНА ИСТОРИЯ И СТРАНА

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Большое спасибо за Вашу книгу “Жрецы и жертвы холокоста”. Читаем и перечитываем, обмениваемся мнениями. На многие моменты в истории нашей страны (я имею в виду Советский Союз, в котором я прожила большую часть своей жизни) Вы открыли нам всем глаза. Восхищаемся Вашим трудолюбием, мужеством и талантом.

Доброго Вам здоровья, долголетия и успеха!

М. П. Мармыш
г. Жлобин Гомельской области, Республика Беларусь

РОССИЯ СДЕЛАЛА ПРАВИЛЬНЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ ШАГ

Станислав Юрьевич, добрый день!

Пишу опять об Украине, не могу успокоиться, так как убийства мирного населения, по приказу самозванца Порошенко – “Потрошенко”, как его справедливо именуют сейчас все, – продолжаются и, как всегда, жертвами “зачисток” становятся дети, женщины, старики и всё мирное население. Нет слов, чтобы выразить возмущение! Убийцы обстреливают русскую границу – испытывают русское терпение. . . Надеюсь, русские найдут возможность наказать самозванцев за убийства невинных детей, мирного населения, целенаправленные убийства русских журналистов, разрушение больниц, школ, домов в Донецке, Луганске и других городах юго-востока. . . Знаю, что нельзя ни одному слову верить самозванцам, так как всё направлено против России и её народа. Сыну Байдена поручено курировать и иметь дела с “Потрошенко”, а Нетаньяху ведёт переговоры с Яценюком и прочими. . . Хотят построить стену между Россией и Украиной, без гетто им трудно жить. Русским надо каждый день помнить, чего добивались другие самозванцы, но той же масти во Второй мировой (вспомним письма московского еврейского комитета Молотову). Самозванцы верят в силу и наживу, им ровным счётом наплевать на людей, ставших жертвами их криминального мышления. Американская поговорка гласит: “Если ты обманул, то ты умный, а если тебя обманули, то ты – дурак”. Не позволяйте себя обманывать! В Америке я всё это испытала на себе, поэтому и пишу. Крепитесь! А предложение Коломойского построить гетто-стену на “Украине” ничуть не удивляет. “Государство в государстве” – это уже было, и неоднократно. . . Даже Брайтон-бич в Нью-Йорке, где сосредоточено большое количество русскоговорящих советских эмигрантов, проживающие там называют “гетто маленькой Одессы”, но почему-то организованную преступность там же называют, не моргнув глазом, “русской мафией”, хотя все прекрасно знают, что надо было доказывать, что ты еврей, иначе визы туда не давали. . .

Конечно же, Бжезинский (железный Збигнев!) должен знать из польской истории, какое гетто было образовано в Польше и кто был его организатором. Это гетто стали строить ещё до начала Второй мировой войны, в начале 1938 года. К примеру, в Варшаве ещё до прихода немцев целые кварталы “зачистили” от коренного населения. В гетто были свои больницы, столовые, детские площадки и так далее. Жители его очень строго подчинялись раввинам. У них была своя полиция, своя охрана, свои писатели, свои художники, музыканты и даже симфонический оркестр. Посмотрите, как эти нынешние “украинские самозванцы” хотят пустить историю по второму кругу против России, узнать, насколько она крепка и чем она дышит. . . Обманов предостаточно, главное – не попадаться на их удочку. Бжезинский любит действовать по крупному. Я помню, как он в 80-е годы поносил с американского ТВ русское коренное население! Я тогда послала американскому журналисту Т. Копполу письмо, в котором назвала Бжезинского – “железным Збигневом” и напомнила ему, откуда прибыл “красный большевик” – “железный” Дзержинский для организации на русской земле “красного террора”. Мой прадед Сергей Алексеевич Бахтин стал его жертвой 1 октября 1921 года. Он был уроженец Петербурга, коренной житель в то время Петрограда. Его убили только потому, что он был русский! . . А 17 сентября 1937 года был расстрелян его сын Вениамин Сергеевич Бахтин – профессор ВИЗРа, что на Исаакиевской площади в Петербурге, арестованный 7 февраля 1933 года. Конечно, сегодня “величие” Дзержинского рухнуло, но в “большом доме” портрет Дзержинского ещё висел, когда я пришла туда, чтобы прочитать “дело”, заведённое на моего дедушку В. С. Бахтина.

Россия сделала правильный и справедливый шаг в отношении русского Крыма, ещё одно “красное пятно позора и унижения” стёрто, и это прекрасно! Все было сделано по правде и справедливости. Хочется сказать: Слава России! Русская Малая Россия, искусственно переименованная в “Украину” с 1918 года, никогда не была нам чужой – корни российские в Киеве, и нельзя позволять их выдирать. Малороссы, казаки – это тоже исконно русские люди, и оказать им помощь в справедливой борьбе – это обязанность России, и никто не должен её лишать этого. Тем более если нос сует туда Америка, не зная русской правды! Простые люди об этом ничего не знают, так как американским журналистам

приказано набрать в рот воды, но подводные течения функционируют, пятая колонна на территории России есть, и этого нельзя забывать.

Желаю Вам и вашим коллегам новых творческих успехов!

С уважением
Нина Васильевна Бахтина
Нью-Йорк, США

СЛОВО ПОДДЕРЖКИ В ТРУДНОМ ДЕЛЕ

Здравствуйтесь, уважаемый Станислав Юрьевич и вся редакция журнала “Наш современник”!

Станислав Юрьевич! Мы с Вами уже вели переписку по поводу стихотворений моих учеников. Вы дали ценные советы, написали правду, хоть и несколько резко. Но подобная помощь всегда ценилась высоко! Ребята ушли в большую жизнь, думаю, запомнив Ваши пожелания. Спасибо.

Сейчас другие мои ученики увлечены новым для них делом. Мы хотим создать лицейский литературно-художественный журнал для старшекласников в электронном виде для школьного сайта. Это дело трудное, но интересное. Первый номер своего журнала мы посвятили 215-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 185-летию его “Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года”. Почему именно этому произведению? В частности, и потому, что журнал мы хотим назвать “Русские писатели и Восток”, а следующие выпуски посвятить М. Ю. Лермонтову, А. С. Грибоедову, С. А. Есенину и другим поэтам, чья жизнь была связана с Востоком.

Мои ребята знакомы с Вашим журналом, с произведениями, напечатанными в нём. Я им читаю рассказы и стихи из “Нашего современника”, мы обсуждаем прочитанное, учимся – не в этом ли главное назначение литературы?! Знаю, что Вы читаете внимательно все письма, и потому обращаюсь к Вам как к писателю-земляку, как к поэту-классику, как к главному редактору такого настоящего журнала и замечательному, честному человеку. Не могли бы Вы написать для моих ребят Напутственное слово, Слово поддержки в таком трудном деле, думаю, им это важно. Ваш журнал – пример нам!

Чумакова Ирина Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ “Лицей № 48”
г. Калуга

ОТВЕТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

Дорогие мои земляки-школьники! В России литература – основополагающий мировоззренческий предмет, помогающий сформировать разносторонне развитую человеческую личность. Что бы ни писали историки в своих учебниках и трудах, но русские люди всегда будут судить о войне 1812 года по роману Льва Толстого “Война и мир”, о пугачёвском восстании – по “Капитанской дочке” Пушкина, о революции и гражданской войне – по “Тихому Дону” Михаила Шолохова, так что литература русская – это пища для души, а те, кто много и рано начинают читать её, в будущем могут стать и поэтами, и прозаиками, и критиками. Так было и со мной... “Войну и мир” я прочитал в 4-м классе. Так что – дерзайте!

Станислав Куняев

КНИГА, МЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДЫ НА ИСТОРИЮ

Здравствуйтесь, Станислав Юрьевич!

Не так давно руководитель моей организации, православный, светлейший и добрый человек, дал мне прочитать Вашу книгу “Жрецы и жертвы холокоста”. Эта книга потрясла меня до глубины души и открыла мне глаза на исторические события нашей, да и не только нашей страны. Это очень сильная и ответственная работа, сколько сил пришлось вложить в неё, а главное – всем бесовским языкам назло – есть ссылки на документы. Книгу же Вашу

с пеной у рта я начал советовать всем моим друзьям и родственникам, многие заинтересовались и поблагодарили за предоставленные ссылки в интернете, где можно её также прочитать. К сожалению, не могу ещё написать о впечатлениях, но более чем уверен, что для всех это будет такой же бомбой и кардинально изменит их взгляды на многие вещи!

Огромное Вам спасибо, храни Вас Господь!

Кирилл Соловьёв
г. Кострома

КАКИМ ГЕРБОМ БУДЕТ ГОРДИТЬСЯ РОССИЯ?

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Хочу поделиться с Вами наболевшим. Как-то раз был субботний декабрьский вечер. Я вышел на балкон перед сном – подышать свежим воздухом. Тихо. На улице ни души. И вдруг, наклонившись вниз, отчётливо увидел на снегу большой знак, размером 3 на 3 метра – свастика! Острым пронзило сердце, вечер был испорчен, настроение упало. В памяти всплыли годы военного детства, гибель отца, фильмы про войну и страшная свастика, которую мы, мальчишки и девчонки, ненавидели всем сердцем.

Вопросом, кто вытоптал на снегу свастику, я не задавался. Конечно же, мальчишки – чьи-то дети, уже наши внуки, выросшие в перестроечные годы. Можно ругать их родителей, упрекать учителей, что их чада и воспитанники дома и в школе в тетрадках пишут красивые, умные слова, а вечером на заборах рисуют похабные словечки и вытаптывают на снегу свастику. Но ведь они их этому не учат. Не погрешу, если скажу, что это дети своего времени. Они вместе с нами жертвы сегодняшней авантюристической политики “реформаторов”, которые в борьбе за власть и переустройство общества зачастую забывают, что на них смотрит и равняется подрастающее поколение. И оно уже увидело столько негативного в их действиях в отношении материальных, духовных и нравственных ценностей, которые создавались десятилетиями миллионами наших соотечественников, живших в недавно крепкой и мощной державе – СССР!

Как можно было неуважительно (мягко говоря) отнестись к Отечеству, за которое в страшной борьбе с фашизмом погибли миллионы советских людей разных национальностей, развалить наше Отечество в одночасье? Или другой факт: не посоветовавшись с народом, убрали герб нашего государства – с золотым серпом и молотом, с кумачовыми лентами, с Земным шаром, увитым спелыми колосьями наливного хлеба, тот герб, что десятки лет символизировал дружбу народов нашей великой страны и всего мира. О нём ещё поэт Ярослав Смеляков написал прекрасное стихотворение, где есть такие строки: “С тех пор солдат – почётная судьба! – стоит на страже нашего герба”. Да, видно, не сберёг... А зачем утвердили в качестве герба России страшного двуглавого орла – символ самодержавия и монархии?.. До сей поры не могу с этим согласиться и уж тем более понять. Неужели у нашей столь интеллектуальной и представительной Думы не хватило времени и, простите, ума подумать о настоящей российской символике, олицетворяющей возрождение, обновление России, чтобы, глядя на неё, сердце трепетало в груди у человека и появлялся бы гордость за Отечество, родную землю, рождалось желание самоотверженно трудиться?..

Но, видимо, есть иные понятия на этот счёт, другие цели и задачи. Об этом уже “догадываются” не только на Западе, но и в нашем небольшом Петровске. Пусть это останется на их совести. Опасно другое: без чётких идеологических и социальных ориентиров, молодёжь становится безответственной в своих поступках, нередко агрессивной. Не надо быть большим психологом, чтобы понять, какой морально-нравственный урон наносит молодёжи бездумная ориентация на западные “ценности”. Риторический вопрос: куда смотрит Госдума?.. Или же она ничего не в состоянии сделать, когда всё куплено и за всё уплачено?..

Конечно же, на настроение наших духовно не окрепших детей и внуков серьёзное влияние оказывает и низкое материальное положение многих семей. В этой ситуации они подвержены любой стихии, любому влиянию. И мы,

взрослые люди, должны помочь им разобраться в сегодняшних событиях, не дать растеряться, попасть в чужие руки, озлобиться на всё и вся и уйти под чужие знамёна. Тогда эта беда для всех нас...

Утром выпал обильный снег и запорошил ненавистную свастику. Дай-то Бог, чтобы он вытравил из сознания мальчишек крамольную мысль нарисовать нечто подобное, чуждое самой человеческой природе и ненавистное большинству здравомыслящих людей на Земле, переживших страшную трагедию минувшей войны.

Дай-то Бог.....

С уважением
Валерий Логашов,
Член Союза журналистов России
г. Петровск Саратовской обл.

ДОКАЗАНО ЖИЗНЬЮ

Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Прочитав Ваши, очень нам нужные книги, пишу о своих впечатлениях. Книгу "Любовь, исполненная зла..." читал с большим удовлетворением! Согласен с Вашей оценкой склонности ряда персонажей книги к самоубийству. Самоубийца, даже если это был талантливый человек, теряет в моих глазах много, ведь самоубийство – это не только непростительная слабость, это ещё и страшное оскорбление Всевышнего... Можно оправдать самоубийство лишь на войне, как последний подвиг солдата, не желающего сдаваться противнику, подрывающего себя гранатой. Да это и не самоубийство, а последний бой!.. Классно Вы, Станислав Юрьевич, сформулировали в одном из своих стихотворений (привожу по памяти): "Смертью не докажешь ничего! Только жизнью, друг мой, только жизнью!" Эти Ваши слова следовало бы ввести в самый широкий обиход.

А Серебряным веком, на мой взгляд, следовало бы считать советский период литературы – с середины 20-х и до середины 80-х годов. Сколько тогда было написано прекрасных книг, а какая блестящая литература для детей появилась!.. С поэзией было труднее, но уж точно полнокровнее и здоровее, чем в течение нескольких десятилетий до того.

Ахматову и Цветаеву я читал, но скажу прямо: они мне не интересны. А Вашу книгу "Шляхта и мы" нужно переиздавать и переиздавать, и каждый раз с дополнением.

В Варшаве хотят, чтобы между ними и нами постоянно вёлся диалог, то есть дискуссии, круглые столы и т. п. Они хотят, чтобы мы демонстрировали нашу в них заинтересованность. А зачем?.. У них же всегда камень за пазухой, и ненависть к нам зашкаливает...

В конце июля прошлого года польские власти объявили, что в связи с событиями на Украине отказываются от проведения года Польши в России и затем – года России в Польше. И пускай отказываются! И почему бы нам с Польшей вообще не свести отношения к минимуму, раз уж у них к нам такая непоколебимая неприязнь?..

Станислав Юрьевич, узнал из газеты "Завтра", что Вы написали новую книгу. Когда она будет издана?..

Всяческих Вам благ!

Александр Лаптев
г. Кондопога, Карелия

"НЕ ВЫДЕРЖАЛ – НАПИСАЛ В РЕДАКЦИЮ"

Дорогой Станислав Юрьевич!

Доброго Вам здоровья, счастья. Благодарен Вам и всей редакции за присылку трёх номеров журнала – "гуманитарная помощь" в наше трудное время! Всё мне глянулось в журнале, а особенно – объяснения того, что сейчас происходит на Украине. Великое дело – вернули Крым! Не захотели позо-

риться, ведь Крым – это опора российского флота, нельзя его было отдавать под натощак, таких же бандитов, как бандеровцы... Русские люди сейчас говорят, что показывают нам по ТВ всё “широкие” лица депутатов – словно это какая-то отдельная раса, “жрецы” (хорошее слово Вы нашли, образное!), и живёт эта раса в какой-то отдельной своей нереальной действительности. А на Украине многое сейчас будет решаться простым русским народом. Не сойдёт он, не попятится и покажет всему миру разницу между Донбассом и Косово. Надежда есть, умело воюют! Ребята там подобрались с опытом.

Я сам начинал работать с 12 лет, у отца была вторая группа инвалидности, только в спине 37 осколков с войны, у матери – сухая экзема на руках, работала с 9-ти лет, росла сиротой, отца её расстреляли при Ягоде. Мой 17-летний родитель, гвардии танкист, выходя из окружения под Краматорском в 1943 году, мог бы раз 6 погибнуть. В 12-й и 14-й гвардейских танковых бригадах почти все погибли уже под Ростовом. Неужели всё это было зря?..

Мы в тупике. Либеральные кровососы только и ждут, чтобы накинуться на нашу страну. Я знаю цену Вашему журналу. С мая месяца особенно следил за событиями на Украине и не выдержал – написал в редакцию. Есть Ваш журнал, есть Вы, ваша редакция, кто не сдаёт ветеранов 2-й мировой, не предаёт свой народ, своих читателей. А сейчас это не мало – быть честным, напоминать почаще – кто есть кто, и на кого надеяться.

В. Н. Жеребцов
г. Амурск Хабаровского края

“ЖУРНАЛ ДАВАЛ НАМ НАДЕЖДУ...”

Многоуважаемый и дорогой Станислав Юрьевич!

Никак не могу подобрать слов, чтобы поблагодарить Вас за такой неожиданный и дорогой для меня подарок – Вашу книгу.

Да, мы 25 лет подписчики и читатели “Нашего современника”. В тяжёлые 90-е и 2000-е годы, когда даже наши друзья и коллеги по-разному воспринимали происходящее в стране, журнал “Наш современник” (да ещё газета “Завтра”) были тем стержнем, который давал нам надежду и уверенность, что Русский Мир жив, что все “Победы и беды России” – это та история, “какую нам Бог дал” (А. С. Пушкин).

По поводу книги “Любовь, исполненная зла”... Вы правы – “жаль прощаться с Серебряным веком, но ничего не поделаешь”. Ваша книга многое мне объяснила, и это – новое для меня – я сразу и с готовностью приняла. Все Ваши книги, кроме последней, мы читали в журнале, а книгу о Юрии Поликарповиче Кузнецове – уже с Вашим автографом.

“Наш современник” – огромная опора и поддержка, я думаю, для многих. Совершенно очевидно, что за этим стоит большой труд небольшого коллектива.

Всем хочется пожелать крепкого здоровья, стойкости, творческих успехов!

Наталья Георгиевна Колчанова
г. Пермь

“ЛЮБИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ И ЖИТЬ”

Здравствуй, Станислав Юрьевич!

Выполняю желание своего покойного мужа Николая Якунина. В очередной раз намечали мы с ним поздравить Вас с днём рождения и подарить новый поэтический сборник Николая, да не пришлось – 19 ноября ушёл из жизни мой поэт... Оставил чуть-чуть незавершённой свою двенадцатую книгу стихов “Любить, надеяться и жить”. Собирался выпустить её к своему 75-летию.

Теперь хожу в храм, поминаю Николая за упокой, а Вас, Станислав Юрьевич, о здравии. Полюбила я всей душой Ваш журнал “Наш современник”, присланные Вами книги “Стас уполномочен заявить”, “Любовь, исполненная зла”, Ваши статьи. Это же неоценимый душевно-нравственный, информационный клад, позволяющий поверить, что не всё потеряно, не всё так мрач-

но. Одновременно я поняла, что Вы, невзирая на свой возраст, всё тот же (во всех отношениях), когда храбро защищали в Калуге памятник Пушкину от подвыпившей молодёжи. Опасаюсь за Вас, поминаю о здравии.

Здоровья Вам, здоровья.

С глубоким уважением и искренней благодарностью

Валентина Якунина

г. Мосальск Калужской обл.

“ВАШ ЖУРНАЛ СТАЛ ИСТОЧНИКОМ ЖИВОЙ ВОДЫ...”

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Вспоминаю, как в 90-е годы после каждой Вашей публикации в нашем “Нашем современнике”, когда в октябре 1993 года власть отстреливала без суда и следствия наших патриотов, я с содроганием в сердце ждала сообщений о Вашей судьбе: хоть бы Вы были бы живы! С каждым выходом следующего номера журнала я убеждалась, что Вы живы, успокаивалась, но ненадолго, так как в каждом номере Вы молниеносными жёсткими ударами разбивали то, что нам навязывали так называемые демократы.

Для глубинки, которая замерла от непонимания того, что происходит в стране, которая онемела до полного равнодушия, Ваш журнал стал источником живой воды, к которому принимали патриоты. В 1995 году образовалось Уральское историко-родословное общество (УИРО) с центром в Екатеринбурге. Потом членами УИРО стали не только уральцы, но патриоты Сибири и других областей: историки, музейщики, учителя, инженеры, рабочие и крестьяне. Это удивительное сообщество стало создавать подразделения в городах, посёлках, сёлах и деревнях. Никто нас не финансирует, мы даже взносов не собираем, но мы проводим научно-практические конференции, издаём сборники докладов и даже книги на свои личные деньги. Один из таких сборников докладов я Вам высылаю. На обложке слева – портрет моего многострадального деда Козлова Архипа Михайловича – великоросса! Удивительно светлый, чистый сердцем и помыслами “контрреволюционер” (родился в 1888 году). “Отблеск истории” – моя повесть о нём.

Я 20 с лишком лет выписываю журнал “Наш современник” и знаю, что Вы, Станислав Юрьевич, любите нашу провинцию, глубинку за то, что в ней всегда было много русских самородков. Потому высылаю Вам рассказы участника нашего патриотического движения, члена УИРО, автора книги о городе Асбесте, отмеченной медалью Н. К. Чупина. Может быть, рассказы из нашей глубинки найдут место в журнале “Наш современник”.

Дай Бог Вам здоровья, неукротимой энергии и многая Вам лета!

С уважением

Нина Алексеевна Бархатова,

Учредитель общества родоведов и краеведов, педагог
пос. Рефтинский Свердловской обл.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО

МОЛИТВЫ ХУДОЖНИКА

О творчестве Валентина Фёдоровича Папко

Одно из центральных зданий в исторической части Краснодара – Дом книги – украшает огромная мозаика “Я вызову любое из столетий”. Все, кто впервые бывает в городе, спешат увидеть её. Я помню, как, задрав голову, заморожённо рассматривала монументальное полотно, представляющее историю книгопечатания на Руси. Оно выполнено из цветной смальты, так блестяще передающей пластику линий, игру цветовых пятен. Художнику удалось запечатлеть пафос величайшего достижения – книгопечатания и, одновременно, показать уникальность книги, передающей информацию от сердца к сердцу. Ясность и спокойствие, крепость духа и в то же время особая лиричность и эмоциональность в центральной фигуре Мастера, бережно держащего книгу. И во всей работе, с чертами русского стиля, тяжёлым монументализмом византийства – вдохновенная поэтическая цельность! Буквально дух захватывает и от замысла художника, и от столь впечатляющей его реализации! Автор мозаики – живописец-монументалист Валентин Фёдорович Папко.

Судьба подарила мне возможность познакомиться с художником. Это случилось более двадцати лет назад на семейном празднике. И глядя на его чуть смущённую улыбку, открытый взгляд ясных голубых глаз собеседника, я всё же не могла до конца поверить, что он тот самый Валентин Папко, титулованный участник многих международных (Германия, Франция, Бельгия), республиканских, региональных выставок. С того памятного дня началось для меня открытие мира Валентина Папко, общение с человеком, наделённым великим даром отражать время, слышать чужую боль, переносить на холст красоту земли и “души изменчивой приметы”.

Работы Валентина Папко, я уверена, – один из ценнейших вкладов в культурную сокровищницу России. Родившись на кубанской земле, свой талант он посвятил родному краю, украшая и воспевая его, открывая малоизвестные страницы его истории, раздумывая о прошлом его и настоящем, прозревая будущее. Если сравнивать художника с композитором или писателем, пожалуй, созвучными его картинам я назвала бы “Курские песни” Георгия Свиридова, с их синтезом академического и фольклорного искусства, с их ярчайшей интонационной и тембровой палитрой, и “Русскую тетрадь” Валерия

МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО Светлана Николаевна родилась в станице Новопокровской на Кубани. Публиковалась в журналах “Наш современник”, “Дон”, “Кубань”. Автор нескольких книг прозы и публицистики. Руководитель Кубанского регионального отделения СП России. Живёт в Краснодаре.

Гаврилина, воплотившего в хоровом музицировании образ северорусской крестьянки. И ещё я поставила бы созданное художником рядом с литературным наследием его тёзки Валентина Распутина, так много сказавшего в романах “Живи и помни”, “Прощание с Матёрой”, “Дочь Ивана, мать Ивана” о русском характере и судьбе. По году рождения писатель и художник – ровесники. Валентин Папко родился в сентябре 1939-го в станице Новоминской Каневского района. Вскоре началась война. Памяти о пережитом хватило на всю оставшуюся жизнь. Тема Великой Отечественной – самая напряжённая доминанта в творчестве мастера. Видя созданное им, понимаешь: главной своей миссией на земле считает он свидетельство о виденном, рассказ о самой кровопролитной битве светлых и тёмных сил. Увековечить победителей, солдат, ветеранов, их матерей, жён, сестёр – вот главная задача его творчества.

Спасаясь от оккупантов, мать художника, Нина Ивановна, увезла малыша в зерносовхоз Тихорецкий. Картина “Земля и небо моей памяти” – свидетельство тех дней, когда на еле живых после зимовки бурёнках женщины прокладывали борозды, чтобы бросить в них последние хлебные зёрна. И никто не знал, доживёт ли до нового урожая. И никто не знал, сколько ещё будут лететь на восток эти чёрные, грозно рычащие в стылом небе немецкие самолёты. А дети, боязливо жмущиеся к материнским коленкам, думали, что так было всегда, ведь они не видели другой жизни.

После освобождения Кубани от фашистов семья Папко вернулась в Новоминскую, где Валентин впервые взял в руки карандаш. Художник вспоминает, как брат отца, танкист, привёз ему, пятилетнему мальчишке, толстую тетрадь, вроде какой-то амбарной книги. У матери оказались четыре цветных карандаша: красный, жёлтый, синий и коричневый – главные базовые цвета. И вот этими карандашами она нарисовала сынишке картинку – джунгли с ярким жёлтым солнышком и высокими зелёными деревьями. “И в комнате стало теплее, – вспоминает Валентин Фёдорович. – Я открывал картинку и не мог наглядеться на неё”. Потом были новые рисунки – Нина Ивановна, как могла, радовала ими сына. А вскоре и он сам потянулся к бумаге.

Подросткему мальчику карандаши и краски выписывали из Ростова, потому что в станице купить их было невозможно. В 1956 году семнадцатилетний Валентин уезжает в Краснодар, сдавать экзамены в художественное училище. От своего нового товарища – абитуриента Гриши Когана – за два дня до вступительных испытаний он узнает, что такое палитра, этюдник. Григорий взял его с собой на пленэр. И первый в жизни будущего художника этюд – это изображение Троицкой церкви, что неподалёку от Тургеневского моста в Краснодаре.

По результатам экзаменов и Григорий, и Валентин набрали 15,5 балла, до проходного им не хватило всего полбалла. На предложение остаться в училище на правах кандидата Валентин гордо отказался. А вот Гриша Коган согласился на кандидатство и через полгода был зачислен в списки студентов первого курса. Как будто знал, что на следующий год набора в училище не будет.

Валентину же пришлось подать документы в Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого, где он учился с 1957-го по 1959 год, а в 1960 году перевёлся в Краснодарское художественное училище и окончил его с отличием.

Своё образование Валентин Фёдорович завершил в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшем Строгановском) на отделении монументальной живописи в мастерской народного художника СССР и действительного члена Академии художеств СССР Г. М. Коржева.

Мне не раз приходилось слышать, с каким глубочайшим уважением говорит Валентин Фёдорович о Гелии Михайловиче. Своему наставнику посвятил он недавнюю работу “У своих. Памяти Г. М. Коржева”, где, бережно прикрытый шинелью, спит мальчишка и его маленький дружок-щенок под надёжной охраной бывалого воина-пехотинца. Бой закончен, тлеют угли пожарища, и уже пробился на свет первый робкий подснежник – символ пробуждения жизни.

Думаю, не ошибусь, если назову знаменитого художника Г. М. Коржева своеобразным чутким и точным камертоном, по которому строит свою жизнь его талантливый выпускник Валентин Папко. И не только законы живописи, каноны “сурового стиля” продолжает, но и правила жизни учителя важны и близки ему. “Жизнь вне искусства, вне живописи для меня попросту утра-

чивает всякий смысл. А в творчестве я более всего дорожу свободой. Свобода – писать то, что я хочу и так, как чувствую и могу”, – под этими словами учителя, я уверена, поставил бы свою подпись и его ученик.

Я не ставлю задачу охватить творческий путь В. Папко в хронологической последовательности. Я лишь хочу рассказать о собственных наблюдениях. О том, что незабываемо живёт в моём сердце. Наверное, я не была бы сегодняшней без работ Валентина Фёдоровича.

И потому начну с полотна, которое очень многое рассказало мне об авторе и, самое главное, помогло разобраться в сложных, жизненно важных вопросах.

“За Родину” (1986) – на картине изображено поле жестокой битвы, бой в самом разгаре, зарево пожаров, небо закрыто клубами дыма. На переднем плане – падающий с взвизгивающего в прыжке белого коня сражённый пулей знаменосец, на втором – перехватывающий из его рук красное знамя казак-всадник с оголённой, будто звенящей от напряжения шашкой.

Как сделана эта работа! Сколько силы в летящем белом коне, как почти коснулось земли уже мёртвое тело знаменосца, как уверенно, точно, мощно перехватывает древко знамени, похожего на огромное, обращённое к небесам крыло, мгновенно оказавшийся рядом кубанский казак на лихом гнедом! Картина захватывает и, кажется, движется!

Искусствоведы делят творчество Валентина Фёдоровича на два периода: 70–80-е годы и конец девяностых – двухтысячные. Практически каждое живописное полотно последнего десятилетия имеет сюжет, сродни рассказу, повести, роману.

“Блудный сын” – размышление художника о конфликте города и деревни. Да, пожалуй, это – стержневая тема работы, но как много сказано о героях картины помимо неё! Раннее летнее утро ещё туманится лёгкой дымкой над гладью реки, камышами, уходящей за горизонт степью. Солнце взошло недавно, и народившийся день будто замер в своей утренней чистоте. Именно в эту минуту особенно трогает сердце красота родной земли. Вот почему не спится “блудному сыну” – городскому жителю, приехавшему, видимо, в отчий дом на побывку. Так наскучался он по родной станции, что ночлег они с женой устроили на чердаке сеновала, открытом в сторону реки. Герой картины сидит спиной зрителю, понурился. Уже немолодой, растерявший половину шевелюры, с выпирающими лопатками, словно поработавший и заметно износившийся коняга... А прямо на зрителя обращена женщина, почти нагое юное тело её идеально вылеплено, волосы разметались по подушке. Но рука, прикрывающая лицо, напряжена. Значит, в столь ранний час женщина не спит. Прислушивается, как вздыхает он, как, может быть, тербит травинку или ломает спичку. Жизнь движется стремительно, улетели молодые года, а что в остатке? Скорее всего, городская жизнь не складывается “рядком да ладком”. И стал он горожанином, бросив родню в станице ради городской дивы, уж больно молодая и ухоженная женщина рядом с ним. И вот смотрит теперь на речные дали, на стоящего на берегу, словно немой укор, старика-отца, обречённого на сиротскую старость... Картина, на первый взгляд напоённая утренним покоем, вся составлена из конфликтов – между городом и деревней, между сыном и отцом, между мужчиной и женщиной.

В противовес “Блудному сыну” целый цикл работ, которые я бы объединила общим названием “Тёплая земля” (одноимённое название у каталога, выпущенного к юбилейной выставке художника в 2005 году, и небольшого пейзажного полотна). Это и “Отставной капитан Марья Ивановна”, и “Поцелуй у калитки”, и “Кукует кукушка”, “С покоса. Большая луна”, “Сельская мадонна”, “Старая яблоня”, “Лето господне”. И пейзажи, на которых у В. Ф. Папко обязательно присутствует человек, – стожок сена, привязанная лодка, сельские хаты, еле различимые на степных увалах лошади и пастушки, и т. д. “Станичная любовь” – написана в 1983 году. Немолодая пара на фоне распаханной степи занимается будничной своей работой. Женщина на ветру просеивает семечки подсолнуха, а мужчина помогает, подгребает лопатой и наполняет вёдра. И вот эта почти идиллическая слаженность, уверенное стояние мужчины и женщины делают землю тёплой. Работа, которая, как сказал мудрец, и есть видимая часть любви, согревает пространство. И, конечно, любовь мужа и жены – верная, до последнего срока, каждую минуту готовы они дать ответ Богу, потому что живут ради друг друга, продолжая свой род и обе-

регая свою землю.

Те же открытые чувства в глазах героев на картинах “Иван да Марья” (2007) и “Снег выпал” (1996). И, кажется, слышишь счастливый женский смех, любясь румяными на морозе лицами. И уверенно знаешь теперь: есть в жизни счастье! Вот оно – простое, человеческое, которое не зависит от слова “успешность”. А ведь мы даже не заметили, как именно им подменено в наши дни то самое понятие счастья человеческого, напрямую связанного с душой. Нынче же, как убеждают нас СМИ, главное в жизни – именно успешность, благополучие и комфорт. Но принесут ли они счастье?..

“Перекры́сток. Звонят колокола” (2003) – это полотно никого не оставит равнодушным. Поток машин, закрывающих переход к православному храму красного кирпича, с огромной фреской Богородицы с младенцем Христом. Тормознув на светофоре, из окна иномарки смотрит на молодого инвалида дева явно не пуританского поведения. Мужчина-инвалид без ноги, на костылях стоит спиной к зрителю. Мы не видим его глаз, его лица. Как может отвечать он на явно провоцирующий своей усмешкой женский взгляд? По тому, как напряжены накачанные бугры мышц на плечах, жёстко-прямой спине, понятно, что герою не до смеха. Может быть, когда-то, до службы парня в горячей точке, – а ногу он потерял точно не в мирной жизни, – они были знакомы с девушкой. Он направляется в храм, она – на вызов. В зеркале видна ухмылка сутенёра... Да, девица улыбается, она в шикарном авто, но встретит ли она счастье на своём пути?

Как и девочка с полотна “Малолетка. На дорогах России” (2009). В правой половине картины, в полуоборот к зрителю, до пояса обнажённая фигура бритоголового дальнбойщика, лет сорока, массивного, уставшего от знойного дня, тело лоснится от пота и, кажется, кабина фуры за ним ещё дышит жаром. Упершись руками в бока, чуть опустив массивный подбородок, он цинично смотрит на малолетку, оценивая, и, видимо, соображая, стоит ли брать её в свою машину... .

В левой половине картины – огромное закатное солнце. В багровых подпалинах лежит равнина с голубой прожилкой реки, упирается в слоистое от облаков небо. На фоне раскалённого малинового шара стоит девочка в голубом коротком платьице, не зная, куда деть руки, не в силах поднять глаза на дядю-дальнбойщика, принимающего сейчас решение. Впереди ночь. Дорога пуста. Что будет с ней, когда так похожий на прожжённого зека “дядя” возьмёт её с собой? А если останется одна на ночной дороге в степи?..

Не могу не сказать о картине “Падение” (2006), где изображён бездомный художник, спящий прямо на асфальте после внушительной дозы спиртного, рядом с ним – его молодая жена с плачущим ребёнком. Ещё одно созвучное по теме полотно – “Бездомные. По России”: палуба баржи, на первом плане – чемоданы, баулы. Сгорбившись, полностью погружённые в нерадостные думы сидят старик и его жена, и даже малолетние внуки притихли, пригорюнились, почуствовали, видно, настроение стариков. Реют, купаются в вольном ветре над водой белые чайки, плывёт вдаль панорама города с куполами церквей. Но слишком чётко видна надпись на открывшейся вдруг двери в кубрик “НЕ ВЫХОДИТЬ”, написанная красной краской... .

Конечно, перечисленные работы – это картины-обвинения, сродни тем, что писали передвижники, когда щемящая боль вложена в каждый холст и в каждый мазок! Глядя на них, кто-то, быть может, и скажет: “Ну, вот уж... ну, зачем же так...”

Да, среди роскошных пейзажей и натюрмортов, обычно в массе представленных на нынешних выставках, именно полотна Валентина Папко тревожат сердца, взывают к милосердию, рассказывают, обличают, вопиют и вопрошают.

В цикл, названный Валентином Фёдоровичем “Россия”, вошли полотна, написанные в 2011 году. Открывает его картина “Закрома 1933 года”, которая посвящена жертвам голодомора, она написана по воспоминаниям матери художника, семья которого выжила лишь благодаря мышиным норам в степи, где зверьки прятали зерно, – этот “хлеб” не смогли конфисковать власти.

Далее – целый ряд работ, посвящённых Великой Отечественной. “Шёл солдат”, где на берегу реки сушит портянки и сапоги рано поседевший победитель, с медалями и орденами на гимнастёрке, задумчиво глядит он на разгоревшийся костёр. “Саженьцы издалика” – по тронутой первой оттепелю

сельской дороге идёт солдат-инвалид на протезе, идёт, опираясь на палку, но играет улыбка на его добром лице! Ведь и в руках, и за спиной несёт он саженьцы, а из-за пазухи выглядывает крохотная белая собачонка. Сколько оптимизма в этой работе! И сколько трагизма в “Даже не снилось”, хотя, на первый взгляд, показана идиллическая картина семейной спальни: спящие молодые родители и младенец, но, возможно, это последняя минута в их жизни! Ведь небо в окне уже закрыто армадой фашистских бомбардировщиков. И виден силуэт старухи-матери, она стоит спиной к зрителю, обречённо опустив руки.

И “Спасительный свет”, где ждут машину будущие молодые родители, и “В райцентр. В роддом”, и “Вдовы” — из далёкой военной памяти художника.

Монументальные работы Валентина Папко несут в себе черты древнерусской иконы. Получая столь высокое классическое художественное образование, нельзя было не соприкасаться с сюжетами на библейские темы. Сам художник обратился к ним в двухтысячных. Одна из таких картин — “Слеза Иуды” (2008). Это эмоционально насыщенная и многослойная трактовка-прочтение хорошо известного сюжета, в которой важен каждый элемент. Иуда у Валентина Папко — почти седой старик, с лицом, изрезанным грубыми морщинами. Композиция картины сложная, зритель видит лишь тень распятого Спасителя, видит лестницу и мощные лодыжки стоящего на ней мучителя Христа. Вдали — народ, пришедший к месту казни. И прямо на зрителя, опустив голову и смахивая слезу, движется Иуда, глаза и лицо его чуть опущены, так что нельзя понять — маска это или действительно слезу раскаяния стирает он со щеки. По виду стоящего позади него стражника с копьём, по саркастически-лукавой улыбке его при виде плачущего становится ясно, как стражник оценил актёрские способности Иуды. Охранник хорошо знает, кто предал Христа, но сподвигнет ли его Господь узнать когда-нибудь, какова истинная цена мутной слезы Иуды, предавшего Спасителя?..

И в заключение, говоря о творчестве кубанского художника Валентина Фёдоровича Папко, могу утверждать, что во всех перечисленных мною работах есть главное, что их объединяет, то, что дано миру от начала его: центр Вселенной — человек. Господь сотворил мир и в последний день творения создал человека. И весь мир подчинил человеку. Вот эта мысль, что мир создан под человека и живёт в человеке, красной нитью проходит через творчество Валентина Фёдоровича. Через все его полотна, написанные и в молодые годы, и созданные сегодня и сейчас, проходит тема любви к людям, любви к ближнему своему. И это своё понимание Божественного устройства мира Валентин Папко утверждает всеми своими произведениями и убеждает в нём нас.

Вот что пишет сам художник в статье о современном искусстве “Вместо любви к человеку — концептуальное трюкачество”: “Искусство, которое выражает дух эпохи, — это и есть АВАНГАРД. Художник, который в своей жизни сделает одну хорошую работу, отмечен Божьей милостью. Но каждую картину следует делать, как долг, как молитву. Труд художника должен стать молитвой за своих сограждан, за бездомных, за брошенных малолеток, за забытых стариков, за героев Отчизны, за “братьев наших меньших”, за небо, за землю, за Россию, чтобы мы видели всегда поля, горы, леса”.

В минувшем году Валентин Фёдорович Папко, профессор, декан отделения монументальной живописи Краснодарского государственного университета культуры и искусств, отметил свой юбилей. За годы нашего знакомства я никогда не слышала ни нотки снобизма в его голосе. Он прост в общении, сдержан на эмоции, порой немногословен, и в то же время, если разговор касается горячей для него темы, — убедителен и категоричен в своих оценках! Он очень много работает в мастерской, где нет отопления. Но это, по мнению художника, не повод “мыть кисти”. И потому на юбилейной персональной выставке будет представлен целый ряд совсем новых его работ. Они без ложного пафоса и актёрства, как “Эх, дороги”, “Будем жить”, продолжают прямой разговор на самые трудные темы, а порой, как полотно “Разные судьбы”, они гремят набатом, взывая к ныне живущим от имени павших!

Крайне важно, чтобы не остались в стороне от затронутых художником тем наши дети. Не прошли мимо, стыдливо опустив глаза... И крайне важно нам всем быть участниками этого разговора!

Я желаю Валентину Фёдоровичу Папко долгих плодотворных лет жизни и крепкого здоровья ему и его близким!

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

РЕЧНЫЕ ПИСАТЕЛИ: ВИКТОР АСТАФЬЕВ И ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Так случилось, что в двадцатом веке именно эти писатели взяли на себя ношу великой русской литературы и, поразив своими книгами самых щепетильных читателей, стали настоящими классиками. Литература наша, всегда жившая подлинным, исконным, отторгая город с его элитарностью и западными веяниями, обманула цивилизацию и проложила себе основное русло через Сибирь – край, где русское ещё сохранилось нетронутыми очагами, как местами оставался соболь после убийственного перепромысла в начале двадцатого века.

Сто раз говорено, что город, пусть самый красивый и значимый, – человеке детище и наследует все человеческие грехи. В отличие от него природа – творение Божие, именно поэтому такая мощь и исходит от неё, и, питая художника, она заставляет соответствовать, равняться, а иногда и выстраивать заново. Эта нечеловечья мощь ярче всего проявляется в сибирских реках, не только могучих на вид, но и важнейших по сути, поскольку от них напрямую зависит жизнь в этих суровых краях: это реки-дороги, реки-кормилицы, реки-учителя... И чтобы до конца понять двух русских писателей Астафьева и Распутина, надо хорошенько представлять, что такое для Сибири реки Енисей и Ангара.

Итак, главный фарватер русской литературы прошёл именно по этим великим водным жилам, за каждую из которых будто отвечал свой писатель: за Ангару – Распутин, за Енисей – Астафьев. Страшное географическое противоречие современной России – смещение Центра к Западу, тогда как самые непостижимые и глядящие в будущее территории расположены от него далеко к востоку. Однако для таких людей, как Астафьев и Распутин, центр жизни там, где живут они сами, а главное – где живут их герои. Герои Астафьева, его необыкновенно личной автобиографической прозы крепчайшими жилами привязаны к “Батюшке-Анисею”. И мощь эта человеческая, да и литературная, происходит именно от этой непостижимой реки.

До сих пор идут споры, что считать Енисеем: сам Енисей от Кызыл-Хэма или Енисей с Ангарой, вытекающей из Байкала и впадающей в Енисей вблизи Енисейска, удивительного города-музея, бывшей столицы Енисейской губернии.

Судьбы Енисея и Ангары и схожи, и различны. По этим рекам шло освоение Сибири с запада, по ним исконно лепились станы, расположенные друг от друга на расстоянии, удобном для смены коней, и именно на этих берегах, прижатых тайгой к воде, и жила-развивалась русская жизнь со своими радостями и горестями.

Пожалуй, Енисею в борьбе с беспросветным человеческим бездушьем повезло больше, чем Ангаре, единственной вытекающей из Байкала реке, которая, особенно с воздуха, поражает на выходе своей ясно-синей водой. В отличие от Енисея, прямого, как труба, она по-женски извилиста, изобилует островами и протоками и разливается меж коренными берегами, называемыми матёрой (от слова материк), необыкновенно широко. Она вся – как Енисей в Вороговском многоостровье, удивительном месте чуть выше впадения Подкаменной Тунгуски. Здесь, за знаменитыми скалистыми “щеками” – непомерная ширь меж коренными берегами, а огромный разлив изобилует островами, протоками, тальниковыми поймами.

Покосы на Енисее – узкие полосы заливных лугов, многие из них расположены далеко от посёлков, так что зимой ещё замучаешься сено вывозить на коне или снегоходе – дорог-то нет. Ангара в этом смысле идеальна для сельского хозяйства – огромные покосы прямо на островах, живи и ставь сено в одном месте, под боком. Именно на таком острове и происходило действие повести В. Распутина “Прощание с Матёрой”. Протоки меж островами образуют прекрасные рыбы нерестилища, а сколько зверя в поймах, сохатого и всякой прочей живности – любой охотник позавидует! Живи – не хочу! Недаром целый ангарский уклад сложился на этих красивейших берегах, необыкновенно яркий и крепкий. На Енисее, уходящем к Ледовитому океану, эта основательная нота прекращается – начинается остяцкий Север, где всё переливается приполярная промысловая нота – охотничье-рыбацкая.

Лес на берегах Енисея разный, но в основном это кедрачи, ельники, лиственничники. Ангара же в основном светлохвойная, лиственнично-сосновая. Строевые сосновые боры на ней уникальны, и в этом-то оказалась беда её. Если по енисейским деревьям разрушительной лавиной прокатилось укрупнение, то Ангара подверглась ещё и налёту леспромхозного беспредела. Попаехало всякого народу, смешавшего-замутившего вековечный уклад и названного Распутиным в повести “Пожар” “архаровцами”. В довершение всего в леспромхозы, где больше платили, ломанулось население из колхозных деревень, особенно молодёжь. Боры вырубались, делянки всё дальше забирались в хребет, разгоняя зверьё. Не отстала и пора ГЭС, на Ангаре их аж три штуки: Иркутская, Братская и Усть-Илимская. Да ещё и недостроенная Богучанская, за которую не так давно снова взялись энергетики – к ужасу ангарцев.

История стройки гидроэлектростанций и затопления деревень – одна из самых болевых тем Сибири. На Красноярском море есть такая традиция – каждое лето на пароходике едут жители затопленных деревень и над местом, где когда-то стояли их дома, поднимают стопочку, поминают прошлое.

Всё это надо знать читателю, чтоб до конца понять великую боль Астафьева и Распутина за тот Божий мир, который дан человеку на уход и преобразование, а получает от него одно нерадение. Веками великих трудов и лишений наживался уклад и требовал одного – служения исконному и вечному. “Батюшка-Анисей” сам всё объяснит и скажет: когда сено ставить, когда соболя бить, а когда селёдку промыслить. А ты не мудрствуй и слушайся, да смири гордыню, иначе будешь, как Гога Герцев, лежать в речке с проломленной башкой.

Разные реки Енисей и Ангара. Ангара представляется красивой и широкодушной женщиной, Енисей – мужиком с прямым и крепким характером. Но везде река – как мера, как основа, а природа – как учитель, как стержень, ведь именно её годовой круговорот и руководит человеком, требуя лишь одного – быть её достойным. Это касается любого дела – и рыбацкого, и охотничьего, и плотничьего. И писательского тоже! И как прекрасно выравнивает жизнь каждого человека Енисеем или Ангарой! Как почётно и писателю быть таким же учеником, как простой ангарец или сельдук, как герой “Царь-Рыбы” Акимка, для которого главный сюжет его жизни – Енисей.

Вот как писал об Ангаре Валентин Григорьевич Распутин:

“Я верю, что и в моём писательском деле она сыграла не последнюю роль: когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел – и от во-

шедшей в меня красоты обомлел, а также от явившегося из неё сознательного и материального чувства Родины”.

И ещё:

“Я уверен, что писателем человека делает его детство, способность в раннем возрасте увидеть и почувствовать всё то, что даёт ему затем право взяться за перо. Образование, книги, жизненный опыт воспитывают и укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться ему следует в детстве”.

* * *

Поперечник России в районе Красноярья, то есть расстояние от юга Тувы до Диксона на Таймыре примерно 3000 километров. Да разве кому-нибудь на западе придёт в голову, что Смоленск и Мурманск, стоящие на одной долготе – части единого и строгого целого? А на родине Астафьева так оно и есть, Енисей – это один мир, одна территория, объединенная одной рекой-дорогой – огромной, крепкой, мужественной.

И писатель В. Астафьев – под стать Енисею: такой же кряжистый, крепкий, мужицкий и в своих книгах насквозь речной – пароходский, лодочный, рыбный. Описанию различных рыб и рыбалок посвящены многие строки его произведений. Сами названия за себя говорят: “Карасиная погибель”, “Уха на Боганиде” да и “Царь-Рыба”... Детство писателя прошло на берегах Енисея: от Овсянки на юге до приполярной Игарки – неплохим “плечом” длиной 1700 верст пролегла человеческая судьба! Крепко, пуповинно перевязана она с великой рекой. Так крепко, что крепче не бывает: матушку писателя навечно забрали суровые воды.

Пересказывать романы писателя бесполезно, хочется дать главную ноту, отзвук, с каким прозвучал Виктор Петрович в лучших своих книгах “Последний поклон” и “Царь-Рыба”. Нота эта так же разнообразна, как сам Енисей в разные времена года, в разную погоду. Но она всегда исповедальна, летописна, житийна. Она живёт по законам лирики, и всё происходящее в книге – сугубо субъективно и пропущено через “я” автора. Она пронзительно поэтична и стихийна, а ведь было у кого учиться этой стихийной мощи, когда “Батюшка-Анисей” под боком!

Виктор Петрович не делил литературу на жанры и всегда в едином напряжении силы и честности писал о своём главном и в повестях, и в “Затесах”, и в предисловиях. И так же звучал его голос в выступлениях. И как чередуется на Енисее сизый штормовой вал с зеркальной безмятежной гладью, так в его произведениях возникает то погребельная интонация доверенных рыбалок, то звонкая, как росистое таёжное утро, симфония жизни, то тихое, как белая ночь, откровение. И всегда его голос остаётся пронзительным, как возвращение молодого Витьки с войны к стремительно постаревшей бабушке.

До чего сибирские реки огромны и – линейны, что ли! С парохода, а особенно с вертолёта планетарно бескрайними выглядят плёсы, береговые линии, как по линейке выровненные непомерной работой воды и льдов. С галечниками, поймами, островами... Кажется, огромные ножи лежат, металлически поблескивая на солнце. Как побороть пером это величие, как подобраться к гладкой алюминиевой шкуре, не соскользнуть с алмазного лезвия плёса, как всверлиться, прокопаться туда, каким надфилем? Каким буром забуриться в двухметровый лёд, чтоб заговорила речная громада, живым бугром пробилось слово, заходило по кругу, забирая душу? Никто особо и не пробовал – и вот Виктор Петрович впервые в истории взялся за Енисей. Только догадываться можно, как трудно ему было, первому... И вот сделал он шаг, ступил из стальной параллельности в этот бурелом, чапыжник, “шарагу, вертепник или попросту дурнину”.

С какой любовью Виктор Петрович разгребает эти приречные завалы, роется в тальниках, черёмушниках, копается в самой мелочёвке, пытается разговаривать “Батюшку-Анисея” через какого-нибудь ручейничка или другого бикарасика. А дальше пошло-потянулось, и раскручивается, как верёвочка, великая круговая порука всего живого, великий Божий круговорот – харюз съел ручейничка, харюзка – таймешек, таймешка человек поймал – голодных ребятишек накормил... А глаза поднимешь – надо всеми ними стоит приполяр-

ное небо и учит художника вечной тишине и высоте, любви и смирению, умению каждой красочке-веточке дать место.

Всё-то у него сильное, говорящее, если речка – то угорело петляющая, если пелядка (рыба такая сиговая) – то аж вся жиром истекает... Всё делается с порывом, размахом, повально: если уж рыба, то валит валом, если жрёт, то жрёт, комар если задавной – то задавной, и в этой одушевлённости природных сил небывалым образом енисейская душа и выражается. Есть целые породы здешних мужиков, которые именно так и говорят, и чувствуют, одушевляя всё вокруг, и в первую очередь, Енисей. “Анисей воду взвёл”, “теперь обирает с берегов”... – то есть обирает с берегов лёд. Обязательно надо наделять природу волей, представить как некое огромное существо с огромными своими желаниями, хозяйственными заботами, по сравнению с которым человек мелочь, вроде ручейника.

Любимые герои Астафьева – дети Батюшки-Енисея, принявшие его правила, живущие по его закону. Такое верное и святое дитя – Акимка, весь искорёженный жизнью, с брюхом, присохшим к хребту ещё с голодного тундряного детства, весь побитый морозами, крученный, как полярная листовка из юности Виктора Петровича, и такой же негибаемый, неказистый, тщедушный, но с огромной душой нараспашку.

С великой нежностью относится Виктор Петрович к таким Божьим людям, которые будто на ладони со своими бедами-радостями. И не терпит обуянных гордыней, возомнивших себя сильней и независимей Бога. Гога Герцев вроде бы рукастый, опытный, тёртый и совсем не горожанин-белоручка. Он и с “тозовки” лупит отлично, и топорщице у него ладное. Но нет, не пронять этим Виктора Петровича, поэтому и наказывает Гогу, этот персонаж-идею, даже не автор, а Батюшка-Енисей через одну из своих подопечниц-речек.

К слову: удивительно слабым и бесцветным выглядел фильм по одной из глав “Царь-рыбы” под названием “Сон о белых горах”. Эта несколько приключенческая история, в которой многие не желали узнавать Виктора Петровича, на самом деле тоже вполне его. Енисейские охотники были особенно тронуты и взбудоражены ею. Помнится, ещё во времена, когда население по-настоящему жило книгами, один из них с жаром говорил: “Не, ну ты представляешь, приходит мужик в зимовье, а там баба!”. Этот момент, жизненный и острый, уловил своим чутьём Виктор Петрович – каждый охотник мечтал о таком приключении. А фильмец получился и вправду слабый – больше всего убило, что съёмщики даже поленились на Енисей слетать. Только в титрах идут осенние виды тайги, снятые с вертолёта, похоже, где-то под Красноярском, может быть, на любимой киношниками Мане. Остальное снято, скорее всего, в Карелии: европейская природа и совсем не похожий на тайгу елово-сосновый лесок и бараньи лбы. Да и малоубедителен главный герой, крепыш Кононов. Никак он не вяжется с тщедушным Акимкой. Не спасает даже суконная куртка-азям, к которой зачем-то пришили какие-то прямо газыри для патронов – никто в жизни на Енисее таких газырьков не видывал. Ладно...

Не принявшие правила справедливости и добра – не обязательно пришлые на Енисее. Почти так же жестоко наказан ещё один герой “Царь-Рыбы”, вроде бы уважаемый енисейский мужик Игнатич, который оказался вовсе не таким образцовым, как думалось, а при ближайшем рассмотрении и вовсе гнилым. Это рассказ о грехе и возмездии. И человек здесь не победитель, как в “Старике и море”, а побеждённый, посягнувший на неподвластное, наказанный за эгоизм и жадность...

А для тех, кто не знает, – крючки самоловные штука действительно опасная, потому без ножа никто и не ездит на рыбалку: если вдруг подцепился в горячке – отмахнул коленце и спасён. Тема эта старинная промысловая, да и, если смотреть шире, жизненная: поставил ловушки – гляди, сам не влети.

Самолов ставят на течении, крючки привязаны капроновыми поводками к хребтине – верёвке с грузами, лежащей на дне. К крючку на симочке крепится пробочка, заставляющая крючок стоять, вибрируя на течении. На него и набрасывает струёй стерлядку или осетра. Всё дело в движущейся, скользкой водной стихии: чтобы понять работу самолова, надо представить, будто не вода со стерлядками несётся сквозь ловушку, а наоборот, неподвижную воду, полную рыбин, тралят крючки. Никакая стерлядка, конечно, не “играется” с крючками – это для красного словца говорилось стариками, хотя

в старину даже красные тряпочки привязывали к крючкам, чтоб интересней было рыбе “играться”.

Рыба протыкается крючком за тело и болтается на течении, рвя шкуру, пока её не снимет рыбак. На самолов в основном ловятся рыбы бесчешуйные – шкура легче протыкается крючком.

Памятник Царь-Рыбе по дороге в Дивногорск изображает осетра и раскрытую гранитную книгу Виктора Петровича. Только осётр почему-то попал в сеть, а не в самолов, либо скульптор не знал тонкости, либо кто-то остерег от изображения самолова, дескать, запрещённая снасть, лучше не лезть в эту болезную тему: вдруг инспекция недовольна будет.

В прежние времена верёвка была не капрон, а обычная, гниющая, крючки – ржавейка, и пробочки из бересты, самокрученные, а главное – ставили и смотрели ловушку на гребях, а не на моторе. Всё это было нелегко и требовало большого труда. Да и аппетиты другие были: рыбой никто не торговал, как сейчас, а добывали “поись”. Нынче борьба совсем уж неравная – о неравенстве её и писал Виктор Петрович.

Снулых (то есть не живых, погибших) рыб выкидывают – ими можно отравиться, был случай, когда один командир “Ми-8”, поев в гостях такой осетрины, начал слепнуть в полёте и еле посадил машину. Ему повезло: зрение вернулось – отравление оказалось не сильным. Обычно рыба на самолове гибнет от того, что ловушку редко проверяют; если вовремя посмотреть, ничего подобного не будет. Высмотрю самолова могут мешать две вещи: сильный вал на Енисее или подошедшая рыбинспекция. Тогда рыба и пропадает. Мужики бухтели на Виктора Петровича, что сгустил краски, описывая самоловщиков. Долго обсуждалось, как “прописал неправильно”, “во скоко выкинул снулой стерлядки!”, “так не бывает”, “да и вообще нас, браконьеров, не понял!” и так далее. Рыбаки-охотники любят, когда их жизнь описывают с дошностью пособия по промыслу да ещё и с одобрением и восхищением их трудом и образом жизни! Не на того напоролись! Астафьева с его обнажённой, всеотзывчивой душой по сердцу резала жестокость этой ловушки, где рыба мучается часами, рвя шкуру, срывается, калечится. И писателем руководила не жажда создать фотографической точности документ, а боль за Божью тварь и ненависть к хапужничеству.

Но ещё сильнее болел он, задавая главный вопрос: да почему на такой богатой земле так нескладно всё выходит, как в этой Шуши (селе Ярцеве вообще-то), где всего несколько машин, которые давят народ? И почему в посёлке Бор, который стоит в таком прекрасном месте (это уже из “Затесей”) – такая помойка? Восхищение Божьим миром и горечь за нерадивость людскую – вот главные ноты его творчества.

У обоих писателей – и у Распутина, и у Астафьева – обострённо-кровное чувство “нашего” – по-другому и быть не может, если чувствуешь свою землю так, что сколько книг ни пиши, а всё равно будто и не сказал ничего... Всё в начале пути – оттого-то и написано так много.

Мой любимый рассказ Астафьева – “Капля”. Прочитайте его отдельно. День на него выделите. Отрешитесь от всего. Вот сейчас только перечитал в который раз – и снова накатило, когда подобрался к этой великой таёжной ночи на речке Опарихе, несколько раз останавливался, откладывал книгу... Когда читаешь подобное про Сибирь, душа достигает такого трепета, что кажется: нет уже авторства у этих слов, а есть нечто необъятное, наше общее с писателем, и что эти огромные слова существовали исконно... И в который раз ты вместе с Астафьевым встречал это пронзительное утро, подкравшееся так незаметно за размышлениями о главном...

Необыкновенно тонко описаны все состояния тайги, причём обязательно как единого целого, как круговорот взаимобязанностей. За версту слышно неловко севшую в дерево копалуху (глухариную мамку). Крохаля, сплавляющиеся по речке, озадачены костром и настороженно перекликаются. В тайге бывает издали слышно, как копалуха или глухарь садится в дерево – этот звук жизненно значим для охотника: когда собака осенью на охоте поднимает глухаря, необыкновенно важно, улетел он или всё-таки сел?

Крохаля – есть на таёжных речках такие рыбацкие утки с клювом, как пилка, только мягоньким – почуяв-увидев костёр, начинают беспокоиться, переговариваться: подмечено это необыкновенно тонко. А сова! Которая уменьшилась, оплыла, прижав перо к телу! В каждой такой строчке – целый

огромный мир, целая картинка, и одна жалость, что полностью оценить это может лишь тот, кто всё это сам пережил. Жаль тех, кому не повезло, но зато у них есть возможность с чистого листа представить себе картину так, как подсказет им воображение.

И снова читаешь, со светлой завистью отмечая слово “сеево”:

“Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за острие высокой ели и без всплеска сорвался в урёмную гущу. Сеево звезд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли”.

И дальше: “Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжёлую воду, батюшка Енисей принимал в себя ещё одну речушку, сплетал её в клубок с другими светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи вёрст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтоб капля по капле наполняя силой вечное движение”.

Длилась, нарастала эта светлая таёжная ночь, и всё шли на подъём переживания души, и так работало сердце, что наконец почувствовал человек “вершину тишины”. Как сказано и как описано это чувство – чувство вершины, чувство перелома, когда и сам человек не в силах долго оставаться на острие переживания и должен знать меру, посильность и цену великого.

И вот огромное с маленьким смыкается и наступает предел, когда повисает капля, готовая обрушить весь мир. Со всей силой пережитого на войне писатель чувствует погибельное состояние мира и молит каплю, сияющую на талиновом листе, повременить... Потому что она сияет и держит этот мир в сохранности – символ великой Божьей гармонии и красоты. Хрупкая, как добро. Но как сказал замечательный батюшка из Новосибирска, отец Феодосий: “Если бы не было добра и Бога, зло давно бы победило”. Не случайно разговор с каплей происходит, когда спят ребята, за которых Петрович в ответе, спит Земля, и Виктор Петрович будто бдит этой белой таёжной ночью, охраняет сон планеты, всех её ребят, глухарят, харюзят...

И дальше он говорит о том, что человек нарушил гармонию, – это “моя душа” посеяла тревогу, – а в природе всё покойно и мудро... И дальше следует потрясающее описание копалухи – это именно она тогда шумно садилась в кедрину. Она не просто полетела, а размять крылья, ведь она на гнезде сидела. И тут целая симфония круговой поруки начинается – и про птенцов, и про то, как трогательно присела птица на поляну поклевать прошлогоднюю кислую помятую брусничку. И сразу кажется, будто сам маленький голодный Витька предвоенной весной эту брусничку в Игарской лесотундре клевал, как та копалушка. И вот она снова на яйцах: “горячим телом, выщипанным до наготы, она накрыла яйца, глаза её истомно смежились – птица выпаривала цыпшук – глухарят”.

И незаметно за душевной работой подошло утро – и засветились тысячи капель торжествующим сиянием жизни, и спустя четверть века поражённый этим сиянием автор благодарит Бога, что его не убили на войне, что дожил он до этого утра.

Тем тайга и сильна, что именно здесь и происходят такие открытия. И везде исполняется великим круговоротом Божий замысел, везде извечные тайны: забота взрослых о маленьких, кормёжка, тепло. И незримо присутствует бабушка писателя с её заботой – кажется, даже заgrabной – о маленьких Витьках, Ваньках, Петьках, не по-детски угруженных жизнью, брошенностью, голодом, ревматизмом... Это книга “Последний поклон”. Её тема – великая круговая порука всего сущего, справедливость и благодарность. А гениальный рассказ “Конь с розовой гривой” – потрясающий образец православного повествования. Специально не буду пересказывать этот рассказ о прощении и покаянии. Его читать надо.

Чувство земли родной – это единственное, что может двигать настоящим русским писателем. Через окружающий Божий мир познаётся эта земля, через природу и почему-то обязательно через мир растений. По-моему, никто с большей любовью и вниманием не писал о них, чем Виктор Петрович. А его чувство осеннего огорода, кровное и глубинно крестьянское, земляное и предковое – оно у него врождённое. И доведены до священнодействия осенние приготовления к зиме: подчищение жизни, приборка и заготовка. Здесь и подведение итогов, и успокоение, и волнение от надвигающейся долгой зимы, которую ещё и пережить надо. “Долгая и стойкая зима-прибериха

снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь...” – какой ритм потрясающий и по звуку, и по смыслу. А года голодные были – “капустка за лакомство токо уходила”. Мелочи часто говорят больше, чем лобовые слова – именно в способности писателя подмечать подробности любимого мира и является нам его щедрость, его способность дать место любой травинке. И вот корова в огороде осеннем стоит и недоумевает, что же произошло: ещё вчера её в три шеи гнали отсюда, орали, хозяйка носилась с прутом. А сейчас успокоились... Действительно, вот и осень. И бык на Енисее запенился белым подбоем, и гуси пролетели мимо, потому что негде им присесть в скалистых местах астафьевской родины. С ноткой извинения сказал-позаботился писатель об усталых гусях, что из таймырской тундры летят за тысячи верст на зимовку, чтобы весной снова вернуться.

И в рассказе “Пир после победы” навсегда остался Астафьев мальчишкой, очарованным мирозданием. Как он, пронзённый войной, вернулся домой и идёт по левому берегу Енисея, чтоб потом переправиться в Овсянку... И у речки Караулки забредает в бакенскую избушку к двоюродному своему братишке Мише. Радость, встреча, разговоры, а потом они ловят в сеть тайменя.

Виктор Петрович описывает этого тайменя две страницы, пораженный, как дитя, его мощью, красотой, его смертью и угасанием. Увеличивая до бесконечности, словно слои снимая, описывает так и сяк его плавник, жабры, каждую крапинку. У него вообще много про угасание ленков и тайменей...

Смерть рыбыны после войны он сам, насмотревшийся смерти, уже видит по-другому – не как убийство, а как добычу. И в том находит великое облегчение.

А дальше следует “Последний поклон” – завершающий рассказ, который так и стоит в конце книг эталоном прекрасного, нравственного, непреходящего. И когда добираться до его встречи-прощания с бабушкой, дождавшейся внука с войны, – это читать почти невозможно, настолько сердце разрывается от простых этих слов. Вот какой строгости и силы набрал Виктор Петрович в лучшей своей книге!

Своей главной ноте Астафьев верен во всех произведениях и в потрясающем завещании-обращении к молодёжи: “Верю и надеюсь, что вы будете достойны и нашей памяти, и той прекрасной планеты, на которой выпало нам жить, а вам продолжать эту жизнь”.

Астафьев – писатель-поэт, писатель-летописец. И тема летописи – постоянная боль о жизненных изменениях, потому что, как ребёнку изначально дан мир детства, так и кажется, что должен он быть незабываемым. Этой очарованностью детством и болью за рушащуюся жизнь пронизаны все книги Астафьева. Они и нас, читателей, наполняют извечным светом – и через бабушку, и через маленького Витьку, который красоту и горечь жизни так трудно и самоотверженно пронёс через свою долгую судьбу. И не зря в конце рассказа “Пеструха”, посвященного Валентину Распутину, бабушка читает Моливу Оптинских старцев.

* * *

Ангара с той кристальной водой, с которой она вытекает из непостижимого Байкала, словно отражает характер прозы Валентина Григорьевича Распутин и ту кристальную чёткость замысла, с которой он воплотился в одной из лучших повестей двадцатого века “Последний срок”. Схожи названия произведений двух писателей: в книге “Последний поклон” тоже слово “последний” стоит на первом месте. И объединяет эти произведения исповедальность последнего рубежа – подведение великой черты, ответственность и почти непоследняя глубина.

Вот что пишет о детстве писателя И. А. Панкеев в книге “Валентин Распутин. По страницам произведений”. Родился Валентин Распутин 15 марта 1937 года в Иркутской области, в посёлке Усть-Уда, расположенном на берегу Ангары, в трехстах километрах от Иркутска. И рос в этих же местах, в приютившейся неподалёку (по сибирским меркам), всего в полусотне километров от Усть-Уды, деревне с красивым, напевным именем Аталанка. Этого названия мы не увидим в произведениях писателя, но именно она, Аталанка, явится нам

и в “Прощании с Матёрой”, и в “Последнем сроке”, и в повести “Живи и помни”, где отдалённо, но явно угадывается созвучие: Атановка. Природа, ставшая близкой в детстве, оживёт и заговорит неповторимым своим языком в книгах писателя. Конкретные люди станут литературными героями. Поистине, как говорил В. Гюго: “Начала, заложенные в детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого дерева буквы, растущие, развёртывающиеся с ним, составляющие неотъемлемую часть его”. А начала эти применительно к Валентину Распутину немыслимы без влияния самой Сибири – тайги, Ангары; без родной деревни, частью которой он был и которая впервые заставила его задуматься о взаимоотношениях между людьми; без чистого, незамутнённого народного языка. В большом автобиографическом очерке об одной поездке “Вниз и вверх по течению”, опубликованном в 1972 году (по сути, самостоятельной повести), Распутин опишет своё детство, большое внимание уделяя именно природе, общению с односельчанами – тому, что считает определяющим при формировании души ребёнка и его характера.

Сознательное детство его, тот самый “дошкольный и школьный период”, который даёт человеку для жизни едва ли не больше, чем все оставшиеся затем годы и десятилетия, частично совпал с войной: в первый класс Атановской начальной школы будущий писатель пришёл в 1944 году. И хотя здесь не гремели бои, жизнь, как и везде в те годы, была трудной, временами голодной. “Для нашего поколения был очень труден хлеб детства”, – отметит спустя десятилетия писатель. Но о тех же годах он скажет и более важное, обобщающее, что найдёт затем отражение в его творчестве: “Это было время крайнего проявления людской общности, когда люди против больших и малых бед держались вместе”.

Ещё и то, что хотел стать учителем, – тоже важный штрих, объясняющий какую-то постоянную атмосферу ответственности в его творчестве, сдержанность и внутреннюю дисциплину. Астафьев бурен, стихийен, по-речному и по-таёжному буреломен, Распутин собраннее, классичнее, и Ангара его будто сознательно лишена сибирского колорита и подогнана под русский классический эталон. Словно писатель говорит: не до экзотики нам, когда речь идёт о главном. Конечно, говорить о какой-то сдержанности или отстранённости можно только в кавычках, только как о внешней манере: будучи настоящим русским писателем, он необыкновенно субъективен, неравнодушен и беспощаден ко всем своим героям. Кого любит, тех уж любит, кого нет – того нет.

Все ангарские беды – и леспромхозы, и гидроэлектростанции – Валентин Григорьевич пропускал через сердце, на каждую потерю откликнулся повестью. А ведь только такой и может быть настоящая наша литература: больно, когда видишь, как обращаются с твоей землёй, – хоть приехали, хоть свои, – больно так, что и сказать нельзя, а надо. Необходимо. Иначе жить зачем? А Сибирь – это страна, которую не то что местный – и приезжий, раз увидев, уже не может не полюбить. Чехов, поражённый Красноярском, с надеждой и восхищением писал об этом месте в своём дневнике во время путешествия на Сахалин. Она воистину Божий подарок, эта земля, поэтому таким физически ощутимым горем отдавалось в сердце обоих писателей каждая её рана.

Повесть “Последний срок” – произведение строгое, чёткое и абсолютно совершенное, и при этом столь же жизненное и непридуманное. У каждого писателя, и я в этом уверен, она вызывает правильную писательскую зависть: ну, как же он подсмотрел такое? Как увидел? Или подсказал кто? Ну, как же повезло писателю! Как берёг он такое счастье, как боялся уронить, не ошибиться, дотянуть до какой высоты! Какое испытание!

Меня всегда удивляла критика, дотошно разбирающая характеры Анны и её детей, наряду с тем, что сама задумка воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Давайте задумаемся: да как вообще писателю такое пришло в голову? Именно это и представляется главной загадкой. И дело именно в том, что ситуация, лёгшая в основу повести, – такая, с которой каждый человек обязан столкнуться в своей жизни. Особенно у нас, в Сибири, где расстояния огромные, и как быть, если заболел близкий человек, и надо ехать, и не отпросишься с работы надолго, и самолёты не летают добром? И как попасть, прицелиться сквозь такие расстояния? Не промахнуться? Вроде сюжет-то простой, на земле лежит, под ногами. А Распутин один разглядел. И поднял. Это самое сложное.

Поражает и старуха Анна, изжитая до “последнего доньшка” с её приятием смерти, с великой мудростью и смирением, и потрясающе-выпуклые и жизненные образы детей, ничего не понявших в их собственной матери. Врезаются в душу они с детства и на всю жизнь: и горожанка Люся с её показной и фальшивой “культурностью”, оборачивающейся полной душевной чёрствостью, и простоватая Варвара, и Илья, скользящий по вершкам, и Михаил, самый духовно близкий матери человек, и, конечно, загадочная Танчора.

Захватывает и центральная история с пьянкой, полная горького юмора, и контрастирующая с ним кровная любовь автора к старухе Анне, с которой они сливаются в философских монологах перед смертью старухи. Ведь говорено, что никому не дано знать, что думает человек перед смертью. Так сколько же сам Распутин передумал-испытал, пока писал! И подумаешь – воистину великое перерождение испытывает художник, пройдя через такую книгу, такую задачу. Произведение это истинно многослойно и даёт такой простор для размышлений, что откладываешь книгу и замираешь, чтоб дать сердцу передых.

Пересказывать повесть вряд ли стоит, поэтому позволим обратиться к ещё одной вещи Распутина, которая в контексте наших дней наводит на самые горькие выводы.

Речь идёт о книге “Прощание с Матёрой”, широко известной и у нас, и за рубежом. При существующей ситуации с Ангарой об этой вещи спокойно говорить невозможно. Повесть эта посвящена страшной странице сибирской истории – трагедии затопления, в ходе которого населения целых деревень насильно переселялись на другие места, а опустевшие дома сжигались и горели кострами с внеплановой символичностью. Такую судьбу пережили жители Енисея выше Дивногорска.

Трагедия попрания векового уклада, неспособность руководства видеть главное и полное небрежение к судьбам своих граждан – это одна из непреходящих тем нашей литературы. Когда вышла книга “Прощание с Матёрой”, когда вся страна смотрела фильм с тем же названием, то было ощущение такой великой силы искусства, силы писателя, способного прокричать об ужасающей несправедливости, о преступлении против Отечества. О том, когда ради чего-то сиюминутного и могущего принести весьма условную выгоду ломается самое главное для любого народа – традиция. А возможный ущерб от ГЭС и ту опасность, которую они представляют в случае чрезвычайной ситуации, вряд ли кто-то из их сторонников просчитывал! И в те далёкие годы, когда страна внимала этому крику писателя о беде, всем казалось, что в этом и есть задача искусства: повлиять на существующую действительность и, если не остановить происходящее, то хотя бы предупредить, предостеречь людей от грядущих ошибок.

Это оказалось великим заблуждением. То, что сейчас происходит с Ангарой, – возобновление строительства Богучанской ГЭС – тому свидетельство. То, о чём прокричал Распутин, происходит годы спустя с фатальной настойчивостью. Так же людей готовят к переселению, так же сжигаются деревни, так же плачут жители Кежмы и многочисленных посёлков и деревень Ангары.

С горечью хочется подвести черту и сказать: ничему не учится человек, никакая самая гениальная литература не может остановить разрушительную энергию человека, и это ставит перед каждым русским писателем вопрос: а зачем тогда нужна литература, если она ничего не в силах изменить?

И одолеть это сомнение и отчаяние можно только через глубочайшее смирение перед своей долей. А задачей русского художника, который во все лихолетья чувствовал ответственность и обязанность быть летописцем, плакальщиком и защитником родной земли, задачей этой будет – всегда учиться силе у простых русских людей. И у своих героев, таких как старуха Анна и Дарья, таких как Витькина бабушка Катерина Петровна из “Последнего поклона”.

АЛЛА НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

ЭЛЕКТРОННО-ТОРГОВАЯ КАБАЛА

(К 120-летию смерти Н. С. Лескова)

Малоизвестную статью Николая Семёновича Лескова (1831–1895) **“Торговая кабала”** (1861), издававшуюся всего один раз со времени её первой публикации, ранее я уже представляла читателям. Это произведение не только не утратило своей злободневности, но наоборот – звучит сегодня более чем современно, когда торговая кабала обретает новые зловещие формы кабалы электронной.

В заглавии лесковской статьи – универсальное название сегодняшних социально-экономических отношений, официально и открыто поименованных “рыночными”. **Всеобщие торгашество и продажность**, возведённые в жизненный принцип, стали “нормой”, устойчивым атрибутом, основной приметой нашего “банковского” (по лесковскому слову) периода. Метастазы этого торжища гипертрофированно разрослись и поразили насквозь государство и право, политику и экономику, науку, культуру и искусство, образование и здравоохранение – все без исключения виды человеческой и общественной деятельности, все сферы жизни, в том числе духовно-нравственную.

В разряд “товаров” и “услуг” сегодня также активно переводятся традиционные, декларированные в Конституции отношения государства с гражданами. “Многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг”, выстроенные повсюду, в прямом смысле торгуют государственными услугами, в том числе – в электронном виде, через интернет. Таким образом, в реальности осуществляются фантастические, как казалось когда-то, планы по созданию антиконституционного властного органа – **“электронного правительства”**. Этот термин интенсивно насаждается в сознание людей, в практику жизнедеятельности. Подготовлено и действует соответствующее законодательство: например, пакет законов, куда входит антиконституционный по сути своей закон **“Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”**, предусматривающий выдачу всем гражданам РФ без их согласия универсальной электронной карты (**УЭК**), которая для человека станет единственным источником жизнеобеспечения, а для “электронного правительства” – средством неограниченной власти, тотального контроля, управления и бесконтрольного манипулирования любым и каждым гражданином страны.

Разработаны и внедряются концепции (например, “Детство-2030”, “Россия-2045”) по массовому электронному обезличиванию, всеобщей чипизации населения, превращению людей в биороботов, по тотальному подчинению всех и каждого анонимной и потому безответственной, бездушной и безграничной “электронной власти”. Для неё люди – это, согласно принятой уже

терминологии, **“человеческий капитал”** (а точнее – **“человеческий материал”**), то есть **“товар”**, **“продукт природы”** (если использовать образ из одноимённого рассказа Н. С. Лескова), которым можно управлять и распоряжаться нажатием компьютерной кнопки.

Так, пресловутый всепроникающий “рынок” гротескно персонифицировался, превратился в некий идол, адское чудовище. Оно заглатывает и пожирает людей, перемалывает в своей ненасытной утробе всё здоровое и живое, а затем извергает вон и снова питается отработанными продуктами своей жизнедеятельности в этом нескончаемом круговороте **“торгового дерьма в природе”**.

Торговые центры, рынки, магазины, развлекательные заведения – с их не переменным **“мочемордием”** (выразительный словообраз, употреблённый Лесковым) – множатся безостановочно. Быть **“хозяйном”**: магазина ли, а лучше – нескольких, развлекательно-питьевого ли заведения или хотя бы заухудалой лавочки, но только чтобы наживаться и помыкать другими людьми, – норма жизни, современная идея-фикс. Человек, наделённый Господом высшим даром свободной духовности, рассматривается в торгово-рыночных отношениях как **“кабальный холоп хозяина, лакей и помыкушка”**.

Между тем, отношение к **“торгашам”** в русском народе исконно было негативным. Статьи такого народного отрицания духа торгашества редко, но пока ещё можно отыскать в русской деревне, в самой глубинке, где доживают свой век немногие старики. В одной такой деревушке, запрятанной вдалеке от дорог среди лесных заповедников, в настоящем **“медвежьем углу”** Вера Прохоровна Козичева – простая русская крестьянка, вдова лесника, в юности – связанная партизанского отряда – категорически не захотела взять с меня денег за молоко. В ответ на мои резоны, что я уже покупала домашнее молоко у продавщицы деревенского магазина, бабушка Вера решительно ответила: **“Я не торгашка! Ты меня с ней не равняй!”**

Разбогатевшие в **“сфере плутней и обмана”** купцы-“пупцы” – **“прибыльщики и компанейщики”** (как именовал их Лесков) – на ярмарке тщеславия становятся **“самыми мелочными и ненасытными честолюбцами”**, **лезут во власть и в знать: “купец постоянно в знать лезет, он “мошной вперёд прёт”**.

Это **“образец”**, к которому учат стремиться с молодых лет и в нынешней школе, откуда сейчас изгоняется отечественная литература – столько ненависти у властей предрержащих к честному одухотворённому слову русских писателей!

Возвышая голос в защиту детей от торгашеской заразы, Лесков в своей статье отмечал **“ничем не оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении к мальчикам и крайнее пренебрежение к их нуждам и цели, с которою они отданы в лавку родителями или вообще лицами, распоряжающимися младенческими годами детей, торчащих перед лавками и магазинами с целью закликания покупателей”**. Сегодня мы сплошь и рядом также встречаем их – за частую продорглих и озябух – **“торчащих перед лавками и магазинами с целью закликания покупателей”**, раздающих рекламные листовки и проспекты, шныряющих по подъездам, электричкам, организациям в надежде продать какой-нибудь мелочной товар.

С тревогой и возмущением писал Лесков об антихристианских отношениях деспотического подавления со стороны одних и рабской закабалённости других. **Тяжёлая экономическая и личная зависимость угнетённого человека, его подневольное положение оборачиваются рабством духовным, неизбежно ведут к невежеству, духовной и умственной неразвитости, развращённости, цинизму, деградации личности.** В результате **“крепостного развращения”**, отмечал писатель в другой статье – **“Русские общественные заметки”** (1870) – люди становятся жертвами **“непроглядной умственной и нравственной темноты, где они бродят ошупью, с остатками добра, без всякой твёрдой заправы, без характера, без умения и даже без желания бороться с собой и с обстоятельствами”**.

Лесков выступил обличителем **“тёмного царства”**, изображая вечный конфликт добра и зла, воплощённый в современном мире буржуазно-юридических установлений. В пьесе **“Расточитель”** (1867) показан 60-летний торговец Фирс Князев – **“вор, убийца, развратитель”**, который пользуется своим положением **“первого человека в городе”** и продажностью судебного департамента. Его антипод – добрый и деликатный Иван Молчанов – предстаёт в роли

мученика, жертвы тиранического произвола властей. Молодой человек, обращаясь к “хозяевам жизни” — своим истязателям, — обличает беззаконие: **“Вы расточители!.. Вы расточили и свою совесть, и у людей расточили всякую веру в правду, и вот за это расточительство вас все свои и все чужие люди честные — потомство, Бог, история — осудят”**.

Писатель как в воду глядел, когда утверждал в своей статье: **“Не знаем мы, когда прорвётся этот отвратительный круговорот опошления русского торгового люда, а думаем, что не скоро”**.

“Торговая кабала” была написана чуть ли не накануне отмены крепостного права — Манифеста 19 февраля 1861 года. В современное антихристианское законодательство, построенное на древнеримских кабальных формулах, впору вводить эту якобы “хорошо забытую” новую отрасль права — **крепостное право** — наряду с гражданским, семейным, административным и прочим “правом”. **“Сохранившийся остаток кабального холопства древнекабальных времён”** в модернизированном виде давно и прочно внедрён в нашу жизнь. Сограждане и сами не заметили, как стали крепостными холопами, влачащими **“жизнь взаимы”**: не можешь заплатить долги — значит, ты “невыездной”, не смей двинуться с места. **“Ипотека на полвека”** — один из популярных “банковских продуктов” кабального свойства — выдаётся с лукавым видом неимоверного благодеяния. Ограбляемый “должник”, вынуждаемый ради крыши над головой покорно влезать в искусно расставленную долгосрочную западню, порой и сам не заметит, как желанная “крыша дома своего” обернётся для него гробовой крышкой.

Многие уже очутились и многие ещё окажутся в бессрочной долговой яме, были и будут запутаны в тенёта сетевой торговли и маркетинга, в ловушки кредитов, ипотек, ЖКХ, ТСЖ, НДС, НДФЛ, СНИЛС, ИНН, УЭК, в мировом масштабе — ВТО, МВФ, ВБ и прочего — число им легион и имя им тьма...

В наши дни уже весь земной шар превратился в глобальный рынок, законы которого диктуют Всемирная торговая организация (**ВТО**), Международный валютный фонд (**МВФ**), Всемирный банк (**ВБ**), космополитическая антихристианская “элита”, стремящаяся узурпировать безграничную власть на планете, связав государства международными обязательствами, в том числе — по внедрению электронных систем учёта с единым управлением. УЭК — это уже не традиционное удостоверение личности, а глобальный электронный документ, микропроцессорное устройство единого всемирного стандарта, служащее для идентификации и биометрической аутентификации держателя карты компьютерным способом, с помощью которого бездушная электронная система, господствуя над человеком, опознаёт его по идентификационному номеру и биометрическим данным, как некий неодушевленный предмет или товар.

Подготовлены к тому и морально-психологические предпосылки. За два с половиной десятилетия, как предвидел митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Иоанн (Снычев), реформаторами и модернизаторами сделано всё, чтобы “подточить, ослабить устои крепкого, традиционного общественного устройства, разрушить его духовные, религиозные опоры, разложить национальные государства и — постепенно, незаметно, неощутимо для одурманенного демократическим хаосом общества — передать бразды правления над ним транснациональной “мировой закулисе”...

В нынешней торгашеской реальности, насквозь пропитанной ложью, лукавством, господствует воплощённое зло, правит бал “князь тьмы”, главный противник Истины — диавол, **“ибо он лжец и отец лжи”** (Ин. 8: 44), как определяет Христос. В молитве Господней **“Отче наш”** вот уже более двух тысяч лет христиане просят Отца Небесного: **“и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого”**.

“Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить” (1-е Послание Петра; 5: 8), — предупреждает и призывает Святой Апостол. “Князь мира сего” обманом, оболваниванием человека, множеством прочих лукавых ухищрений из своего сатанинского арсенала впутывает людей в бесовские сети, разъединяет, уничтожая духовные основы (“диаболос” в переводе ‘обманщик, разделитель’). Когда эгоистические, материальные, потребительские, плотские интересы ставятся во главу угла во всех сферах жизни, на всех её уровнях, душа слепнет и глохнет, атрофируется, “зарастает” телом. Только это и требуется метафизическому злему духу и его реальным прислужникам в физической

оболочке — законникам “разноглагольного закона”, как именовал их Лесков. “Законно” и незаконно заложников и узников “торговой кабалы” преднамеренно стравливают в пресловутой борьбе за существование с её звериным принципом **“глотай других, пока тебя не проглотили”**. Вот только люди в этом отношении хуже зверей. Те не едят своих сородичей, себе подобных, братьев по крови. “Мы с тобой одной крови”, — это усвоил в волчьей стае легендарный обитатель джунглей Маугли. В современных российских джунглях “пожирать плоть” и “пить кровь” друг друга (в образном смысле) становится в порядке вещей. Этот словесный образ уже не столь далёк от буквального воплощения. Зловещие картины натурального людоедства грядущих времён правления антихриста открываются в пророчествах святых; в провозвестиях русской классической словесности — христианнейшей литературы в мире. Так, например, Фёдор Михайлович Достоевский в повести **“Сон смешного человека”** (1877) предупреждал, что при поглощённости только материальными плотскими интересами человечество дойдёт до антропофагии (людоедства).

Лесков в своём последнем произведении — “прощальной” повести **“Заячий ремиз”** (1894) глазами главного героя Оноприя Перегуда видит “цивилизацию” в **сатанинском коловращении “игры с болванами”**, социальными ролями, масками: **“Для чего все очами бочут, а устами гогочут, и меняются, як луна, и беспokoятся, як сатана?”**. Всеобщее лицемерие, бесовское лицедейство, замкнутый порочный круг обмана и насилия над личностью отразился в Перегудовой “грамматике”, которая только внешне кажется бредом сумасшедшего: **“я хожу по ковру, и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока врёшь, и он ходит, пока врёт, и мы ходим, пока врём, и они ходят, пока врут... Пожалей всех, Господи, пожалей!..”** “Цыплёнок зачинается в яйце тогда, когда оно портится”, — этим замечанием религиозного философа Григория Сковороды (1722–1794) проясняется процесс, происходящий в лесковском герое: пусть он уже не годится для прежней **“социальной”** жизни, зато в духе его “поднимается лучшее”. В доме для умалишённых, на грани безумия и мудрости, Перегуд, наконец, начинает путь приближения к Истине. Теперь он избавился от цивилизации, от общественной жизни, в которой всё скрыто мраком, перемешано (**точнее — помешано**). Герой постигает добро и зло в чистом виде.

В последнем произведении “мастера” метафорически исполняется мечта самого Лескова — писателя-проповедника добра и истины, преследуемого цензурой: настоящее изобретение — не печатный станок Гуттенберга, ибо он “не может бороться с запрещениями”, а то, “которому ничто не может помешать светить на весь мир <...> Он всё напечатает прямо по небу”.

Незадолго перед тем, как самому оставить надетую на него на земле, как говорил Лесков, “кожаную ризу”, писатель размышлял о **высокой правде** Божьего суда: **“совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем”**.

В противовес высокой Божьей правде — нынешний **новейший вид электронной торговой кабалы** ведёт к её ужасающей кульминации апокалиптического свойства. По сатанинскому замыслу “сильных мира сего”, человек — “венец творения”, созданный по образу и подобию Божию, — должен обратиться в “человеческий материал”, биомассу, стать маркированным товаром, вещью среди вещей, уподобиться бездушному предмету с его непременным номером — штрих-кодом или бессловесному клеймённому скоту; принять чип (вначале — в обличье УЭК), клеймо, метку, штрих-код в виде сатанинского начертания числа 666 на лоб или руку: **“И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их”** (Откровение Св. Иоанна Богослова; 13: 16).

Строителей “электронной России”, сгоняющих людей в электронное рабство, не смущает, что создаваемый “электронным правительством” электронный концлагерь с полным, всесторонним компьютерным досье на каждого, подобен фашистским концлагерям. Точно так же в наши дни совершается преступление против человечества, нарушается решение Нюрнбергского процесса 1945–1946 годов, признающее преступлением против человечности присвоение номера вместо имени и нанесение этого номера на тело человека.

УЭК — предвестник Апокалипсиса, — словно чудовищный людоед, всасывает в себя всю информацию о человеке: персональные данные, состояние здоровья (к примеру, здорового и одинокого человека, которого в случае ис-

чезновения никто не будет разыскивать, насильственно могут использовать как донора для трансплантации его здоровых внутренних органов – УЭК сожрёт их), родные, семья, сбережения, имущество, собственность, жилище, передвижения, поездки и т. д. – всё просвечено дьявольским оком тотального электронного контроля. Все расчёты – только через УЭК и избранный системой банк, без этого и шагу не ступишь. Человек реальный в отношении с электронной системой становится “человеком виртуальным”, бестелесным. Бесплотный сказочный Джинн – раб лампы, выпущенный на волю, мог действовать. Человек – “раб карты” – на волю выпущен уже не будет. Пронумерованный “биообъект” перестанет быть хозяином самому себе. Самим человеком, его имуществом, здоровьем, жизнью, судьбой станет управлять невидимый, недосыгаемый, таинственный и всеильный “Оператор” – виртуальный орган безграничной власти. У безликой электронной системы нет и не может быть никакой ответственности перед оцифрованным человеком-“номером”. Например, в случае если база электронных данных будет взломана, держатель УЭК рискует остаться без средств к существованию, без имущества, без жилья. Персональные данные, в том числе биометрические (отпечатки пальцев, модель радужной оболочки и сетчатки глаза), попавшие в руки злоумышленников, будут использованы против человека, который в электронном концлагере становится абсолютно беззащитным, бесправным существом. Всё, что не вписывается в “новый электронный порядок”, по воле “электронных властей” должно быть сломано и уничтожено. Неудобные системе без суда и следствия могут быть поставлены вне закона, дистанционно наказаны приостановлением действия универсальной карты, её блокировкой, автоматическим списанием денежных средств, обнулением банковского счёта, лишением льгот и пособий, обезличиванием карты, а то и её уничтожением.

Может получиться, как в эпитафии к лесковской статье:

*Мальчик был он безответный:
Всё молчал, молчал;
Всё учил его хозяин —
Да и доканал...*

УЭК изготовят несовершеннолетним и даже младенцам, если родители (или опекуны, попечители) не откажутся за них в течение установленного законом временного “коридора в 60 дней”. Дни в этих тесных временных рамках, отведённых людям на отказ от того, о чём они не просили и не заявляли, стремительно тают. Так называемая “уполномоченная организация” лукаво скрывает от населения эту важную информацию. Поместили извещение в малочитаемом источнике и дальше – гробовое молчание в расчёте на то, что авось не узнают, авось не успеют.

Следующий этап – поголовная чипизация людей – то самое “начертание” из Откровения Иоанна Богослова, нанесённое лазером либо иным “наноспособом” на лоб или на правую руку. Иначе – властное устрашение буквально по Апокалипсису: **“никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его”** (Откровение. 13: 16-17). А без этого, уверяют нас сегодня “модернизаторы”, якобы остановится нормальная жизнь, нельзя будет “покупать и продавать”, получать зарплату и пенсию, медицинскую помощь, совершать поездки, оплачивать услуги, налоги, штрафы и т. п. Дальнейшие последствия понятны и предсказуемы: не смог оплатить долги – ступай в тюрьму, где уже не избежишь насильственного “пропечатывания”, либо скрывайся, как беглый преступник, прячась в лесу, в землянке, в пещере; питайся, как святые отшельники, кореньями, акридами и диким мёдом. Не хочешь служить сатане – принимай мученический венец.

В своём Послании **“Знамения времён, 666”** (см.: <http://www.isihazm.ru/?id=1778>) Паисий Святогорец – старец святой горы Афон – говорил: “Наши годы – это трудные годы. Произойдёт катастрофа. И пока она будет продолжаться, нам надо будет помучиться, а может быть – и пойти на мученичество. Только духовная жизнь позволит нам свести концы с концами...”

Не отчаивайтесь... Я думаю, что эти трудные годы – благословение, потому что они вынудят нас жить ближе ко Христу. Эти годы – настоящая возможность для большего подвига! Настоящая война в наше время не будет

войной, в которой используется оружие, это будет война духовная – с антихристом. Он постарается “прельстити, аще возможно, и избранныя”...

Как понимать это евангельское пророчество: **“восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных”** (Мк. 13: 22)? Паисий Святгорец поясняет: “Прельстятся те, которые в толкованиях пойдут “от ума”. И это тогда, когда знамения столь очевидны: компьютерный “зверь” в Брюсселе с числом 666 уже почти проглотил все страны. Карточка, удостоверение личности, “введение печати” что означают? К сожалению, по радио мы следим только за тем, какая будет погода. Что нам скажет Христос? **“Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а знамений времён не можете?”** (Мф. 16: 3)”.

Несогласные продать душу дьяволу окажутся вне антихристианского, электронно-крепостного закона; станут исторгнутыми из всеобщего торгового оборота гонимыми изгоями.

Господь же – напротив – торговцев изгонял из храма, уподоблял их разбойникам: **“И вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих, говоря им: написано: “дом Мой есть дом молитвы”; а вы сделали его вертепом разбойников”** (Лк. 19: 45-46).

“Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ Мой, как едят хлеб, и не призывают Бога?” (Пс. 52: 5).

“Со многой болью и любовью Христовой” обращался к людям Паисий Святгорец ещё в конце 1980-х годов, призывая ни в коем случае не принимать “удобную карточку”, ведущую “в тупик, к душевной и телесной катастрофе”. Афонский старец провидел, что за системой “удобных карточек” кроется “духовное рабство, смятение и анархия”, “скрывается всемирная диктатура, порабощение антихристу”: “После же карточки и удостоверения личности, “компьютерного досье”, чтобы лукаво подвести дело к печати, будут постоянно говорить по телевидению, что кто-то взял чью-то карточку и забрал из банка его деньги. С другой стороны, будут рекламировать “совершенную систему”: печать на руку или на лоб лазерными лучами, незаметную внешне, с 666, именем антихриста. <...> дьявол, антихрист, присутствуя своим символом в нашем паспорте, или на руке, или на лбу, не освящается, даже если наложить Крест. Мы имеем силу Честного Креста, Святого Символа, Божественную Благодать Христову только тогда, когда пребываем с одной единственной Святой Печатью Крещения, во время которого отрекаемся от сатаны и соединяемся со Христом, и получаем Святую Печать – “Печать дара Духа Святого”. Христос да даст нам благо просвещение”.

Благодарение Господу Богу – дух, душа, сердце, мышление, чувства христианские, человеческие во многих живы. Мы ещё не закабалены окончательно электронной диктатурой, насильственно не превращены в управляемых компьютером – апокалипсическим зверем – оцифрованных биороботов, киборгов, клонов. Не будем отчаиваться, помня наставление апостольское: **“Итак, покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит от вас”** (Иак. 4: 7).

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

ТОРГОВАЯ КАБАЛА¹

*Мальчик был он безответный;
Всё молчал, молчал;
Всё учил его хозяин —
Да и доканал...*

А. Комаров²

Грустное и тяжёлое чувство налегает на сердце по прочтении заметки, помещённой в одном из московских периодических изданий³, об угнетённом положении московских гостинодворских мальчиков и приказчиков. Это живо со-

хранившийся остаток кабального холопства древнекабальных времён нашего Отечества⁴. Варварское обхождение хозяев-гостинодворцев с приказчиками и особенно с **мальчиками, отдаваемыми им в кабалу, под видом приучения торговому делу**, мы думаем, ни для кого не новость; но странно, что оно до сих пор как-то ускользало от внимания прессы и тех лиц, которые нашли нужным учреждение контроля над содержанием учеников фабрикантами и ремесленниками. Мы, по несчастью, никогда не смели сомневаться в полной необходимости распространения такого контроля и на мальчиков, отданных купечеству для приучения торговому делу, но до сих пор мы не решались высказать об этом нашего мнения только потому, что боялись погрешить, считая известные нам факты жестокого обращения торговцев с мальчиками, отданными им *на выучку*, общим мерилom отношений хозяев к вверяемым им детям. Теперь “Московский курьер” в 27 и 28 №№ этого года сообщает о быте московских гостинодворских мальчиков такие вещи, что, как мы сказали, сердце сжимается от ужаса и страха за эти несчастные создания, выводимые в люди путём холода, голода, бесприютности и затрещин.

Коротко знакомые со взглядом русского купечества на людей, служащих его торговым делам, мы, к несчастью, лишены всякой возможности заподозрить заметку “Московского курьера” хотя в малейшем пристрастии преувеличения фактов. Напротив, мы вправе думать, что, в частности, существуют факты более грустные и возмутительные, чем те, которые взяты на выдержку автором заметки; но так или иначе, довольно того, что не нам одним известно **ничем не оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении к мальчикам и крайнее пренебрежение к их нуждам и цели, с которою они отданы в лавку родителями или вообще лицами, распоряжающимися младенческими годами детей, торчащих перед лавками и магазинами с целью закликания покупателей.**

В этой школе ребёнок не учится ничему полезному. Торговые соображения по выбытии им пяти лет у хозяина так же чужды его понятиям, как **неведомы ему понятия о чести, о долге, о нравственности.** Развитие для него невозможно. Он кабальный холоп хозяина, лакей и помыкушка приказчика и “молодца”. Им всякий орудует в свой черёд, всякий требует от него услуг и слепого повиновения на свой лад. Мальчик ни у кого не может, то есть не смеет, спросить объяснения ни одному жизненному явлению, на котором останавливается его детское внимание; он не имеет никогда в руках ни одной книги, доступной его детскому пониманию и способной хоть маломальски осветить его разум объяснением самых простых явлений в жизни природы и человека. **Коснение — это неизбежный удел,** и разве только одна гениальность может выбиться из этой среды, не одурев в кругу исполнения тех обязанностей, в которых пять или шесть лет остаётся торговый мальчик, пока наконец получит первый чин торговой иерархии, то есть сделается “молодцом”. И во всё время службы до этого первого чина чего не переносит несчастный ребёнок! Бьёт его хозяин, но это, впрочем, ещё не велика беда, хозяин занят делом, так ему некогда бывает драться, разве иногда так “взвошит”⁵ с сердцов или под пьяную руку, а то “взвошивает” его приказчик, взвошивают подручные, один и другой, взвошивает и молодец, и все эти колотушки достаются как-то зверски, не в привилегированное место человеческого тела, а по голове да под “вздохало”. Спит мальчик кое-как, часто на полу, и то мало, потому что ложится позднее всех приказчиков и молодцов, а встаёт раньше их; вставши, он должен перечистить им платье, обувь, приготовить самовар, сбегать за булками, а иногда ещё за чем-нибудь для приказчика так, чтобы хозяин не сведал об этой закупке, и всё это живо, скоро, иначе “взвошат” так, что небо покажется с овчинку. В течение целого дня мальчик **не смеет садиться** (это обычай, освящённый временем и вошедший в силу закона); для отдыха **от утомительного стояния, превосходящего трудность афонского бдения,** мальчик посылается с одного конца города на другой “долги править” или разносить проданный товар, с секретною обязанностью занести иногда стянутый приказчиком из хозяйской лавки гостинец “матреске”⁶. Но да не подумает читатель, что поверенничество мальчика в сердечных делах приказчика смягчает сколько-нибудь их взаимные отношения... Ничуть не бывало, это так уж устроено, что приказчик, употребив его в качестве фактора⁷ по “матреской” части, не допускает и мысли, что мальчик может его выдать, — и мальчик действительно никогда не выдаст. Он знает, что, отомсти

он приказчику или молодцу за побои, которые они ему наносят “пур селапетан”⁸, им ничего не будет, кроме потревожения памяти их покойной родительницы напоминанием о некоторой интимности с нею, а мальчика взвошит хозяин, “зачем-де шельмец ходил”, а потом уже пойдут взвошивать и тот, на кого сделан донос, и те, на кого таковые впредь учинены быть могут. А защита где? Нигде. Отец или опекун ещё порадуются, что вот, мол, парня уморазуму учат, да ещё сами, пожалуй, набавят, не жалуйся, дескать, знай, что за одного битого двух небитых дают.

Такова-то вот жизнь, таково-то положение торгового мальчика у иного купца, доводящего его пятилетним взвошиванием *до людей*, то есть **до способности обезмыслиться, обезличиться и завернуться в узкую рамку аршинной жизни прасольства⁹ или лабазничества¹⁰**. И тянется эта страдальческая жизнь мальчика, пока наступит радостный день вступления его в сан “молодца”, и прежнее начальство уговорит его *закинуть первых щенят*, то есть пропить с компаниею первое жалованье, **“во оставление сухомордия и в мочимордство вечное”¹¹**.

Со вступлением в сферу плутней и обмана, составляющих специальность молодца и приказчика, начинается новая, светлая полоса жизни мальчика. Изучая надувательное искусство и прикладывая его на практике к хозяину, он наконец *выходит в люди*, заводит лавочку, делается хозяином, устраивает порядок в своей *молодцовской*, по образцу того закона, в котором сам вырос, и “взвошивает” тех, кого вверит ему родительское благоразумие для вывода в свою очередь в люди.

Не знаем мы, когда прорвётся этот отвратительный круговорот опошления русского торгового люда, а думаем, что не скоро. Наверное можно сказать, что *та генерация, которую теперь ещё “взвошивают”, ничего не даст хорошего, а она ещё молода, её век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не проймет никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – чужды её понятиям. Люди эти ходят в храмы, но выносят оттуда воспоминание не о слове мира и любви, а об октавистых голосах*, в подражание которым ревет дома долголетия и анафематства. **От них нечего ждать, а между тем в силу обычного течения дел они выйдут в люди, то есть откроют лавки и в свою очередь замордуют ещё одно поколение.**

Этому нужно положить конец бы, особенно теперь, при эмансипации крестьян, следовало бы русскому обществу подумать об улучшении положения торгового малолетнего люда.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Статья с подписью “Н. Лесков” впервые была опубликована: Указатель экономический, политический и промышленный (Санкт-Петербург, 1857–1861; издатель и редактор – И. В. Вернадский). – 1861. – № 221. – 12–14 февраля.

² Эпиграф взят из стихотворения А. М. Комарова “Выученик”, в котором описана смерть ученика портного от побоев хозяина.

³ Н. С. Лесков имеет в виду послужившие поводом к написанию его статьи “Московские заметки” в газете “Московский курьер” от 3–4 февраля 1861 года.

⁴ Здесь и далее полужирным шрифтом выделено мной; курсивом выделено у Лескова.

⁵ “Взвешивать” – таскать за волосы.

⁶ “Матреска” – от искажённого французского слова “maitresse” – любовница.

⁷ Фактор – здесь в значении: посредник; доверенное лицо, выполняющее поручение.

⁸ “Пур селапетан” – в значении: “для того чтобы пошевеливался, поторапливался” – от искажённого французского выражения с глаголом “sepatiner” – пошевеливаться, поторапливаться.

⁹ Прасольство – вид торговой деятельности; от слова “прасол” – оптовый скупщик мяса и рыбы для мелкорозничной торговли.

¹⁰ Лабазничество – вид торговой деятельности; от слова “лабаз” – торговая лавка, мучной и крупяной склад; “лабазник” – торговец зерном, крупой, мукой.

¹¹ “Сухомордие” (“сухорылие”) – трезвенность; “мочимордство” (“мочемордие”) – пьянство.

АНДРЕЙ ХРОМОВСКИХ

“НЕТ САПОГ У ЖУРАВЛЯ”

Поэзия для детей переживает не самые лучшие времена. Причин тому много. Одна из самых основных – это наше общество, на сломе эпох очень быстро подрастерявшее прекрасноту, доброту сердец, сделавшееся если не ожесточённым, то трудноотзывчивым, чрезмерно толстокожим. Коротко говоря, большинство членов нашего общества на неопределённое время утратили нравственный базис и подобающую ему надстройку – сапоги, которых нет у журавля, и шляпу. Для журавля это не беда, для нас же – бедствие, и непоправимое.

Поясню. Сочинение стихов для взрослой публики – занятие довольно простое, к тому же недостатка в поэтах “для взрослых” нет: их в любом городе едва ли не на каждом углу увидеть можно. Поэтов, пишущих для детей, мало катастрофически, поэт “для детей” – это настолько редкостный, штучный экземпляр, что его впору классифицировать как “национальное достояние”. Когда поэт адресует своё творчество читателю взрослому (или сравнительно взрослому), он решительно, а то и дерзко употребляет эзопов язык, аллегии, сложные метафоры и прочие выразительные средства; у него есть надежда, что его поэзию – или же, что чаще всего бывает, хитросплетение слов – если и не поймут, так хотя бы предположат, о чём в стихотворении или поэме вообще идёт речь. Технический арсенал поэта, пишущего для детей, крайне скуден: пожалуй, он принуждён использовать одну лишь рифму. Катахрезами, вроде “громокипящего кубка”, не отделаешься, и поэту приходится рисовать “картинку”, лепить образ, выстраивать действие, удовлетворяясь словами, понятными детям, то есть самыми что ни на есть простыми. Сочинить просто и вразумительно – трудно; сочинить, воспринимая мир глазами наивного ребёнка, с его лексической ограниченностью – трудно неимоверно. Здесь поэту, кроме таланта, потребуется нравственный базис и подобающая ему надстройка – ответственность: быть может, именно его творчество краеугольным камнем уляжется в сознание ребёнка, именно оно повлияет на формирование его личности.

Предлагаю рассмотреть и, по возможности, проанализировать творчество иркутской поэтессы Марии Артемьевой (Яковенко) на примере её книги “Нет сапог у журавля”.

Почему именно её творчество? Да потому, что Мария Игнатьевна как раз и представляет славную когорту поэтов, формирующих человека завтрашнего дня.

Вот первое стихотворение из книги – “Кошка Капочка”:

*Наша кошка Капочка
Потеряла тапочки.*

— Заходи-ка в дом скорей,
Свои лапки отогрей.
А мы с Данечкой пойдём,
Твои тапочки найдём.

Здесь далеко не всё незамысловато, как может показаться человеку взрослому. Ребёнок воспринимает, впитывает эти стихи иначе. Он слышит стихотворение и живо воспринимает и сюжет, и мастерски написанную “картинку”: зима, мороз; кошка Капочка потеряла тапочки, ей холодно. Но поэтика не ограничивается призывом к стороннему сочувствию к *братьям нашим меньшим*: говоря кошке “А мы с Данечкой пойдём, твои тапочки найдём”, она и незаметно подсказывает ребёнку решение, как помочь кошке, и мягко подталкивает его к *поступку*. И ребёнок понимает: сострадать — хорошо, но мало, надо ещё и действовать. Осознание необходимости *милосердия и поступка* преподается ребёнку ненавязчиво, а исподволь (я бы даже сказал — филигранно исподволь), и ребёнок не замечает жизненного урока как такового: он слышит стихи — и, сам того не подозревая, одновременно учится *доброте*.

Прочитаем стихотворение “Варежки”:

*Как у нашей Варечки
Потерялись варежки.
Варя долго их искала
Под столом, под одеялом,
Их нашла сестрёнка
В лапах у котёнка.*

Здесь мы видим сюжет из жизни, тоже вроде бы незатейливый, но стихи Марии Игнатьевны кажутся таковыми лишь на первый — поверхностный — взгляд. Читать их следует вдумчиво, строчку за строчкой — слой за слоем, познавая и слои, и прослойки — логические мостики.

Но вернёмся к сюжету. Он прост: потерялись варежки. Казалось бы, что здесь можно обыграть, показать особенно занимательно, да ещё и ребёнку? Потерялись — нашлись, — вот, пожалуй, и всё. И сюжет завершается вроде бы немудрёно: варежки нашлись “в лапах у котёнка”. И нашла их не Варя, а её сестра, которая в стихотворении показана штрихом. Но давайте рассмотрим два ключевых момента в стихотворении. Это сестрёнка и котёнок. Ребёнок слышит стихотворение и трансформирует словесное содержание в житейскую “картинку”: сестра нашла варежки в лапах у котёнка; и для его неискушённого ума всё просто и понятно, и вроде бы так и должно быть. Но если мы заглянем глубже в слои стихотворения, то увидим, что оно воздействует на ребёнка на подсознательном уровне, говоря ему: сестрёнка, котёнок — так и должно быть по причине того, что это — базовые, семейные ценности, это — объединительное, святое, потому должно быть именно так, и никак иначе. Ребёнок не может осознавать всю глубину посыла (сигнала, как принято сейчас говорить) стихотворения, но может его подсознание, а оно, будем надеяться, сделает правильные и нужные нашему обществу выводы. Конечно, мне могут возразить: мол, перехлестнул через край. Категорически не согласен! Ведь если бы варежки нашлись не в лапах у котёнка, а, скажем, под диваном, и самой Варей, а не её сестрой, то потерялся бы и сюжет, и живая “картинка”, и — самое главное — посыл, а само стихотворение, утратив поэзию, свалилось бы в рифмованную прозу.

Вот ещё пример поэтического посыла — стихотворение “Щенок на горных лыжах”:

*Решил покататься на лыжах щенок,
Но лыжи приладить на лапки не мог.*

*Подумав, решил он усесться в сапог,
Но хвостик застрял в сапоге поперёк.*

*На каждую лыжу поставил две лапы,
Но вдруг раскатился. Ну, что за растяпа!*

*Тут взвизгнул щенок от своей же смекалки —
В передние лапки взял лыжные палки,*

*А задними вмиг в сапогах очутился,
И с горочки смело он вниз покатился.*

Здесь посыл и урок доброты объединились в постулат: человеческий мир и мир животный сосуществуют настолько тесно, что, можно сказать, умещаются на одной ладони: мы — это они, они — это мы. Тем более Мария Игнатьевна в каждую строку стихотворения вставила ключевое слово, подтверждающее разумность щенка: “решил”, “подумав” и, особенно — “смекалка”. Если стихотворный щенок решает, думает, смекает, следовательно, и щенок во плоти, что живёт в квартире или бегаёт по двору, способен кататься на лыжах. Примерно так рассуждает ребёнок, потому “человеческое” поведение щенка его не удивляет, ведь он воспринимает его не как весьма относительно разумное существо (как мы, взрослые), а, безусловно, как равного себе, как друга, а друга не обижают, не предадут; и других щенков, как и кошек, и любую прочую живность нельзя обижать и предавать тоже. Это стихотворение — урок человечности, урок опозитизированный, навсегда запечатлеваемый сознанием.

Прочитаем совершенно умилительное стихотворение “Добрый волк”:

*Нынче волк совсем не злой —
Добрый стал и скромный.
Подыскал в лесу дупло
Белочке бездомной.
В гости к ёжику заходит,
Залатал лисе нору,
Страх на взрослых не наводит,
Очень любит детвору.*

Ведь это о нашем времени — противоречивом, бурном, буйном... Здесь в каждой строке, за каждой буквой хоронится подтекст, нами, современниками, разбираемый отчётливо, а вот будет ли он буквально понят нашими потомками — вопрос... Многие забудется, многое будет передёрнуто, преподнесено на потребу дня и под другим соусом — уж это как водится. Строки “белочке бездомной”, “залатал лисе нору” и “страх на взрослых не наводит” объяснят или поэтической причудой, или, мол, они написаны для рифмы, и какой-то смысловой нагрузки, мол, здесь и в помине нет. Белочка, мол, по определению не может быть бездомной; волк латает лисе нору — это не более чем поэтическая красивость; что же до страха, который волк “на взрослых не наводит”, так он его никогда, мол, и не наводил; да и вообще, мол, стихотворение как-то чересчур уж загиперболизировано, да и дело с концом. Но мы-то с вами не просто догадываемся, о каких таких далеко не поэтических волках идёт речь, а знаем о них, как знаем и то, что стихотворение повествует о не столь отдалённом будущем, в котором, будем надеяться, появятся именно такие — раскаявшиеся — волки. И Мария Игнатьевна заверяет не только детей, но и нас, взрослых: “Это время обязательно наступит!” Дети слушают стихотворение — и верят ему; я читаю — и тоже верю, и даже знаю, что так оно и будет.

А вот стихотворение “Белка” следует не просто выучить наизусть — оно должно быть в каждом доме, где есть дети.

*Белка вяжет, белка шьёт
И за шишки продаёт:*

*За две варежки — две шишки,
За пяток — сошьёт штанишки,*

*За сушёные грибочки —
Гладью вышьет пояпочки,*

*За плетёны туески —
Свяжет свитер и носки,*

*А ленивым и плутишкам
Отдаёт пустые шишки.*

Что тут скажешь... Ей-богу, хочется аплодировать стоя! Мария Игнатьевна ярко, образно, доступно и в то же время неназидательно передаёт детям непреложный закон жизни: даром ничего не бывает; любой труд должен быть оплачен; только заработанное идёт в дело, нетрудовые доходы так или иначе уйдут в никуда, и плутишки, сиречь – воришки – остаются с пустыми шишками. Это подлинно живое стихотворение может с успехом заменить десятки нуднейших и тоскливейших телепередач и педагогических опусов о несомненной пользе физического – и всякого другого – труда, потому с удовольствием рекомендую его для семейного прочтения.

“Корова Белянка” – ещё одно стихотворение из книги Марии Игнатьевны “Нет сапог у журавля”, – на мой взгляд, является одним из наиболее талантливых, добрых и светлых стихотворений, написанных на “деревенскую” тему.

*Корова Белянка мычит у окна,
Ей снилась душистого сена копна.
Хозяйку с ведром она ждёт не дожждётся,
И струйка молочная вот уже льётся.*

*Попьют молока и котята, и кошка,
Ждать будут Белянку опять у окошка.*

Стихотворение написано легко, символы использованы отчётливые, удобопонятные, и дети (даже и городские, хотя бы единожды побывавшие в деревне) воочию “видят” корову Белянку, слышат её протяжное нетерпеливое мычание, поскрипывание отворяемой калитки, тугой перезвон молочных струй, а на подоконнике “видят” кошку с котятами... Зримо, вкусно, пленительно – правда? Это стихотворение и сама книга “Нет сапог у журавля” – словно необыкновенное полотно, которое видишь каждый день, но, вглядевшись, с приятным удивлением находишь для себя всё новые и новые детали, оттенки и полутона, совершенно непостижимым образом не замеченные вчера.

Иркутск

ЕЛЕНА ПАВЛОВА

ВЫЗОВ ЗАБВЕНЬЮ

О книге Натальи Гранцевой “Сказанья русского Гомера”

Имя Михаила Хераскова, поэта XVIII века, ныне помнят разве что историки литературы. Широкому читателю его творчество не знакомо. Между тем, М. Херасков заслуживает признательности потомков как создатель первой национальной эпопеи.

Книга Натальи Гранцевой бросает вызов незаслуженному забвению, которым окружено творчество автора “Россиады”. Гранцева прочла “Россиаду” непредвзято – как поэт, чьё сознание свободно от историко-литературных штампов. Она искусно проанализировала текст как человек, умеющий задавать точные вопросы, искать на них ответы и в результате добираться до сути.

“Россиада” посвящена взятию Казани Иваном Грозным в 1552 году, событию, о котором в советской историографии говорилось как-то стыдливо и скупко. Обращаясь к исторической основе поэмы, Н. Гранцева определяет, насколько содержание соответствует современному историческому знанию. На конкретных примерах она показывает, что приведённые Херасковым факты и основные этапы боевых действий соответствуют нынешнему представлению о политической обстановке времён Ивана Грозного, о главных действующих лицах военной кампании 1552 года. Создатель поэмы прекрасно ориентировался и в топографии Казанского царства, великолепно был осведомлён о династических связях разных ордынских группировок, вполне узнаваемо воссоздал планировку города, с достаточной точностью следовал хронологии основных событий осады. Это сегодня летописная, фактографическая, документальная оснащённость содержания “Россиады” нам кажется само собой разумеющейся. Но первые тома Полного собрания русских летописей (никогда до этого типографским способом не воспроизводившиеся) увидели свет только в слепушкинское время, да и Карамзин написал свою “Историю государства Российского” уже после смерти М. Хераскова. Н. Гранцева скрупулёзно вычисляет источники, к которым мог прибегнуть М. Херасков, попутно проясняя спорный момент в биографии своего героя – с какой целью Херасков в 1770 году прибыл в Петербург и что он там делал. Да именно в Петербурге, в Синоде собирались летописные копии, ещё по указу Петра I снимаемые с летописей в монастырях! С ними Херасков и работал – это предположение объясняет многое.

Увы, в России XIX века передовая общественность, потрясённая карамзинскими картинами злодейств Ивана Грозного, уже не в состоянии была рассматривать образ молодого героя, покорившего Казань, как образ поэтический. Процесс исторического “просвещения” россиян, запущенный Н. Карам-

зиним, вызвал нешуточные страсти и эмоциональные реакции современников. А у Хераскова был свой взгляд на историю. Его Грозный царь, 22-летний руководитель похода на Казань, в соответствии с исторической правдой изображён как аскет и полководец.

Текст поэмы “Россиада” даёт возможность ответить на ряд непростых вопросов, и ответы эти далеки от стереотипов новейших времён. Достояна ли прославления победа русских над ордынцами? Достояна ли художественного дифирамба Москва времён Грозного? Может, царь Иоанн, как новый крестonosец, осуществил массовую насильственную христианизацию татар? Н. Гранцева обращается не только к самой “Россиаде”, но и к мнениям исследователей и специалистов, к тем, кто стал уже классиками и кто работает сегодня. Ответы, факты весьма красноречивы. Последний казанский царь Едигер не был унижен. Взятый в плен при штурме Казани, он получил в дар обширные владения в Звенигороде под Москвой как полноправный представитель элиты, исповедующей христианские ценности. Не было унижено достоинство и честь казанской царицы Сумбеки, сохранившей свой царский статус и впоследствии благополучно царствовавшей в Касимове.

Долговременная, почти маниакальная заикленность отечественной историографии “на ужасах царя Ивашки” явилась ударом и по Хераскову, и по его “Россиаде” – герой поэмы был “не тот”. Вообще, складывается впечатление, что наши представления об истории допетровской Руси намного скуднее, чем знания тех, кто жил в XVIII веке, что наши представления втиснуты в прокрустово ложе историографии XIX–XX веков. Так, если к моменту написания М. Херасковым поэмы почти общим местом были связи персонажей русской истории и их взаимодействие на политической арене с представителями Астраханского ханства, по устоявшейся традиции называемыми персами и персиянками, то сегодня мы этих смыслов, занимающих в поэме Хераскова важное место, просто не прочитываем. Таким затенённым историческим смыслом “Россиады” в книге уделено немало места, благодаря чему отечественная история приобретает яркие, сочные краски и предстает в более крупных ракурсах.

Было бы странно, если бы поэт Наталья Гранцева не занялась исследованием поэтики “Россиады”. Кстати, по её мнению, проблема непонимания критиками творения Хераскова коренится именно в непонимании самой поэтики “Россиады”. Гранцева рассматривает “Россиаду” в координатах поэтики XVIII века. Перечисляет приёмы, которые обнаружены в “Россиаде”. На конкретных примерах она показывает, что значат эти приёмы, и как, с какой целью они использованы. Разнообразный символический и эмблематический материал, которым свободно оперировал Херасков, был давно освоен европейской литературой и считался вполне законным и нормативным. Этот материал вкупе с историческим документом Михаил Херасков дополнительно обогатил за счёт фантастического элемента и “преданий старины глубокой”. Создание чудесных образов и волшебных метаморфоз – этот вклад Хераскова в литературу – Гранцева называет прорывным и уникальным. И именно он вызвал больше всего негодования в широких литературных кругах. Удивительно, но исследователи даже не предпринимают попыток интерпретировать это новое и фантастическое как символ или эмблему. Почему? Потому что нет соответствующего “толкования”, освящённого чьим-то авторитетом?

Совершенно непривычно для нас то, что Н. Гранцева проводит линии, связующие Хераскова и Горация, Аристотеля, Шекспира, Вольтера да и самого Гомера. Впрочем, тем, кто знаком с её предыдущей книгой “Ломоносов – соперник Шекспира?” (СПб, 2011), такие сопоставления странными не покажутся. Мы сами обедняем свою литературу, не допуская мысли, что российская земля может рождать не только собственных Ньютонов и Платонов, но и Гомеров, Шекспиров, Вольтеров...

Неожиданным выглядит и разбор поэмы А. Пушкина “Руслан и Людмила”, которую Гранцева уподобляет большой системной цитате из красочного эпизода “Россиады”, волшебно преображенного дерзким молодым пером. Взяв в разработку сюжетный фрагмент “Россиады” – историю о битвах, в которых участвовала персиянка Рамида и три её воздыхателя, – молодой Пушкин воспроизвёл в нём не только внешнюю сторону событий, но и скрытую, символическую. Более того, он использовал фантастические и волшебные элементы “Россиады”, изловчившись внушительную их часть включить в малый объём своей поэмы – шесть песен вместо двенадцати Хераскова, – дав тем самым

образец большей концентрации смыслов. Над этой поэтической “безделицей” он работал три года, перед ним стояла особая задача: используя лёгкую, бытовую, живую речь, сохранить символическую её “начинку”.

Строгая форма, в которой выдержана книга “Сказанья русского Гомера”, безупречная логика автора, живой, образный язык, подчас не без ядовитости и запала комментарии делают, казалось бы, сугубо филологические изыскания увлекательным, лёгким для чтения и восприятия исследованием. Этому способствует и форма подачи материала: разбивка текста на небольшие абзацы, выделение жирным шрифтом начальных слов абзацев, подчинённых строгой логике: Пушкин–Херасков – комментарий автора; факт – объяснение современников – аргумент – комментарий автора. Именно безупречно строгая логическая выверенность помогает автору сопоставить поэму Пушкина и поэму Хераскова, разобраться в биографии писателя, в которой много неясного и тенденциозного, основанного на сплетнях и домыслах, некритично заимствованного у современников поэта – его завистников и недоброжелателей, желавших принизить роль удачливого собрата. Что ж, битвы за место в истории были излюбленной забавой литераторов XVIII века – каждый хотел быть Первым, основоположником чего-нибудь. В случае с М. Херасковым дело осложнялось ещё и тем, что современники не понимали механизмов, которые позволили благодушному красавцу сделать блестящую карьеру, не понимали причин, по которым он перемещался с одной должности на другую, не могли объяснить непреходящее благоволение к нему монарших особ.

История знает немало примеров того, как ленивые умом современники не постигали масштабных и сложных произведений, созданных великими талантами. Но если друзья и коллеги не всегда могли вникнуть в сложный замысел “Россиады”, разобраться в её искусной композиции, найти объяснение и оправдание изобилию сказочного и волшебного применительно к историческому материалу, то современному читателю без должных комментариев это тем более трудно. Н. Гранцева подробно излагает содержание поэмы. После краткого изложения – чёткий и хорошо продуманный план поэмы, который не смог исчислить с помощью треугольников и прямоугольников гимназист-недоучка, просветитель и масон Н. Новиков и понять поэт К. Батюшков. Отдельно выстроена галерея героев поэмы, где даже самые фантазийные образы неразрывно связаны с реалиями историческими. И раскрываются загадки “Россиады”, ответы на которые в несколько ином свете представят читателю и историю покорения Казанского царства, и роль царя Иоанна в этом событии.

Собственно, Н. Гранцева делает то, на что не нашёл времени ни один историк литературы за два века: она возвращает в сокровищницу русской литературы её почти утраченную драгоценность. Более того: она публикует фрагменты “Россиады”, львиную долю которых широкая аудитория не видела свыше двухсот лет.

Книга Натальи Гранцевой написана просто и увлекательно, автор как бы обращается к широкому читателю за поддержкой в борьбе с забвением, навязанным поколениями “ленивых и нелюбопытных”. Этот интеллектуально-просветительский жест – по сути, свидетельство веры автора в то, что благодарные потомки продолжат работу по возвращению несправедливо забытого. Может быть, лет через двадцать, к 300-летию со дня рождения Михаила Хераскова, мы и узнаем – услышан ли этот призыв?